

Анна Ахматова

3

3 АННА АХМАТОВА

Анна Ахматова.

3



ANNA AKHMATOVA

СОЧИНЕНИЯ

3

YMCA—PRESS

АННА АХМАТОВА

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ТРЕТИЙ

Общая редакция Г. П. Струве, Н. А. Струве, Б. А. Филиппова

YMCA—PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 PARIS

Художник — С. Л. Голлербах

ISBN 2-85065-011-0
© 1983 YMCA-PRESS
F. Zeuner Buch- und Offsetdruck,
Peter-Müllerstr. 43, 8000 München 50,
Printed in West Germany



Бюст работы Елены Ванько

ЗАМЕТКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Завтра утро меня разбудит,
И никто меня не осудит,
И в лицо мне смеяться будет
Заоконная синева.

Великопостные, голые, чуть набухающие ветки. В широкие окна струится прозрачная — как бы призрачная — мартовская синева. И здесь, вдали от невской столицы, вдалеке от России, может быть еще сильнее звучит в душе такой глубоко русский, такой до боли близкий мотив:

Не последние ль близки сроки? . .
. . . Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет —
Страшный призрак мертвой листвы.

Русская поэзия, как и русская философская мысль, всегда устремлялась к эсхатологии. Даже в самых низах народного сознания жил подспудно шепот пушкинского бродяги чернеца Варлаама: «. . . знать пришли наши последние времена» . . . И у Ахматовой то же. Она видит уже явственно, что, по крайней мере для нашего культурно-исторического эона, «пришли наши последние времена». И рубежом двух уже не чисто-русских, а *мировых* эпох справедливо называет признанную спервоначала за провинциальную — Октябрьскую революцию. Приемля или не приемля ее, все равно следует признать, что она вдребезги разбила весь старый

мир во всем мире, и новый — двадцатый — век начался именно с нее, век, пришедший в огненном венце войн и революций — —

А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий двадцатый век.

И это лучше поняла «взбесившаяся барынька, мечущаяся между будуаром и моленной», как обозвал Ахматову А. А. Жданов в своей черносотенной погромной речи, — чем понял это сам Жданов, сам Сталин, еще раньше — Ленин и иже со всеми ними. Ибо они, большие и малые делатели «нового мира», были только слепыми орудиями истории, в сознании своем не поднявшимися выше уровня плоскодонных французских материалистов-*просветителей* XVIII века и безнадежного тупицы Чернышевского... Историю, как *искупление* первородного греха человечества, понимали Достоевский и Блок, а за ними — Анна Ахматова. И революцию, и голод и холод послеоктябрьских лет и десятилетий — поняла как искупительную жертву:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло? — —

спрашивала Ахматова еще в 1921 году. И отвечала так, как надлежит отвечать поэту и христианке: потому что нищета, потеря близких, голод и холод, внешняя несвобода, даже рабство — для сильных духом лишь обостряют внутреннюю свободу, духовное освобождение от погрузившегося в дрязг обыденности нормально обеспеченного материального бытия. О, нет! — Это не оправдание насилия и рабства, террора и угнетения.

Это — признание их за ниспосланное нам Промыслом *испытание* — —

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное...

Это — не вульгарное «принятие Октября», приводящее к новому религиозному сознанию — наукообразному и антинаучному коммунистическому хилиазму: все мировое развитие заканчивается неподвижной и не подлежащей дальнейшему развитию вечностью: райским состоянием достигнутого наконец-таки коммунизма. Дальше — стоп, дальше запрещено всяческое движение, всяческое качественное изменение, всяческое развитие: *куда* теперь изменяться? — ведь цель всего исторического развития человечества достигнута и стала всемирной явью; *чему* развиваться: развитие — изменение, «переход (диалектический) в свою противоположность», а, следовательно, уход от коммунизма. Но для Ахматовой все в мире — внешнем и внутреннем — — в движении, в «беге времени» — для нее, как для всякого живого человека, а, тем более, творца — неподвижность — смерть.

Набухают и зеленеют почки. Сквозь мертвую листву прошлого пробивается юная весенняя трава. И теперь, как за сто двадцать лет перед тем, при молодом Достоевском — —

Страну знобит, а омский каторжанин
Все понял и на всем поставил крест.
Вот он сейчас перемешает все
И сам над первозданным беспорядком,
Как некий дух, взнесется. Полночь бьет,
Перо скрипит, и многие страницы
Семеновским припахивают плацем.

Бьет полночь. Бьют барабаны немудрых побед и казней. Семеновский плац оборачивается уже не казнью Достоевского и петрашевцев, а расстрелом всего периода культуры европейского гуманизма. Оборачивается кризисом религиозного сознания, смертельной болезнью европейской государственности, тифозной горячкой европейской (а, следовательно, и *мировой* — Гана и Конго не замена Европе) культуры. Огромным распятием стоит на зловещем перекрестке Истории Октябрь, и длинная тень его отбрасывается и на прошлое и на будущее: ведь это правда, что «конец — делу венец», и сейчас, по плодам, легче и вернее познать и оценить и всю предыдущую историю; ведь это правда, что «настоящий двадцатый век» начался в Октябре 1917-го — век конца целого всемирно-исторического эона. И этот-то конец только и позволяет всем существом нашим, а не только умопостигаемо, понять «как в прошедшем грядущее зреет, *как* в грядущем прошлое тлеет». Ахматова принимает Историю, принимает и Октябрь — как Суд Божий.

Этот рай, в котором мы не согрешили,
Тошен нам.
Этот запах смертоносных лилий
И еще не стыдный срам.
Снится улыбающейся Еве,
Что ее сквозь грозные века
С будущим убийцею во чреве
Поведет любимая рука.

История человечества, история человеческой культуры началась с грехопадения. И Ева уже чревата на-

чинателем истории и культуры — братоубийцей Каином. Но ведь есть и другая сторона, другой полюс всего этого процесса: ведь история нашей всемирно-исторической эры своим сердцем, своим духовным средоточием не может не считать Боговоплощения и Богоискупления. Даже если вы материалист и атеист, но остаетесь «мыслящим тростником», вы не можете не признать, что это был величайший момент во всей нашей культуре, основополагающий момент по крайней мере для всей средиземноморской культуры и истории. Два основоположных момента: грехопадение — в результате вкушения плода от древа познания добра и зла, — и искупление через Боговоплощение и искупительную Богожертву. И в центре ахматовского «Реквиема» — «Распятие»:

Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто Меня оставил!»
И Матери: «О, не рыдай мене . . .»

(— «Да, это, кажется, тоже не плохие стихи», — сказала о своем «Распятии» Ахматова в беседе с Г. В. Адамовичем.)

И пусть, пусть — —

Осквернили пречистое Слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол. — —

Все равно: только в искупительном страдании за себя, за страну, за человечество, за Историю живет и дышит подлинный поэт, приемлющий мир в его грехе и святости, зле и добре — —

О, нет, без палача и плахи
Поэту на земле не быть;
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

Такова Анна Ахматова? Да, *и* такова. Она многое, многое понимает. Она многое принимает. Не принимает только остановки, мертвящего застоя. Грешная и праведная, а более — грешная, но живая история. Не бездумная «Осанна» первозданного рая, до первородного греха: —

Этот рай, в котором мы не согрешили,
Тошен нам.

Ахматову рядили и рядят по-своему, по своему усмотрению — кто как хочет. Одни — в «взбесившуюся барыньку, мечущуюся между будуаром и моленной», другие — чуть ли не в монашенку. А она — умный, живой человек, отвечает всем этим ее п о р т р е т и с т а м:

Какая есть. Желаю вам другую.
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки . . .

Время у Ахматовой. Миги, отдельные миги — это не время. Это — застылость, это — смерть. Это — система зеркал, непроглядной ночью глядящих друг в друга: «только зеркало зеркалу снится» . . . Только веч-

ность, совокупляясь с мигами, создает длящесть, порождает *время*. И мы причастны этой вечности, мы заключаем в себе зерно ее — —

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет . . .

«Шаг времени», «Бег времени» — эти названия у Ахматовой не случайны. Она — поэт *истории*. Недаром музу истории — Клио — нередко изображают с зеркалом в руках. История, бег ее, все уносит, казалось бы, смерть торжествует:

Что войны, что чума? Конец им виден скорый;
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?

Болтовня салонных богословов о бессмертии и Боге, о теодицеях, — не подтвержденная и не порожденная глубоким внутренним переживанием, только раздражает Ахматову:

Смерти нет — это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть — пусть расскажут мне . . .

Она верит — и не верит. Она, как Фома Неверный, хочет верить *наверное*, вложив свои персты в язвы гвоздные . . .

Не упомню сейчас, у кого я читал, что кроме Надежды Яковлевны Мандельштам Ахматова не перевари-

вала жен поэтов. Признавала и дружила только с Н. Я. Ненавидела жен и живых поэтов, и поэтов покойных. Впрочем, кого она любила, тот никогда для нее мертвым и не был. Ее любовь к литературе и к жизни делала ее любимцев вечно живыми, и к ним у нее было не литературное лишь, а сугубо *личное* отношение. Еще в молодости она писала — и это не был поэтический образ! — —

Любовникам всем моим
Я счастие приносила.
Один и сейчас живой,
В свою подругу влюбленный,
И бронзовым стал другой
На площади оснеженной.

Оба Александра были ей тогда бесконечно близки. Встречалась же она с Блоком раз-два — и обчелся. И ничего решительно романтического в этих случайных встречах не было. А в старости сказала она и Г. В. Адамовичу и Н. А. Струве, что она продолжает любить Блока, но он теперь ей *ненужен*. Зато любовь к Пушкину оставалась навсегда: от юных стихов: «здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни» — и до: до педантичности научных, скрупулезных работ и набросков о Пушкине. Прочтите в этом томе — как старается *документально* доказать Ахматова, что Пушкин отнюдь не любил свою жену: Закревская, Оленина, Собаньская — — только бы не Наталья Николаевна! «Знаете, на одном обеде в Москве, я както разразилась гневной тирадой против Натальи Николаевны Пушкиной», — рассказывала она Н. А. Струве. Чувствуется, что Ахматова просто ревнует поэта к его жене! А Пушкин для нее *жив* — —

И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

Редко встретишь художника слова, для которого история и современность, прошлое, настоящее и будущее сливались бы так непосредственно в живой единый процесс, в единый мощный поток — не теоретически, не умопостигаемо, а всем существом — до ревности и споров, до страсти и негодования...

...Все равно приходит расплата...

И еще: немало в позднем творчестве Ахматовой элементов *шествия — или бега, шага или марша!* На этом построена вся «Поэма без героя», и в ней же недаром поминаются и похоронный марш Шопена, и отступающие на восток советские армии, и советские же армии, наступающие на запад... Но и «Шаг времени», но и соединение всех времен ее стихов в книгу «Бег времени»! Как будто отдельные лирические — разновременные и разнохарактерные — миги-стихи она хочет слить в единое шествие: тут и соединение разновременных четверостиший в «вереницы», тут и стремительный бег к какой-то вечности... Время даже становится в какой-то степени обратимым:

А что, если вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век?

«А у нас отняли пространство, время, все отняли, ничего не осталось», — сказала Ахматова Н. А. Струве. Но творец, сознающий свою внутреннюю свободу, может сказать смело:

Я помню все одно и то же время,
Вселенную, перед собой, как бремя,
Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке
Несу, а в недрах тайно зреет семя
Грядущего . . .

«По внутреннему настроению души, — говорит Никита Стифат, — изменяется естество вещей». Преодоление времени и пространства в творчестве поздней Ахматовой, несомненно, от универсализма восточного христианства. Может быть, оттуда же и форма карнавального новогоднего шествия масок в «Поэме без героя». «Раскованными были и карнавальные шествия ряженых во время праздника (языческого по своему происхождению) брумалий, с которым тщетно пыталась бороться церковь еще в XII в., и корпоративные торжества, вроде шествия школяров, описанного Христофором Митиленским. И как характерно для средневекового человека то обнажение двойственности праздника, какое обнаруживается у Христофора: он рассказывает, что видел на следующий день, как был подвергнут порке тот, кто во время торжественной процесии шествовал в короне, наподобие царской. Буффонаду и маскарад ценила не только константинопольская улица, но и высшие слои византийской знати . . .» (А. П. Каждан. Византийская культура. М., 1968, стр. 144—145.)

Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна и длится, длится —
Петербургская чертовня . . .
Этот рай, в котором мы не согрешили,
Тошен нам . . .

«Литературные имена, эпиграфы, посвящения, встречи и прощания с минувшим ('Как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась . . .'), сведение старых счетов с собою и своею памятью — все это не сковывает, а скорее облегчает задачу: вызвать на небольшом участке стихотворного текста ощущение большого пространства и свободно двигаться в нем, аукаться, перекликаться с голосами других эпох, других сфер бытия». Так пишет об Ахматовой Андрей Синявский («Раскованный голос» — «Новый Мир», 1964, № 6, стр. 175).

«— . . . Недавно, в связи с моим семидесятилетием в *Новом Мире* разрешили что-то пикнуть, поручили написать заметку Синявскому. Он знал всю мою поэзию, но так меня и не понял . . .», — рассказывала Ахматова Н. А. Струве. Право автора — не соглашаться с пониманием и оценкой его творчества критиками и читателями. Но право каждого читателя и критика, каждого *поколения* читателей понимать автора по-своему, принимать его таким, каким он этому поколению понятнее и нужнее. И обычно лишь большие, значительные авторы заслуживают это живое, изменчивое, меняющееся от возраста к возрасту и из поколения в поколение отношение к ним читателей. Ахматова это заслужила.

. . . Зеленеет трава, набухают почки, в окно льется заоконная синева. Воскресение природы, светлое обетованье нашего общего воскрешения. Ахматова хорошо знала, что не поэзии, не литературе, как ни высоко она ценила «святое ремесло» поэта, — дано это великое дело — дело воскрешения. Но она, как мало кто, живо и непосредственно представляла живым и живыми все то, что она так любила, всех тех, кого она так любила. Она понимала, что смерть нашего исторического эона, как она ни трагична, не есть еще окончательная

смерть — смерть моей и других личностей. А ценность личности человеческой, любой личности, выше царств, культур и миров.

Завтра утро меня разбудит, . . .
. . . И в лицо мне смеяться будет
Заоконная синева . . .

Борис Филиппов

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1

Я лилий нарвала прекрасных и душистых,
Стыдливо-замкнутых, как дев невинных рой;
С их лепестков дрожащих и росистых
Пила я аромат, и счастье, и покой.
И сердце трепетно сжималось, как от боли,
А бледные цветы качали головой,
И вновь мечтала я о той далекой воле,
О той стране, где я была с тобой.

1904

2

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Умею заглядывать в очи с улыбкой,
Манящей, призывной и зыбкой.
И гибкий мой стан так воздушен и строен,
И нежит кудрей аромат.
О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен
И негой объят...
Я умею любить. Я обманно стыдлива.
Я так робко нежна и всегда молчалива,
Только очи мои говорят.

Они ясны и чисты,
Так прозрачно-лучисты,
Они счастье сулят.

Ты поверишь — обманут,
Лишь лазурнее станут
И нежнее и ярче они,
Голубого сиянья огни.
И в устах моих алая нега,
Грудь белее нагорного снега,
Голос — лепет лазоревых струй.
Я умею любить. Тебя ждет поцелуй.

1906. Евпатория

3

Ночь моя — бред о тебе,
День — равнодушное: «Пусть!»
Я улыбнулась судьбе,
Мне посылающей грусть.
Тяжек вчерашний угар,
Скоро ли я догорю?
Кажется, этот пожар
Не превратится в зарю.
Долго ль мне биться в огне,
Дальнего тайно пленя? . .
В страшной моей западне
Ты не увидишь меня.

1907. Киев

4. Отрывок из стихотворения —

ВЕСЕННИЙ ВОЗДУХ ВЛАСТНО СМЕЛ

Из белых роз мне свей венок,
Венок душисто-снежных роз,
Ты тоже в мире одинок,
Ненужной жизни тяжесть нес.

1907. Крым

5. ИЗ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ

(отрывок)

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка,
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце . . .

1909. Киев

6

То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909 (?)

7

Н. Г.

Je n'aurai pas l'honneur sublime
De donner mon nom à l'abîme
Qui me servira de Tombeau

Baudelaire

Пришли и сказали: «Умер твой брат» . . .
Не знаю, что это значит.
Как долго сегодня холодный закат
Над крестами лаврскими плачет.
И новое что-то в такой тишине
И недоброе проступает,
А то, что прежде пело во мне,
Томительно рыдает.
Брата из странствий вернуть не могу,
Любимого брата найду я,
Я прошлое в доме моем берегу,
Над прежним тайно колдуя.
. . . . . .
«Брат! дождалася я светлого дня,
В каких скитался ты странах?»
«Сестра! отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах . . .»
. . . . . .

25 января 1910. Киев

8

Тебе, Афродита, слагаю танец,
Танец слагаю тебе.
На бледных щеках розовеет румянец...
Улыбнись моей судьбе!
По ночам ты сходила в чертоги Фрины,
Войди в мой тихий дом.
Лиловый туман пробрался в долины.
Луна над твоим холмом.
Скольжу и кружусь в заревом бессильи.
Богиня! Покинь Олимп!
Руки, как крылья, руки, как крылья,
Над челом золотистый нимб.

1910. Январь

9

На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знал, что это конец.

9 ноября 1910. Киев

10

«Я смертельна для тех, кто нежен и юн.
Я птица печали. Я — Гамаюн.
Но тебя, сероглазый, не трону, иди.
Глаза я закрою, я крылья сложу на груди.
Чтоб, меня не заметив, ты верной дорогой пошел.
Я замру, я умру, чтобы ты свое счастье нашел . . .»
Так пел Гамаюн среди черных осенних ветвей,
Но путник свернул с осиянной дороги своей.

7 декабря 1910. Царское Село

11

СТАРЫЙ ПОРТРЕТ

Посвящ. А. А. Экстер

Сжала тебя золотистым овалом
Узкая старая рама;
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.

Тонки, по-девичьи, нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.

Возле, на бронзовом столике цитра,
Розы в граненом бокале . . .
В чьих это пальцах дрожала палитра
В этом торжественном зале?

И для кого твои жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.

[1911] Киев

12

Шелестит о прошлом старый дуб.
Лунный луч лениво протянулся.
Я твоих благословенных губ
Никогда мечтою не коснулся.

Бледный лоб чадрой лиловой сжат.
Ты со мною. Тихая, больная.
Пальцы холодеют и дрожат,
Тонкость рук твоих припоминая.

Я молчал так много тяжких лет.
Пытка встреч еще неотвратима.
Как давно я знаю твой ответ:
Я люблю и не была любима.

Февраль (?) 1911

13

Снова со мной ты. О мальчик-игрушка!
Буду ли нежной опять, как сестра?
В старых часах притаилась кукушка.
Выглянет скоро. И скажет: «Пора».

Чутко внимаю бездумным рассказам.
Не научился ты только молчать.
Знаю, таким вот, как ты, сероглазым
Весело жить и легко умирать.

Март (?) 1911. Царское Село

14

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.

Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу всё твои глаза сказали...
Опилки густо устилают пол,
И пахнет спиртом в полукруглой зале.

И это юность — светлая пора.
. . . . . .
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.

Париж. Весна 1911

15

Целый день провела у окошка
И томилась: «Скорей бы гроза».
Раз у дикой затравленной кошки
Я такие заметил глаза.

Верно тот, кого ждешь, не вернется,
И последние сроки прошли.
Душный зной, словно олово, льется
От небес до иссохшей земли.

Ты тоской только сердце измучишь,
Глядя в серую тусклую мглу.
И, мне кажется, вдруг замяучишь,
Изгибаясь на грязном полу.

Лето 1911. Слепнево

16

Словно тяжким огромным молотом
Раздробили слабую грудь.
Откупиться бы ярким золотом —
Только раз, только раз отдохнуть!
Приподняться бы над подушками,
Снова видеть широкий пруд,
Снова видеть, как над верхушками
Сизых елей тучи плывут.
Все приму я: боль и отчаянье,
Даже жалости острие.
Только пыльный свой плащ раскаянья
Не клади на лицо мое!

Осень 1911

17

Улыбнулся, вставши на пороге.
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.

1910-е гг.

18

(Графу В. П. Зубову)

Как долог праздник новогодний,
Как бел в окошках снежный цвет.
О Вас я думаю сегодня
И нежный шлю я Вам привет.

Пускай над книгою в подвале,
Где скромно ночи провожу,
Мы что-то мудрое решали,
Я обещанья не сдержу.

А Вы останьтесь верным другом
И не сердитесь на меня,
Ведь я прикована недугом
К моей кушетке на три дня.

И дом припоминая темный
На левом берегу Невы,
Смотрю, как ласковы и томны
Те розы, что прислали Вы.

(1910-е гг.)

19

Федору Кузьмичу Сологубу с глубоким уважением

Твоя свирель над тихим миром пела,
И голос смерти тайно вторил ей,
А я, безвольная, томилась и пьянела
От сладостной жестокости твоей.

16 марта 1912

20

Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.

Октябрь 1912

21

Ал. Блоку

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой,
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый — полунощника.
Но годы страшные пройдут,
Ты скоро будешь снова молод,
И сохраним мы тайный холод
Тебе отсчитанных минут.

Между 1912 и 1914

22

. . . это тот, кто сам мне подал цитру
В тихий час земных чудес,
Это тот, кто на твою палитру
Бросил радугу с небес.
Сердце бьется ровно, мерно
Что мне прошлые года . . .
Ведь под аркой на Галерной
Ты со мною навсегда.

23

(Сергею Судейкину)

Спокоен ход простых суровых дней,
Покорно все приемлю превращенья.
В сокровищнице памяти моей
Твои слова, улыбки и движенья.

(Весна 1914. Петербург)

24

Пустые белые святки.
Мети, метель, мети.
Пусть дороги гладки, —
Мне не к кому идти!

Январь 1914

25

ТАМАРЕ ПЛАТОНОВНЕ КАРСАВИНОЙ

Как песню, слагаешь ты легкий танец —
О славе он нам сказал, —
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.

И с каждой минутой всё больше пленных,
Забывших свое бытие,
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.

Март 1914

26

ЗАВЕЩАНИЕ

Моей наследницею полноправной будь,
Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.
Как медленно еще скудеет сила,
Как хочет воздуха замученная грудь.
Моих друзей любовь, врагов моих вражду
И розы желтые в моем густом саду,
И нежность жгучую любовника — все это
Я отдаю тебе, предвестница рассвета.
И славу, то, зачем я родилась,
Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась
И падает теперь. Смотри, ее паденье
Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.
Мое наследство щедрое храня,
Ты проживешь и долго, и достойно.
Все это будет так. Ты видишь, я спокойна,
Счастливой будь, но помни про меня.

1914

27

А. А. Блоку

От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи.

Весна 1914

28

Вечерний звон у стен монастыря,
Как некий благовест самой природы...
И бледный лик в померкнувшие воды
Склоняет сизокрылая заря.

Над дальним лугом белые челны
Нездешние сопровождают тени...
Час горьких дум, о, час разуверений
При свете возникающей луны!

(1914)

29

Цветы, холодные от рос
И близкой осени дыханья,
Я рву для пышных, жарких кос,
Еще не знавших увяданья.

В их ночи душно-смоляной,
Повитой сладостною тайной,
Они надышатся весной
Ее красы необычайной.

Но в вихре звуков и огней,
С главы сияющей, порхая,
Они падут — и перед ней
Умрут, едва благоухая.

И, движим верною тоской,
Их усладит мой взор покорный, —
Благоговеющей рукой
Сберет любовь их прах тлетворный.

(1914)

30

На Казанском или на Волковом
Время землю пришло покупать.
Ах! под небом северным шелковым
Так легко, так прохладно спать.

Новый мост еще не достроят,
Не вернется еще зима,
Как руки мои покроет
Парчовая бахрома.

Ничьего не вспугну веселья,
Никого к себе не зову.
Мне одной справлять новоселье
В свежевыкопанном рву.

8 июля 1914. Слепнево

31

Кому-то желтый гроб несут,
Счастливый кто-то будет с Богом,
А я забочусь о немногом,
И тесен мой земной приют.

1914

32

За то, что я грех прославляла,
Отступника жадно хваля,
Я с неба ночного упала
На эти сухие поля.

И встала. И к дому чужому
Пошла, притворилась своей,
И терпкую злую истому
Принесла с июльских полей.

И матерью стала ребенку,
Женою тому, кто пел.
Но гневно и хрипло вдогонку
Мне горный ветер свистел.

1914

33

Не убил, не проклял, не предал.
Только больше не смотрит в глаза.
И стыд свой темный поведал
В тихой комнате образам.
Весь согнулся и голос глуше,
Белых рук движенья видней...
Ах! когда-нибудь он задушит,
Задушит меня во сне.

1914

34

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек к ней
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

1915

35

В промежутке между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.

1915. Слепнево

36

ОТРЫВОК

. . . . . .

О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

1916(?)

37

ИЗ ПРАПОЭМЫ

В городе райского ключаря,
В городе мертвого царя.

И в черном саду между древних лип
Мне мачт корабельных слышен скрип.
Вольно я выбрала дивный град,
Жаркое солнце земных отрад,
И все мне казалось, что в раю
Я песню последнюю пою.

1916—1917 (?)

38

С первым звуком, слетевшим с рояля,
Я шепчу тебе: «Здравствуй, князь.»
Это ты, веселя и печаля,
Надо мною стоишь, наклонясь.

Но во взоре упорном и странном
Угадать ничего не могу,
Только в сердце моем окаянном
Золотые слова берегу.

Ты когда-нибудь, скукой томимый,
Их прочтешь на чужом языке
И подумаешь — мне серафимы
Оснащают корабль на реке.

1917

39

Веет ветер лебединый,
Небо синее в крови.
Наступают годовщины
Первых лет твоей любви.
Мне и весело и трудно,
Не забуду никогда,
Как, слепительный и чудный,
Ты пришел ко мне сюда.
Покоряясь, покоряла,
Не просила ничего.
Звездной ночью целовала
Губы друга моего.

Отлетел февраль мятежный
С легким звоном снежных крыл,
Но на память мне подснежник
Под сосною прикрепил.

21 февраля 1918

40

Я горькая и старая. Морщины
Покрыли сетью желтое лицо,
Спина согнулась, и трясутся руки.
А мой палач глядит веселым взором
И хвалится искусною работой,
Рассматривая на поблекшей коже
Следы побоев. Господи, прости!

Петербург. Шереметевский дом.
1919

41

Сочтенных дней осталось мало,
Уже не страшно ничего,
Но как забыть, что я слыхала
Биенье сердца твоего?
Спокойно знаю, в этом тайна
Неугасимого огня.
Пусть мы встречаемся случайно
И ты не смотришь на меня.

1910-е гг.

42

Я не люблю цветы — они напоминают
Мне похороны, свадьбы и балы,
Для ужина покрытые столы...
. . . . . .
Но лишь предвечных роз простая красота,
Та, что всегда была моей отрадой в детстве,
Осталась и досель единственным наследством,
Как звуки Моцарта...

1910-е гг. Царское Село

43

За узором дымным стекол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол,
Не простившись, улетел?

Слушаю людские речи.
Говорят, что ты колдун.
Стал мне узок с нашей встречи
Голубой шушун.

А дорога до погоста
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.

1910-е годы

44

Как вышедший из западных ворот
Родного города и землю обошедший
К восточным воротам смущенно подойдет
И думает: «Где дух, меня так мудро ведший?» —
Так я...

1910-е годы
Слепнево

45

Не смущаюсь речью обидною,
Никого ни в чем не виню.
Ты кончину мне дай не постыдную
За постыдную жизнь мою.

1910-е годы

46

И через всё и каждый миг,
Через дела, через безделье
Сквозит, как тайное веселье,
Один непостижимый лик.
О Боже! Для чего возник
Он в одинокой этой келье.

1910-е годы

47

Хорошо поют синицы,
У павлина яркий хвост.
Но милее нету птицы
Вашей славной «Алконост».

(1921?)

48

Не странно ли, что знали мы его?
Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева,
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.

Август 1921

49

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной;
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина...
Порешили люди умные:
— Наше дело — сторона.

1921 г. Рождество
Бежецк

50

Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего, — прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.

1922. Сентябрь

51

МНОГИМ

Я — голос ваш, жар вашего дыханья,
Я — отраженье вашего лица,
Напрасных крыл напрасны трепетанья,
Ведь все равно я с вами до конца.

Вот отчего вы любите так жадно
Меня в грехе и в немощи моей;
Вот отчего вы дали неоглядно
Мне лучшего из ваших сыновей;
Вот отчего вы даже не спросили
Меня ни слова никогда о нем
И чадными словами задымили
Мой навсегда опустошенный дом.
И говорят — нельзя теснее слиться,
Нельзя непоправимее любить...

Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь забытой быть.

Сентябрь 1922

52

Скучно мне оберегать
От себя людей,
Скучно кликать благодать
На чужих друзей.

1922 (?)

(Из альбома
Е. Султановой-Летковой)

53

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

1924

54

И ты мне все простишь:
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,
Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.

1925

55

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть,
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

56

О, знала ль я, когда в одежде белой
Входила Муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
Мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
Моей души последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза.

О, знала ль я, когда, томясь успехом,
Я искушала дивную судьбу,
Что скоро люди беспощадным смехом
Ответят на предсмертную мольбу.

1925

57

Ты прости мне, что я плохо правлю,
Плохо правлю, да светло живу,
Память в песнях о себе оставлю,
И тебе приснилась наяву.
Ты прости меня, еще не зная,
Что навеки с именем моим,
Как с огнем веселым едкий дым,
Сочеталась клевета глухая.

1927 (?)

58

КАВКАЗСКОЕ

Десять лет и год твоя подруга
Не слыхала, как поет гроза.
Десять лет и год святого юга
Не видали грешные глаза.

Кисловодск
1927

59

И неоплаканною тенью
Я буду здесь блуждать в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют звездные лучи.

1920-е годы
Шереметьевский сад

60

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь . . .

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом,
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома . . .

1933

61

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не надругалась
Над горькой гибелью друзей,
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечей идти и выть.

1935

62

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

О. М[андельштаму]

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,

В трупный запах прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой, —
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными и тобой.

1937

63

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

1937

64

И вовсе я не пророчица.
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

(30-е гг.)

65

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?

Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним...
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе и деткам твоим?»

1930-е годы

66

. . . . . .

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после на дровнях, в сумерки
В навозном снегу тонуть.
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

1939

67

ДВА ОТРЫВКА

из царскосельской поэмы «Русский Трианон»

I

С воксала к парку легкие кареты
Как с похорон торжественных спешат,
В них дамы — в сарафанчики одеты,
А с английским акцентом говорят.
Одна из них (как? разглашать секреты?
Мне этого, наверно, не простят)
Попала в вавилонские блудницы,
А тезка мне и лучший друг царицы.

II

О, знал ли он, любимец двух столетий,
Как грозно третьим будет принят он.
Мне суждено запомнить этот сон,
Как помнят мать, осиротевши, дети . . .
. . . . . .
На Белой башне дремлет пулемет,
Вокруг дворца — гусарские разъезды,
Внимательные северные звезды
(Совсем не те, что будут через год),
Прищурившись, глядят в окно Лицея,
Где тень Его над томом Апулея.

1925—1935—1940

68

С Новым Годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем,
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых — не видать.

(Январь 1940)

69

И все, кого сердце мое не забудет,
Но кого нигде почему-то нет,
И страшные дети, которых не будет,
Которым не будет двадцать лет,
А было восемь, а девять было,
А было . . . — Довольно, не мучь себя.
И все, кого ты вправду любила,
Живыми останутся для тебя.

1940

70

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь?

В Кремле не надо жить, — Преображенец прав, —
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех Иванов злобы
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

1940

71

Так отлетают темные души...
«Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком,
Ты никаким ведь не связан сроком,

Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве... Кто ты?
Ты уж другой или третий?» — «Сотый».

«А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот — не рада.
Мне ничего на земле не надо:

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый,

И Троя не пала, и жив Эабани.
И всё потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленой,
Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? — то с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?
А звезды на небе и ночь над горами...

Или сзывают народ на вече?»
— «Нет, это твой последний вечер».

1940

72

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.

Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу, как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

18 января 1940

73

ПАМЯТИ М. БУЛГАКОВА

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил,
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.

О, кто поверить смел, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней погибших,
Мне, тлеющей на мелденном огне,
Все потерявшей, всех забывшей, —
Придется поминать того, кто, полный сил
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Март 1940
Фонтанный Дом

74

Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была веселая,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос послышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже,
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:

«Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустила твой крин во полунощи,
И фата до пят тебе соткана.

Что ж печалишь ты брата-война
И сестру — голубицу-схимницу,
Своего печалишь ребеночка? . .»

Как последнее слово услышала,
Света я пред собой невзвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.

Март 1940

75

Соседка из жалости — два квартала,
Старухи, как водится, — до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет совсем один на свете
Над рыхлой, черной, родной землей,
И громче спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

15 августа 1940

76

В лесу голосуют деревья.
Н. З.

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, —
Опять по слову твоему

Я голосую *за:*
За то, чтоб дверью стала дверь,
Замок — опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди. А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит: третий год не спать,
Что значит: утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб.

1940 (?)

77

И осталось из всего земного
Только хлеб насущный твой,
Человека ласковое слово,
Чистый голос полевой.

1941

78

Жить — так на воле,
Умирать — так дома.
Волково поле,
Желтая солома.

22 июня 1941 г.
(День объявления войны)

79

Копай, моя лопата,
Звени, кирка моя,
Не пустим супостата
На мирные поля!

(Лето 1941)

80

И кружку пенили отцы,
И уходили сорванцы,
Как в сказке, на войну.
Но это было где-то там,
В тот непонятный тарарам,
Та страшная она . .
. . . . . .
И нет Ленор, и нет баллад,
Погублен царскосельский сад,
И словно мертвые стоят
Знакомые дома.

И равнодушие в глазах,
И сквернословье на устах,
Но только бы не страх, не страх,
Не страх, не страх... Ба-бах!

(Начало 1942 ?)

81

Какая есть. Желаю вам другую —
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики.
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки...
Не знатной путешественницей в кресле
Я выслушала каторжные песни,
А способом узнала их иным.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Над Азией весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О что мне делать с этой чистотою
Природы? И с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!..

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой...
Но близится конец моей гордыни:
Как той, другой, страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой.

И ты придешь под черной епанчою
С зеленоватой страшною свечою
И не откроешь предо мной лица . . .
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

Ташкент, 24 июня 1942

82

Любо вам под половицей
Перекликнуться с синицей
И присниться кой-кому,
Кто от вас во сне застонет,
Но и слова не проронит
Даже другу своему.

Июнь 1942

83

В ТИФУ

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная . . .
Ой худая, ой худая
Голова тифозная.

Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,

Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна — рассказчица.

Ташкент, ноябрь 1942

84

ИЗ ТАШКЕНТСКОЙ ТЕТРАДИ

Блаженный мир — зеленый мир
За каждым поворотом.
Багдад ли то или Каир?
Лечу, как пчелы к сотам.
Каир ли то или Багдад?
Нет, то обыкновенный сад,
И голос шепчет: — Кто там?

Над белоснежною стеной
Качались ветки эти
С изяществом и простотой,
Которых нет на свете.
Как луч, как ветер, как туман
Шел через город караван
В пустыню из пустыни.
И там я видела орлов
И маленьких баранчуков
У черноokих матерей
На молодых руках.

85

Если ты смерть — отчего же ты плачешь сама,
Если ты радость — то радость такой не бывает.

Ноябрь 1942. Ташкент

86

Уходи опять в ночные чащи,
Там поет бродяга-соловей,
Слаще меда, земляники слаще,
Даже слаще ревности моей.

87

Глаза не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш.
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражий, и снова наш.

1942—1943. Ташкент.

88

Я подымаю трубку — я называю имя,
Мне отвечает голос — какого на свете нет . . .
Я не так одинока, проходит тот смертный холод,
Тускло вокруг струится, едва голубея, свет.
Я говорю: «О Боже, нет, нет, я совсем не верю,
Что будет такая встреча в эфире двух голосов».
И ты отвечаешь: «Долго ж ты помнишь свою потерю,
Я даже в смерти услышу твой, ангел мой, дальний зов».
. . . . . .
Похолодев от страха, свой собственный слышу стон.

89

Еще говорящую трубку
Она положила обратно,
И ей эта жизнь показалась
И незаслуженно долгой,
И очень заслуженно горькой,
И будто чужою. Увы!
И разговор телефонный . . .

90

А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет
И думает, что он незаменим,
Что все на свете он переиначит,
Что Пастернака перепастерначит,
А я не знаю, что мне делать с ним.

1943. Ташкент.

91

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена, —
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина . . .

8 ноября 1943. Ташкент

92

ПРИЧИТАНИЕ

Послесловие к «Ленинградскому циклу»

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
За версту я обойду
Ленинградскую беду.
Я не взглядом, не намеком,
Я не словом, не попреком,
Я земным поклоном
В поле зеленом
Помяну.

1944, Ленинград

93

Другое послесловие к «Ленинградскому циклу»

Разве не я тогда у креста,
Разве не я тонула в море,
Разве забыли мои уста
Вкус твой, горе!

16 января 1944

94

Еще послесловие к «Ленинградскому циклу»

... Последнюю и высшую награду —
Мое молчанье — отдаю
Великомученику
Ленинграду.

16 января 1944. Ташкент

95

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда...
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.

Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

6 января 1944
Ташкент

96

СМЕРТЬ

И комната, в которой я болею,
В последний раз болею на земле,
Как будто упирается в аллею
Высоких белоствольных тополей.
А этот первый — этот самый главный,
В величии своем самодержавный,
Но как заплещет, возликует он,
Когда, минуя тусклое оконце,
Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце,
И смертный уничтожит сон.

Январь 1944. Ташкент

97

De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть...
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

Ташкент, 23 марта 1944 г.

98

От странной лирики, где каждый шаг — секрет,
Где пропасти налево и направо,
Где под ногой, как лист увядший, слава,
По-видимому, мне спасенья нет.
. . . . . .

Осень 1944

99

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит, и чье орудье пытки
Согрето теплотой моей груди...
Вкусили смерть Свидетели Христовы,
И сплетницы-старухи, и солдаты,
И прокуратор Рима — все прошли.
Там, где когда-то возвышалась арка,
Где море билось, где чернел утес,
Их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой
И с запахом бессмертных роз.
Ржавеет золото и истлевает сталь.
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней — царственное Слово.

1945

100

И очертанья Фауста вдали —
Как города, где много черных башен
И колоколен с гулкими часами,
И полночей, наполненных грозою,
И старичков с негётевской судьбою,
Шарманщиков, менял и букинистов,
Кто вызвал чёрта, кто с ним вел торговлю,
И обманул его, а нам в наследство
Оставил эту сделку . . .
И выли трубы, зазывая смерть,
Пред смертию смычки благоговели,
Когда какой-то странный инструмент
Предупредил, и женский голос сразу
Ответствовал, и я тогда проснулась.

1945

101

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

1946

102

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь.
А быть может, и место найдешь
Ты — могилы моей безымянной.

Август 1946. Фонтанный Дом

103

Со шпаной в канавке
Возле кабака,
С пленными на лавке
Грузовика.

Под густым туманом
Над Москвой-рекой,
С батькой-атаманом
В петельке тугой.

Я была со всеми,
С этими и с теми,
А теперь осталась
Я сама с собой.

1946. Осень

104

ДВА ГОЛОСА

(Фрагмент из драмы «Пролог»)

первый

Мы запретное вкусили знанье,
И в бездонных пропастях сознанья
Чем прозрачней, тем страшнее зданья
И уже сквозит последний час...

второй

И уже грохочет дальний гром...
А та, кого мы музыкой зовем,
За неименьем лучшего названья,
Спасет ли нас?

1946

105

(Из драмы «ПРОЛОГ»)

Еще я слышу свежий клич свободы,
Мне кажется, что вольность мой удел,
И слышатся «сии живые воды»
Там, где когда-то юный Пушкин пел.

106—108

ПЕСЕНКИ

I. *Колыбельная*

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай...
Я не вижу сокола
Ни вдали, ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай!

1946, 26 авг. (днем)
Фонтанный Дом

II. *Любовная*

А ведь мы с тобой
Не любилися,
Только всем тогда
Поделилися.
Тебе — белый свет,
Пути вольные,
Тебе зорюшки
Колокольные.
А мне ватничек
И ушаночку.
Не жалей меня,
Каторжаночку.

III. *Застольная*

Под узорной скатертью
Не видать стола.
Я стихам не матерью —
Мачехой была.
Эх, бумага белая,
Строчек ровный ряд!
Сколько раз глядела я,
Как они горят.
Сплетней изувечены,
Биты кистенем,
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.

1955

109

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВОНОК

Стеклянный звонок
Бежит со всех ног.
Неужто сегодня срок?
Постой у порога,
Подожди немного,
Меня не трогай,
Ради Бога!

Конец 40-х гг.

110

. . . Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

Инн. Анненский

Все ушли и никто не вернулся.
Только верный обету любви,
Мой последний, лишь ты оглянулся,
Чтоб увидеть все небо в крови.
Дом был проклят, и проклято дело.
Тщетно песня звенела нежней,
И глаза я поднять не посмела
Перед страшной судьбою своей.
Осквернили пречистое Слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,

Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слежки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня.
И до самого края доведши,
Почему-то оставили там —
Буду я городской сумасшедшей
По притихшим бродить площадям.

(Конец 40-х гг.)

111—115

ЧЕРЕПКИ

You cannot leave your mother an orphan
Joyce

I

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином...

II

Вот и доспорился, яростный спорщик,
До енисейских равнин...
Вам он бродяга, шуан, заговорщик, —
Мне он — единственный сын.

III

Семь тысяч и три километра . . .
Не услышишь как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод,
Там дичаешь, звереешь — ты милый,
Ты последний и первый, ты — наш.
Над моей Ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна.

IV

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.
Я всех на земле виноватей
Кто был и кто будет, кто есть,
И мне в сумасшедшей палате
Валяться — великая честь.

V

Вы меня, как убитого зверя
На кровавый подымете крюк,
Чтоб хихикая и не веря
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

Конец 40-х—нач. 50-х гг.

116

Ах, тебе еще мало по-русски
И ты хочешь на всех языках
Знать как круты подъемы и спуски
И почем у нас совесть и страх.

117

Я всем прощение дарую,
И в Воскресение Христа
Меня предавших в лоб целую,
А непредавшего — в уста.

118

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца . . . Я нищей
В него вошла и нищей выхожу . . .

1952

119

Другие уводят любимых, —
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
Вокруг словоблудье и давка
И приторный запах чернил.

Такое выдумывал Кафка
И Чарли изобразил.
И так в пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколенья присяжных
Решили: «виновна она».
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор . . .
А где-то чернеет от зноя
Огромный небесный простор,
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу . . .
Я это блаженное «где-то»
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла . . .
Неужто я всех виноватей
На этой планете была?

(Середина 50-х гг.)

120

ПРОЛОГ

Не лирою влюбленного
Иду прельщать народ —
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Успеете наахаться
И воя и кляня.
Я научу шарахаться
Всех «смелых» от меня.

Я не искала прибыли,
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

Середина 50-х гг. (?)

121—124

ИЗ СЕВЕРНЫХ ЭЛЕГИЙ

Их будет семь — я так решила,
Пора испытывать судьбу,
И первая уж совершила
Свой путь к позорному столбу . . .

I. *О ДЕСЯТЫХ ГОДАХ*

И никакого розового детства . . .
Веснушечек, и мишек, и кудряшек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений,
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь:
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина.
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди и кричали:

«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить;
И тем сильней хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.

4 июля 1955. Москва

II.

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька моего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены,
[. . . . . и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти, —]
Не уменьшало это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко,
В то время, как мы, замолчав, старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступени,
Как о пощаде жалостно моля,

И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого о н и по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают всё, — скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

1921, Царское Село

III.

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала,
И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит . . .
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,

Мое законнейшее имя носит,
Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.

Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.

В таком году произошло бы то-то,
А в этом — это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и с еще вчера не бывшей
Морщинкой.

. . . . . .

Но если бы оттуда посмотрела
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец...

2 сентября 1945.
Фонтанный Дом.

125

ИЗ ЦИКЛА «ТАЙНЫ РЕМЕСЛА»

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.

4 сентября 1956 г.

126

ИЗ ЦИКЛА «СОЖЖЕННАЯ ТЕТРАДЬ»

Пусть мой корабль пошел на дно,
Дом превратился в дым...
Читайте все — мне всё равно,
Я говорю с одним,
Кто был ни в чем не виноват,
А впрочем, мне ни сват, ни брат
. . . . . .
Как в сердце быть уколотым
И слышать крик: умри!
Что на Фонтанке золотом
Писали фонари?

1956

127

Забудут! — Вот чем удивили.
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла, и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

21 февраля 1957. Ленинград

128

Вижу я,
Лебедь тешится моя.
Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть, —
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду,
Не притронусь я дулом к виску . . .
Смерть стоит все равно у порога —
Ты гони ее или зови;
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.
А за нею — десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж, прощай! Я живу не в пустыне:
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь.

Москва. 1957 (?)

129

И в недрах музыки я не нашла ответа,
И снова тишина, и снова призрак лета.

130

Все, кого и не ждали в Италии,
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и вечными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Переглядываться тайком.
Никому я не буду сопутствовать
И охоты мне странствовать нет.
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

Москва. Конец 1957—начало 1958 г.

131

Позвони мне хотя бы сегодня,
Ведь ты все-таки где-нибудь есть,
А я стала безродных безродней
И не слышу крылатую весть.

9 июня 1958

132

Опять проходит полонез Шопена,
О Боже мой! — как много вееров
И глаз потупленных, и нежных ртов,
Но как близка, как шелестит измена.
Тень музыки мелькнула по стене,
Но прозелени лунной не задела.
О, сколько раз вот здесь я холодела
И кто-то страшный мне кивал в окне.

. . . . . .

И как ужасен взор безносых статуй,
Но уходи и за меня не ратуй
И не молись так горько обо мне.

. . . . . .

И голос из тринадцатого года
Опять кричит: я здесь, я снова твой . . .
Мне ни к чему ни слава, ни свобода,
Я слишком знаю . . . но молчит природа,
И сыростью пахнуло гробовой.

Комарово. 1958

133

От меня, как от той графини,
Шел по лесенке винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой.

1958 (?)

134

Непогребенных всех — я хоронила их,
Я всех оплакала, а кто меня оплачет?

1958 (?)

135

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Что отдал — то твое.
Шота Руставели

Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала,
Как в негашеной извести горю
Под сводами зловонного подвала.
Я притворюсь беззвучною зимой
И вечные навек захлопну двери,
И все-таки узнают голос мой,
И все-таки ему опять поверят.

13 января 1959
Ленинград

136

СКОРОСТЬ

Бедствие это не знает предела...
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Все исказила и всем овладела
И ничего не взяла.
Комарово, утро 8 августа 1959 г.

137

ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА

Сегодня я туда вернусь,
Где я была весной,
Я не горюю, не сержусь,
И только мрак со мной.
Как он глубок и бархатист,
Он всем всегда родной,
Как дерева летящий лист,
Как ветра одинокий свист
Над гладью ледяной.

12 октября 1959. Ордынка

138

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы! лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад — не сад, и дом — не дом,
Свиданье — не свиданье.

139

Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.
Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на «Ту»,
Чтобы где попало очутиться,
Покорить любую высоту.

24 октября 1959. Кр. Конница,
Ленинград

140

ТВОРЧЕСТВО

. . . говорит оно:

Я помню всё в одно и то же время,
Вселенную перед собой, как бремя
Нетрудное в протянутой руке,
Как дальний свет на дальнем маяке,
Несу, а в недрах тайно зреет семя
Грядущего . . .

14 ноября 1959. Ленинград

141

НАСЛЕДНИЦА

От Царскосельских лип..
Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:
Фелицу, лебедя, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

20 ноября 1959
Ленинград

142

Волк любит жить на воле,
Но с волком скор расчет:
На льду, в лесу и в поле
Бьют волка круглый год.
Не плачь, о друг единый,
Коль летом иль зимой
Опять с тропы волчиной
Ты крик услышишь мой.

20 ноября-2 декабря 1959

143

И отнять у них невозможно
То, что в руки они берут,
Хищно, бережно, осторожно
Как... меж ладоней трут.

... поэта убили,
Николай правей, чем Ликург.
Чрез столетие получили
Имя — Пушкинский Петербург.

Безымянная здесь могила
. . . . . .
Чтоб область вся получила
Имя «мученика сего».

26 декабря 1959

144

Недуг томит три месяца в постели,
И смерти я как будто не боюсь.
Случайной гостьей в этом страшном теле
Я, как сквозь сон, сама себе кажусь.

(1959)

145

Хвалы эти мне не по чину
И Сафо совсем не при чем,
Я знаю другую причину,
О ней мы с тобой не прочтем.
Пусть кто-то спасается бегством,
Другие кивают из ниш,
Стихи эти были с подтекстом
Таким, что как в бездну глядишь.
А бездна та манит и тянет,
И ввек не доищешься дна,
И ввек говорить не устанет
Пустая ее тишина.

1959 (?)

146

ИЗ НАБРОСКОВ

Даль рухнула, и пошатнулось время,
Бес скорости стал пяткою на темя
Великих гор и повернул поток,
Отравленным в земле лежало семя,
Отравленный бежал по стеблям сок.
Людское мощно вымирало племя,
Но знали все, что очень близок срок.

50-е годы

147

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете,
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы
Мне прислали по одной копейке, —
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой.
И я стала всех сильней на свете,
Так что даже э т о мне не трудно.

1960

148

И это могла, и то бы могла,
А сама, как береза в поле, легла.
А кругом лишь седая мгла.

1960

149

Чей-то голос звучит у крыльца
И по имени нас окликает,
И в ответ ему в темном углу
В мути зеркала что-то мигнуло
И, шутя, золотую иглу
Прямо в сердце мое окунуло.

29 марта 1960
Москва

150

ПАМЯТИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела.
И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он Вышнею Волей храним.

Боткинская больница
11 июня 1960. Москва

151

. . . и слово в музыку вернись
О. Мандельштам

Ты растешь, ты цветешь, ты — в звуке, —
Я тебя на новые муки
Воскресила — дала врагу . . .
Восемь тысяч миль не преграда,
Песня словно звучит у сада,
Каждый вздох проверить могу.
И я знаю — с ним ровно то же,
Мне его попрекать негоже,
Эта связь выше наших сил, —
Оба мы ни в чем не виновны,
Были наши жертвы бескровны —
Я забыла, и он — забыл.

20 сентября 1960
Комарово

152

ПАМЯТИ АНТЫ

Пусть это даже из другого цикла...
Мне видится улыбка ясных глаз,
И «умерла» так жалостно проникло
К прозванью милому, как будто первый раз
Я слышала его.

1960

153

И анютиных глазок стая
Бархатистый хранит силуэт —
Это бабочки, улетая,
Им оставили свой портрет.
Ты — другое... Ты б постыдился
Быть, где слезы живут и страх,
И случайно сам отразился
В двух зеленых пустых зеркалах.

3 июня 1961. Комарово

154

СЛУШАЯ ПЕНИЕ

Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным
И чего на лету ни коснется,
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

19 декабря 1961 (Вишневская пела «Бразильскую баховиану» или «бахиану» (Никола Зимний)
(Больница имени Ленина)

155

Нет, не зря мы вместе бедовали
Даже без надежды раз вздохнуть.
Присягнули, проголосовали —
И спокойно продолжали путь.
Не напрасно ль чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча.
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы-палача.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

1961

156

Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и вьюгой.
. . . . . .
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.

Комарово, 1961 (?)

157

Угощу под заветнейшим кленом
Я беседой тебя не простой —
Тишиною с серебряным звоном
И колодезной чистой водой, —
И не надо страдальческим стоном
Отвечать... Я согласна, — постой, —
В этом сумраке темно-зеленом
Был предчувствий таинственный зной.

1961. Комарово

158

ПОЧТИ В АЛЬБОМ

. . . и третье, что нами владеет всегда
И кажется призрачным раем . . .
Чувство оно или просто беда —
Мы никогда не знаем.
Может быть, где-нибудь вместе живем,
Бродим по мягкому лугу,
Здесь мы помыслить не можем о том,
Чтобы присниться друг другу.

12 июня 1962
Ленинград

159

ВЫХОД КНИГИ

(Из цикла «Тайны ремесла»)

Тот день всегда необычаен.
Скрывая скуку, горечь, злость,
Поэт — приветливый хозяин,
Читатель — благосклонный гость.

Один ведет гостей в хоромы,
Другой — под своды шалаша,
А третий — прямо в ночь истомы,
Моим — и дыба хороша.

Зачем, какие и откуда
И по дороге в никуда.
Что их влечет — какое чудо,
Какая черная звезда?

Но всем им несомненно ясно,
Каких за это ждать наград,
Что оставаться здесь опасно,
Что это не Эдемский сад.

А вот поди ж! Опять нахлынут,
И этот час неотвратим...
И мимоходом сердце вынут
Глухим сочувствием своим.

13 августа 1962 (днем)
Комарово

160

Отпусти меня хоть на минуту,
Хоть для смеха или просто так,
Чтоб не думать, что досталась спруту
И кругом морской полночный мрак.
Знаю, как твое иссохло горло,
Как обуглен, как не дышит рот,
И какая ночь крыла простерла
И томится у твоих ворот.

161

ЕЩЕ ОБ ЭТОМ ЛЕТЕ

Отрывок

И требовала, чтоб кусты
Участвовали в бреде.
Всех я любила, кто не ты
И кто ко мне не едет...
Я говорила облакам:
«Ну, ладно, ладно, по рукам».
А облака — ни слова,
И ливень льется снова.
И в августе зацвел жасмин,
И в сентябре — шиповник.
И ты приснился мне — один
Всех бед моих виновник.

Осень 1962. Комарово

162

Что войны, что чума? — конец им виден скорый;
Их приговор почти произнесен.
Но как нам быть с тем ужасом, который
Был бегом времени когда-то наречен?

1962

163

За меня не будете в ответе.
Можете пока спокойно спать.
Сила — право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

164

ПОДРАЖАНИЕ КОРЕЙСКОМУ

Приснился мне почти что ты.
Какая редкая удача!
А я проснулась, горько плача,
Зовя тебя из темноты.
Но тот был выше и стройней
И даже, может быть, моложе
И тайны наших страшных дней
Не ведал. Что мне делать, Боже?
Что́!.. Это призрак приходил,
Как предсказала я полвека
Тому назад. Но человека
Ждала я до потери сил.

165

ВСТУПЛЕНИЕ К «ПОЛНОЧНЫМ СТИХАМ»

Если бы брызги стекла, что когда-то звеня разлетелись,
Снова срослись — вот бы что́ в них уцелело теперь.

20 августа 1963. Будка

166

ОТРЫВОК

И было этим летом так отрадно
Мне отвыкать от собственных имен
В той тишине почти что виноградной
И в яви, отработанной под сон.

И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого.
Она меня нередко уводила
К концу существованья моего.

И возвращалась я одна оттуда,
И точно знала, что в последний раз
Несу с собой, как ощущенье чуда,
Что . . .

21 августа 1963. Утро. Будка.

167

ПЯТАЯ РОЗА

Дм. Б-ву

Звалась Soleil ты или Чайной
И чем еще могла ты быть,
Но стала столь необычайной,
Что не хочу тебя забыть.

Ты призрачным сияла светом,
Напоминая райский сад,
Быть и Петрарковским сонетом
Могла, и лучшей из сонат.

И губы мы в тебе омочим,
А ты мой дом благослови,
Ты как любовь была . . . Но впрочем,
Тут дело вовсе не в любви.

Начато 3 августа (полдень) под «Венгерский дивертисмент» Шуберта. Оконч. 30 сентября 1963. Будка

168

Я играю в ту самую игру,
От которой я и умру.
Но лучшего ты мне придумать не мог,
Зачем же такой переполох?

17 декабря 1963

169

Все в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь,
Пусть молчанье будет тайным знаком
Тех, кто с вами, а казался мной,
Вы ж соединитесь тайным браком
С девственной горчайшей тишиной,
Что во тьме гранит подземный точит
И волшебный замыкает круг,
А в ночи над ухом смерть пророчит,
Заглушая самый громкий звук.

1963, Москва.

170

„Rosa moretur . . ." Hor.,L., 1.

Ты — верно, чей-то муж и ты любовник чей-то,
В шкатулке без тебя еще довольно тем,
И просит целый день божественная флейта
Ей подарить слова, чтоб льнули к звукам тем.
И загляделась я не на тебя совсем,
Но сколько предо мной ночных аллей-то
И сколько в сентябре прощальных хризантем.
. . . . . .
Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций,
Он сладость бытия таинственно постиг . . .
А ты поймал одну из сотых интонаций,
И все недолжное случилось в тот же миг.

1963 (?)

171

ИЗ «БОЛЬШОЙ ИСПОВЕДИ»

Я званье то приобрела
За сотни преступлений,
Живым изменницей была,
И верной — только тени.

1963 (?)

172

Может быть, потом ненавидел,
И жалел, что тогда не убил.
Ты один меня не обидел,
Не обидевши — погубил.

1963

173

Не давай мне ничего на память:
Знаю я, как память коротка.

174

Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.

175

Мы не встречаться больше научились,
Не подымаем друг на друга глаз,
Но даже сами бы не поручились
За то, что с нами будет через час.

1964

176

А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник — только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная ступень.

1964

177

ИЗ «ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВИЯ»

Стихи на случай

Светает — это Страшный суд.
И встреча горестней разлуки.
Там мертвой славе отдадут
Меня — твои живые руки.

Декабрь 1964.

178

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В РИМЕ

Заключенье не бывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многого в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего, —

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо, — стоят.

В Сочельник (24 декабря) 1964

179

ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ДНЕВНИКА (МЭЧЕЛЛИ)

Мы по ошибке встретили год —
Это не тот, не тот, не тот...
Что мы наделали, Боже, с тобой,
С кем еще мы поменялись судьбой?
Лучше б нас не было на земле,
Лучше б мы были в небесном кремле,
Летели, как птицы, цвели, как цветы,
Но всё равно были — я и ты.

Декабрь 1964

180

СЕВЕР

Запад клеветал и сам же верил
И роскошно предавал Восток;
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Ухмыляясь из-за бойких строк.
Но стоял, как на коленях, клевер;
Влажный месяц пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме...
Вот когда железная Суоми
Молвила: «Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!»

1964

181

Ленинградские голубые,
Три года в небо глядевшие,
Взгляните с неба на нас.

1 января 1943

182

ОТРЫВОК

Так вот где ты скитаться должна,
Тень от тени, чужая невеста!
Неужели же ты не нашла
Для прогулок отраднее места?
Эти пашни припудрив чуть-чуть,
Здесь предзимье уже побродило,
Дали все в непроглядную муть
Ненароком оно превратило.
Разве плохо казалось тебе
У зеленого темного моря,
Что, покорствуя страшной судьбе,
Ты пошла на такое, не споря?
Ты, запретнейшая из роз,
Ты, на царство венчанная дважды,
Здесь убьет тебя первый мороз.
. . . . . .
Набок съехавший куполок,
Лужи, гуси и поезда звуки.
А сожженный луной тополек
Тянет к небу распятые руки
. . . . . .

Звезд загадочные изумруды,
Ржавой прелой душистой листвы
Под ногою шуршащие груды.
. . . . . .
. . . . . .
Но молчит, заколдована, тень,
Мне ни слова не отвечает.

183

На стеклах нарастает лед.
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Что прячется в саду?

184

Мы до того отравлены друг другом,
Что можно и погибнуть невзначай,
Мы черным унизительным недугом
Наш называем несравненный рай.
В нем всё уже прильнуло к преступленью —
К какому, Боже милостив, прости,
Что вопреки всевышнему терпенью
Скрестились два запретные пути.
Ее несем мы, как святой вериги,
Глядим в нее, как в адский водоем.
Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут всем о всём.

185

Нет, ни в шахматы, ни в теннис...
То, во что с тобой играю,
Называют по-другому,
Если нужно называть...

Ни разлукой, ни свиданьем,
Ни беседой, ни молчаньем...
И от этого немного
Холодеет кровь твоя.

Москва

186

И странный спутник был мне послан адом.
Гость из невероятной пустоты,
Казалось, под его недвижным взглядом
Замолкли птицы, умерли цветы.
В нем смерть цвела какой-то жизнью черной.
Безумие и мудрость были в нем тлетворны.

187

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе,
В чужой траве спала.

188

Мир не ведал такой нищеты,
Существа он не знает бесправней,
Даже ветер со мною на ты
Там, за той оборвавшейся ставней.

189

Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

190

Любовь всех раньше станет смертным прахом,
Смирится гордость, и умолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенесть.

191

Там оперный еще томится Зибель
И заклинает милые цветы,
А здесь уже вошла хозяйкой — гибель,
И эта гибель — это тоже ты.

192

Как! Только десять лет, ты шутишь, Боже мой!
О, как ты рано возвратился.
Я вовсе не ждала — ты так со мной простился
Какой-то странной и чужой зимой.

193

И черной музыки безумное лицо
На миг появится и скроется во мраке,
Но я разобрала таинственные знаки
И черное мое опять ношу кольцо.

194

И яростным вином блудодеянья
Они уже упились до конца.
Им чистой правды не видать лица
И слезного не ведать покаянья.

195

Кто его сюда прислал
Сразу изо всех зеркал?
Ночь безвинна, ночь тиха . . .
Смерть прислала жениха.

196

. . . За ландышевый май
В моей Москве стоглавой
Отдам я звездных стай
Сияние и славу.

197

. . . что с кровью рифмуется,
кровь отравляет
и самой кровавою в мире бывает.

198

Моею музой оказалась мука,
Она со мною кое-как прошла
Там, где нельзя, там, где живет разлука,
Где хищница, отведавшая зла.

199

И луковки твоей не тронул золотой,
Глядели на нее и Пушкин, и Толстой.

200

И жесткие звуки влажнели, дробясь,
И с прошлым и с будущим множилась связь.

201

Так уж глаза опускали,
Бросив цветы на кровать,
Так до конца и не знали,
Как нам друг друга назвать.
Так до конца и не смели
Имя произнести,
Словно замедлив у цели
Сказочного пути.

Февраль 1965. Москва

202

А как музыка зазвучала
И очнулась вокруг зима,
Стало ясно, что у причала
Государыня-смерть сама.

(1965—1966)

203—212

ОТРЫВКИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «ПОЭМУ БЕЗ ГЕРОЯ»

I

В черноватом Париж тумане
И наверно опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.

Но он мне — своей Египтянке . . .
Что играет старик на шарманке,
А под ней весь парижский гул,
Словно гул подземного моря, —
Этот тоже довольно горя
И стыда, и лиха — хлебнул.

II

ЧЕРЕЗ 23 ГОДА

Я гашу те заветные свечи.
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи,
И, увы, прокурорские речи —
Все уходит. — Мне снишься ты,
Доплясавший свое пред ковчегом.
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом,
Голос твой из недр темноты.
И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова: Анна!
Говоришь мне, как прежде: т ы

Комарово. 1963
13 мая
Холодно, сыро, мелкий дождь.

III. ПЕТЕРБУРГ В 1913 ГОДУ

За заставой воет шарманка,
Водят мишку, пляшет цыганка
На заплеванной мостовой.
Паровик идет до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой.
В черном ветре злоба и воля.
Тут уже до Горячего Поля,
Вероятно, рукой подать.
Тут мой голос смолкает вещий,
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем — мне некогда ждать.

1961

IV. К «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»

(Блуждающая в списке 55 года строфа)

А за правой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда,
В сентябре в ненастную ночь —
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскую дочь.

1955

V

Что бормочешь ты, полночь наша?
Все равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца,
Не достроена галерея —
Эта свадебная затея,
Где опять под сказку Борея
Это всё я для вас пишу.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица.

5 января 1941

VI

И уже, заглушая друг друга,
Два оркестра из тайного круга
Звуки шлют в лебединую сень.
Но где голос мой и где эхо,
В чем спасенье и в чем помеха,
Где сама я и где только тень.
Как спастись от второго шага . . .

VII

Вот беда в чем, о дорогая,
Рядом с нею идет другая.
Слышишь легкий шаг и сухой?
А где голос мой и где эхо, —
Кто рыдает, кто пьян от смеха —
И которая тень другой?

VIII

Институтка, кузина, Джульетта!..
Не дождаться тебе корнета,
В монастырь ты уйдешь тайком.
Нем твой бубен, моя цыганка,
И уже почернела ранка
У тебя под левым соском.

IX

Строфы в «Решке», нумерованные X и XI:

X

Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе пораскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

XI

Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы — увенчанные позором:
«По ту сторону ада — мы».

XII

Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон.
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он.

213

Еще к этому добавим
Самочиркой золотой,
Что Аничкова прославим
Сердцем всем и всей душой.

214

ОДИНОЧЕСТВО
(Из Рильке)

О святое мое одиночество — ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
Как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далеким не верь
И крепко держи золотую дверь,
Там, за нею, желаний ад.

1910. Царское Село

215

«Брат! Дождалась я светлого дня.
В каких скитался ты странах?»
«Сестра, отвернись, не смотри на меня,
Эта грудь в кровавых ранах».

«Брат, эта грусть — как кинжал остра.
Отчего ты словно далеко?»
«Прости, о прости, моя сестра,
Ты будешь всегда одинока».

Киев. 1909

216

Если в небе луна не бродит,
А стынет — ночи печать . . .
Мертвый мой муж приходит
Любовные письма читать.
В шкатулке резного дуба
Он помнит тайный замок,
Стучат по паркету грубо
Шаги закованных ног.
Сверяет часы свиданий
И подписей смутный узор.
Разве мало ему страданий,
Что вынес он до сих пор . . .

10 - е годы

217

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю — нам зачислятся
Бденья у позорного столба.
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал . . .
Посмотри туда — он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.

10-е годы. Царское Село

ПРОЗА

МОЯ БИОГРАФИЯ

Я родилась 24 июня (в Иванову ночь) 1889 года в предместьи Одессы Большой Фонтан, дача Саракини. Отец мой — Андрей Антонович Горенко — был в это время инженер-механиком флота. Мать — Инна Эразмовна рожд. Стогова (в молодости в «Народной Воле»). Ее бабушка -- кн. Ахматова, от которой идет мой псевдоним.

Через год после моего рожденья семья переехала в Царское Село, где я прожила до шестнадцати лет. Я научилась читать 7-ми лет. Училась в женской Мариинской гимназии. Попытка Смольного института. Почти ежегодно семья проводила лето под Севастополем близ Херсонеса,. Языческое детство. (Гунгенбург — 2 лета.)

Первое стихотворение я написала одиннадцати лет, оно называлось «Голос». Державина, Некрасова мама читала наизусть, Некрасов — чуть ли не единственная книга в доме. 24 февр. 1903 познакомилась с Н. С. Г.

Впервые напечаталась я в феврале 1907 г. в парижском журнале «Сириус» (подпись А. Г.).

В 1905 году мои родители разошлись, отец вышел в отставку, и мать со всеми детьми уехала в Евпаторию. (Бедность.)

Учиться я продолжала дома, а для окончания гимназии переехала в Киев, где жила у моей кузины М. А. Змунчилла, и окончила киевскую Фундуклеев-

скую гимназию, после чего поступила на юридическое отделение Высших Женских Курсов.

В 1910 г. я вышла замуж за Н. С. Гумилева и вернулась в Царское Село. Весны 1910—11 годов я провела в Париже. Модильяни. В 1912 году путешествовала с мужем по Швейцарии и Италии. (1 окт. 1912 родился мой сын Лев.)

С 1911 года я начала печататься в журналах и альманахах, в 1912 году вышел мой первый сборник стихов «Вечер» с предисловием М. Кузмина. Я была членом содружества поэтической молодежи «Цех Поэтов», где синдиками были Н. Г. и С. Г., и примкнула к зарождавшемуся тогда новому литературному течению, противопоставлявшему себя Символизму, — Акмеизму. (Н. В. Недоброво — Царскосельская идиллия.)

В 1914 году вышел мой сборник «Четки» (9 изд.). Тогда же я написала поэму «У самого моря» (Херсонесские воспом.), вошедшую в третью книгу моих стихотворений «Белая стая». В 1915 г. заболела туберкулезом. Каждое лето с 11 по 17 г. я проводила в имении моей свекрови А. И. Гумилевой.

В 1916 г. я переехала из Царского Села в Петербург. В августе 1918 г. развелась с Н. С. Г. и вышла замуж за В. К. Шилейко. В 1921 г. рассталась с Вл. Каз. Шилейко.

В 1921 г. вышел сборник «Подорожник» и в 1922 „Anno Domini". Последующие годы я занималась вопросами теории и истории литературы. Работала по установлению литературных источников некоторых произведений Пушкина. Две из моих работ по Пушкину были опубликованы — одна в журнале «Звезда» («Последняя сказка Пушкина», 1934 г. № 1), другая во «Временнике Пушкинской Комиссии» Академии наук («Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина», 1937 г. № 1.)

В тридцатых годах вышла книжка моих переводов писем Рубенса.

В 1936 г. я отчего-то снова начала писать стихи, первым было «Борис Пастернак» — 19 янв. В 1940 г. я начала писать «Поэму без героя».

Отечественная война застала меня в Ленинграде. Во время блокады в конце сентября (28-го) я вылетела на самолете в Москву, а из Москвы в дни паники — 10-го поехала в Чистополь, а оттуда в Ташкент, где прожила два с половиной года, и первого июня 1944 года вернулась в Ленинград.

В годы Великой Отечественной войны мои стихи печатались в газетах, журналах и альманахах Москвы, Ленинграда и Средней Азии. Эти стихи вскоре появятся в сборнике «Стихотворения» (1909—1945).

В 1945 г. я написала два цикла стихотворений: «Чинкве» и «Ленинградские элегии» и закончила «Поэму без героя».

НАД ЧЕМ Я РАБОТАЮ

Последние годы я занята изучением творчества Пушкина. Первой моей работой по этому вопросу была статья, напечатанная в 1933 году в журнале «Звезда», — «Последняя сказка Пушкина». В этом году в «Пушкинском Временнике» Академии наук напечатана моя работа — «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина».

Сейчас я работаю над комментарием для третьего тома академического издания Пушкина (к «Сказке о золотом петушке»). Эта работа поглощает почти все мое время и отодвигает осуществление других замыслов.

Много времени я уделила переводам. Недавно в «Звезде» напечатан мой перевод большого стихотворения армянского поэта Даниэля Воружан — «Первый грех». Сейчас я закончила перевод двух стихотворений современного армянского поэта Чаренца.

Кроме того, для первого тома академического издания Пушкина я перевела на русский язык все французские стихи, печатающиеся в комментариях, а также французские стихи Пушкина.

Я писала лирические стихи. Мною подготовлен к печати сборник «Избранное» (для издательства «Советский Писатель), в который вошли не только ранее изданные стихотворения из всех моих книг, но и стихи 1930—1935 гг.

Я слежу за советской поэзией. Из современных поэтов я ценю и уважаю Б. Пастернака. Недавно я написала стихотворение, посвященное ему. Вот последняя строфа этого стихотворения:

Он награжден каким-то вечных детством,
Той зоркостью и щедростью светил.
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

По окончании работы над комментарием к академическому изданию Пушкина я предполагаю продлить свои исследования над источниками пушкинского творчества. Тем много, и какую я выберу — мне трудно сказать.

Возможно, что я буду переводить трагедию Шелли «Ченчи», которую предполагает издать «Академия».

(1936)

НЕИЗДАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О МАНДЕЛЬШТАМЕ»

. . . . . .

Очень ему не нравилось, когда молодые женщины любили «Четки». Рассказывают, что он был как-то у Катаевых и приятно беседовал с красивой женой хозяина дома. Под конец ему захотелось проверить вкус дамы и он спросил ее: «Вы любите Ахматову?», на что та естественно ответила: «Я ее не читала», после чего гость пришел в ярость, нагрубил и в бешенстве убежал. Мне он этого не рассказывал.

Зимой в 1933—34 гг., когда я гостила у Мандельштама на Нащокинском, в феврале 1934 г. меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип взволновался: «Вас хотят сводить с московской литературой!» Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТ-а».

Осип совсем рассердился. Он бегал по комнатам и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТ-а?»

Однажды Надя повезла Осипа встречать меня на вокзал. Он встал рано, озяб, был не в духе. Когда я вышла из вагона, сказал мне: «Вы приехали со скоростью Анны Карениной».

Комнатку (будущую кухню), где я у них жила, Осип прозвал Капище. Свою называл Запястье (потому что в первой комнате жил Пяст). А Надю называл Маманас (наша мама).

Почему мемуаристы известного склада (Шацкий-

Страховский, Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют головы перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта божественная гармония, которую называют стихами Мандельштама?

***

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву — к «себе», в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения: «Клейкой клятвой пахнут почки» и «К пустой земле невольно припадая».)

Уже год, как, все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя даже показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. Х. сказал ему: «Вы слишком нервный». Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это, вероятно, тогда Осип говорил Наде: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы — нищие» и «нищим летом всегда легче».

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа, — «Как по улицам Киева-Вия» (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном Доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал «Благодарю вас» и заснул. В это время в Шереметевском Доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: «А может быть есть другой занимательный выход?»

В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса. Он в хорошем переводе, я в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе Писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, «забыли» послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: «Я иду на 'Снегурочку'», а Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они — он и Надя — приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы пови-

даться с ними, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то пришедший после меня сказал, что у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания О. Э. о нем и обо мне, и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе?

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Чарусти (в разгар террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта). О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».

***

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Эммы Григорьевны Герштейн): «У подружки Лены (Осьмеркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», — писала она.

От Осипа было всего одно письмо (брату Александру) из того места (.....), где он умер. Письмо у Нади. Она показала мне его, «Где моя Надинька?» — писал Осип, и просил теплые вещи. Посылку послали. Она вернулась, не застав его в живых.

Настоящим другом Нади все эти очень для нее трудные годы была Василиса Георгиевна Шкловская и ее дочь Варя.

Сейчас Осип Мандельштам — великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги — защищают диссертации. Быть его другом — честь, врагом позор.

Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно от Нади), как мне плохо в Фонтанном Доме, сказал мне, прощаясь (это было на Московском вокзале в Ленинграде): «Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом — ваш». Это могло быть только перед самой гибелью, то есть в 1938 году.

8 июля 1963. Комарово

ИЗ НЕНАПИСАННОЙ КНИГИ

(отрывки воспоминаний)

О книге, которую я никогда не напишу, но которая все равно уже существует и люди заслужили ее. Сначала я хотела писать ее всю, теперь решила вставить несколько кусков из нее в повествование о моей жизни и о судьбах моего поколения. Эта книга задумана давно и отдельные новеллы известны моим друзьям.

И кто бы поверил, что я задумана так надолго и почему я этого не знала. Память обострилась невероятно Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвеньем, может миновать их. Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все пятьдесят лет ни разу не вспомнила. Странно было бы объяснить все это только моим летним одиночеством и близостью к природе, которая давно напоминает мне только о смерти.

Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать.

Модильяни как-то очень хорошо говорил о путешествиях, но когда я думаю об этих словах, почему-то вспоминаю не Париж и Люкс[ембургский] сад, а Екатерининский парк. Там, наверно, я пересказывала кому-то слова М[одилья]ни. А говорил он как-то так... Путешествия подменяют настоящее действие (action), создают впечатление чего-то, чего в самом деле нет в жизни.

В первый раз я стала писать свою биографию, когда мне было 11 лет, в разлинованной красным маминой книжке для записывания хозяйственных расходов (1900 г.). Когда я показала свои записи старшим, они сказали, что я помню себя чуть ли не двухлетним ребенком (Павловский парк, щенок Ральф и. т. п.).

Биографию я принималась писать несколько раз, но, как говорится, с переменным успехом. Последний раз это было в 1946 г. Она, насколько помню, была не очень подробной, но там были мои впечатления 1944 — «Послеблокадный Ленинград», «Три сирени» — о Ц[арском] С[еле] и описание поездки в конце июля в Териоки — на фронт, чтобы читать стихи бойцам. Их мне теперь трудно восстановить. Остальное же настолько окаменело в памяти, что исчезнет только со мною вместе.

В Ташкенте от эвакуационной тоски написала «Дому было сто лет», там же в тифозном бреду все время слушала, как стучат мои каблуки по Царскосельскому Гостиному двору — это я иду в гимназию, снег вокруг собора потемнел, кричат вороны, звонят колокола — кого-то хоронят.

В первый раз я написала несколько страничек прозой в 1944, вернувшись из Ташкента. Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я не удержалась и описала эту мою с ним встречу

(«Столицей распятой иду я домой»). Тогда же возникли «Три сирени» и «В гостях у смерти (Териоки)». Все это очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел убрать грибоедовскую цитату и еще одно слово и сказал, что с остальным согласен. Я была рада.

Когда я вернулась (1 июня 1944) в Ленинград, мне хотелось писать только прозу. Три очерка: «Послеблокадный Ленинград», «Три сирени» (поездка в Пушкин в июне 1944) и «Териоки в июле».

Проза всегда казалась мне и тайной, и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи — я никогда ничего не знала о прозе. Я или боялась ее или ненавидела. В приближении к ней чудилось кощунство или это обозначало редкое для меня душевное равновесие.

Который-то день вожусь с биографической книгой. Замечаю, что очень скучно писать о себе и очень интересно писать о людях и о вещах (П[етербург], запах Павл[овского] вокзала, парусники в Гунгенбурге. Одесский порт в конце 40-дн[евной] забастовки). Себя надо давать как можно меньше.

Как все уже было давно... И первый день войны, кот[орый] еще недавно был близким, и день победы, кот]орый[, кажется, еще вчера стоял за плечом, и 14 августа 1946... И это уже история. Недавно были переводы, кот[орые] я сдала и не сдала, замоскворец[кое] житие и те сосенки, кот[орые] сейчас сердито качаются на фоне белой ночи.

Здесь северно очень и осень
в подруги
Я выбрала в этом году, —

писала я в прошлом году, и как это уже далеко, а я собралась сейчас описывать 90-ые годы 19 века! 1957.

Однако книжка — двоюродная сестра «Охранной грамоты» и «Шума времени» должна возникнуть.

Боюсь, что по сравнению со своими роскошными кузинами она будет казаться замарашкой, простушкой, золушкой и т. д. Оба они (и Борис и Осип) писали свои книги, едва достигнув зрелости, когда все, о чем они вспоминают, было еще не так сказочно далеко. Но видеть без головокружения девяностые годы 19 в[ека] с высоты середины XX века почти невозможно.

Я уже не говорю о Маяковском и Хлебникове. Это полностью их время. Во Флоренции, во дворце Уфиции, в нишах стоят статуи Данте, Петрарки, Боккач[чо], Микель-Анджело, Леонардо. Я думала, это гал[ерея] великих людей. Итальянец сказал: Нет, это просто уроженцы Флоренции.

Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно проясняется — (как в первые осенние дни), люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств возникает при этом.

Говорить о детстве и легко, и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, кот[орая] совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим слишком счастливыми. И то, и другое — вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны.

Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека, и существуют люди, которые только в нее и

верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: Разве это был я?

Всякая попытка связных мемуаров это — фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Я ни в какой мере не собираюсь вескрешать жанр «физиологического очерка» и загромождать книгу бесчисленными маловажными подробностями.

В сущности никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции.

Сейчас с изумлением прочла в «Звезде»... что М[ария] Ф[едоровна] каталась в Золотой карете. Бред! — Золотые кареты действительно были, но им полагалось появляться лишь в высоко торжественных случаях — коронации, бракосочетаниях, крестин, первого приема посла. Выезд М[арии] Ф[едоровны] отличался только медалями на груди кучера. Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100?

Замечаю, что пишу что-то не то: на двух страницах чуть не 10 тем, и все весьма сбивчиво, как теперь любят говорить.

ПЛАНЫ КНИГИ

1

I. Пушкин и дети (1937).
II. М. Ф. Вальцер у Достоевского. Отец у Философовых.
III. Осип [Мандельштам] в 1933. (Данте) и о Пушкине.
IV. Искра паровоза.
V. Анчар (из семейной хроники).
VI. <3?> обломочка о Поэме.
VII. Траг[едия] «Маскарад». (Сон в больнице — в Гавани).
IX. Слепнево.

2

Люди

1. Мандельштам.
2. Дафнис и Хлоя (Царскос[ельская] ид[иллия]).
3. Модильяни (Париж, 1911).
4. Нора Полонская.
5. Нина [Ольшевская].
6. Поэты (нас семеро).
7. Нищенка-подруга

Люди в моей книге «Пестрые заметки».
(Глава «Современники»).
1. О. Мандельштам.
2. Б. Пастернак.

3. Отречение от Блока.
4. Шенгели.
5. Нора Полонская.
6. Нина Ольшевская.
7. Н. Я. Мандельштам.
8. Модильяни (1964).
9. Вяч. Иванов и А. Белый (по Б.).

Каждому из них будет посвящена отдельная главка. Первые три готовы или полуготовы (I. Смертный путь. II. Разгадка тайны. III. Как у меня не было романа с Блоком. IV. Неуслышанный голос. V. Невинная жертва... VI. И все-таки победительница. VII. Нищенка-подруга.

**
*

Еще полуготовые новеллы, 1922 г. (Луначарский... стиль жизни НЭПа, возрождение литературы: журналы, альманахи. Кто уехал, кто остался. Берлинские издания, Лит[ературные] вечера. Поколение, обреченное искусству. Стих[отворные] студии. Сер[апионовы] братья. Частные издатели (Алянский и др.). Щеголевы. Дом искусства. Дом литераторов)...

1924. Поездка в Москву — вечер Консерват[ории]. («Русский современник», М. А. Чехов, Чуковский, Замятин и др.) и Полит[ехнический] музей (Вступительное слово). Последствия этой поездки...

Начало Пушкинизма в мр[аморном] дворце (André Chénier). Григорий Алекс[андрович] Гуковский. Беседы с ним о Пушкине.

Наводнение (24 авг. 1924). Панихида на Смол[енском] кладб[ище].

Я — у Сологуба: Осенью. Отъезд Олги. Я живу в Мр[аморном] дворце.

Книга.

Мои полвека
(1910—1960).
Вступление.

1. Ф. М. Достоевский. (Рассказ М. Ф. Вальцер). Ависага.
2. Ам[едео] Модильяни (Париж).
3. Ал. Блок (1911—1921). Выступления. Единственная беседа. Легенда. Объяснение ее стойкости. Похороны.
4. Мандельштам (1910—1937); про Ремизова (Засада).
5. Пастернак в 1935 г. Письма Сталину.
6. Цветаева (2 дня 1941 г.) (Стихи).
7. Башня (1910—1911). Вяч. Иванов. (Вера и др.).
8. Бродячая Собака (1912—1914). Две зимы).
9. Цех поэтов (1-ый).
10. Акмеизм («Судьба акмеизма»).

10[1] Царское Село (Г[умиле]в, тайна его любви).

11. Петербург с 90-ых годов 19 века до наших дней.
12. Москва в 1918 (3-ий Зачатьевский).
13. Слепнево в 1911—1917. Его огромное значение в моей жизни.
14. Проза или, вернее, «О прозе».
15. Все о лирике. Жанр, в кот[ором] человек меньше всего выдает себя и почему.
16. Павловский вокзал. (Его запахи, шумы, дымы, парк, люди).

«Мои полвека (продолж[ение]).

Первая часть . . .

I-ая глава. Дому было сто лет. (Начало писала в Ташкенте). Царско[се]льские похороны. Царское Село с большой цитатой из мемуаров Н. Пунина «Город Муз». Стихи Н. С. Г[умилева]. Гимназия.

II-ая глава. Мнимая юность. Евпатория. Севастополь. Киев. Стихи. Рассказ М. Ф. [Вальцер] о Достоевском.

III-ья глава. Париж 1910—1911. Слепнево. Его великое значение в моей жизни.

IV-ая глава. Петербург 10-ых годов. Башня. Цех поэтов. Акмеизм. Малая 63. «Четки». Война 1914 г. Н. В. Н[едоброво]. Ген[еральная]репетиция «Маскарада» (25 ф[евраля] 17 г.). Севастополь. Слепнево 1916 г. Февральская Революция. (Боткинск[ая] 9). «Белая стая» (сент. 1917).

Вторая часть.

I. Мои дворцы (Шерем[етевский] . . . Мрам[орный]). Первый голод. Нищета. «Anno Domini». НЭП. Журналы и выступления. Обширная критика (К. Чуковский, Г. Чулков, Айхенвальд, Эйхенбаум, Виноградов и т. д.). Литературные вечера. К[нигоиздательст]ва «Алконост» и «Petropolis». В Москве . . . «Русский Трианон» (поэма) и «лирика». Часть забыта и пропала.

II. 1935 год — 1940 — большой цикл стихов. Сороковой год — непрерывный поток стихов. «Из шести книг».

III. 1941. «Поэма без героя». Война. Эвакуация. Ташкент. Тиф. Скарлатина. Смерт[ельный] грипп. 13 мая 1944 — возвращенье в Москву. Послеблокадный Л[енингра]д. Стихи. Cinque . . .

Третья часть.

1946—1961. 15 мая 56 г. — возвращение Льва. Фонтанный Дом — Красная Конница. Ордынка. Комарово. Временная работа над поэмой, с 1955 — стихи, с 1958 («Лит[ература] и жизнь») печатаюсь в журн[алах]. 1951 (май) — инфаркт. Больница. С 1950 г. — переводы. Работа над Пушкиным . . .

ПЛАН

1957. Комарово

I. (Pro domo mea)

1) Что-то вроде биографии (Обзор сож[женной] биографии).
2) Фаты либелей (Fata libelli) написала.
3) О лирике. Город, Ц[арское] С[ело], Севаст[ополь]. Слепнево.
4) Ташкентская драма: Энума Элиш, в III частях.
   Первая — На лестнице, вторая — Пролог (в стихах).
   Третья — Под лестницей.
   И ее судьба. (Сгорела 11 июня 1944 в Фонт[анном] Доме).
5) Судьбы (Модильяни, Мандельштам, Н. В. Н., В. В. Полонской). Наничка. Наташа Рыкова.
6) Судьба акмеизма.

II. Marginalia

О Шекспире

1. О Макбете.
2. О Фальстафе (находка в Лонд[онском] суде).
3. Найденная цитата в Гамлете.

(Frêre Berthold)

О Достоевском:

Пушкин и Достоевский (40-ые годы).

О «Преступлении и наказании» (Антидетективный роман.

Как Д[остоевский] разгадывает Пушкина.

О Достоевском вообще (Композиция романа — все за переплетом книги).

О Л. Толстом

О «Крейц[еровой] сонате» [1889] — год моего рождения.

О «Воскресении» (Последний год века) Зависть к Дост[оевскому].

Тюрьма. Девичья . . .

Об Анне Карениной (если посмею)

C'est beau comme de la prose.

Последняя книга (1957)

I. (Pro domo mea)

1. Биография.
2. Судьбы.
3. Город.
4. О лирике.
5. Судьба акмеизма.

II. Marginalia

1. Шекспир (О Макбете. О Фальстафе. Цитата в Гам[лете]).
2. Достоевский.
3. Пушкин (Повести Белкина).
4. Шинель Гоголя.

**
*

Л. Н. Толстой утверждал, что хорошо только то произведение, которое не помещается в рамки жанра, и восклицал: «Что такое „Мертвые души“, что такое „Былое и думы“». Когда [С-ов] пришел ко мне в Ташкенте (1942 г.) просить, чтобы я отказалась от «Поэмы без героя», потому, что это не поэма — таких поэм дескать

никто не писал, я ответила, что *именно* потому это поэма, и привела как пример три имени (Пушк[ина], Некр[асова], Маяк[овского]) поэтов, произведения кот[орых] не вмещались в установл[енный] для них жанр («Кавк[азский] пл[енник]», «Кому на Руси» и «Облако в штанах»). Отсюда же неудача «традиционного» «Возмездия» Блока (Онегинская интонация в поэме 20 века невыносима: Думаю, что она была невыносима и гораздо раньше) и триумф не имеющего предшественников «Двенадцати».

**
*

Боюсь, что все, что я пишу здесь, относится к мрачному жанру. — «Дочь Фауста» (см. Додэ «Жак»), т. е. все это попросту не существует. И чем больше люди хвалят это убогое скудное бормотание, тем меньше я им верю. Это происходит от того, что я сама вижу и слышу за этими словами так много, что оно совершенно стирает самые слова (22 ноября 1957, Москва).

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Начало

Я родилась в один год с Чарли Чаплином и «Крейцеровой сонатой» Толстого, [Г-ом], «Эйфелевой башней» и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии — 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется знаменитая древняя «Иванова ночь» — 23 июня (Midsummer night).

Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была (Чингизидкой) татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим лит[ературным] именем. Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли — рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Когда мне было 15 лет и мы жили на даче в Люстдорфе, проезжала как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, кот[орую] я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка. Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала!» — сказала она.

Непременно 9 января и Цусима — потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное. 10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской, 1911 — год Китайской революции,

изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий.

XX век начался осенью 1914 г. вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм явление 19 в. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 в. и не хотели оставаться в предыдущем...

Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз... Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны: «Чтобы не расстраиваться!» От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 г. весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: какие они счастливые — у них не выходит книжка.

Петербург

Когда, с Ник[олаем] Ник[олаевичем] ездили... в Сестрорецкий курорт, то всегда возвращались через Белоостров. Тогда поезд по этой линии шел почти все время через лес — густой, темный, хвойный... Немцы, т. е. финны, сожгли эти леса. Теперь там только пни, кое-где кустарники. И с тех пор произошло столько событий. Все это я вспоминаю всякий раз, когда еду в город из Комарова.

После П[етербур]га, каким я застала его (тогда я была в полном смысле слова только зрительницей), я скажу несколько слов о П[етербур]ге десятых годов, о военном П[етербур]ге, о П[етрограде] революционном. О незабываемом 19 г. (почему-то начисто забытом) и, наконец, о послеблокадном Ленинграде. Сколько слоев!!!

Эти темы кое-как затронуты в моей «Поэме без героя», послеблокадный Ленинград подробно описала по возвращении из Ташкента (из эвакуации).

И два окна в Мих[айловском] замке, кот[орые] остались такими же, как в 1801 г., и казалось, что за ними еще убивают Павла, и Семеновские казармы, и Семеновский плац, где ждал смерти Достоевский, и Фонтанный дом — целая симфония ужасов... Шереметьевские липы, перекличка домов... Летний... Первый благоуханный, замерший в июльской неподвижности, а второй под водой в 1924 г. И снова Летний, изрезанный зловонными рвами-щелями 1941 и Марсово плацпарад, где ночью обучали новобранцев в 1915 г. (барабан) и Марсово — огород уже разрытый, полузаброшенный (1921) под тучей вороньих крыл, и ворота, откуда вывозили на казнь народовольцев...

Звуки в петербургских дворах. Это, во-первых, звук бросаемых в окно подвала дров. Шарманщики. (Пой, ласточка, пой, сердце успокой!..). Точильщики («Точу ножи, ножницы!!!»). Старьевщики («Халат, халат!!!»), которые всегда были татарами. Лудильщики «Выборгские крендели привез». Гулко во дворах колодцах.

Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы самое безвкусное время»; так, вероятно, надо теперь говорить; но я все же ответила: кроме всего прочего это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева.

Слепнево

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, ал-

мазные снега. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали Революцию...

Слепнево для меня, как арка в архитектуре... сначала маленькая, потом все больше и больше и наконец — полная свобода (но если выразить).

Запахи Павловского Вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый — дым от допотопного паровозика, кот[орый] меня привез — Тярлево парк, salon de music (кот[орый] называли «соленый мужик»), второй — натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий — земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, кот[орые] продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское — всегда *будни*, потому что *дома*, Павловск — всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко(?) от дома...

О Анненском

Меж тем как Бальмонт и Брюсов сами завершили ими же начатое (хотя еще долго смущали провинциальных графоманов), дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении. И если бы он так рано не умер, мог бы видеть свои ливни, хлещущие на страницах книг Б. Пастернака, свое полузаумное: «Деду Лиду ладили...» у Хлебникова, своего раешника (шарики) у Маяковского и т. д. Я не хочу сказать этим, что все подражали ему. Но он шел одновременно по стольким дорогам! Он нес в себе столько нового, что все новаторы оказывались ему сродни... С Пастерн[аком] я говорила осенью 1935 г... Борис Леонидович со свойственным ему красноречием ухватился за эту тему и категорически утверждал, что Анненский сыграл большую

роль в его творчестве . . . С Осипом я говорила об Анненск[ом] несколько раз. И он говорил об Анненском с неизменным пиететом. Знала ли Анненского М. Цветаева, не знаю. Любовь и преклонение перед Учителем и в стихах и в прозе Гумилева.

О Блоке

Блока я считаю не только величайшим европейским поэтом первой четверти двадцатого века (горько оплакивала его преждевременную смерть), но и человеком-эпохой, т. е. самым характерным представителем своего времени . . . но знала его крайне мало, в то время когда мы (вероятно, раз 10) встречались, мне было совсем не до него, и я сначала, когда до меня стала доходить эта, по-видимому, провинциального происхождения сплетня, только смеялась. Однако теперь, когда она грозит перекосить мои стихи и даже биографию, я считаю нужным остановиться на этом вопросе. Очень сожалею, что три мои письма к Блоку (ответы на его известные в печати письма), повидимому не сохранились. Все мои воспоминания о Блоке могут уместиться на одной странице обычного формата, и среди них интересна только его фраза о Льве Толстом.

О Мандельштаме

Я меньше всего стремлюсь создать М[андельшта]му «респектабельную» биографию. Да она совсем и не нужна ему. Это был человек с душой бродяги в самом высоком смысле этого слова и poéte maudit par excellence, что и доказала его биография. Его вечно тянул к себе юг, море, новые места. О его исступленной влюбленности в Армению свидетельствует бессмертный цикл стихов 1929.

15 февраля 60 г... При О[сипе] нельзя было никого хвалить, он сердился, спорил, был невероятно несправедлив, заносчив, резок. Но если вы бы вздумали этого же человека порицать при нем — произошло бы то же самое, он бы защищал его изо всех сил.

Что поют часы-кузнечик — это мы вместе топили печку; у меня жар — я мерю температуру — лихорадка шелестит, (И шуршит сухая печка). Это красный шелк горит...

У меня от ваших стихов иногда впечатление полета. Сегодня этого не было, а должно быть. Следите, чтоб всегда было... Эти ваши строки можно удалить из моего мозга только хирургическим путем (о чем-то из «Четок»). По поводу стихов Н. Бруни пришел в ярость и прорычал: «Бывают стихи, которые воспринимаю как личное оскорбление». Отметить и попытаться объяснить разницу отношений к М[андельшта]му Ленинграда и Москвы (30-ые годы)... В 1920 г. Мандельштам увидел Петербург — как полу-Венецию, полутеатр.

Гумилев и Африка

«Шатер» — заказная книга географии в стихах и никакого отношения к его путешествиям не имеет. В 1908 был в Каире (Эзбекие). Путешествия было два: одно длилось полгода. Уехал он осенью *1910 г.*, а вернулся 25 марта ст[арого] ст[иля] 1911 г. Был в Аддис-Абебе, через Джибути. Второй раз он уехал в 1913 г. с открытым листом от Ак[адемии] наук с племянником Николаем Леонидовичем Сверчковым (сыном сестры) для обретений предметов быта (этнография). Статья «Ловля акулы» (в «Ниве»). Был африканский дневник. В «Трудах и днях», что-то в «Ниве» («Сомали») могут быть какие-нибудь подробности. Афр[иканские] охоты. *(Нарбут в Абис[синии])*. Африканская лихорадка.

Триптих подарил проф. Тураеву. *Песни* записывал. М. б., существуют письма с пути и с места... Книга Сверчкова о пут[ешествии] 1913 г. была отдана в И[здательств]о Гржебина и, повидимому, там пропала.

Маковский поверил басне, кот[орой] в 10-х годах не существовало, и вместо того, чтобы писать об участии Гумилева в «Аполлоне», о зарождении акмеизма, о позиции «башни», он, старый человек, срамится, передавая с чьих-то слов зловонные и насквозь лживые семейные истории.

А то, что все на свете позабывший и перепутавший 83-лет[ний] Маковский мог перепечатать этот злостный вздор, не вызывает ничего, кроме жалости. И хороши же его доказательства!.. А все это в конце концов месть Ахматовой за то, что она не стала эмигранткой. Вторая басня имеет более преступное намерение. Кому-то просто захотелось исказить образ поэта. Не будем вдумываться, с какими грязными намерениями это было совершено, но оставить это так, как есть, не позволяет мне моя совесть.

О Пастернаке

«Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было... Наступает долгий (10 лет) и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах. Так и слышу его растерянную интонацию: «Что это со мной?!» Появилась дача (Переделкино), сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковье — встреча с *Природой*. Природа всю жизнь была его единственной полноправной Музой, его тайной собеседницей, его Невестой и Возлюбленной, его Женой и Вдовой — она была ему тем же, чем была Россия — Блоку. Он

остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 г., когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону: «Я написал 9 стихотворений. Сейчас приду читать». И пришел. Сказал: «Это только начало — я распишусь».

Я сейчас поняла в Пастернаке самое страшное: он никогда ничего не вспоминает. Во всем цикле «Когда разгуляется», он, уже совсем старый человек, ни разу ничего не вспоминает: ни родных, ни любовь, ни юность . . .

Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
Мы про нее не вспоминаем даже.

О М. Цветаевой

Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последн[ий]). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-лет[ней] любви, кот[орая] оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда (не так, как та, с кот[орой] она любила себя сравнивать, т. е. с арапчонком и обезьянкой в французком платье, т. е. décolleté grande gorge), мне хочется просто «без легенды» вспомнить эти *Два дня*.

О Вяч. Иванове

Ни прельстителем, ни соблазнителем Вяч. Ив[анов] для нас (тогдашней молодежи) не был... В эмиграции Вячеслав Иванов [стал] придумывать себя «башенного» — Вячеслава Великолепного... Никакого великолепия на Таврич[еской] не было. Но, очевидно, в эмиграции появилась та же психология, что во время войны в эвакуации, когда всем казалось, что они приехали из дворцов и особняков...

О поэзии

И если Поэзии суждено цвести в 20-м веке именно на моей Родине, я, смею сказать, всегда была радостной и достоверной свидетельницей... И я уверена, что еще и сейчас мы не до конца знаем, каким волшебным хором поэтов мы обладаем, что русский язык молод и гибок, что мы еще совсем недавно пишем стихи, что мы их любим и верим им.

***

ЗАМЕТКИ К «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»

... «Триптих» ничем не связан ни с одним из произведений 10-х годов, как хочется самым четвероногим читателям, кот[орые] в «простоте» своей полагают, что это способ легче всего отмахнуться от 40-х. «Это старомодно — так когда-то писали».* Кто, когда?
М[ожет] б[ыть], это очень плохо, но так никто никогда не писал, и между прочим в 10-х годах.
В. М. Жирмунский очень интересно говорил о поэме. Он сказал, что это исполнение мечты символистов. Т. е. это то, что они проповедовали в теории, никогда не осуществляли в своих произведениях (магия ритма, волшебство ви́дения), что в их поэмах ничего этого нет.
... Напр[имер], (Блок о Комиссаржевской): В. Ф. Ком[иссаржевская] голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого ее требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.
Вот эту возможность звать голосом неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова, Жирм[унский] и имеет в виду, говоря о «Поэме без героя». Оттого столь различно отношение к Поэме у читателей. Одни сразу слышат это эхо, этот второй шаг. Другие его не слышат [...]
Все это я сообразила очень недавно, и, возможно, это и стало моим разлучением с Поэмой.

---

* Таково было мнение, например, И. Л. Сельвинского. (А х м.)

... [Е. С.] Добин назвал ее вершиной 20-го столетия (1960. Лето. Комарово). X — реквиемом по всей Европе* (1946).
В. В. Чердынцев сказал ...
... Борьба с читателем продолжалась всё время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе.

**
*

Итак, если слова Берк[овского] не просто комплимент, — «Поэма без героя» обладает качествами и свойствами совершенно нового и не имеющего в истории литературы [и тени] прецедента — произведения, потому что ссылка на музыку не может быть приложена ни к одному известному нам литературному произведению.
О музыке, в связи с «Триптихом», начали говорить очень рано, еще в Ташкенте (называли «Карнавал» Шумана — Ж. Санд), но там характеристики даны средствами самой музыки. Установление им же ее танцевальной сущности (о кот[орой] говорил и Пастернак — фигуры «Русской») объясняет ее двукратный уход в балетное либретто.
... Б. Пастернак говорил о Поэме как о танце. Две фигуры «Русской». «С платочком», «отступая» — это лирика — она прячется. Вперед, раскинув руки, — это поэма. Говорил, как всегда, необычайно — не повторить, не запомнить, а все полно трепетной жизни.

(14 дек. 1960. Москва).

---

* В заметке «Вместо предисловиа (к балету „Триптих")» Ахматова пишет: «Гость из будущего называет Поэму Реквиемом по всей Европе и исчезает в мутном зеленом зеркале Шереметевского чердака (помахал мне рукой и не по-русски молвил: «До свиданья!»).

... В наше время кино так же вытеснило и трагедию, и комедию, как в Риме пантомима. Классические произведения греческой драматургии переделывались в либретто для пантомимо в период империи. М[ожет] б[ыть], не случайная аналогия! Не то же ли самое «Ромео и Джульетта» (Проко[фьев]) и «Отелло» (Хачатурян), превращенные в балеты.

Сегодня М. А. З[енкевич] долго и подробно говорил о «Триптихе». Она (то есть поэма) по его мнению — Трагическая Симфония — музыка ей не нужна, потому что содержится в ней самой. Автор говорит как Судьба Ананке, подымаясь надо всем — людьми, временем, событиями. Сделано очень крепко. Слово акмеистическое, с твердо очерченными границами. По фантастике близко к «Заблудившемуся Трамваю». По простоте сюжета, который можно пересказать в двух словах, — к «Мед[ному] Вс[аднику]».

(2-го января 1961)

За словами мне порой чудится петербургский период русской истории:

Да будет пусто место сие

дальше Суздаль, Покровский монастырь — Евдокия Федоровна Лопухина.

Петербургские ужасы: смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада. Все это должно звучать в еще несуществующей музыке ...

Поэма двоится. Все время звучит второй шаг. Что-то идущее рядом — другой текст, и не понять, где голос, где эхо и которая тень другой, потому что она вместительна, чтобы не сказать бездонна. Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее до дна. Я как дождь проникаю в самые узкие щелочки, расширяя их — так появляются новые строфы. ... Сейчас я поняла: «Вторая» («Рядом с этой идет другая»), которая так ме-

шает чуть ли не с самого начала — это пропуски, это незаполненные («Ромео не было, Эней, конечно, был») пробелы, из которых иногда, почти чудом, удается выловить что-то и вставить в текст. К этому в сущности сводится моя деятельность, которая так раздражает некоторых читателей. К моему огорчению эти куски часто называют «жемчужинами» и клянутся, что они лучше окружающего текста (так было с лирическим отступлением о госте из будущего, 1 главка), так произошло на днях с куском «Кто-то с ней без лица и названья... А теперь прощаться пора»...

Похоже, не то что я пропустила все лучшее, уступив его, скажем, музыке, и написала все худшее, но лучшее продолжало тесниться и местами прорываться в печатный текст, неся с собой тень, призрак музыки (но никак не музыкальности в банальном смысле), в которой оно пребывало. Оттого и незаметны «швы»...

**
*

Первая запись «Прозы к поэме» датирована 7 мая 1961 года, последняя относится к августу — октябрю 1964 года, но в основном они сделаны с мая по декабрь 1961 года. После уже сделанных записей появляется план.

План «Прозы о поэме» (Может быть, это будет новое «Вместо предисловия»).

1. Где и когда я ее писала.
2. Как она меня преследовала.
3. О самой Поэме. Провал попыток заземления (запись из пестрой тетради). Ее уходы в балет. Бумеранг. — Карусель. — Поэма Канунов. (Примеры).

4. Ее связь с петербургской гофманианой.

5. Подтекст. «Другая» — траурная — обломки ее в «Триптихе».

Писать широко и свободно. Симфония.

Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 г.), а конница лавой неслась по мостовой, то ли, когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 окт. 1917 г.). Как знать?!

Ольга в ложе смотрит кусочек моего балета «Снежная маска». Новогодняя почти андерсеновская метель. Сквозь ее — видения (можно из «Снежной маски»).

Вообще же это апофеоз 10-х годов во всем их великолепии и их слабости. Ощущение Канунов, Сочельников — *ось*, на которой вращается вся вещь, как волшебная карусель . . . Это то дыхание, которое приводит в движение все детали и самый окружающий воздух. (Ветер завтрашнего дня).

. . . Поэма перерастает в мои воспоминания, кот[орые] по крайней мере один раз в год (часто в декабре) требуют, чтобы с ними что-нибудь сделала.

Это бунт вещей,
Это сам Кощей
На расписанный сел сундук

Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940 год), продолжала в «Константинополе для бедных», который был для нее волшебной колыбелью, — Таш-

кенте, потом в последний год войны опять в Фонтанном Доме, среди развалин моего города, в Москве и между сосенок Комарова. Рядом с ней, такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов) и тонущей в музыке, шел траурный Requiem, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона.В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица — пьеса «Энума Элиш» — одновременно шутовская и пророческая, от которой и пепла нет. Лирика ей не мешала, и она не вмешивалась в нее.

Рядом с этой идет *«Другая»* . . ., которая так мешает чуть ни с самого начала (во всяком случае в Ташкенте) — это просто пропуски, это незаполненные (Ромео не было, *Эней*, конечно, был) пробелы, из которых иногда почти чудом удается выловить что-то и вставить в текст.

С помощью скрытой в ней музыки дважды уходила от меня в балет.

25 ноября . . . Так возясь то с балетом, то с киносценарием, я все не могла понять, что собственно я делаю. Следую[щая] цитата разъяснила дело: „This book may be read as a poem or verse play", пишет Peter Veereck (1961. „The Tree Witch") и затем технически объясняет, каким образом поэма превращается в пьесу. То же и одноврем[енно] я делала с «Триптихом». Его „The Tree Witch" — современник моей поэмы и, возможно, такая близость . . .

Другое ее свойство: этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденн]ую[кем-то во сне или в ряде зеркал. («И я рада или не рада, что иду с тобой . . .»). Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда, звучит второй шаг, эхо, считая себя самым

главным, говорит свое, а не повторяет чужое, тени притворяются теми, кто их отбросил. Все двоится и троится — вплоть до дна шкатулки.

И вдруг эта фата-моргана обрывается. На столе просто стихи, довольно изящные, искусные, дерзкие. Ни таинственного света, ни второго шага, ни взбунтовавшегося эха, ни теней, получивших отдельное бытие, и тогда я начинаю понимать, почему она оставляет холодными некоторых своих читателей. Это случается, главным образом, тогда, когда я читаю ее кому-нибудь, до кого она не доходит, и она, как бумеранг (прошу извинить избитое сравнение), возвращается ко мне, но в каком виде (!?), и ранит меня самое. 17 мая 1961. Комарово.

О поэме.

Она кажется всем другой:

— Поэма совести (Шкловск[ий])

— Танец (Берковский)

— Музыка (почти все)

— Испол[нилась] мечта символист[ов] (Ж[ирмунский])

— Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филиппов)

— Поэма — моя биография

— Историческая картина, летопись эпохи (Чуковский)

— Почему произошла Революция (Шток)

— Одна из фигур русской пляски (раскинув руки и вперед (Паст[ернак]). Лирика, отступая и закрываясь платочком...

Когда в июне 1941 г. я прочла М. Ц. кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро», очевидно полагая, что поэма — мирискусничная стилизация в духе

Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, м. б., боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так.

Попытка заземлить ее (по совету покойного [С. З.] Галкина) кончилась полной неудачей. Она категорически отказалась идти в предместия. Ни цыганки на заплеванной мостовой, ни паровика, идущего до Скорбящей, ни о Хлебн[икове], ни Горячего Поля, она не хочет ничего этого. Она не пошла на смертный мост с Маяковским, ни в пропахшие березовым веником пятикопеечные бани, ни в волшебные блоковские портерные, где на стенах корабли, а вокруг тайна и петербургский мир — она упрямо осталась на своем роковом углу у дома, кот[орый] построили в начале 19 в[ека] бр[атья] Адамини, откуда видны окна Мр[аморного] Дворца, а мимо под звуки барабана возвращаются в свои казармы курносые павловцы. В то время, как сквозь мягкую мокрую новогоднюю мятель на Марсовом Поле сквозят обрывки ста майских парадов и

Все таинства Летнего Сада —
Наводненья, свиданья, осада . . .

Еще одно интересное: я заметила, что чем больше я ее объясняю, тем она загадочнее и непонятнее. Что всякому ясно, что до дна объяснить ее я не могу и не хочу (не смею) и все мои объяснения (при всей их узорности и изобретательности) только запутывают дело, — что она пришла ниоткуда и ушла в никуда, ничего не объяснила . . .

И только сегодня мне удалось окончательно формулировать особенность моего метода (в Поэме). Ничто не сказано в лоб. Сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они привыкли, а в двух строчках, но для всех понятн[ых].

Либретто балета

I. На темной сцене освещен только стол — два прибора. Свечи. Х — спиной к зрителю в длинной черной шали, сидит, облокотившись на стол. Часы. — Без пяти полночь. Разговор с непришедшим. (Он — портрет или бюст или *тень*). Звонок. Все меняется. Стол во всю сцену — огромный пиршественный зал. Толпа ряженых. Все танцуют: Демон, Дон Жуан с окутанной трауром Анной, Фауст (старый) с мерт[вой] Гретхен, Верстовой Столб (один), Козлоногая ведет вакхическое шествие, как бы на чернофиг[урной] вазе. Х — отрекается от всех и больше всего от себя, самой молодой, в воспетой шали. «Гость из будущего» выходит из одного зеркала, traverse la scène и входит в другое. Все в ужасе. Банальнейший танец Коломбины, Арлекина и Пьеро. Ложное благополучие. Хиромант или Распутин <«Лишняя Тень»> и все вокруг нее. <Во фраке хромает.> Показывает всем их будущее. *Вдруг* появляется на голову всех выше, в черном плаще, в маске. Сбрасывает плащ, снимает маску — это драгун-мальчик. Лишняя Тень отказывается ему гадать, тот настаивает, в глубине сцены возникает на мгновение сцена самоубийства . . .

II. (Сон драгуна: прошлое и будущ[ее]). У Коломбины. Interieur О. Освещен уголок. На стенах портреты О., кот[орые] временами оживают, переглядываются, не выходя из рам. Верка — маленькая камеристка. Одевает и обувает Коломбину. Зеркало. В зеркале отражается Лишняя Тень . . . Приносят записки, цветы. Столовая. Приезжает драгун. Интимный завтрак. Его ревность. Он отнимает письмо и розы. Ее клятва. Полное согласие. Pas de deux. Зальце. Она отрезает свой «палевый локон» и дарит ему. (Встреча в Мальт[ийской] Капелле). Requiem Моцарта. Два арлекина — он гонит обоих. Прием. Опять спальня. Венерин алтарь. Но

драгун уже забыт. О., лежа в кружевном чепчике и ночной рубашке, принимает гостей. Горят свечи в высоких стекл[янных] подсвечниках. «И в круглом зеркале постель отражена».

<И уже почти что забыт
Мальчик> . . .
Ты ему, как стали — магнит.
Он бледнеет, видит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы,
И как враг его знаменит.

Гости, Клюев и Есенин пляшут дикую, почти хлыстовскую, русскую. Демон. Она вся — ему навстречу. Черные розы. Первая сцена ревности драгуна. Его отчаяние. Стужа заглядывает в окно . . . Куранты играют. «Коль славен . . .». Хромой и учтивый пытается утешить драгуна, соблазняя чем-то очень темным. «Башня» Вяч. Иванова — Хромой и учтивый дома. Античность. Оживает Пергамский алтарь. Эдип — Антигона. Проклятие. Языческая Русь (Городецкий, Стравинский, Весна священная, Толстой, ранний Хлебников). Они на улице. Таврический сад в снегу, вьюга. Призраки в вьюге. (М. б., даже — двенадцать Блока, но вдалеке и не реально) . . .

III. Драгун у фонаря. Встречи: Вера с злой запиской, Генерал, его бросили, две девки зовут драгуна — он не идет. Она мерещится ему в окне в разных видах за тюлевой занавеской, как смерть *(Одно мгновение!)* Психея. Шум времени! Мятель. Марсово Поле. Бал призраков. Призрак военного периода. (Военная музыка). Марши. Проезд. Лир[ическое] отступление. Все переплетается, как во сне. (Ольга в ложе смотрит кусочек моего балета «Снежная маска»). Драгун сочиняет стихи под фонарем, Факелы. Опять генерал в ник[олаевской] шинели. Дра-

гун, задумавшись, его не замечает. В глубине сцены взлетает второй занавес — страшная лестница, освещенная газом (синий свет) . . . С маскарада возвращается О., с ней Неизвестный . . . Сцена перед дверью. Драгун неподвижен в нише. Их прощание, которое не оставляет никаких сомнений. Поцелуй. О. входит к себе. Самоубийство драгуна . . . Выстрел. Гаснет свет. Панихида в музыке. Выходит О., становится на колени над телом. Дверь остается широко открытой, через нее видно все, что случится: и что мы знаем, и за ним неизвестное Грядущее. (18 дек. 1959 [Улица] Кр[асная] конница).

Распахивается дверь (расширяясь и вырастая). В длинном черном платке выходит Коломбина (со свечкой) и становится на колени у тела. Другая фигура в таком же платке и с такой же свечкой подымается по лестнице, чтобы также стать у тела. Звуки Шопена. 24. дек. 1959.

Появляется на балу в *I-ой картине*. В белом домино и красной маске с фонарем и лопатой. У нее свита за кулисами, она свистом вызывает ее и танцует с ней. Все разбегаются. Во *II-ой картине* она заглядывает в окно комнаты Коломбины и отражается в зеркале двоясь, троясь и т. д. Зеркало разбивает вдребезги, предвещая несчастие.

В (третьей) III-ей картине выходит из кареты в бобровой шинели и в цилиндре, предлагает драгуну ехать с ним . . . Звезды — ветки Михайловского Сада. Он [драгун] качает головой и показывает палевый локон. Рукой в белой перчатке Л[ишняя] Тень хочет отнять локон. Он хватает Тень за руку — перчатка остается у него в руке, руки не было. Он в ярости <рвет перчатку>.

Бродячая Собака — вечер Тамары Карсавиной — она танцует на зеркале. Маскарад — топится большой

камин. Вдруг все маски делаются Лишними Тенями (переглядываются, хохочут) . . .

. . . на этом маскараде были *«все»*. Отказа никто не прислал. И не написавший еще ни одного любовного стихотворения, но уже знаменитый Осип Мандельштам («Пепел на левом плече»), и приехавшая из Москвы на свой «Нездешний вечер» и все на свете перепутавшая Марина Цветаева . . . Тень Врубеля — от него все демоны XX в[ека], первый он сам . . . Таинственный, деревенский Клюев, и заставивший звучать по-своему весь XX век великий Стравинский, и демонический Доктор Дапертутто [В. Э. Мейерхольд], и погруженный уже пять лет в безнадежную скуку Блок (трагический тенор эпохи), и пришедший как в «Собаку» Велимир I [Хлебников] . . . И Фауст — Вячеслав Иванов, и прибежавш[ий] своей танцующей походкой и с рукописью своего «Петербурга» под мышкой — Андрей Белый, и сказочная Тамара Карсавина. И я не поручусь, что там в углу не поблескивают очки [В. В.] Розанова и не клубится борода Распутина, в глубине залы, сцены, ада (не знаю чего) временами гремит не то горное эхо, не то голос Шаляпина. Там же иногда пролетает не то царскосельский лебедь, не то Анна Павлова, а уж добриковский Маяковский, наверно, курит у камина . . . (но в глубине «мертвых» зеркал, которые оживают и начинают светиться каким-то подозрительно мутным блеском, и в их глубине одноногий старик-шарманщик (так наряжена Судьба) показывает всем собравшимся их будущее — их конец). Последний танец Нижинского, уход Мейерхольда. Нет только того, кто непременно должен был быть, и не только быть, но и стоять на площадке и встречать гостей . . . А еще:

Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет.

(АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. ПЕРЕД СНЕГОМ)

Сборник стихов Арсения Тарковского «Перед снегом» — неожиданный и драгоценный подарок современному читателю. Эти долго ожидавшие своего появления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каждую минуту, делаются неузнаваемыми, облеченными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц: я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых...

Как вечно и в то же время современно это звучит! Он уже ожил «на пиршестве живых» и рассказал нам много о себе и о нас.

Этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго. Огромные пласты работы чувствуются в стихах книги «Перед снегом». Чувствуется, что поэт прошел через ряд более или менее сильных воздействий предшественников и современников (сейчас они скорее угадываются).

Тем, у кого нет этой книги, я советую как-нибудь достать ее, чтобы судить о ней самым строгим судом. Эта книга ничего не боится.

Можно ли сказать изящнее:

И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

А как великолепна и первозданна Азия в ламентациях переводчика!

Да пребудет роза редифом.
Да царит над голодным тифом

И соленой паршой степей
Лунный выкормыш — соловей.

Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва . . .

Вероятно, такой азийский пейзаж появляется в поэзии впервые.

Рифма Тарковского — всегда крепка, нова, никогда не вычурна и не навязчива.

Одно из самых пронзительных стихотворений «Ветер», где героиня изображена с благоговейным ужасом, от которого мы что-то стали отвыкать, — кажется мне одной из вершин современной русской поэзии.

А я любил изодранную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту.

И на цыганской масленой реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живою больше не казалась.

Когда-то имя было у нее.
Я не один, но мы еще в грядущем . . .

Вера в огромное и общее будущее делает эту поэзию специфической поэзией шестидесятых годов двадцатого века. О стихах Тарковского будут много думать и много писать.

***

А вокруг та Москва, которую мы видим из каждого окна:

Эй, в черном ситчике, неряха городская,
Ну, здравствуй, мать-весна! Ты вот теперь какая . . .
. . . . . .
Девчонки-крашенки с короткими носами,
Как на экваторе, толкутся под часами
В древнеегипетских ребристых башмаках,
С цветами желтыми в русалочьих руках.

(«Ранняя весна»)

Наверно, излишне упоминать о том, что книга уже по достоинству оценена читателем — 6500 экземпляров разошлось за несколько дней.

Книга издана просто и изящно — без надоевшего всем золота. Стихи не любят, чтобы их рядили в очень нарядные одежды.

(1962?)

(ИЗ ПОДСЛУШАННЫХ БЕСЕД)

П е р в ы й: Как клевета похожа на правду!
В т о р о й: Да. На правду не похожа только сама правда.
(Подслушала Анна Ахматова).

25 марта 1962. Ленинград

РАБОТЫ О ПУШКИНЕ

«СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» И «ЦАРЬ УВИДЕЛ ПРЕД СОБОЙ . . .»

КОММЕНТАРИЙ

Впервые черновая рукопись «Сказки о золотом петушке» отмечена В. Е. Якушкиным в его описании рукописей А. С. Пушкина («Русская Старина», 1884, т. XI, стр. 641, 644). Перебеленная рукопись сказки хранится в Публичной библиотеке РСФСР в Ленинграде. [В настоящее время — в рукописном отделе Пушкинского Дома ИРЛИ АН СССР.]

В отличие от других пушкинских сказок, «Сказка о золотом петушке» имеет своим источником не народные сказки, а литературное произведение — «Легенду об арабском звездочете» Вашингтона Ирвина. Сборник, в который входит эта легенда, называется „The Alhambra of the New Sketch Book". Вышел он в Париже в июне 1832 года. Одновременно появился и французский перевод «Альгамбры». Перевод этот очень близок к подлиннику и хорошо передает иронический тон сказок Ирвинга. По-видимому, Пушкин пользовался переводом, а не подлинником. В библиотеке поэта находится именно французское двухтомное издание «Альгамбры».*

«Легенда об арабском звездочете» — пародийная псевдоарабская сказка, которую Ирвинг выдает за записанное им народное предание. Однако самое беглое ознакомление с этой легендой убеждает, что она не содержит черт, свойственных народной поэзии.

---

* См. Б. Л. Модзалевский. Библиотека Пушкина: «№. 1019. Irving, W. Les contes de l'Alhambra . . . разрезан; помет нет».

Если Пушкин, в 30-х годах живо интересовавшийся европейским и, в частности, испанским фольклором,* обратился к «Альгамбре» потому, что она была рекомендована как сборник испанских народных сказок,** то он должен был быть разочарован.

Современники знали Ирвинга как литературного мистификатора и сатирика (автора «Сальмагунди», «Истории Нью-Йорка» и др.), и критика постоянно сопоставляла его имя с именем Аддисона.***

По своему тону и содержанию «Легенда об арабском звездочете» напоминает те «восточные сказки», которые в XVIII веке были обычным шифром политической сатиры. Отсюда понятно обращение Пушкина именно к этому источнику для создания политического памфлета — «Сказки о золотом петушке»,**** включенной поэтом в список своих «простонародных сказок».***** Если Пушкин и не заподозрил в «Легенде о звездочете» «прямой сатиры», то, во всяком случае, ирвинговская сказка представляет собой благодарный материал для переработки памфлетного характера («биография» мавританского короля Абен-Габуза, отставного и миролюбивого завоевателя, мечтающего о покое, флюгер, хотя бы и волшебный, управляющий действиями короля, восста-

---

* К испанскому романсному циклу о Родриге восходит «Чудный сон мне Бог послал» (см. статью Н. В. Яковлева «Пушкин и Саути» в сборн. «Пушкин в мировой литературе», Л., 1926).

** См. «Телескоп» 1832, ч. IX (сентябрь).

*** См., например, отзыв об «Альгамбре» в „Revue de Paris", t. 5—6, p. 263—266.

**** Расшифровке памфлетного смысла «Сказки о золотом петушке», а также исследованию приемов, какими пользовался Пушкин для превращения псевдоарабской легенды в русскую простонародную сказку, посвящена моя статья «Последняя сказка Пушкина» («Звезда», 1933, № 1).

***** См. список «простонародных сказок» на обороте последнего листа автографа «Сказки о золотом петушке».

ния пограничных областей, престарелый монарх, разоряющий свою страну для исполнения прихотей наложницы, вспыхнувшая в столице революция и, наконец, особенно заинтересовавший Пушкина мотив неисполнения царского слова).

Жанром русской народной сказки Пушкин воспользовался для политических намеков, и здесь он является продолжателем радищевской традиции.* Поэма Радищева «Бова» заключает в себе выпады против самодержавия. Как известно, в «Бове» Радищева Пушкин признавал достоинства, несмотря на отсутствие в ней «народности».**

Впервые Пушкин начал обрабатывать «Легенду об арабском звездочете» в 1833 году. К этому времени относится набросок «Царь увидел пред собой . . .» (см. альбом фототипий, стр. 75), написанный тем же четырехстопным хореем, что и «Сказка о золотом петушке». Первые десять стихов этого наброска представляют собой кусок легенды Ирвинга, не использованный Пушкиным в «Сказке о золотом петушке». В легенде эти фигурки (или, как Пушкин называет их, куколки) — магические изображения вражеских войск, которые при прикосновении волшебного жезла либо обращаются в бегство, либо начинают междоусобную войну и уничтожают друг друга. И тогда та же участь постигает наступающего неприятеля.

---

* Любопытный и, быть может, известный Пушкину пример использования фольклора в памфлетно-сатирической литературе представляет собою отдельное издание сказки, записанной бр. Гримм, — „Der Fischer und seine Frau", которая, в связи с событиями 1814 г., была осмыслена как аллегорическое жизнеописание Наполеона (книга имела подзаголовок: „Eine moralische Erzälung"). Как теперь установлено, вариантом, записанным бр. Гримм, воспользовался Пушкин для создания «Сказки о рыбаке и рыбке».

** См. статью Пушкина «Александр Радищев» (1836).

У Пушкина этот мотив усложнен. Вторая половина наброска представляет собою описание такого же игрушечного флота.

О черновике первых двадцати восьми стихов «Сказки о золотом петушке», отсутствующих в «Альбоме 1833—1835 годов» и неизвестно когда написанных, можно только сказать, что они были окончательно обработаны, потому что в беловик они переписаны только с одной помаркой («идут» вместо «валят»; уничтожение эпитета «шемаханский» имеет особый смысл, о чем будет сказано дальше) и без знаков препинания, что указывает на беглое, а не творческое переписывание, которое мы несколько раз встречаем в беловике «Сказки о золотом петушке».

Рукопись следующих шести стихов, находящихся на обороте форзаца и потому не поддающихся датировке, очень близка к беловику. То, что поправки сделаны другими чернилами, указывает на их позднейшее происхождение. Следует отметить, что такими выцветшими коричневыми чернилами написан весь беловик сказки. Можно предожить, что Пушкин нанес поправки на черновик в процессе переписывания: слово «смело» (в связи со строкой «Царь, он молвил дерзновенно», см. албом фототипий, стр. 45) указывает на то, что по первоначальному замыслу (когда Пушкин еще называл звездочета Шемаханским мудрецом) характер этого персонажа был несколько иным.

По сохранившимся на полоске бумаги у корешка словам («Нет», «царь») надо полагать, что на обрывке между лл. 5 и 6 (л. 16) находился черновик некоторых стихов «Сказки о золотом петушке», так и не дошедший до нас, как и черновик начала сказки.

После слов «Дал отпор со всех сторон» в писании сказки несомненно был перерыв, потому что рукопись

на л. 201 (см. альбом фототипий, стр. 41) написана другими чернилами, чем текст сказки на обрывке.

Воспроизводимая рукопись (лл. 20—23) от строки «Год, другой проходит мирно» до конца сказки несомненно представляет собою первый черновик, хотя характер рукописи неодинаков. Иногда поэт пишет какое-нибудь слово, тотчас зачеркивает, снова пишет его и опять зачеркивает (см. диалог Дадона с воеводой). Некоторые стихи не дописаны (например, «Царь приветливо») или отсутствует рифмующий стих («Не беда, что сказка ложь»), повторяющиеся стихи обозначены простой чертой. Отдельные эпизоды перерабатываются дважды (возвращение Дадона, ссора царя с звездочетом) и даже трижды (появление Шемаханской царицы).

Со всем тем рукопись сказки очень близка к окончательному чтению.

Ни во вторичных переработках отдельных эпизодов, ни в переписывании сказки набело Пушкин не отклоняется от первоначального плана, а либо вводит новые детали, либо отказывается от уже написанного. Исключение в смысле законченности представляет собою первый лист рукописи. По сравнению с остальным текстом сказки стихи, написанные на нем, подверглись самой незначительной переработке.

На следующем л. 202, между стихами «Царь не знает, что начать» и «Войска идут день и ночь» — смысловой разрыв, заполненный лишь в беловике, где стих «Царь не знает, что начать» заменен другим («Царь скликает третью рать») и появляются два новых стиха:

И ведет ее к востоку,
Сам не зная, быть ли проку

или

Помолясь Илье пророку,

связывающие предыдущий эпизод с походом царя.

Не зачеркнутая в рукописи строка «Что за притча молвит он» — не перенесена в беловик. Может быть, Пушкин заметил, что это же восклицание встречается в только что вышедшей тогда (летом 1834 г.) сказке Ершова «Конек-горбунок».* Этим же можно объяснить и колебания в выборе пейзажа. Следующие стихи написаны дважды:

К морю войско царь приводит
Что ж на берегу находит...

Очевидно, на морском берегу должен был находиться шатер царицы, но затем Пушкин сразу отказывается от мысли расположить шатер на морском берегу и пишет:

Что же меж высоких гор
Видит [Белый] шелковый шатер.

Шатер, морской берег, царь-девица (см. соответствующий эпизод сказки Ершова).

Порядок появления отдельных мотивов в первом варианте иной, чем в окончательном чтении. В первом варианте порядок этот таков: шатер, девица, сыновья; в окончательном чтении: шатер, побитая рать, сыновья, девица. Пример того, как Пушкин перерабатывает фольклорный мотив, представляет собою сцена встречи Дадона с Шемаханской царицей, имеющая три редакции:

1. Видит [Белый] шелковый шатер.
   В том шатре сидит девица
   [Шамаханская] царица.

---

* Известно, что первые четыре стиха этой сказки принадлежат Пушкину, удостоившему (по словам Смирдина) всю сказку тщательно просмотреть.

2. [И] [Белый] [шелковый] таинственный шатер
Распахнулся [и] [к] [Дадону] девица
Шамаханская царица
[Вышла] тихо из шатра.
3. Распахнулся и девица
Вся сияя [бела] добра
[В блеске вышла из шатра —]
[Румяна] (?) [как заря]
Тихо встретила царя.

В первой редакции эта сцена довольно близка к сказке о Еруслане Лазаревиче.*

Ввод отсутствующего в легенде Ирвинга эпизода с братьями, которые появляются только для того, чтобы погибнуть, понятен в связи с сатирической тенденцией сказки и служит подчеркиванием порочности царя. Братья-соперники, убивающие друг друга, — мотив, известный в народной поэзии разных народов.**

Конь, бродящий вокруг тела мертвого витязя, — мотив, который встречается еще в ранних произведениях Пушкина («Сраженный рыцарь», «Руслан и Людмила»), где конь *ждет* своего мертвого хозяина. Последней детали нет в окончательном чтении «Сказки о золотом петушке». Однако в рукописи: «ждут господ».

Описание убитых царевичей:

Черны кудри растрепались,
Белы руки разметались —

---

* «И наехал в чистом поле на бел шатер, в котором сидели три прекрасные девицы, дочери царя Бугригора. Таковых прекрасных более на свете нет».

** См., например, английскую балладу „Lord Ingram and Chiel Wyet" (Child, The English and Skottish popular ballads, Boston, 1882—1891).

отброшено Пушкиным, вероятно, оттого, что песенная конструкция этих стихов нарушала эпический тон сказки.

Сравнительно легко дался Пушкину эпизод в шатре, для создания которого также использованы элементы русского фольклора. Например:

Его за руку взяла
И в шатер свой увела —

традиционный сказочный мотив.

Строки эти написаны без единой помарки.

Характерно для самой нефантастической сказки Пушкина, что слово «околдован» появилось только в беловике.

Возвращение царя напоминает возвращение дука в «Анджело», причем в черновике это сходство более явственно, чем в печатной редакции (в встречу *кинулись* девице. Ср. в «Анджело»: «народ его *встречать* толпами *кинулся*»).

В рукописи Пушкин называет звездочета «Шамаханским мудрецом» и «Шемаханским скопцом» (тот же эпитет мы находим и в беловике сказки). Этот эпитет был исключен в окончательной редакции, так как месть Шемаханского мудреца царю-завоевателю могла быть истолкована как политический намек: Шемаха в 1820 г. была присоединена к России.

Следует также отметить примеры рассеянности Пушкина в связи с «Легендой об арабском звездочете». Ирвинг так описывает внешность звездочета: „Une grande barbe lui descendait jusquea la ceinture" [«Длинная борода ниспадала до самого пояса»] и дальше: „Il ne put que perpetuer ses rides et ses cheveux gris" [«Она еще более подчеркивала его морщины и его седые волосы»].

В «Сказке о золотом петушке»:

С бородою поседелой . . .

Затем Пушкин вспоминает, что скопцы — безбороды, и строка принимает такой вид:

Весь наморщен, поседелый, —

еще ближе повторяющий описание Ирвинга. В окончательной редакции уже нет ни бороды, ни морщин («Весь как лебедь поседелый»).

Второй случай: в легенде Ирвинга талисман (медный всадник), имеющий то же назначение, что и петушок пушкинской сказки, был установлен на крыше королевского дворца. Золотой петушок сидит на спице перед окошком Дадона. Однако в черновике читаем:

Петушок слетел со спицы
[С крыши] к колеснице,

а в беловике первоначально было:

Петушок на кровле царской
Сторожит . . .

Эпизод ссоры царя со скопцом подвергся самой тщательной обработке. В первой редакции еще отсутствует благодушное приветствие Дадона (от: «А здорово, мой отец» до «Подь поближе, что прикажешь?»), разительно контрастирующее с его яростью, когда собеседник вздумал ему перечить. Скопец сразу и «дерзновенно» приступает к Дадону со своим требованием. В следующей редакции эта речь снижена и опрощена.

Вообще стремление к снижению лексики и прибли-

жение ее к просторечию характерно для переработки стихов «Сказки о золотом петушке». Например, стих:

Ты [мудрец] старик с ума сошел

во второй переработке эпизода ссоры принял такой вид:

Или ты с ума рехнулся?

А стих:

Вспыхнул царь — так же нет

изменен на:

Плюнул царь: Так лих же, нет!

Не сразу дался Пушкину и ответ царя. Поэт то близко придерживается источника:

Ты спросил бы у меня
То что сделать мог бы я,

то заставляет Дадона совсем отказаться от исполнения своего обещания:

От моих от царских слов
Отпереться я готов.

Затем сейчас же смягчает отказ:

Я моих царевых слов

(видимо, «не забыл») и

Не забыл своих я слов
И их выполнить готов.

И, наконец, возвращается к первому варианту:

Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.

В стихе:

Но с царями плохо вздорить

слишком явный намек был сглажен:

Но с могучим плохо вздорить —

и, хотя снова появился в беловике в своей первой редакции, был там же окончательно зашифрован:

Но с иным накладно вздорить.

Стих, которым заканчивается рукопись:

Не беда, что сказка ложь, —

отброшен поэтом. Очевидно, не найдя удовлетворяющей его рифмы к слову «ложь», Пушкин совсем отказался от этого стиха и заменил его готовой концовкой из черновика «Сказки о мертвой царевне». Однако уже по одной этой строке можно заключить, что по первоначальному замыслу концовка должна была иметь тот же нравоучительно-сатирический характер, что и последние строки окончательного текста:

Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.

«КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» ПУШКИНА
(дополнения 1958—1959 годов и заметки для новой редакции)

1

Головокружительная краткость, о которой я говорила в начале этой статьи, очень характерна для Пушкина. В 1829 году («Роман в письмах») он писал: «... Я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы». Это стремление к краткости очень сильно сказалось и в «Маленьких трагедиях», в частности в «Каменном Госте». * Эта маленькая трагедия подразумевает очень большую предысторию, которая, благодаря чудесному умению автора, умещается в нескольких строках, там и сям вкрапленных в текст. Этот прием в русской литературе великолепно и неповторимо развил Достоевский в своих романах-трагедиях: в сущности, читателю-зрителю предлагается присутствовать только при развязке. Таковы «Бесы», «Идиот» и даже «Братья Карамазовы». Все уже случилось где-то там, за границами данного произведения: любовь, ненависть, предательство,

---

* В сущности, в «Каменном Госте» трагедия начинается, когда падает занавес, так же как в «Моцарте и Сальери» с сомнений Сальери, имел ли он право убить Моцарта (гений и злодейство) или

не был
Убийцею создатель Ватикана?

До тех пор Сальери совершенно уверен в своей правоте, и никакой трагедии нет.

(30 июля 1958 г.)

дружба. Таков же и «Каменный Гость» Пушкина: буйная столичная жизнь молодого гранда, его трагический роман с мельничихой, ссылка и продолжение любовных похождений в стране, где «небо... точный дым», вся биография Доны Анны, ее великолепное испанское вдовство, своей суровостью изумляющее даже монаха, и т. д.

И не случайно, конечно, появляются «лавры и лимоны» «Дядюшкиного сна» при описании пародийной Испании в самом начале творческого пути Достоевского, а в своей предсмертной (1880) речи о Пушкине Достоевский называет «Каменного Гостя» как образец и доказательство всемирности Пушкина и как одно из величайших произведений. [1]

2

В какой-то мере все первые персонажи маленьких трагедий Пушкина чем-то похожи друг на друга. Гуан, Моцарт и Альберт — это один и тот же человек в разных костюмах и в разных положениях. Они веселы, добры, беспечны, благородны... но Моцарт, кроме того, одарен несравненным талантом.

3

На примере того, как Пушкин изображает Дону Анну, можно еще раз изумиться, с каким искусством он отделяет свое к ней отношение (авторский голос) * от отношения к ней Дон Гуана, что, казалось бы, в этом

---

* Авторский голос я слышу в данном случае скорее всего в реплике Лепорелло:

О вдовы, все вы таковы.

жанре почти невозможно. Для Дон Гуана — Дона Анна ангел * и спасение, для Пушкина — это очень кокетливая, любопытная, малодушная женщина и ханжа. NB. Типичная католическая «девотка» под стать Каролине Собаньской:[3]

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Пушкин не прощает ей посмертной измены Командору, который был безупречен по отношению к ней и даже

Не принял бы к себе влюбленной дамы
Когда б он овдовел.

(Снова та же тема.)

Мы даже не знаем ее судьбу — умерла она или упала в обморок, это совершенно неважно, ведь это не Татьяна, не Русалка, которых надо возвеличить, а нечто вроде Ольги Лариной.

Насколько она противна автору, явствует из сравнения тона, каким он говорит о двух других женщинах. От Лауры автор в восторге — ей все разрешено, вплоть до любовного свидания при трупе убитого из-за нее Дона Карлоса: так и кажется, что автор сам готов тешить ее серенадами и убивать соперников на перекрестках. Она — в сиянии бессмертного искусства. Это — юность Пушкина, это — музыка.

Из наслаждений жизни
Одной любви музы́ка уступает...

---

* ...И мнится...
Гробницу эту ангел посетил...

По этому поводу надо заметить следующее. Едва ли черноволосая женщина, с ног до головы укутанная в траурные вуали, похожа на ангела, который всегда должен быть белым, светлым, лучезарным. Предлагаю такую разгадку. В английском «Пире» („The City of the Plague") [2] центральная героиня, отсутствующая в пушкинском «Пире», — Магдалена, — всегда в белом платье, о чем до назойливости часто говорит автор. И когда она на могиле — ее сравнивают с ангелом:

Она — «милый демон». (Замечу вскользь, что Демон — было прозвище Собаньской, и так называл ее Пушкин в письме от 2 февр. 1830.)

4

Еще замечательнее отношение автора к Инезе (по донжуанской традиции Церлина — крестьяночка лукавая и простоватая, невеста такого же простачка Мазетто), и хотя Гуан говорит о ней вскользь, всего один раз, и как бы случайно, и как бы только в связи с местом, на котором неожиданно оказался, то есть чуть ли не на ее могиле. — какие слезы отчаяния и раскаяния проливает над ней автор:

Муж у нее был негодяй суровый,
Узнал я поздно . . . Бедная Инеза! . .

И таких глаз он, Гуан, уже не видел никогда больше в жизни. И от нее расходятся стрелки ко всем покаянным стихам Пушкина («Черты далекой бедной девы», «Русалка») (см. статью Берковского.)[4]

5

Еще одно могло попасть в «Каменного Гостя из «Города Чумы». Кто-то говорит о прячущем свое лицо Незнакомце (стр. 158) — преступнике:

В тряпье до глаз и в шляпе до бровей
Широкополой . . .

Ты на коленях, в белом, — вся как дух . . . (стр.44)
Ты на коленях ангелу подобна.
Ты молишься — и даже я надеюсь . . . (стр. 45).
«Вы черные власы на мрамор бледный — ср. «Дон Жуан Байрона о султанше в V песне.

Ср. в «Каменном госте» о скрывающемся Дон Гуане:

Усы плащом закрыв, а брови шляпой . . .
Испанский гранд, как вор . . .

6

Очевидно, получив согласие родителей невесты на брак, Пушкин понял, что попал в совершенно безвыходное положение. При этом мы вправе ждать стихов от лирического поэта на так мучившую его тему. Однако таких стихов нет. *

Зато к вопросу о счастии при самых невероятных обстоятельствах, когда уже ни на что ни рассчитывать, ни надеяться нельзя, Пушкин подходит в другом жанре — в прозаической повести. Этим, по моему твердому убеждению, объясняются все happy end'ы или, вернее, «игрушечные развязки» «Повестей Белкина».

Созданные в дни горчайших размышлений и колебаний, ** они представляют собою удивительный психологический памятник. Автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений, и пусть будет счастье, когда его не может

---

* Кроме элегии: «Безумных лет . . .», где счастливый жених пишет 8 сент. (1830):

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море, —

только в конце смеет надеяться, что

И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

** Кроме того, сравнительно недавно напечатанные письма кн. П. А. Вяземского к жене сообщают довольно неожиданные подробности пушкинского сватовства 1830 г. Князь очень долго не верит слухам об этом событии и, наконец уверившись, восклицает: «Как можно, любя одну женщину, свататься к другой». Княгиня Вера, вероятно,

быть, вот как у него самого, когда он задумал жениться на 17-летней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит. Об этом Пушкин прямо написал несколько раньше (12 мая 1830): «Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его». Автобиографичность этого отрывка («Участь моя решена...») Пушкин задумал скрыть под заголовком «С французского», но, по всей вероятности, тут же отказался от этой мысли. *

Автор поэм со страшными и кровавыми развязками («Цыганы», «Полтава») и якобы жизнерадостного романа («Евгений Онегин»), где герой и героиня остаются с непоправимо растерзанными сердцами, внезапно с необычным тщанием занимается спасением всех героев «Повестей Белкина».

Тут же я должна оговориться. Образ обиженного «маленького человека» — родоначальника стольких несчастных героев, трогательного и величественного в своем горе, не должен все же заставить нас забыть о «благополучной развязке» повести «Станционный смотритель». К тому же сам Вырин погибает именно потому, что он не верит в возможность этой счастливой развязки.

Счастливые концы вовсе не характерны для прозы Пушкина. Нет ничего более траурно-мрачного и фатально-торжественного, чем развязка «Пиковой да-

---

должна была понять, кого подразумевает ее муж под первой женщиной. Но мы очень далеки от этого понимания. Привожу эту (еще не вошедшую в обиход) цитату[5] только для того, чтобы показать, как сложна была психологическая обстановка 1830 г. и как неизбежно Пушкин должен был, создавая своего Гуана, обращаться к собственной биографии.

1957, ноябрь, Москва[6]

* Отрывок «Участь моя решена...» был напечатан только после смерти Пушкина.

мы» * (сумасшедший дом Германна, немилый брак Лизы и будущая мученица — девочка-воспитанница). Итак, дело не в прозе[7], а в том, как глубоко Пушкин запрятал свое томление по счастью, своеобразное заклинание судьбы, и в этом кроется мысль: так люди не найдут, не будут обсуждать, что невыносимо (см. «Ответ анониму»). Спрятать в ящик с двойным, нет, с тройным дном: 1) А. П. 2) Белкин. 3) Один из повествователей. Так вернее. И пусть это будет тихая нестилизованная провинция, которую всегда так любил и так хорошо знал Пушкин. Тихая пристань!

И пусть это будет совсем как в жизни (проблема правдоподобия). Все детали, которые он выписывает с необычайным старанием и con amore (вплоть до полосатого бланманже, «Барышня-крестьянка»), должны убедить читателя, что иначе и быть не может, что все это в высокой степени достоверно. От этого, естественно, возникает забота о языке: говор девичьей («Барышня-крестьянка»), почтовой станции («Станционный смотритель»), мещан-ремесленников («Гробовщик»), захолустных офицеров («Выстрел»), мелких помещиков («Метель»), — при этом изысканные эпиграфы — Жуковский, Вяземский, Фонвизин, Марлинский, Державин — все русские . . .

Пушкин, наверно, не хуже нас знал, как кончилась любовь барчука к крепостной девке (Ольга Калашникова),[8] знал, что Дуня, несомненно, должна была мести мостовую «с голью кабацкой» (полицейское наказанье проституток) и что героине «Метели», обвенчанной неведомо с кем, предстояло влачить одинокие дни.

---

* Еще ужаснее сюжет «Марьи Шонинг», который Пушкин до конца записывает по-французски (1834). Там публичная смертная казнь героини, обвинившей себя в дето убийстве.

Простейший случай («Гробовщик»), когда все ужасы оказывались сном.

Несколько выбивается «Выстрел», где развязка псевдоблагополучная, потому что Пушкин приводит к ней своего героя через страх и срам, но почему он так поступает — объяснено до конца выше сравнением со стихами «Каменного гостя», в которых совершенно совпадает взгляд на ценность жизни.[9]

1957. Весна. Москва.

7

В заключение

А то, что в «Каменном госте» Пушкин как бы делит себя между Командором и Гуаном, [это] явление совсем другого порядка, что, как я надеюсь, доказано в этой статье.

8

Заключение

«Каменный гость» важен еще тем, что он показывает Пушкина родоначальником великой русской литературы XIX века, как моралиста. Это — столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой, и Достоевский. «Нет правды на земле!» — Дона Анна свободна выбрать нового мужа, Командор не отомщен, брошенная девушка утопилась («Русалка»), героиня «Метели» обречена остаться одинокой, убежавшая с гвардейцем дочь станционного смотрителя стала проституткой. Нет, нет, нет! Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя к ногам дочери мельника. У

Пушкина женщина всегда права — слабый всегда прав. Пушкин видит и знает, что делается вокруг, — он не хочет этого. Он не согласен, он протестует — и борется всеми доступными ему средствами со страшной неправдой. Он требует высшей и единственной Правды. И тут Пушкин выступает (пора уже произнести это слово) как моралист, достигая своих целей не прямым морализированием в лоб, с которым, как мы только что доказали, Пушкин вел непримиримую войну, а средствами искусства.

9

С другой стороны, моя работа помогает установить до сих пор не уловленные комплексы Пушкина: боязнь счастья, то есть потери его (то есть неслыханного жизнелюбия), и загробной ревности = загробной верности (примеры: Ленский, Командор, Ксения Годунова, Дона Анна).

Однако гораздо существеннее всего этого, что после работы Берковского оказывается, что мы (совершенно независимо друг от друга) каким-то образом и различными методами пришли к сходному выводу. Так можно решить задачу и арифметическим, и алгебраическим способом. То, что говорит Берковский о «Русалке», я говорю о «Каменном Госте». (И еще, как я знаю, это можно и *должно* сказать о «Повестях Белкина».) Корень, очевидно, в жадной и неистребимой жажде Пушкина *Истины* (справедливости) самой высокой и самой сокровенной. Поэтому он отдает князя *во власть* погубленной им девушки, Дон Гуана *во власть* убитого им Командора. И так как ни то, ни другое не может случиться естественным образом, то в первом случае он пользуется фольклором, во втором легендой о [El] Bur-

lador [de] Sevilla,[10] и «бедная Инеза» оказывается мостиком, связавшим оба эти произведения, и дело не в том, что она дочь или жена мельника (мельница могла быть и ветряной из Дон Кихота [. . .]).

10

I

Строго говоря, Пушкин в «Каменном госте» сделал для своего героя то же, что Гете сделал для народного мифа — «Фауст» и Байрон для своего Фауста — «Манфреда». Во всех трех случаях «миф» (комплекс моральных черт) получает некую реальную биографию, кроме контрастного слуги, который находится во всех мифах.

Байрон совершенно явственно приближает Манфреда к своему постоянному герою, т. е. к себе (напр., воспоминание об Астарте).

Полагаю, что и Гете уступил своему герою большую часть своей души и биографии (напр., всю линию Гретхен, естественно отсутствующую в мифе, где Фауст просто развратник и некромант, любовник призрака Елены Троянской).

II

Мог ли Лессинг, заставляя своего Фауста выбирать из семи бесов самого «скоростного», думать, что примерно через 150 лет скорость станет идолом человечества. Очевидно, она ею всегда была (см. миф о Фаусте, его постоянные полеты и мгновенные возвращения).

БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

(8-я глава «Онегина»)

1

... Среди произведений Пушкина, осуществленных осенью 1830 года в Болдине, почетное место занимает 8-я (последняя) глава романа «Евгений Онегин». Написана она в сентябре (окончена 25-го).[1] Первоначальный замысел начальных строф был ранее иной, они были замышлены как своеобразная автобиография. Довольно подробно излагалось лицейское детство и начало юности поэта, зарождение поэтического дара* и затем об отношениях с другими поэтами. На первый взгляд кажется, что это может быть подражанием знаменитому посланию Попа к доктору Арбутноту, которого Пушкин не мог не знать по переводу Дмитриева, где встречается строка.

В отважном мальчике грядущего поэта.**

Строка эта замечательна тем, что ею обозначили Вяземский и Ал. Тургенев (см. Остафьевский архив) отношения Карамзина к самому Пушкину на заре его поэти-

---

* Здесь о воспоминаниях лицейского детства и юности — отсюда стрелка к стихотворению «Паж».

**«Послание от Английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту», сочинения Димитриева, 1823. Одной мысли, что его могут назвать подражателем Дмитриева, к которому Пушкин относился весьма иронически, было достаточно, чтобы отбросить строки о поэтах. И Пушкин круто оборвал на Державине.

ческой деятельности. Ср. также «И Дмитриев не был наш хулитель» (Пушкин) с Попом — Дмитриевым:

> Конгрев меня хвалил, *Свифт не был мой хулитель;*
> И Болинброк, сей муж, достойный вечных хвал,
> Друг старца Драйдера, с восторгом обнимал
> В отважном мальчике грядущего поэта.
>
> («Послание от Английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту»)

У Пушкина все довольно близко к тому тексту, но дело в том, что классик Поп, в свою очередь, заимствовал этот кусок у Овидия, из знаменитейшей элегии (кн. IV, элегия X), которую так и называют автобиографией Овидия, изучение которой входило в курс всех классических учебных заведений, в частности Лицея. Что Пушкин восходит к Овидию (хотя он не мог не знать и Попа — Дмитриева), доказывается тем, что он после и перед поэтами рассказывает о том, как стал воспевать свою возлюбленную, и [нрзб.] между тем Поп рассказывает, как он сначала писал невинные идиллии:

> Цветочки, ручеек, жургащий средь долины,
> Обидны ли кому столь милые картины . . .

Но еще убедительнее то, что в пушкинском тексте находится еще никем не отмеченная цитата из Овидия:

> И стриг над губой первый пух . . .

4 февраля 1959. Ленинград

2

... Известно, как любил сосланный в Бессарабию Пушкин уподоблять свою судьбу судьбе Овидия (цитата) [Как ты, враждующей покорствуя судьбе, Не славой, участью я равен был тебе. Здесь, лирой северной пустыни оглашая, Скитался ...». «К Овидию», 1821], как группировал вокруг этого имени политические иносказания («Август смотрит сентябрем»),[2] как о нем, одном из античных поэтов, пишет в своих исторических записках. Но одна подробность ускользнула от внимания исследователей.

В отброшенной автобиографии 8-й главы «Онегина» Пушкина есть почти дословная цитата из Овидия. У Овидия она находится в той же X элегии. Сразу после перечисления поэтов (Горация, Вергилия и др.) Овидий рассказывает, что, когда он впервые публично читал свои стихи, он едва ли дважды сбрил бороду:

... populo juvenalia lege
Barba resecta mihi bisque semelae fuit.

Это сопоставление, кроме того, объясняет, что Пушкин хотел сказать следующими стихами:

Когда в забвеньи перед классом
Порой терял и взор и слух
И говорить старался басом
*И стриг над губой первый пух ...**

---

* То, что в Риме бритье бороды имело религиозный характер, не имеет в данном случае никакого значения.
NB. «Паж» — 7 октября:
... уж над губой
Могу свой ус я защипнуть.

Вслед за этими стихами Овидий повествует, что он начал воспевать Делию, а Пушкин — безымянную деву.

От всего у Пушкина в окончательном тексте остался только «Старик Державин . . .» и в «Путешествии Онегина» воспоминание о том, что Вл. Ф. Раевский когда-то назвал его, Пушкина, — певцом Кавказа.[1] К этому же ряду hommage'ей (дань уважения) товарищам-поэтам относится и стих

Там пел Мицкевич вдохновенный . . .

Там — (в Крыму) в Тавриде. Пушкин имеет в виду знаменитые «Крымские сонеты» Мицкевича, посвященные Д. Д., т. е. Каролине Собаньской, в которую Пушкин был влюблен в зиму 29—30 года, т. е. во время создания «Путешествия Онегина».

Однако в «Путешествии Онегина», вероятно как hommage мэтрам, есть и державинская строка (о Кавказе),[3] и дмитриевская (о Волге),[4] и карамзинские «грозные Иоанны».[5]

Свою биографию Пушкин рассказывает через разные образы музы, которую он приводит наконец на петербургский раут.

Биографическая часть кончена — начинается повествование. Появляется Онегин.

Следует сатирическое описание света.* Байроновский прием: „There was . . ." и „There were . . ." — „Тут

---

*

И зрел я, слабый твой певец,
Казбека царственный венец.
(«Путешествие Онегина», варианты XII строфы)
Тебе сей лавр, певцу Кавказа
(В. Ф. Раевский — Пушкину)

* Свет фигурирует дважды с разных точек зрения: 1) То, что я называю «Раут у Д. Фикельмон» (весьма почтительно). 2) Бал у Татьяны (сатирически — „There were").

был . . .", „Тут были . . ."[6]. Это итоги трех петербургских сезонов 27—28, 28—29, 29—30 годов (до 4 марта ст. стиля).

3

Главу эту писал Пушкин (1830 г.) — жених Наталии Николаевны Гончаровой. Оттуда мы узнаем, что блажен тот, кто

. . . в тридцать выгодно женат,

но беда тому, кто похож на целый ряд «отрицательных» героев, и в частности на *белокурого* мизантропа, то есть «Адольфа» Констана.[7] Связь произведения Пушкина с этим романом Бенжамена Констана давно привлекала вниманье исследователей (Дашкевич). Ей посвящена и моя работа 1936 («Пушк. временник», № 1). Сейчас нам предстоит обратиться к ней с совершенно неожиданной стороны. Дело в том, что 2 февраля 1830 года в Петербурге Пушкин написал *единственное* дошедшее до нас любовное письмо. Долгое время почти не поддающийся расшифровке черновик считался наброском к какому-то произведению Пушкина. Однако вскоре после того, как Т. Г. Зенгер (Цявловская) прочла это письмо и установила, что оно обращено к Каролине Собаньской,[8] всплыл целый ряд документов: письмо Пушкина к А. Н. Раевскому 15—22 окт. 1823 г., Одесса, где он пишет, что влюблен в Собаньскую;[9] воспоминанья друга Мицкевича о том, как в 28 г. оба поэта-соперника бывали у Каролины;[10] альбом Собаньской, куда на ее просьбу написать свое имя Пушкин вписал 5 января 1830 г. стихотворение: Что в имени тебе моем?»[11]; и, наконец, записка самой дамы[12], на которую Пушкин и ответил этим невероятным письмом. И что же? — обращаясь к Собаньской, Пушкин пишет: „Chère Ellenore,

permettez-moi de vous donner ce nom qui me rapelle et les lectures brûlantes de mes jeunes années et le doux fantôme qui me séduisait alors, et votre propre existence si violente, si orageuse, si différente de ce qu'elle devait être". [«Дорогая Элленора [имя героини «Адольфа»], позвольте мне называть вас этим именем, напоминающим мне и жгучие чтения моих юных лет, и нежный призрак, прельщавший меня тогда, и ваше собственное существование, такое жестокое и бурное, такое отличное от того, каким оно должно было быть»].

Письмо от 2 февраля 1835 г. в эпистолярном наследии Пушкина — единственное в своем роде. Письма к невесте рассчитаны на то, что их будет читать Наталия Ивановна, письма к Керн какие-то слишком галантные, довольно дерзкие и свидетельствуют главным образом о полном отсутствии уважения к адресатке. Остальные дамы, очевидно, уничтожили письма Пушкина.

Упоминание об «Адольфе» в письме от 2 февраля весьма многозначительно. Им Собаньская-Элленора отсылается к тексту романа, где может узнать все, что испытывает автор письма, как он мечется, тоскует, в каком он отчаянии. И все это затем из «Адольфа» переносится в VIII гл. «Онегина».

Пушкин делает это, не повредив нигде священный для него образ Татьяны («мой верный идеал»). В одном лишь месте, по моему разумению, образовалась крошечная трещинка. Едва ли нужно и можно сказать Татьяне:

Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Это, конечно, из письма от 2-го февраля: „Il y a en vous une ironie, une malice . . .", „un être . . . malfaisant" — „в вас есть ирония, лукавство . . .", „зловредное существо" —

это уже совершенно оглушительно в любовном письме. А у Татьяны этого не было. „Vous êtes le démon" Пушкин — Собаньской, а Карлос в «Каменном госте» говорит Лауре: «Милый Демон».

Судя по записочке Каролины Собаньской, которая, видимо, и вызвала это безумное пламенное послание, она (Каролина) сохраняла весьма холодный, учтивый и светский тон, и человек, прочитавший ее записку, меньше всего мог бы себе представить, что на нее будет отвечено таким образом.

4

„Et cependant vous êtes toujours aussi belle [...] Mais vous allez vous faner; cette beauté va pencher tout à l'heure comme une avalanche" [«А вы, между тем, попрежнему прекрасны [...] Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина»] — из письма 2 февраля 1930 года.

Ты молода ... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть ...
(«Каменный гость». Сцена П. Дон Карлос — Лауре)

5

У Собаньской был прекрасный голос — она чудесно пела и имела прозвище — демон. Демоном называет Собаньскую и Пушкин: „Vous êtes le démon". Напомню, что Дон Карлос говорит волшебной певице Лауре —

«Милый Демон!»* Обращение не такое уж банальное, как например: «мой ангел», как называли все всех. Надо сказать, что Дон Карлос и дальше повторяет то, что Пушкин пишет о красоте, которая исчезнет.

Эти три совпадения — 1) демон, 2) музыка, 3) красота, которая исчезнет (va pencher comme une avalanche), — позволяет нам утверждать, что и здесь Пушкин восходит к собственному опыту прошлой зимы, а возможно, и 28-го года, когда он встречался с Собаньской.

Полагаю, что цитата из альбома Шимановской здесь не совсем у места — ведь гости слушали *пенье,* а не музыку.[13] Едва ли Лаура так ослепительно аккомпанировала себе на гитаре (и гость, к тому же, заинтересовался текстом песни: «А чьи слова?», а не композитором...). Да и не за это ее хвалят гости (Цитата) [«... Никогда с таким ты совершенством не играла, как роль свою ты верно поняла!» и т. д.].

В письме от 2 февраля Пушкин говорит то, что мы читаем в выпущенной строфе Онегина (6-я глава, строфа XVI):

... о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным ...

(Но здесь Пушкин объясняет, что обращается к мертвой.) „C'est à vous que je dois avoir connu tout ce que l'ivresse de l'amour a de plus convulsif et de plus douloureux comme tout ce qu'elle a de plus stupide" [«Вам обязан я тем, что

---

* Здесь отчего-то Демон с большой буквы, как собственное имя (так же как в 8-й главе: «И даже Демоном моим», т. е. Ал. Раевским), а когда Дона Анна говорит Гуану: «Вы сущий демон» — то с маленькой буквы...

познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и всё, что есть в нем самого ошеломляющего»].

6

Не только, как указывает Зенгер, письмо Онегина совпадает с письмом от 2 февраля *, в самой 8-й главе находятся текстуальные совпадения, которые всего больше напоминают перевод. Ключ — «в тоске безумных сожалений» (le regret). Затем — «а счастье было так возможно» в устах героини, описание Онегина, ставшего вдруг неловким, и т. д. Вообще надо сказать, что Пушкин осенью 1830 г. написал почти одновременно два произведения на тему о влюбившемся по-настоящему Дон Жуане: 1) «Кам. Гость», 2) VIII гл. «Онегина» (в начале романа Онегин, конечно, законченный Дон Жуан).

И в том и в другом случае это ничем хорошим не кончается. Это может означать только одно. Пушкин считал себя впервые влюбленным по-настоящему. Для осуществления своей задачи Пушкин воспользовался антибайроновским героем Адольфом (три цитаты совпадают). Поэтому Гуан похож на Онегина — вернее оба они похожи на Адольфа, то есть на Пушкина. В 8-й гл. Пушкин сливается с Онегиным (развить). Он отдает ему свои воспоминания (см. статью И. М. Семенко).[15]

Гуан говорит: «Я счастлив, как ребенок!» Ср.: «Евгений ... как дитя влюблен ...»

---

* [Но]именно в письме Онегина — маленькая трещинка — ирония Татьяны. Почти все это письмо (кроме сафической перевернутой[14] [строфы] Heureux qui près de toi), представляет собой цитаты из Адольфа (см. мою статью 1936 г.).

Адольф	Онегин
Je n'espère rien,	Я знаю: век уж мой измерен,
je ne demande rien, je	Но чтоб продлилась жизнь моя,
ne veux que vous voir;	Я утром должен быть уверен,
mais je dois vous voir	Что с вами днем увижусь я . . .
s'il faut que je vive *	

Кам. Гость

Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.

Адольф начинается в 8-й гл. с «белокурого сумасброда», оставшегося в черновике.[16] Рядом с ним фигурирует Ал. Раевский (Satan son maître ** — «Демоном моим» и Мельмотом[18]). Все это связано с Собаньской (см. одесское письмо к Ал. Раевскому). В своих письмах этого времени Пушкин почти с отчаянием долго и подробно говорит о женитьбе и вдруг вспоминает, что существует некто . . . Онегин . . . «вновь займуся им» (тут же он словно впервые замечает, что Онегин холост: «. . . без жены, без дел . . .»). Но вместо того дает картину света — петербургские впечатления 27—30 гг. — и дальше Пушкин пишет о Татьяне: «В сей *величавой*, в сей небрежной» и тогда же в стихотворении «Паж»: «Вечор она мне *величаво*» — с оттенком иронии. Вспоминается, что в 1824 г. В. Ф. Вяземская в письмах из Одессы писала мужу, что Пушкин настоящий *Керубино*, что она его так называет (и в то время он был влюблен в Собаньскую).[19] В «покаянную» болдинскую осень, вспо-

---

* Я ни на что не надеюсь, ни о чем не прошу, хочу только вас видеть; мне необходимо вас видеть, если я должен жить (франц.).

** Его повелитель сатана[17] (франц.).

миная все и всех, Пушкин мог и это вспомнить (окруженный собственными стихами, которые просто кричат о его страсти). К тому же в этом стихотворении «Паж» дама, которая величаво клянется дать ему из ревности яду, названа *Варшавской* графиней (см. черновик),[20] то есть попросту полькой.*

Ничему из сказанного не противоречит, что стихотворение это близко к стихотворению Мюссе** ["L'Andalouse"].

«И цвет ланит ее так темен» — „elle est jaune comme une orange" *** (см. у Вяземского «Она желта как померанец»).[22] Известно, что в это время Пушкин читал Мюссе и писал о нем.

11 февраля 1959
[Ленинград]

7

В письме есть еще одно одесское воспоминание. Вот оно: «Он полон самомнения, как *его повелитель — сатана*»[23]. Ср. «Вы — *мой неизменный учитель* в делах нравственных».[24] Полагаю, что Пушкин в первом случае имеет в виду не нечистую силу, а просто Александра Раевского. Очевидно (по второй цитате), Собаньская знала о демоническом влиянии Раевского на Пушкина и должна была понять, кого он имеет в виду под «его повелитель — сатана», так же, как в «Гавр[иилиаде]»[25].

---

* В дневнике Пушкин пишет (1833) о Шуваловой: она «кокетка польская, т. е. самая неблагопристойная». Не Каролину ли вспомнил при этом Пушкин!

** Прославленному тем, что из него [sic!] светских модных красавиц называли «львица» (а не женский род от льва!)[21]

*** Она желта, как апельсин (франц.).

8

Вяземский (5 апр. 1830) пишет жене: «Собаньска умна, но слишком величава. Спроси у Пушкина, всегда ли она такова, или только со мною и для первого приема»[26].

Не отсюда ли стих в VIII гл.:

В сей *величавой* . . .

9

Пушкин был у Собаньской 5 января. Это — канун Крещенья. Может быть, отсюда —

У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!

NB. Последний Петербург в «Онегине» может быть февральский (по-нашему мартовский). Пушкин уехал 4 марта старого стиля 1830 г.

. . . В воздухе нагретом
Уж разрешалася зима . . .

Так бывает . . .

10

Близость так несомненна, ситуация создана столь сходная, что места для сомнений не остается. Теперь понятно, почему никому это не могло прийти в голову. Сравнивать, по тем временам деклассированную, 37-летнюю, Собаньскую — бывшую Виттову любовницу, агентку Бенкендорфа[27] (это, впрочем, было тогда неизвестно) с законодательницей зал, юной и прекрасной

Татьяной — безупречной женой свитского генерала и героя Отечественной войны, да кому это придет в голову? Я и не предлагаю это делать.

11

Итак, в 8-й главе между Пушкиным и Онегиным можно поставить знак равенства. Пушкин (не автор романа) целиком вселяется в Онегина, мечется с ним, тоскует, вспоминает прошлое:

То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных . . .

Разве это не пушкинские воспоминания? Никаких презренных товарищей у пустынного Онегина мы не знаем. Каверин? Автор романа? В никаком кругу этот нелюдим как будто не вращался. И разве не так, на два года раньше, в 28 г., вспоминает сам Пушкин свою жизнь? См., например, «Воспоминание», где в той же тональности сказано почти то же самое:

Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор жестокий и кровавый (1828) [28], —

и уже в 1820 («Погасло дневное светило»):

И вы забыты мной, изменницы младые, —

и в 1821 («Мой друг, забыты мной следы минувших лет»).

Пушкину для Онегина ничего не жалко — он даже отдает ему собственных «изменниц молодых».

12

Пушкин не только отдает Онегину свои воспоминанья (строфа XXXVII), он целую строфу (следующую) тратит на то, чтобы показать, как не могший когда-то

ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить, —

Онегин под влиянием влюбленности стал похож на поэта, то есть на него, Пушкина, или, по крайней мере, на автора, и

силой магнетизма
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.

13

В черновиках и в отброшенных стихах (8-й главы) преследование, которому подвергалась дама, описано гораздо подробнее. /. . ./ Примеры: «У художниц мод» (это пахнет действительностью, т. е. у портних); «на берегу замерзлых вод» (на набережной).

14

Две картины мокрой гнилой осени в 8-й главе «Онегина» было, очевидно, то, на что смотрел поэт из своего окна, когда писал эту главу:

1) Истлели быстрой чередой,
Как листья осени гнилой.
(Строфа XI)

2) Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
(Строфа XXIX)

Ср.

Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея . . .
(«Румяный критик мой . . .»)

15

Что Пушкин и в Моцарта вложил много самого себя, в этом, кажется, никто не сомневается. Позволю себе привести еще один характерный пример:

«А я и рад: мне было б жаль расстаться с моей работой», — говорит Моцарт о своем только что законченном Requiem'e (26 октября 1830 г., Болдино). «Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи», — говорит почти одновременно Пушкин о только что законченном «Онегине» (стих. «Труд», 1830, Болдино).

16

Чем кончился «Онегин»? — Тем, что Пушкин женился. Женатый Пушкин еще мог написать письмо Онегина, но продолжать роман не мог.

17

Из заключения

То, что Собаньская, дожив до 80-х годов, так глу-

хо молчала о Пушкине — mauvais signe! * Женщина, которая еще в России собирала самые редкие и трудно находимые автографы (тюремный автограф Марии-Антуанетты, [автограф] Фридриха II . . .) и, очевидно, знала им цену, не сохранила безумные письма Пушкина. Как стало известно сравнительно недавно, уже в самом начале 30-х годов, она была агенткой Бенкендорфа. Очень вероятно, что и к Пушкину она была подослана, и боялась начинать вспоминать, чтобы кто-нибудь еще чего-нибудь не вспомнил. Это, как известно, сделал Вигель для одесского периода ее жизни [29] [. . .].

Трудно предположить, что существо, занимавшееся предательством друзей и доносами в середине 20-х годов и в начале 30-х, именно в зиму 1829—30 было далеко от этой деятельности. А если она находилась в связи с III отделением, невероятно, чтобы у нее не было каких-нибудь заданий, касавшихся Пушкина. Из письма Собаньской к Бенкендорфу следует, что она писала ему до польского восстания, то есть до 1831 г. („. . . à qui j'ai parlé si ouvertement *avant* et pendant les horreurs qui agitaient le pays" [«которому я писала так искренно *до* ужасов, волновавших страну, и во время них»] [30]. Значит, означенная Каролина писала Бенкендорфу в то время, когда встречалась с Пушкиным.

18

Заключение

Таким образом, оказывается, что осенью 1830 г. Пушкин написал два произведенья с донжуанским героем (конечно, Онегин в начале романа законченный

---

* Дурной знак (франц.).

Дон Жуан), который влюбился в самом деле: одно из этих произведений — «Каменный Гость», второе — 8-я глава «Онегина». Для обоих он воспользовался антибайроновским героем Адольфом Б. Констана, в такой мере, что три цитаты из «Адольфа» в обеих вещах совпадают *. От этого Гуан несколько (через Адольфа) похож на Онегина. И оба они, конечно, похожи на самого Пушкина, который 2 февраля 1830 г. в Петербурге написал Каролине Собаньской нечто столь близкое 8-й главе, что оно могло бы быть одним из писем Евгения, если бы там не было упоминания о Крыме, а было бы упоминанье, скажем, о Ленском и еще кой-каких мелочей.

Лейтмотив и письма [к Собаньской], и 8-й главы:

В тоске безумных сожалений . . .

Онегин просто по письму Татьяны знает, что некогда он был любим . . .

А счастье было так возможно,
Так близко!

Адресатка Пушкина, может быть, чтобы поддразнить его, сказала ему нечто аналогичное. И он теряет голову: „Le bonheur est si peu fait pour moi que je ne l'ai pas reconnu quand il était devant moi" [«Счастье так мало создано для меня, что я не признал его, когда оно было передо мною»]. И дальше об *угрызении* (remords), в котором могло бы быть даже наслаждение, и о сожалении (regrets), которое рождает в душе только ярость и богохульство. Так было 2 февраля, а 5 апреля того же года Пушкин уже счастливый жених

---

* 1) «Я знаю: век уж мой измерен . . .» 2) «Печальная тайна» и 3) «Если б я прежде».

Что Онегин похож на Адольфа, написал сам Пушкин в предисловии (1825 год) [31]. Рукопись разобрана уже после выхода в свет моей статьи в 1-м № «Пушкинского Временника», 1936.

так легко выйти из этого круга, и мысли о собственном донжуанстве, суеверное * ожидание какой-то страшной Н. Н. Гончаровой. Но в творческом плане, очевидно, не кары (хотя бы в виде посмертной ревности, о которой столь живописно он пишет своей будущей теще). И опять все то же, то же. Он бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя в «Русалке» к ногам, pardon, хвосту дочери мельника. У Пушкина женщина всегда права — слабый всегда прав. И из того, что Пушкин так круто обрывает роман на этой mise en scène, видно, как она для него важна. Он покидает Онегина «в минуту, злую для него . . .»** И в минуту злую для себя он уезжает из Петербурга. Это свидетельствует о том, как живы еще осенью в Болдине воспоминания прошлой зимы. «Онегин» обрывается, как натянутая струна, когда читатель и не помышляет, что читает последнюю строфу. Мы знаем «Онегина», сколько себя помним, и, естественно, нам трудно себе представить что-нибудь иное, но если сделать некоторое усилие воли и вообразить, что какая-то книга кончится на том, что героиня «неубрана, бледна» сидит и обливается слезами, герой на коленях целует ее руку, а в дверях звенит шпорами муж — свитский генерал, все же останется некоторое недоумение . . .

Итак, это наблюдение дает в какой-то мере ключ к 8-й гл. «Онегина», к трагедии «Каменный Гость» и вместе с недоумением Вяземского по поводу пушкинского сватовства освещает очень важный момент биографии Пушкина.[33]

---

* С. М. Бонди сказал мне, что «На совести усталой много зла» Пушкин приписал потом («Каменный Гость», сцена IV).

** 19 октября 1830 г. гибнет 10-я глава.

ДВЕ НОВЫЕ ПОВЕСТИ ПУШКИНА

1

Автобиографический отрывок 1839 года и 1-я глава «Египетских ночей». [1]. — Работа над ним: тщательно изгнаны *бедность**, неудача и зависимое положение писателей. Почему Чарский не Пушкин 1835 года. В связи с одной из важнейших проблем «Египетских ночей» взят только поэт. Пушкин 35 года — литератор, историк, изнемогающий от долгов критик. Если это Пушкин, то до 27—30 года, холостой, еще не знающий литературных неудач и литературных тягот, «такой превосходный поэт».

Пушкинская проза — отстоявшаяся («Выстрел» и «Кирджали» — Кишинев, «Пиковая Дама» — роман с Фикельмон). Чарский — Пушкин конца 20-х годов (ср. халат Чарского). *X* «Отрывка» слишком фотографичен (как сказали бы теперь), актуален. Чарский удален временем, идеализирован — разбогател, стал независимым, одендился, автор, изображая его, не хочет снизойти до описания собратий (тоже, конечно, портреты) **. Появляется один «собрат», которого стоит изобразить. Да еще как! Так, как Пушкин *никогда* никого не изображал. Начать с внешности. Известно, как эскизны пушкинские портреты (Швабрин, Германн), как невозможно себе представить и офицеров повестей Белкина, и светских людей прозаических отрывков (Минский, Волоцкий). О внешности Чарского не сказано ни сло-

---

* Для этого Чарскому придан богатый дядя.

** «Двойное ремесло» — доносы, конечно, Булгарин.

ва *. Исключение Пугачов, Хлопуша и Кирджали — лица, действительно существовавшие и о внешности которых Пушкин собирал сведения **. С такой же подробностью изображен импровизатор. Это несомненно портрет.

Весьма примечательно, что автор «Отрывка» не *писатель*, как Белкин, а «Х» — *писатель*. Вот трюк: неписатель описывает писателя. То же в предисловии к Селу Горюхино.

2

Что итальянец не только импровизатор, но и поэт, видно из нескольких «описок» Пушкина: 1) Стул в комнате италианца завален «*бумагами*» и бельем. Какие же, помилуй Бог, «бумаги» у только что приехавшего нищего импровизатора? Это, конечно, рукописи писателя. 2) Чарскому было неприятно видеть *поэта* в одежде заезжего фигляра. 3) «Вы поэт, так же, как и я», — говорит иностранец. Мало того, итальянец образованный человек, может импровизировать на любую тему, даже такую высокую, как первая импровизация, и такую специальную, как вторая. Говорит языком образованного человека о сущности импровизации. Надо сознаться, что это существо все время как бы двоится перед нашими глазами. (То червь, то Бог . . .) [2] [. . .]

3

[Портрет импровизатора у Пушкина] во всех подробностях соответствует описанию внешности Мицкевича, оставленному нам Полевым [3], первая импровизация

---

* Но одет Чарский, как Пушкин конца 20-х годов (халат — см. воспоминания Полевого).

** Сравнить также Нину в Онегине с портретом Закревской («На углу маленькой площади»).

— описание первого знакомства поэтов в Москве осенью 1826 года, когда Пушкин, услыхав Мицкевича, бросился ему на шею (Вяземский) [4]. К тому же импровизатор вообще редкость, и у нас нет сведений, что Пушкин слышал кого-нибудь из них кроме Мицкевича [5]. NB. Мицкевич не только импровизировал публично. Он также читал свои стихи по-польски (см. статью Пушкина о Мильтоне). [6]

Немыслимо себе представить, чтобы Пушкин, беря темой импровизацию, не вспомнил столь поразившую его импровизацию Мицкевича. А то, что импровизатор — портрет Мицкевича, окончательно доказывает, что в повести «Египетские ночи» есть arrière-pensée [7].

История отношений Пушкина с Мицкевичем еще не написана. Биографы Мицкевича (Погодин, а также Браиловский) склоняются к тому, что отношения их были сложные, и трудно говорить о дружбе двух поэтов. Сравнительно недавно найденное письмо Пушкина к Хитрово скорее подтверждает это мнение. Говоря о мрачности любви поляков к своему [отечеству, Пушкин добавляет: «Вспомните их поэта Мицкевича» (9 декабря 1830 года)].

4

В 1835 г. реальные жалобы Пушкина на свою профессию должны бы были быть совсем иными. (Цензура, критика, безденежье.) Поэтому и выпад против меценатов зачеркнут Пушкиным. У Чарского не должно было быть врагов. Итак, в Чарском Пушкин изображает себя не таким, каким он был в 1835 году, а таким, каким он был в 1826—1828 годах, и в помощь своей памяти берет «Отрывок» 1830 года, внося в него те измене-

ния, которых требовала фабула «Египетских ночей». В дальнейшем я постараюсь доказать, что события, описанные в «Египетских ночах», тоже относятся к концу 20-х годов. Такое обращение к материалу, уже отстоявшемуся, очень характерно для Пушкина. См. «Выстрел» (30 г.), «Кирджали» (34 г.) — кишиневские воспоминания Пушкина *. (Быть может, «Домик в Коломне»).

5

То, что Чарский «Египеттских ночей» — сам Пушкин, никто в этом не сомневается. Но одна подробность ускользнула от вниманья исследователей. Чарский — Пушкин, но не Пушкин того времени, когда писалась эта повесть, — женатый, отец семейства, муж красавицы, писатель, который долгие годы не прочел о себе ни одного доброго слова, разорившийся камер-юнкер, неудачливый журналист («Современник»). Нет! — это Пушкин знаменитый, всеми любимый, прославленный, независимый, холостой — одним словом, Пушкин дополтавский. Это — Пушкин примерно 1827—1828 годов.

Это Пушкин, слушавший вдохновенные импровизации Мицкевича, это Пушкин, вновь встретившийся с Собаньской 1828 г.).[8]

6

[. . .] Полагаю, что одна из тем „La primavera veduta da una prigione" (весна из окна тюрьмы) дана Чарским,

---

* Программы романа «Русский Пелам» показывают, что в том же 35-м году Пушкин предполагал изобразить русское общество таким, каким он застал его по выходе из Лицея (декабристы, Шаховской — театр и т. д. Всеволожский).

который знал обстоятельства импровизатора. Однако это уже другая тема . . .

Здесь, то есть в повести «Мы проводили [вечер на даче]», тоже есть *ключевая фраза*, [ее] произносит молодой человек по имени *Алексей* (то есть, вероятно, сам Пушкин): «Есть черта в ее жизни, которая так врезалась в мое воображение, что не могу взглянуть почти ни на одну женщину, чтоб тотчас не подумать о Клеопатре».

Пушкин знал Aurelius Victor'a очень давно: в первый раз он начал заниматься Клеопатрой еще в 1824 году, затем он вернулся к той же теме, 1828 — год встреч с Собаньской.

В 1835 г. устами Алексея Ивановича он нам объяснил, почему. От этого никуда не уйдешь. Итак, тема Клеопатры по Аврелию Виктору возникла у Пушкина в Одессе. Пушкин знал и первое в мире упоминание о Клеопатре: оду Горация, кн. I, ода XXXVII, „Ad Sodales" (Друзьям). Первое полустишие этой оды: „Nunc est bibendum" — Пушкин сделал эпиграфом Лицейской годовщины 1825 года в Михайловском (см. черн[овик]). Но во всей истории Клеопатры его интересовала только запись Аврелия Виктора. — Ни любовная связь с Цезарем, ни бурный предсмертный роман с Антонием, ни героическое самоубийство ("I am air and fire" [9] — у Шекспира) — все это не привлекало вниманье Пушкина. Он заметил и запомнил *«одну черту»*, как говорили в его время. И, смотря почти на каждую женщину, 10 лет подряд думал — а может ли она, как Клеопатра . . . Что же после этого удивительного в том, что про какую-то женщину XIX века он решил — да, она это может . . .

И даже, если, как я почти уверена, тяжелая, почти переводная проза в рассказе Ал. Ив. окажется почти переводом кого-нибудь из фр. романтиков и выплывут

какие угодно неожиданности, сказанное мною остается в силе.

19 февраля 1959
Ленинград

P. S. Итак, новые соображения в моей статье доказывают, что, кроме политической полемики («Медный Всадник» и «Он между нами жил») и переводов («Будрыс», «Конрад Валленрод», «Воевода»), Пушкин всякий раз занимался Мицкевичем, когда это было связано с Каролиной.

«Что в имени тебе моем?» [10] Бахчисарай — Мицкевич [11]. Мицкевич Крымский [12]. Импровизации Мицкевича в «Египетских ночах».

Каролина — Клеопатра — это одна из женщин, которых Пушкин не только не возносит, как Татьяну или Дочь Мельника, это та, кого он боится и к которой тянется против силы.

Милый демон! [13]

7

Если вдуматься в отрывок «Мы проводили вечер . . .», нельзя не поразиться сложностью и даже дерзостью его композиции. Во-первых, кто это «мы», ничем не выдавшие своего присутствия? Да и отрывок ли это? Все, в сущности, сказано. Едва ли читатель вправе ждать описания любовных утех Минского и Вольской и самоубийства счастливца. Мне кажется, что «Мы проводили . . .» — нечто вроде маленьких трагедий Пушкина, но только в прозе. Представьте себе все это в стихах и в драматической форме, и вам не придет в голову ждать продолжения. Его просто не может быть. Сме-

лость (дерзость) и необычность поражают и в деталях. Алексей Иванович говорит, что советовал ** сделать из этого поэму — затем читает куски этой поэмы — следовательно, стихи**, а стихи-то Пушкина. Кажется, нельзя достоверно определить, что написано раньше — «Мы проводили . . .» или «Египетские ночи». Возможно, что «Мы проводили . . .» и есть последнее пушкинское слово о Клеопатре. Там фигурирует гениальный импровизатор, здесь светская злодейка — вдова по разводу с *огненными глазами,* с ледяным самообладанием авантюристки высшего полета.

К этому следует прибавить, что светское общество (салон) дано так же, как в VIII главе «Онегина», хозяйка что-то вроде Д. Фикельмон («был принят слог простонародный» и ее разрешение рассказать неблагопристойную историю), чей салон он так расхваливает в письме к ней [14]. Польский граф и его дурнушка жена тоже как бы из VIII гл. «Онегина» [15], затем ученый спор двух латинистов, из которых один — Титов (вполне реальное лицо) [16]. Гости пьют чай, дамы занимаются вышиваньем.

Героиня произносит только три фразы:

1) «Ах, нет, не рассказывайте!».

2) «Что вам сказать? И нынче *иная* женщина дорого себя ценит. Но мужчины девятнадцатого столетия слишком хладнокровны, благоразумны, чтоб заключить такие условия».

3) «Думаю, даже уверена» . . . и роковое: *«Нет»*.

(Между прочим, разговор после стихов ведется, как в драматическом произведении, то есть не обозначено, кто что именно говорит. Очень существенно, что этот кусок пушкинской прозы ничем не похож на другие два куска светской повести («На углу [маленькой площади»] и «Гости съезжались [на дачу]», а тем более на

«Пелама»). Я не согласна с мнением *X* [17], что это просто обрамление «Клеопатры» (стихи и проза), но головокружительный лаконизм здесь доведен до того, что совершенно завершенную трагедию более ста лет считали не то рамочкой, не то черновичком, не то обрывком чего-то. Неужели рассуждения Алексея Ивановича о ценности жизни светская болтовня? Разве мы не узнаем в них самых сокровенных, глубинных и дорогих для Пушкина мыслей?* (Разве жизнь уж такое сокровище? — „vivre est-il donc si doux?" A. Chénier.) Повторяю, если бы это было сказано в стихах, никто бы не усомнился в законченности этого произведения.

8

Надо думать, что Вольская Zelie Зинаида из отрывка «Гости съезжались на дачу . . .» не имеет ничего общего с нашей Вольской** — вдовой по разводу, чопорной ханжой с огненными глазами,*** которая, не дрогнув и на глазах у всего общества, предлагает Алексею Ивановичу условия Клеопатры. Такой именно и была по

---

* В его рассуждении о дуэли есть что-то очень страшное пророческое. Словно он предсказал то, что так скоро (через 1—2 года) его постигло, словно он видел неизбежность этого, но в творческом плане до конца не отдавал себе отчета. [18]

** Так, никто, я полагаю, не думает, что гусар из «Станционного смотрителя» и светский герой повести «Гости с ъезжались на дачу . . .» одно и то же лицо, только потому, что у них одна и та же фамилия — М и н с к и й.

*** И, как известно, Закревская ни ханжой, ни чопорной, ни вдовой по разводу не была.

всем признакам Каролина Собаньская,**** которая носила весьма недвусмысленное прозвище — *демон*. Несомненно, Пушкин, воскрешая счастливое, т. е. независимое время, которое в 1835 году должно было казаться ему просто золотым веком, вспоминал и свою неодолимую влюбленность в эту женщину.

ИВ. Эпиграф 8-й главы «Онегина», вероятно, имеет отношение к еще до конца не открытой сфере переживаний Пушкина, связанных с письмом 2 февраля 1830 года:

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.

Byron

[Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байрон].

9

То, что Вольская, оказывающаяся, Клеопатрой XIX века, — Каролина Собаньская, в этом нет ничего удивительного, и внимательный читатель Пушкина должен быть к этому подготовлен, прочитав в любом комментированном издании Пушкина, что Зинаида («Гости съезжались на дачу») это Закревская*, что в «Романе

**** Пушкин дважды говорит, что у В[ольской] были о г н е н н ы е г л а з а. Маркевич, вспоминая Собаньскую, говорит, что у нее были огненные глаза.

* Что в княжне Елене в «Романе в письмах» (1829) надо узнавать Оленину, что Лиза Лосина 8-й гл. «Онегина» — она же и т. д., а Проласов — ее отец.

на Кавказских водах» фигурируют современники Пушкина, что в планах «Русского Пелама» мелькают фамилии знакомых автора, что, по указанию самого Пушкина, старая графиня в «Пиковой Даме» — кн. Голицына (а по нашему мнению — Загряжская) [. . .].

10

«. . . Но в ней находится то сказание о Клеопатре, *которое так меня поразило*», говорит Алексей Иванович (это явно авторский голос). Это не Алексея Ивановича (который советовал, то есть Пушкину, сделать из этого поэму, и якобы тот начал, да бросил) так поразило сказание Аврелия Виктора, а самого Александра Сергеевича, который трижды, если не четырежды (1824, 1828 и 1835—1836 гг.), подходил к этой теме.

11

Тема Клеопатры была для Пушкина так неотвязна, что и в «Повести из римской жизни» (1833—35 гг.) он снова (чуть не 5-й раз) предполагал к ней вернуться (см. в наброске плана: «Он перевязывает рану и начинаются рассказы 1) О Клеопатре; наши рассуждения о том»).*

Эта повесть с стихотворными пушкинскими вставками по жанру очень близка произведению, носящему

---

* Очевидно, Пушкину еще захотелось на тему о Клеопатре заставить высказаться древних римлян (между прочим, кажется, Нерон был правнуком Антония) — современников Нерона и Петрония.

условное заглавие: «Мы проводили вечер . . . *; там тоже пушкинская стихотворная вставка и та же тема смерти мужественной, добровольной, и та же античность (самоубийство), и она тоже могла бы стать прозаической маленькой трагедией.

Во всяком случае эти две вещи тесно примыкают друг к другу, высоко трактуют одни и те же предметы, могли бы стать частями какого-то цикла и представляют собою яркое свидетельство того, что в это время глубоко волновало Пушкина **.

12

ПЛАН СТАТЬИ О ПОЗДНЕЙ ПУШКИНСКОЙ ПРОЗЕ

1. Положение вещей до моих наблюдений.

2. «Мы проводили . . .» и ранние светские повести («Роман на Кавказских водах», «Роман в письмах» 1829, «Гости съезжались на дачу» 1828. Реальные действующие лица — Кубович — Якубович, Вольская — Закревская, то же в «Русском Пеламе»). «Мы проводили . . .» — проза совершенно другого типа и, во-первых, ни в коем случае не отрывок, не обрамление «Клеопатры». Эту прозу следует сравнить и сблизить с другой пушкинской прозой — «Цезарь путешествовал». И там и тут рассказ ведется от лица каких-то неизвестных «мы», которые ничем не обнаруживают свое присут-

---

* Рассказ ведется также от лица каких-то непонятных персонажей.

** Сюда, вероятно, принадлежит и странный «Странник» Беньяна [19] (1835).

ствие. Пусть нас не обманывает форма. В первом случае это как бы светская повесть (хозяйка салона из VIII главы «Онегина» /Д. Фикельмон?/, архивные юноши /один из них Титов/ — латинисты, комические персонажи, уродливая графиня и ошибшийся польский муж /ср. «... женатый на кукле чахлой и горбатой»/, где-то за кулисами сам Александр Сергеевич, произведение которого тут же читается /ср. «Роман в письмах» и «Гости съезжались ...»/).

Но все это мелочи, которые не должны отвлекать нас от главного. «Мы проводили» — не отрывок. Там сказано все, что хотел сказать автор. У этой вещи очень краткий и решительный конец [20]. Этим Пушкин, который так много и долго думал об условиях Клеопатры, хотел сказать: «Вот какой вид это имело бы теперь в XIX веке в Петербурге». (Принцип маленьких трагедий — все происходит, когда занавес уже упал, что замечено рядом пушкинистов.)

Второе мужественное и продуманное самоубийство происходит на фоне древнего Рима. Здесь нас не должны отвлекать почти археологические подробности [21] (вроде описания статуй и обстановки дачи) *. Тема этой вещи — самоубийство писателя Петрония (автора Сатирикона). Не надо забывать, что и сама Клеопатра — одна из знаменитых самоубийц в мировой истории.

Примечание ... На женщину, которую Пушкин назвал Вольской (и которую не надо смешивать с Вольской отрывка: «Гости съезжались на дачу» [Закревской] и в которую он был влюблен в 1830 году так, как Онегин в Татьяну), больше всего похожа Каролина Собаньская — вдова по разводу, ханжа, обладающая *огненными глазами*. Маркевич[22] вспоминает кроме этих

---

* Объяснить, что это 3-й слой пушкинской античности. Первый в Лицее, второй — Шенье.

огненных глаз еще *пунцовую* току со страусовыми перьями, которая очень шла к Каролине (30-е годы). Боюсь, как бы эта пунцовая тока не оказалась *малиновым* беретом героини VIII главы «Онегина». Дело в том, что красочные эпитеты так редки у Пушкина, а описаний женских туалетов и совсем нет (а единственное описание в той же главе VIII /Нина/ сделано несомненно с натуры: «в залу Нина входит, остановилась у дверей . . .»).

13

Эти наблюдения позволяют поставить вопрос о том, что Пушкин, в 30-х годах прибегавший к циклизации своей лирики, так же относился к тому, что в его творчестве только намечалось и в его время могло бы называться «философской прозой».

Таковы два совершенно законченные и глубоко продуманные произведения, внутренне очень близкие друг другу (и по фактуре) и трактующие одну и ту же проблему (самоубийство). Это — «Мы проводили . . .» и «Цезарь путешествовал». (Дать подробную характеристику обоих произведений.)

Повторяю: нас не должно обманывать внешнее несходство: в первом случае обличие «светской» повести (обстановка из VIII главы «Онегина»), во втором археология III-го пушкинского слоя античности и тон Тацита-Плутарха. Проблема остается та же. Добровольный уход из жизни сильного человека, для которого остаться — было бы равносильно потере уважения к самому себе (Ал. Ив.) или подчинению воле тирана. Позволю себе заметить, что Клеопатра столь же знаме-

нитая самоубийца, как и Петроний. Сближаю с этим в творчестве Пушкина следующие строки:

Бросался ты в огонь, *ища желанной смерти,* — в том же 1835 году писал Пушкин о Барклае де Толли («Полководец»).

Кажется, все уже давно согласны с тем что в этом стихотворении Пушкин оплакивает если не самого себя, то какого-то носителя истины в растленном одичалом обществе («О люди! жалкий род, достойный слез и смеха . . .»), и не находит для такого человека никакого исхода, кроме самоубийства.

«Все это мало похоже на Пушкина», — скажут мне. Да, мало — на того Пушкина, которого мы знаем, на автора «Евгения Онегина», но уже автора «Дневника» мы не особенно хорошо знаем [23]

9 марта 1959

О XV СТРОФЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА», О МАНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ХАНДРЕ), ПОСВЯЩЕНИИ В ШПИОНЫ (О «МНИМОЙ ДРУЖБЕ») И ПЕРВОМ СЛОЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ВНОВЬ Я ПОСЕТИЛ» («МИЛЫЕ ЮЖНЫЕ ДАМЫ»)» [1]

1

«Пушкин любил пользоваться таким приемом письма: характеризуя какого-нибудь человека, он показывал, каких отрицательных свойств у этого человека нет. Он подбирал из них другой образ. Таким путем в тени явного портрета возникал другой портрет — скрытый, но, несомненно, более важный для Пушкина. Он получал возможность, не называя своего врага, обнажить все отталкивающее в нем». Это не я говорю, а Т. Г. Ц. [2] Но в «Онегине» уже несколько лет тому назад я нашла подтверждение этого наблюдения:

. . . . . .
И управлять кормилом мнений
Нужды большой не находил,
Не посвящал друзей в шпионы . . .
. . . . . .
Но уважал в других решимость,
Гонимой славы красоту,
Талант и сердца правоту.
(гл. II, черновая строфа перед XV беловой).

Значит, на портрете в тени кто-то хочет управлять. Кто-то посвящал друзей в шпионы. Обратно: кто-то не уважал в других решимость, красоту гонимой славы, талант и правоту сердца [. . .].

По сопоставлению со стихотворением «Коварность» и еще . . . [3] несомненно оказывается, что второй — тайный — портрет написан Александром Сергеевичем с «новоизбранного» одесского друга Ал. Раевского. Это он повторил клевету — а клевета была «жестокая, кровавая» (см. тот же сгусток в стихотворении «Воспоминание» 28 г.), а здесь она раскрывается так:

Не посвящал друзей в шпионы —

то есть не посвящал Евгений Онегин, а кто-то посвящал * и даже очень, и этот кто-то — Раевский.

В трех последних строчках Пушкин запрятал самого себя. Итак, Онегин уважал Пушкина, а Раевский нет. Эту совершенно доработанную великолепную строфу Пушкин не включил в окончательный текст. То ли испугался в этом контексте слова *шпион*, то ли не захотел оставить собственный лестный портрет . . .

2

[. . .] Сравнить собственную характеристику Пушкина в стихах к Вл. Ф. Раевскому (1822):

Что непреклонным вдохновеньем
И бурной юностью моей
И страстью воли и *гоненьем*
Я стал известен меж людей . . .

---

* Слово «посвящал» как — посвящать в рыцари.

Так говорил о себе Пушкин уже в 22 году. Про блеск изгнанья и т. п. он повторял много раз. Близость этих двух характеристик совершенно очевидна.

В соответствующей этой печатной строфе (XIV) читаем:

Иных он очень отличал
И вчуже чувство уважал.

(См. мои разыскания в связи с словом «иной».) Тут это сам Пушкин. Это — Пушкин, гордящийся гонением. Пушкин из послания к В. Ф. Раевскому, и такого Пушкина не должно было быть в «Онегине», по крайней мере, явно.

3

[. . .] О изменившей дружбе Пушкин писал много и страшно. Первое обвинение относится к послелицейскому периоду и, как известно, имеет в виду выдумку Американца-Толстого (будто Пушкина высекли в тайной канцелярии). Второе обвинение относится к Ал. Раевскому и, по-видимому, это он

посвящал друзей в шпионы
(строфа XV, Одесса *1824).*

В «Путешествии Онегина» Пушкин вспоминает это время:

. . . я жил тогда в Одессе
Средь *новоизбранных* друзей

(черн., строфа XXX).

Эта, так называемая, теневая характеристика (он не делал того-то и того-то) намекает, что кто-то и находил нужным управлять кормилом мнений и посвящал друзей в шпионы и не уважал в других решимость, кра-

соту гонимой славы, талант и правоту сердца, то есть не уважал его — Пушкина, и его же, друга, посвящал в шпионы, то есть распускал слухи о том, что Пушкин — шпион. Это и есть

. . . . . суеты
Укор жестокий и *кровавый* —

и этого, как мы сейчас увидим, Пушкин до смерти не забыл и не простил. Здесь очень пахнет Собаньской, которая, заметая следы, могла сказать, что в чем-то виноват Пушкин, в то время, как это была ее работа. Об этом Пушкин говорит четыре раза. 1) «Коварность» (1824), 2) соответственная строфа «Онегина» (IV гл.), 3) «Воспоминание» (1828) и 4) соответств. строфа в VIII гл. «Онегина» (1830). Все это не может быть случайностью [. . .].

4

Во всяком случае, в 1830 году тень Ал. Раевского возникает дважды. 1) «Ни даже Демоном моим» («Онегин», гл. VIII, стр. XII), 2) «его повелитель — сатана» (письмо 2 февраля), а в XIX строфе [Пушкин] опять поминает *клеветников* и трусов злых и друзей презренных, а, как мы знаем, таким другом Пушкин считал Ал. Раевского. Итак, мы видим, что общенье с Собаньской ведет за собой тень Раевского, воспоминанье о «клевете, вралем рожденной». Он не Раевского обвиняет в доносе на него (ускорившем его ссылку, как принято думать *), а попрекает его, что он его, Пушкина, —

---

* Существует мнение, что Пушкин считал Раевского виновником своей ссылки в Михайловское. Во всяком случае, в стихах он упрекает его не за то. И разглашение его «романа» с Елиз. Воронцовой Пушкин не назвал бы «презренной клеветой» и «кровавым упреком» — а как-нибудь иначе [4] Всем этим самый факт сплетен Раевского ничуть не опровергается.

посвятил в шпионы или повторил эту клевету, идущую от кого-то другого.

Вот здесь надо вспомнить про какие-то темные слушки вокруг Пушкина в южный период его жизни.[5] Что удивительного в их возникновении, если он был при даме, которая вела слежку за братьями Раевскими, Орловым и т. д. и в конце концов добилась их ареста. Конечно, Пушкин понятия об этом не имел. Но Александра Раевского он поймал на повторении этой клеветы. Вот как он дважды повествует об этом:

Но если сам *презренной клеветы*
Ты про него невидимым был эхом . . .

(«Коварность», 1824, Михайловское.)

Что нет презренной клеветы . . .
Которой бы наш друг с улыбкой . . .
Не повторил сто крат ошибкой . . .

(«Онегин», гл. IV, строфа XIX.)

5

Можно, конечно, предположить, что Раевский, чтобы унизить Пушкина, «ошибкой» повторил при Каролине «чердачную», то есть еще петербургскую сплетню о том, что Пушкина секли в III-м отделении. На это намекают слова

Что нет презренной клеветы,
На чердаке вралем рожденной . . .

(«чердак» — Шаховского[6], «враль» Толстой-Американец, он же Зарецкий), но в конце концов одно не исключает другого. В 1829 году Толстой уже был сватом Пуш-

кина, а Раевскому (своему Демону, Мельмоту и т. д.) Пушкин всю жизнь чего-то не мог простить. За что-то он сердился и на Орлова (мужа Катерины Раевской).

«Коварность» во всяком случае обращена к Ал. Раевскому: «Ты осужден последним приговором» — это слишком роскошно для картежного вора [7].

6

Эти две беглые зарисовки (себя и Раевского) позволяют предположить, что в «Онегине» еще немало таких совершенно зашифрованных характеристик. Например, гл. I, строфа XLII:

Хоть, может быть, *иная дама*
Толкует Сея и Бентама,
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор;
К тому ж они так непорочны,
Так *величавы, так умны,*
Так *благочестия* полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин . . .

Ср. Вяземский жене (апр. 1830): «Собаньска *умна,* но слишком *величава*». Не знали ли Вяземские, что здесь изображена Собаньская? Уж *благочестием*- то она владела в совершенстве, как мы знаем по ее письмам.

7

Почти одновременно с этой строфой (XV, гл. II), то есть в октябре 1823 года, Пушкин написал письмо Ра-

евскому, в котором он обещает ему как-то мстить и унижать его в глазах Каролины Собаньской. По тону письма видно, что он находится в путах каких-то интриг, как-то связанных с Ал. Раевским и одесской *Клеопатрой*. Напомню, что Витт был предателем братьев Раевских.

8

В скобках замечаю, в той же строфе 2-й главы три последних стиха — «Но уважал в других решимость, гонимой славы красоту, талант и сердца правоту» — это, конечно, не что иное, как один из самых лучших автопортретов молодого автора «Онегина».

Кто хоть сколь-нибудь знает пушкинскую *«тайнопись»*, и даже тот, кто ее совсем не знает, не может не догадаться, о ком идет речь. Это просто очередной «арапский профиль» и кудрявая голова на полях рукописи.

А тайнопись у Пушкина была. Не знаю, довольно ли сказано в науке о величайшем поэте XIX века (во всяком случае) про эту его особенность и так ли легко довести эту мысль до рядового читателя, воспитанного на ходячих фразах о ясности, прозрачности и простоте Пушкина. Зачем она была ему нужна? Во-первых — говорит ли он сам с собой. Беру для примера ту же тему дальше:

А что? Да так. Я усыпляю
Пустые, черные мечты . . .» [8]

(N.B. Ср. Отрывок 1830 года — «И злое мрачное мечтанье».)

И дальше излагает то, с чем не мог разделаться всю жизнь, что, как я говорила выше, стало нераствори-

мым мучительным сгустком, к чему он вернется еще не раз в самом «Онегине» («Вас оскорбивший за бутылкой» [. . .] и почти вся тридцать седьмая строфа 8-й главы). (Цитаты.) Это же возникает с очень важными пояснениями в белую петербургскую ночь 19 мая 1828 года («Воспоминание»), и, наконец, в «Соснах» [«Вновь я посетил»], поэт квалифицирует это как свою душевную болезнь и всегда это соединено с образом *пира* (или проще — за бутылкой).

9

Вот что я называю пушкинской болезнью (поэт говорит о послеодесском периоде):

> Я зрел врага в бесстрастном судии,
> *Изменника — в товарище,* пожавшем
> Мне руку на пиру, — всяк предо мной
> Казался мне изменник или враг. *

Нам кажется, что такого Пушкина никогда не было — мы такого не знаем, но ведь он же лучше знал самого себя. И как с корнем все это вырвано из олимпийски спокойных и величавых «Сосен».

Это тот *первый слой,* который поэты скрывают почти что от себя самих (об этом больше в другом месте). Но сколько раз в течение своей жизни Пушкин повторяет это, и только здесь он сам согласен, что это болезнь [. . .].

---

* Прочтите эти строки любому врачу-психиатру, и он скажет: « У меня половина пациентов такая».

10

[. . .] К этому надо добавить, что Пушкин увез из Одессы в 1824 не только жгучую обиду на Раевского («Коварность»: 18 октября), но и на каких-то дам или даму — см. «Разговор книгопродавца с поэтом», который подытоживает южные, в частности одесские, впечатления:

Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.

(1824, 26 сент.)

Ср.: «А я от милых южных дам . . .» (Черновик «Путешествия Онегина»). А книгопродавец говорит:

. . . .но исключений
Для *милых дам* ужели нет?

Совершенно с таким же содроганием говорит о Собаньской Мицкевич, упрекая ее в том, что она завлекала его, не любя, а желая получить от него посвящения стихов (« К Д. Д.», «Прощание»), что не мешало ему в 1828 бывать у нее в Петербурге, а затем через много лет в Париже.

11

О пушкинской хандре

1) Французское письмо к брату [№ 37. 1822 г. 4. IX —6. X].
2) Письмо к Плетневу [№ 354, 1830 г. 31. VIII].
3) «Евг. Онег.» (гл. 2 — 1824 и VIII-я 1830 г.).
4) «Вновь я посетил» (1835).

Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел . . . *

(гл. I, строфа [XXXVIII]).

и

Ему припомнилась пора,
Когда жестокая хандра
За ним гналася в шумном свете . . .

(VIII гл., строфа [XXXIV]).

Вот что вспоминалось Онегину кроме описанного в строфе XXXVII-й. Как совершенно верно наблюла Семенко, Пушкин в 8-й главе сливается с Онегиным и отдает ему свои воспоминанья, и здесь Пушкин вспоминает и, конечно, свою тогдашнюю влюбленность в Собаньскую, taedium vitae ** 1824 года, и ту хандру, которая граничила с манией преследования, как мы узнаем из первого слоя стихотворения: «Вновь я посетил . . .». Вот о чем пишет великой осенью 30-го года счастливый жених Н. Н. Гончаровой. Вот с чем сравнивает свою последнюю петербургскую зиму. В «Путешествии Онегина» мелькает припев: «Тоска, тоска!», в декабрьском письме то же. В другом письме 1830 — *я хандрлив и подозрителен, как мой отец.* Очевидно, эта волна мнительности и тяжелой депрессии, которую Пушкин пережил в Одессе и которую воронцовско-раевская история (и еще какие-то неизвестные нам обстоятельства) обострила, если не вызвала, и которую он привез с собой в Михайловское (и там якобы от нее освободился — «Я помню чудное мгновенье»), — снова, под влиянием черной мутной страсти, описанной в письме от 2 февраля,

---

* Ср. в 8-й гл.: «Не умер, не сошел с ума», потому что вся глава об этом.

** Отвращение к жизни (лат.).

начала овладевать им. Но к его, а тем более нашему счастью эти страшные периоды не были отмечены молчанием его Музы. Наоборот! То, что он своими золотыми стихами описывал эти состояния, и было своеобразным лечением. Пушкин сам говорил об этом:

Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

[«Вновь я посетил . . .», черн.].

ПУШКИН В 1828 ГОДУ
(УЕДИНЕННЫЙ ДОМИК НА ВАСИЛЬЕВСКОМ)

1

[. . .] В 1828 году в салоне Карамзиных, в присутствии Екатерины Николаевны, в которую был влюблен, Пушкин рассказал демонскую сказку, назвав ее «Уединенный домик на Васильевском». [1]

Молодой москвич Титов, вернувшись домой, записал рассказ Пушкина, отнес рукопись в трактир Демута, где жил Александр Сергеевич. Пушкин, по словам Титова, одобрил его запись и даже внес какие-то поправки.

«Уединенный домик» был напечатан в «Северных Цветах» у Дельвига (1829) за подписью Тит Космократов.

По-видимому, Пушкин не однажды занимал общество этой сказкой. Анна Петровна Керн тоже вспоминает, что Пушкин как-то «собрал нас в кружок» и рассказал приключения влюбленного черта, извозчика № 666 и т. д. на Васильевском острове. [2] Едва ли Анна Петровна бывала в 1828 году в салоне Карамзиных [. . .].

2

Не знаю, заметил ли кто-нибудь, что описание сцены в доме графини И. подозрительно похоже на записку Пушкина к Путяте (январь — середина октября) 1828 г. в Петербурге:

«Вчера, когда я подошел к одной даме, разговаривавшей с г-ном де Лагренэ, последний сказал ей достаточно громко, чтобы я его услышал: прогоните его. Поставленный в необходимость потребовать у него объяснений по поводу этих слов, прошу вас, милостивый государь, неотказать посетить г-на Лагренэ для соответственных с ним переговоров».

Домик: «... он увидел, что она в стороне говорит тихо с одним мужчиною ... любопытство, ревность заставила Павла подойти ближе, и ему послышалось, что мужчина произносит его имя, шутит над его дурным французским выговором, а графиня изволит отвечать на это усмешками. Наш юноша взбесился, хотел тут же броситься и наказать насмешника ...» (далее «бездна разврата») [3]. 1828 — самый разгульный пушкинский год.

3

Прочла «Домик».

Сцена в свете напоминает „Renvoyez-le" * Лагренэ и вызов Пушкина.

1828 год в жизни Пушкина.

За яркий глянец черных глаз,
Облитых *влагой сладострастной* ...

(«Бал» Баратынского, 1828.)

Ср. «черные, большие, *влажные* очи красавицы» («Домик»).

Нина и графиня И. — вампы, тогда у Пушкина Закревская. Кто беседовал с Лагренэ?

---

* Прогоните его (франц.).

Я еще боюсь утверждать, но вдруг «Домик» не петербургская гофманиана, а некое осознание своей жизни как падение (карты, девки, гульба), которое, если не спасет какая-нибудь Вера, кончится безумием. Титов мог так огрубить ее, что и не доберешься. Во всяком случае, Лагренэ остается в силе.

Может быть, Пушкин и рассказал это все для какой-нибудь Веры, которая должна его спасти и которой было многое понятно.

Так и «Х» пользуется рассказом Титова [Вершнева] о Клеопатре, чтобы спросить мнения дамы. [4]

«Домик» и «Бал»

Его любимые картины
У ней являлися. Не раз
Блистали *новые уборы*
В ее покоях, чтоб на час
Ему прельстить, потешить взоры.
Был втайне *убран* кабинет,
Где сладострастный *полусвет*,
Богинь роскошных изваянья,
Курений сладких легкий пар —
Животворило все желанья,
Вливало в сердце томный жар.

Ср. с описанием intérieur'a гр. И. [«Но не в одной гостиной, — продолжает графиня, — есть *новые уборы»*, и вставая с кресел: «Не хотите ли, — говорит она, — заглянуть в диванную; там развешаны привезенные недавно гобелены отличного рисунка». Павел с поклоном идет за ней. Неизъяснимым чувством забилось его сердце, когда он вошел в эту очарованную комнату. Это бы-

ла вместе зимняя оранжерея и диванная. Миртовые деревья, расставленные вдоль стен, укрощали яркость света канделябров, который, оставляя роскошные диваны в тени за деревьями, тихо разливался на гобеленовые обои, где в лицах являлись, внушая сладострастие, подвиги любви богов баснословных. Против анфилады стояло трюмо, а возле на стене похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину. У этого трюмо начинается роковое объяснение»].

Я не думаю, что рассказчик (Пушкин или Титов) восходит к «Балу» Баратынского, здесь мне чудится нечто иное: воспоминание двух любовников вамп-Закревской об ее покоях, где она их принимала. Это объяснение, которое начинается *возле трюмо,* которое замыкало анфиладу (пропущено комнат), дьявольски выпадает из топорной прозы Титова. Оно в самом деле существовало.

Если Пушкин — Павел, Оленина — Вера, Закревская — гр. И. (вамп), я пока не вижу Варфоломея. Может быть, Соболевский? (Но гр. И. может быть и Собаньская, имевшая кличку — *демон* /«Милый демон»/ и своей игрой доводила Пушкина до отчаяния). Которая-то из них и Клеопатра, которой Пушкин снова занялся (в 8-й гл. романа).

Влюбленным мужчинам свойственно считать соперника чем-то вроде дьявола. Мне не раз приходилось сталкиваться с этим явлением («Он ее гипнотизирует» — по-нынешнему).

Мне приходилось с ним сталкиваться на собственном горьком опыте. (И имею даже литературный пример!)

Факт тот, что в 1828 году около Пушкина был *Ангел* (цитата) [5] в виде Олениной и вамп в виде двух дам:

Закревской и Собаньской. И там и тут у него соперников было больше, чем нужно. Описание отчаянья Павла напоминает карамзинское описание самого Пушкина, его знаменитую *ревность* («глаза наполнились кровью и слезами») [6]

NB. К теме Пушкин-тигр: «стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке» («Выстрел»).

22 января 1963, Москва

4

У Карамзиных. Насколько изменил Титов, трудно сказать, но, по мнению исследователей, начало было пушкинское. [7] А что мы видим в этом начале?

30 января [1963]

5

Уединенный домик

I. Описание могилы декабристов (место) [8] Очень легко отделить элементы фантастической повести от чего-то совсем иного.

II. Родители героини — взяточник и ведьма (Олениных).

III. Героиня Вера (стихи к Олениной. Сказка. «Роман» 1829 года. Теневой портрет. 8-я гл. «Онегина» «Вся . . . в отца и мать»).

IV. Графиня И. (Закревская). Большой свет — филиал ада, который наносит Пушкину неотразимые обиды. Все, кроме Павла и Веры, — черти. *Лагренэ*. Закревская — сравнить с «Балом» Баратынского. Античная (эротика) обстановка дома. (В какой мере античная обстановка была тогда обычной?)

V. *Друг — Демон* (Раевский).

«Ночная гульба», от дурных последствий которой умеет спасти только друг-демон. Все аналогии.

VI. Письмо Вяземскому, несомненно рассчитанное на перлюстрацию, где Пушкин учит князя, что́ отвечать где-то, и советует правительству не вмешиваться.

Там *единственные* в своем роде комплименты Бенкендорфу, которые должны смягчить чудовище. Случай был, по-видимому, серьезный, потому что Пушкин к этому методу больше никогда не прибегал. Дан как французская цитата в русском письме, чтобы Бенкендорф мог насладиться комплиментом во всей красе. [9]

6

Про «Домик»

В этой незатейливой, на первый взгляд, вещи при ближайшем рассмотрении оказывается ряд подозрительно связанных с Пушкиным проблем («пушкинских»).

I. Трудность попасть в «высший свет» из среднего (?). То, что этот вожделенный «высший свет» оказывается филиалом ада («Вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимые обиды». 19 мая 1828). [10]

II. Демоническая женщина, к изображению которой подбирался тогда Пушкин (Анти-Татьяна), и такая женщина была тогда в его жизни * (дама «с черными,

---

* См. письмо к Хитрово («Я имею несчастье состоять в связи с остроумной, болезненной и страстной особой, которая доводит меня до бешенства, хоть я и люблю ее всем сердцем». Авг. — перв. пол. окт. 1828). «Приехал Пушкин... Он влюблен в Закревскую». [Т. Г. Цявловская.] Дневник Олениной, стр. 267. Прямое свидетельство одновременности этих двух таких разных любовей.

большими, влажными» глазами — см. «Клеопатра» — 1828).

III. Мнимая дружба или дружба с демоном (Раевским). Измена демонического друга. Женщина —

IV. Ангел (Вера), чья любовь должна спасти (см. стихи к Олениной) [11] — чья чистота последнее прибежище, утешение. Родители Веры и родители А. А. Олениной. [12]

V. Софья Астафьевна и барышня в розовом капоте 18 апр. 1828, к которой Пушкин попросился в гости [13], — и «где третьего дня были» повести. И «ночная гульба». Вероятно, были и по этой линии доносы на Пушкина, и вся история с поездкой в Коломну не так невинна, как представляет Пушкин в письме к Вяземскому, уверенный, что письмо будет прочитано. Недаром Бенкендорф стращал Вяземского. Можно себе представить, на какие «проделки» намекает Павел, говоря о Варфоломее.

VI. Безумие Павла совпадает с реальным «безумием» М. А. Дмитриева-Мамонова. Политический характер не то гамлетовского, не то чаадаевского помешательства. [14] Белокурый высокий молодой человек с серыми глазами (?), вероятно, внешность Варфоломея.

Пушкинская тайнопись. [15]

7

В 1828 году Пушкин не только влюблялся и разлюблял и как никогда расширял свой донжуанский список, о чем он сам говорит:

Каков я прежде был, таков и ныне я, —

но и в «Полтаве» (то есть осенью 1828 года, в октябре) хочет быть теоретиком этого образа действий и как бы считает его нормальным и вообще свойственным молодежи:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь . . .

и далее называет любовь молодого человека «мгновенными страстями», которыми сердце пылает *«послушно»* и *«слегка»*. Это, очевидно, опыт 1828, когда исследователю грозит опасность заблудиться в прелестном цветнике избранниц, когда Оленина и Закревская совпадают по времени. Пушкин хвастает своей победой у Керн, несомненно как-то связан с Хитрово и тогда же соперничал с Мицкевичем у Собаньской. И все это только в Петербурге. * Однако все это не так мило, как кажется на первый взгляд. Все эти «мгновенные» страсти не могли у человека с характером Пушкина протекать безболезненно. И, во-первых, большую роль должна была играть ревность, без которой, как известно, никакой влюбленности не бывает, тем более у человека с таким бешеным темпераментом, как Пушкин («неисправленный стократною обидой»). [16]

Надеюсь, что все эти соображения приближают нас к пониманию, почему Павел под влиянием ревности бродит по зимнему Петербургу и не топится только потому, что Нева подо льдом, причем Павлу-то и ревновать особенно некого.

---

* Титов в старости вспоминает, что примерно в то же время Пушкин обожал Карамзину-Мещерскую [см. примечание [1]].

8

/ . . . / Главная страсть повести *ревность*.[17] Павел ревнует и Ангела (Веру) и чертовку — к Варфоломею, страсть, столь свойственная Пушкину. Можно с уверенностью сказать, что описание блужданий Павла по зимнему ночному Петербургу — пушкинское.

Что делать с этими тремя странными совпадениями (Дм.-Мамонов, Закревская и Лагренэ) плюс описание Голодая, пока непонятно. На всякий случай я решила записать мои находки, потому что они могут пригодиться кому-нибудь в работе. С Пушкиным никогда не знаешь à quoi s'en tenir [чего держаться].

28 марта 1963. Комарово.

9

Вчера, сегодня начинает смутно проступать, что сделал Пушкин в «Домике». В старый план адской повести[18] он вложил многое из своего настоящего и недавнего прошлого:

1) Впечатление от места погребения пяти декабристов (к которому еще дважды вернется, как мы видели — «Отрывок» 1830 года и «Медный Всадник»), своего столкновения с Лагренэ, своего романа с дьяволицей с влажными глазами (Закревской, Собаньской), описание ее дома (см. «Бал» Баратынского) и Ангела-Веры — Олениной («сколько *томных* выражений»)[19], которая должна была его спасти, — стихи к ней вопль о спасении, припадки черной ревности, которым Пушкин был подвержен, мать героини — ведьма, это Елизавета Марковна Оленина, которая искала дочери выгодную партию и была грубой с Пушкиным. N.B. Папаша обозван взяточником и отравлен женой-ведьмой совместно

с ее любовником. См. Пушкин об Олениной в «Онегине».[20] Недурные папа и мама у Ангела. В 1830 году сама Анна Алексеевна (Оленина) «вся . . . в отца и мать». Все это *настоящее*, то есть 1828 год.

К недавнему прошлому восходят отношения с Варфоломеем. В них не трудно распознать тяжелый и ни в чем не растворимый сгусток — Демон-Друг-Предатель-Раевский *, есть даже словесное совпадение с стихотворением «Коварность»: [Павел] отскочил, как от лютой змеи [от Варфоломея]. NB. Не надо ни минуты забывать, что мы имеем топорную копию Титова с зашифрованного подлинника Пушкина, но придумывать за Пушкина Титов, конечно, не может.

Когда свою он от руки твоей,
Как *от змеи*, отдернет с содроганьем . . .

(«Коварность», 18 окт. 1824 г.)

Затем Варфоломей именуется коварным.

Рассказ произнесен для девичьего слуха. (Или записан.) Не трудно догадаться, куда водит Варфоломей — Павла, в каких проделках он его обвиняет (ночная гульба). Не следует обойти молчанием следующую подробность. (Если это подробность.)

В маленькой трагедии (в прозе), которую приходится условно именовать «Мы проводили вечер на даче», Пушкин рассказывает, как Алексей Иванович занимает общество историей Клеопатры (в прозе и стихах), а

---

* Открытие этого пушкинского приема [«теневого портрета»] принадлежит С. Бонди. Он заметил, что под видом похвал Инзову Пушкин поливает грязью Воронцова («Воображаемый разговор с Александром I»).

В нашей строфе дело обстоит примерно так же: Онегин не делал того-то и того-то, что, очевидно, делал кто-то, и, что для нас самое главное, Онегин

Титов, московский архивный юноша (и ученик иезуитов), удивляет всех своей всемирной ученостью. Все это делается только для того, чтобы услыхать роковое *да* дамы с *огненными глазами*. Не хотел ли Пушкин и в 1828 году в своей петербургской повести сказать что-то какой-то даме, присутствующей на вечере? Может быть, не случайно Титов в глубокой старости вспоминает, что в тот вечер была дома Ек. Ник. Карамзина, которую Пушкин обожал? . .

Здесь не лишнее напомнить, что написанную в 1824 в Одессе «Клеопатру» [22] Пушкин снова берется обрабатывать в 1828 году, что Закревскую он просто называет Ниной Воронскою, «Сей Клеопатрою Невы», что у Каролины Собаньской были *огненные глаза*, и она была вдова по разводу, как героиня маленькой трагедии «Мы проводили вечер на даче». Итак, и Клеопатра Невы и гр. И. это кто-то из этих дам, а еще вернее желанье Пушкина изобразить в противовес светлой и чистой Татьяне страшную темную грешную женскую душу.

[. . .] Из всего этого явствует [23] что было время, когда Пушкин уже разочаровался в родителях, но был еще очарован А. А., а она сама еще казалась ему прелестнейшей из всех женщин, и ей он почти молился. Вот это время и есть время сочинения «Домика» и рассказа его у Карамзиных и еще где-то (Воспоминания Керн). Уже примерно через год он узнает все и о самой Олениной (см. «Роман в письмах» 1829 г., работы Зенгер-Цявловской (Цитата). («Часто удивлялся я тупости понятия или нечистоте воображения дам, впро-

---

Не посвящал друзей в шпионы . . . —
вот они, все разговоры о «малодушии» Пушкина и его «характере». Вот что повторил Раевский, о чем узнал Пушкин и чего он не мог ему простить. Строфа не вошла в печатный текст. [21]

чем, очень любезных. Часто самую тонкую шутку, самое поэтическое приветствие они принимают или за нахальную эпиграмму, или за неблагопристойную плоскость. В таком случае холодный вид, ими принимаемый, так убийственно отвратителен, что самая пылкая любовь против него не устоит. Это испытал я с Еленой***, в которую был я влюблен без памяти. Я сказал ей какую-то нежность; она приняла ее за грубость и пожаловалась на меня своей приятельнице. Это меня вовсе разочаровало». В женщине, в которую поэт был влюблен без памяти, которая приняла его нежность за грубость, которую Пушкин назвал было О., а затем Елена, нельзя не узнать Олениной»).[24]

Проходит еще год, и на рауте в 8-й главе «Онегина» Пушкин с омерзением говорит обо всей семье («Тут Лиза Лосина была»).[25]

Все это в конце концов окажется истиной, придут откуда-то еще новые подтверждения.

Но что, милый читатель, вы скажете о развязке петербургской повести Тита Космократова?

Кажется, чего проще, чего банальнее...

После смерти Веры Павел сходит с ума. Но почему, скажите мне, он делает это точь-в-точь, как самый знаменитый московский богач Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, основатель и глава тайного декабрьского общества Русских Рыцарей, которого Пушкин считал одной из центральных фигур 1812 года, о чем сказано в «Рославлеве» (1831) (цитаты) [«Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением»], друг и единомышленник Орлова. В снаряженном на его деньги полку служил кн. Вяземский, и в это время дружил с графом. ИВ. Герцен о Мамонове[26].

Лотман считает, что сумасшествие Мамонова было вроде гамлетовского (во всяком случае вначале) или чаадаевского. В 1826 — гр. Мамонов отказался присягать Николаю I. С ним обошлись как с душевнобольным, но держали как арестанта, Мамонов уехал в свою подмосковную, отрастил бороду, сделался человеком-невидимкой, подписывал бумаги не своим именем, запрещал упоминать при нем о *государе,* государыне и вел. князьях, избил лакея. Все это делал и Павел «Домика».

Кроме того, Павел приходил в исступление при виде (где он его брал в своей подмосковной?) высокого белокурого молодого человека с серыми глазами.

Весьма таинственный блондин!

Но здесь нельзя не вспомнить, что Пушкину была предсказана гибель от белокурого человека, а что Николай I был совсем белокурым, и у него были серые глаза. Когда Пушкин в 26 г. впервые увидел государя в Москве в Кремлевском Дворце, он вспомнил об этом предсказании и говорил об этом друзьям. NB. *И опять, что Мамонов запрещал упоминать при нем о государе.*

А 1828 год был годом взятия Пушкина под тайный надзор и год, когда Гавриилиада дошла до правительства. Поэт ждал новой ссылки «прямо, прямо на Восток».

Ленинград
20 апреля 1963

P.S.: Одновременность влюбленности Пушкина в Оленину и Закревскую и то, что он, конечно, бешено ревновал обеих, должна была стеснять рассказчика «Домика», так как такая одновременность несколько противоречит правилам фантастической сказки. Там влюблен — так влюблен. Не так бывает в жизни и в особенности с лирическими поэтами. Оленина — Вера была надеж-

дой на спасение, очищение, прощение. Та, другая, Закревская — графиня И. повести — водила его по опустошенным кругам своей обугленной души. Это была дама с огненными или влажными черными глазами (полу-Закревская, полу-Собаньская), та, которая в «Маленькой Трагедии» скажет *да*, т. е. потребует, чтобы он убил себя, это, одним словом, современная Клеопатра.

Итак, по всему, Пушкин рассказал у Карамзиных «Домик», когда он был еще без памяти влюблен в Оленину, он уже знал все об ее родителях, когда его терзала какая-то Клеопатра Невы, которая тоже появится во всей красе в VIII гл. «Онегина» (1830). (Цитата. «Нина входит» . . .) Но ей он не мстит ни в стихах, ни в прозе. (См. «Роман в письмах» 1829. Елена — Оленина. См. дневник Олениной: «У Пушкина роман с Закревской».)

10

Итак, «Домик», говоря иными словами, это повесть о том, как поэт в 1828 году погибал в чьих-то сетях, ревновал, метался, бился.

Как изменили и дружба и любовь, как он был виноват, как какой-то темный спутник предал его, как демоница над ним издевалась, как единственная надежда — Вера — была у него отнята, отчасти по его же вине. А высший свет, куда его вводит сатана, оказывается филиалом ада.

Это главная линия повести, которая во всех деталях совпадает с тем, что (судя по стихам) происходило с Пушкиным.

Для кого он ее рассказал? — Конечно, не для Анны Алексеевны Олениной. Для самой демоницы? Сомневаюсь.

22 апреля 1963

P. S. Самое таинственное для меня — это развязка. Может быть, Титов, когда нужно было изобразить безумие, просто записал все слухи о Дмитриеве-Мамонове. Как недавний москвич, он должен был быть «хорошо» осведомлен. [. . .]

Думаю, что в описании болезни и смерти старухи и в рассказе пожарного Пушкин неповинен. [. . .]

Там что-то очень длинно, скучновато и однообразно.

Болезнь Веры тоже описана трафаретно. Лобовая мораль — враждебна Пушкину. Вообще участие Титова было несомненно очень значительным. [. . .]

11

Может быть примечание

Мне кажется, мы еще в одном очень виноваты перед Пушкиным. Мы почти перестали слышать его человеческий голос в его божественных стихах. Приведу, как пример, стихи к Олениной. Что может быть пронзительней и страшнее этих воплей воистину как-то гибнущего человека, который взывает о спасении, взывает к чистоте невинности *. («И твое воспоминанье [заменит душе моей силу, гордость, упованье и отвагу юных дней» — «Предчувствие»].) Это настоящее S O S. А «Воспоминание», когда в бессонную петербургскую ночь 19 мая поэт клянет что-то, рыдает над чем-то — не видит выхода.

Вообще мой лозунг: «Побольше стихов — поменьше

---

* А мы деловито комментируем: «в это время поэту угрожала ссылка за 'Гавриилиаду'».

III-го отделения». Потому что из стихов может возникнуть нужная нам проза, которая вернет нам стихи обновленными и как бы увиденными в ряде волшебных зеркал — во всей многопланности пушкинского слова и с сохранением его человеческой интонации, а из III-го отделения, как известно, ничего не может возникнуть.

21 апреля 1963
Ленинград

ПУШКИН И НЕВСКОЕ ВЗМОРЬЕ

В титовской повести[1] «Уединенный домик на Васильевском» (1829) поражает подробность описания северной оконечности Васильевского острова.

«Кому случалось гулять кругом всего Васильевского острова, тот, без сомнения, заметил, что разные концы его весьма мало похожи друг на друга. Возьмите южный берег, уставленный пышным рядом каменных огромных строений, и северную сторону, которая глядит на Петровский остров и вдается длинною косою в сонные воды залива *. По мере приближения к этой оконечности, каменные здания, редея, уступают место деревянным хижинам; между сими хижинами проглядывают пустыри; наконец строение вовсе исчезает, и вы идете мимо ряда просторных огородов, который по левую сторону замыкается рощами; он приводит вас к последней возвышенности, украшенной одним или двумя сиротливыми домами и несколькими деревьями; ров, заросший высокою крапивой и репейником, отделяет возвышенность от вала, служащего оплотом от разлитий; а дальше лежит луг, вязкий, как болото, составляющий взморье. И летом печальны сии места пустынные, а еще более зимою, когда и луг, и море, и бор, осеняю-

---

* То есть остров Голодай. Остров Голодай получил свое название не от слова «голод», а от английского слова holyday (праздник, каникулы), потому что английские купцы ездили туда по воскресеньям —

Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров.

щий противоположные берега Петровского острова, — все погребено в седые сугробы, как будто в могилу».

Для южной стороны Васильевского острова, которую он ежедневно видит, автор не находит, однако, ни одного живого слова, а над северной, где вообще никогда никто не бывает, он почти плачет, угнетенный мрачным летним пейзажем, и представляет себе еще более унылый — зимний, сравнивая его с могилой. Мы узнаем, что́ — направо, что́ — налево, ощущаем под ногой топкость почвы. Все это увидено не из окна кареты и даже не с дрожек. Автор так занят северной оконечностью Васильевского острова, что даже моря не замечает. Петербург для него вовсе не существует. От звона часов на Думе вздрагиваешь, как от неожиданности, потому что нет ни Невского, ни Гостиного двора, ни дворцов, ни набережных. К сюжету описание острова Голодая не имеет ровно никакого отношения, и ничто другое так подробно в повести не описано.

Б. В. Томашевский в книге «Пушкинский Петербург» сближает это место в повести с описанием Невского взморья в «Медном всаднике» [2].

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою

Остался он, как черный куст,
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.
(V, 149) *

Сюда же, по нашему твердому убеждению, следует отнести и несколько загадочный отрывок 1830 года «Когда порой воспоминанье . . .» [3].

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне;
Когда, людей повсюду видя,
В пустыню скрыться я хочу,
Их слабый глас возненавидя, —
Тогда, забывшись, я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На пожелтелый мрамор плещет
И лавр, и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.
Стремлюсь привычною мечтою **

---

* Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: «Пушкин. Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, Изд-во Академии Наук СССР, 1937—1949.

** «Привычною мечтою» указывает на то, что эта картина постоянно восставала перед Пушкиным.

К студеным северным волнам.
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок
. . . . . .

(III, 243—244 и 849—851)

В этом отрывке таинственно решительно все: и необычная для Пушкина порывистая обнаженная нетерпимость страдания (такой стон не характерен для зрелой пушкинской лирики, и его можно сравнить только с «Воспоминанием» 1828 года), и готовность в честь чего-то пожертвовать заветнейшей и любимейшей мечтой жизни — Италией, вернее, мечтой об Италии; и подробность описания забытого Богом и людьми уголка убогой северной природы; и все это в трагических тонах, а не в порядке реалистической полноты жизни (как в «Путешествии Онегина»):

Иные нужны мне картины;
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор . . .
. . . . . .
Фламандской школы пестрый сор!

(VI, 200, 201)

Следует сравнить отрывок «Когда порой воспоминанье...» с первой главой «Онегина», где происходит нечто диаметрально противоположное. Можно даже предположить, что автор имел в виду воспользоваться опрокинутой композицией. Там Пушкин отрекается от Петербурга, белых ночей и т. п. в честь Италии:

Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых Октав!
(VI, 25)

К описанию Невы и белой ночи Пушкин берет как примечание большой кусок из «Рыбаков» Гнедича, где фигурируют «невские тундры» («...повеяла свежесть на невские тундры...»).[4] Это же слово повторяется в отрывке 1830 года («Увядшей тундрою покрыт...»). Петербург для Пушкина — всегда север.* Когда он сочиняет стихи, то всегда как бы находится на каком-то отдаленном юге. Тем более, «Отрывок» написан в Болдине (14 октября 1830 г.).

Что же произошло между первой главой «Онегина» (1823), где поэт так изящно готов променять Петербург на Италию, и трагическим порывом (1830), заставляющим его отказаться от этой заветной мечты?

И теперь нам точно неизвестно место погребения пяти казненных декабристов. Считается, что вдова Рылеева точно знала место могилы. Это остров Голодай, то есть северная оконечность Васильевского острова, отрезанная от всего массива острова узкой речкой Смоленкой. В николаевское царствование приходилось питаться более или менее достоверными слухами, которые неизбежно должны были возникнуть сразу после

* См., например, о петербургских дамах: «О, жены Севера...».

казни.[5] Мысли о декабристах, то есть об их судьбе и об их конце, неотступно преследовали Пушкина. Из его стихов следует, как он думал о тех из них, кто остался жив (см. переписку Пушкина, «Послание»: «И в мрачных пропастях земли!») [6]. Теперь более подробно рассмотрим вопрос об его отношении к тем, кто погиб.

Первое упоминание находится в 6-й главе «Онегина», немедленно после того, как Пушкин узнал об этом трагическом событии (то есть 26 июля 1826 года). 6-я глава окончена 10 августа 1826 года. Там имя Рылеева стоит рядом с именами Кутузова и Нельсона. Ленский мог быть «повешен, как Рылеев». Затем следуют рисунки виселиц — на черновиках «Полтавы» 1828 года, в книжке «Айвенго» Вальтера Скотта, подаренной Пушкиным в имении у Полторацких Ал. Ал. Раменскому (вместе с цитатой из десятой главы «Онегина») 8 марта 1829 года [7] Словами «Иных уж нет, а те далече...» кончается «Онегин» (1830). Пушкину не надо было их вспоминать: он просто их не забывал — ни живых, ни мертвых. [8]

Я не допускаю мысли, чтоб место их погребения было для него безразлично.

Из воспоминаний И. П. Липранди мы знаем, как он разыскивал могилу Мазепы и расспрашивал о ней 135-летнего казака Искру, который «не мог указать ему желаемую могилу или место». Пушкин «не отставал... спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он». [9] А из текста «Полтавы» мы знаем, как он жалеет, что не нашел ее («И тщетно там пришлец унылый Искал бы гетманской могилы...»). Говорит о могиле Наполеона на острове Св. Елены и о могиле Кутузова в Казанском соборе. Что же касается могил казненных Кочубея и Искры, то по этому поводу придется еще раз вспомнить, что Пушкин систематически ставил Николаю I в при-

мер его великого прадеда Петра I. Каждый читатель может с легкостью вспомнить: «Во всем будь пращуру подобен» (1826, «Стансы»). И вот что мы читаем в пушкинском примечании к «Полтаве»: «Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись:

« . . . . . .

Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь обозу войскового за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того же дни в обители святой Печерской на сем месте погребены».

Этим Пушкин, несомненно, горько попрекает Николая I, который не только не вернул родным тела казненных декабристов, но велел закопать их на каком-то пустыре.

А там, то есть в «Полтаве»:

Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила *
(V, 64)

И это в «Полтаве», черновики которой испещрены рисунками пяти повешенных. Пушкин нарочно приво-

---

* Не забывает Пушкин и о дубах,
...друзьями насажденных:
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят. (V, 64)
Это Пушкин напоминает нынешним Кочубеям, что им не мешало бы гордиться так страшно погибшим предком.

дит точные данные, когда тела были возвращены родным, чтобы еще раз напомнить царю, как в подобных случаях принято поступать: «Их мирно церковь приютила». И не только церковь как таковая, а центр православия и величайшая святыня России, чтобы поклониться которой сотни тысяч людей ежегодно проходили не одну сотню верст. Напоминаю, что Пушкин говорит о телах только что казненных государственных преступников.

И это пишет поэт, который через два года и, кстати сказать, просто рядом с отрывком «Когда порой воспоминанье...» утвердит культ могил в словах величавых и, как всегда у этого автора, не подлежащих отмене:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу *:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как . . . . пустыня
И как алтарь без божества.
(1830, III, 242)

Н. В. Измайлов, отмечая отношение Пушкина к кладбищам, говорит только о родовых приусадебных могилах (тут можно еще прибавить «Дорожные жалобы»: «Не в наследственной берлоге, не средь отеческих могил...») [10]. Это, конечно, правильно. Но когда Татьяна говорит, что готова отдать все

* См. в черновике: «Находит сердце тайну пищу» (III, 847).

за смиренное кладбище.
Где нынче крест и тень ветвей
над бедной нянею моей* . . .

(VI, 188)

а Дуня приезжает на могилу станционного смотрителя, а Марья Ивановна перед отъездом из крепости идет проститься с могилами родителей, похороненных у церкви (жертв Пугачева?!), — это уже не родовые могилы.[11] Здесь Пушкин щедро отдает свои сокровеннейшие чувства и мысли своим избранницам.

Пушкин полностью разделяет высокое верование античности (см. Софокл, «Эдип в Колоне») о том, что могила праведника — сокровище страны и благословение богов. [12]

Из того же загадочного отрывка «Когда порой воспоминанье . . .» мы узнаем, что Пушкин бежит от разговоров, связанных с чем-то очень ему дорогим, о чем люди говорят недолжным образом. Что это не что-то личное, показывает слово «свет» **, то есть общество, потому что в свете личные дела в присутствии участника этих дел не обсуждались. Поэт готов бежать, но не куда глаза глядят и даже не в свою обожаемую Ита-

---

* Она, Татьяна, как раз вспоминает не родовую могилу отца («Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир») а смиренный крест няни. Может быть, сам автор вздохнул о своей Арине Родионовне, которую похоронили на Охтинском кладбище, как кухарку в «Домике в Коломне» (и гроб на Охту отвезли»). См. также таинственную запись 1829 года: «Я посетил твою могилу — но там тесно; les morts m'en distraient (мертвые развлекают мое внимание) . . .». [См. Prologue, III, 477].

** См. черновики, где слово «свет» написано три раза. Какие разговоры о декабристах можно было услышать в свете, мы знаем хотя бы по «бессмертному» высказыванию царицы лучшего петербургского салона гр. Нессельроде: «Какое несчастье иметь такого человека в своей семье».

лию, а на какой-то покрытый тундрой северный островок, точь-в-точь похожий на тот, где он закопает «ради Бога» через три года своего Евгения Езерского.

В дошедших до нас строфах десятой главы «Евгения Онегина» идет речь о декабристских делах — даны характеристики участников движения.

Органичны для «Онегина» переходы, переключения из плана в план: ирония сопровождает Ленского почти до последнего часа его жизни, но Пушкин с невероятной силой и скорбью оплакивает его и возвращается к этому в 7-й главе. В не вошедшей в 6-ю главу (1826 г.) строфе он представляет его как возможного участника восстания на Сенатской площади: «Иль быть повешен, как Рылеев». И можно быть уверенным, что и их могилы не остались там забытыми.

В своих мемуарах барон Розен пишет, как он ездил по взморью, чтобы найти могилы пяти казненных друзей.[13] Скорбный интерес, который проявляет к этому месту Пушкин, трижды описывая его («Домик», 1829, отрывок «Когда порой воспоминанье . . .», 1830, и «Медный всадник»), позволяет нам предположить, что и он искал безымянную могилу на Невском взморье.[14]

Что перемаранный черновик может оказаться строфой «Онегина», мы знаем по тому случаю, когда «Женись. — На ком? . .» считалось отдельным стихотворением, пока Т. Г. Цявловская (Зенгер) не догадалась, что это строфа из «Онегина».[15] Такой же строфой, уже почти готовой, являются и следующие строки «Отрывка»:

Стремлюсь привычною мечтою (ж.)
К студеным северным волнам, (м.)
Меж белоглавой их толпою (ж.)
Открытый остров вижу там. (м.)
Печальный остров — берег дикой (ж.)

Усеян зимнею брусникой, (ж.)
Увядшей тундрою покрыт (м.)
И хладной пеною подмыт. (м.)

Надеюсь, спорить, что этот фрагмент написан по всем правилам онегинской строфы, никто не станет. В последнем четверостишии вместо онегинской охватной рифмы (авва) имеем опять перекрестную (авав).

Но ведь это перечерченный черновик, и что Пушкин сделал из него потом, мы не знаем. Вначале отрывок просто совсем не обработан, и в него к тому же вставлено готовое стихотворение 1827 года («Кто знает край . . .») . . .

Над виселицами на черновиках «Полтавы» Пушкин пишет: «И я бы мог, как шут», а в стихах к Ушаковой: «Вы ж вздохнете ль обо мне, если буду я повешен?» (1827; III, 56) *, как бы присоединяя себя к жертвам 14 декабря. А безымянная могила на Невском взморье должна была казаться ему почти его собственной могилой: туда «погода волновая заносит утлый мой челнок». [16]

23 января 1963.
Москва

---

* А через два года Полторацкой:
Когда помилует нас Бог,
Когда не буду я повешен . . .

ГИБЕЛЬ ПУШКИНА

Как ни странно, я принадлежу к тем пушкинистам, которые считают, что тема семейной трагедии Пушкина не должна обсуждаться. Сделав ее запретной, мы, несомненно, исполнили бы волю поэта.

И если после всего сказанного я все-таки обратилась к этой теме, то только потому, что по этому поводу написано столько грубой и злой неправды, читатели так охотно верят чему попало и с благодарностью приемлют и змеиное шипение Полетики, и маразмический бред Трубецкого, и сюсюканье Араповой. И раз теперь, благодаря длинному ряду вновь появившихся документов, можно уничтожить эту неправду, мы должны это сделать.

26 августа 1958

I

Голландский дипломат барон Геккерн не был ни Талейраном, ни Меттернихом.

Ни на что большее его, очевидно, не хватило бы, но образовать то, что мы теперь обозначаем изящным словом «склока», Геккерн мог, и он, как мы видим, безупречно провел всю задуманную игру. Такого рода игры для потомства, естественно, превращаются в карточный домик. Дунул и нет. Это происходит оттого, что выплы-

вают взаимно друг друга уничтожающие документы и вообще тайное становится явным. Тем не менее у Пушкина был опасный и опытный враг. И Пушкин это знал.

Современникам казалось, что Дантес был игрушкой в руках Геккерна. Я этого не думаю. Поначалу, пока он был влюблен в Наталью Николаевну, он даже, вероятно, его обманывал (см. 2-е письмо 36 года, где он пишет, что, узнав о любви к нему Натальи Николаевны, почувствовал к ней только уважение [1]. Это, всего вернее, ответ на первое предупреждение Геккерна: «Опомнись!» — или нечто подобное). Это же он старался внушить Александру Карамзину. Вообще же в этой игре Дантесу предоставлялась голубая роль — он должен был играть на одном обаянии, что, благодаря его удачной внешности, ему и удавалось. (См. сцену в письме Андрея Карамзина из-за границы — Дантес бросается к нему в парке, Дантес — плачет и т. д. [2])

Следующей жертвой Геккерна была Н. Н. Пушкина. Она была задумана как передатчица Пушкину неудачи его политики. (Это то, что Пушкин считал актом доверия с ее стороны и чем он очень гордился.)

Мы, к сожалению, знаем, что Наталья Николаевна неплохо справилась со своим заданием (см. дневник Фикельмон) [3]. Осуществить это Геккерн мог только при беспамятной влюбленности Натальи Николаевны в его приемного сына. Очень близка к этой роли была Софья Карамзина, что явствует из ее писем к брату. Для нее Дантес всегда прав.

Всего чего угодно посол добивался по той же причине от Екатерины Николаевны, которая с легкостью отреклась от заменявшей ей мать тетки Загряжской (тон ее письма о тетке — Геккерн называет Загряжскую несносной) [4] и по приезде во Францию немедленно тайно перешла в католичество [5].

Все остальные члены дантесовской „bande joyeuse",

о существовании которой мы узнали сравнительно недавно, приносили посильную пользу. Их деятельность, получившая отражение в семейной переписке Карамзиных (об отсутствии которой так сокрушался Щеголев), сводилась к тому, что они, во-первых, осуждали Пушкина и представляли его старым ревнивым мужем красавицы, человеком с невыносимым характером и т. д., а во-вторых, несомненно, сообщали через своего главаря голландскому послу все, что делается у Пушкиных, и не приходится удивляться, что кто-то предупредил баронов, что Пушкин намерен их бить на балу у графини Разумовской [6]. Даже после смерти Пушкина они продолжали эту линию поведения (Машенька Вяземская-Валуева) *.

Так же несомненно Геккерн *организовал кавалергардов* (конечно, не без помощи Дантеса), так что дантесовская история сделалась вопросом чести полка. (Мнение о «правоте» Дантеса было так широко распространено, что даже попало в тютчевские стихи /«Будь прав или виновен он»/ [9].)

От Геккерна же (см. его письмо в Голландию), сразу после смерти Пушкина, пошли слухи о том, что Пушкин был главой тайной революционной организации [10]. Это делалось, чтобы напугать Николая I и Бенкендорфа, что, по-видимому, было не так трудно и имело следствием тайные похороны, где жандармов было больше, чем друзей (см. дневник А. И. Тургенева) [11].

Однако всего этого было недостаточно для Геккерна. Ему еще предстояло обеспечить почетное возвращение

---

* См. письмо Дантеса из-под ареста к презусу суда [7]. — Теперь не трудно объяснить таинственную запись в дневнике А. И. Тургенева (19 дек. 1836): «Вечер у кн. Мещерской Карамз[иной]. О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался. Комплименты С[офьи] Н[иколаевны] моей любезности» [8]. Вот что происходило (вероятно, не особенно редко) за спиной Пушкина в доме его «друзей».

Жоржа в Европу после провала петербургской карьеры. Поэтому он продолжал твердить о благородстве Дантеса, который ни минуты не колебался спасти доброе имя госпожи Пушкиной и навеки закабалить себя женитьбой на ее некрасивой сестре. Но тут-то и начинается карточный домик: в это самое время посланник возится с Катериной, как добрый папа, с поражавшим всех изяществом убирает ее комнаты, развлекает ее, пишет о ее здоровье и настроении письма Жоржу и, таким образом, является самым настоящим предателем по отношению к своей belle fille, госпожу же Пушкину, чьей чести принесена в жертву прекрасная жизнь Жоржа Дантеса, посланник просит вызвать (как последнюю авантюристку) в суд и взять с нее под присягой показание о том, что она соблазняла жениха, а затем мужа своей сестры и что он, посланник, предупреждал ее от бездны, куда она стремилась, да еще в выражениях, которые должны были ее оскорбить, о чем известно двум высокопоставленным дамам, с которыми он, посланник, ежедневно делился своими опасениями. Несомненно, одной из этих дам была гр. Нессельроде, другая — „la comtesse Sofie B." «воровской» записки — гр. Бобринская, жена церемониймейстера высочайшего двора и внука Екатерины II. Небезынтересно, что обе эти дамы были хозяйками двух влиятельных салонов Петербурга [12].

Письмо, в котором это написано (1 марта 1837 г.), обращено к Нессельроде, но так как в это время Геккерн (по словам Вяземского) проводил целые дни у Нессельроде, где его утешала графиня [13], надо думать, что это письмо принадлежит к тому эпистолярному жанру, когда адресат и отправитель стряпают произведение вместе, чтобы представить их третьему лицу. Таким лицом в данном случае был Николай I.

Может быть, кого-нибудь заинтересует, что через

три года (28 декабря 1840 года) тот же Нессельроде писал Мейендорфу: «Геккерн на все способен: это человек без чести и совести; он вообще не имеет права на уважение и не терпим в нашем обществе» [14].

II

Ни Жуковский, который писал Бенкендорфу о Дантесе: «С другой стороны был и ветренный и злонамеренный разврат» [15], ни Вяземский [16], который писал нечто подобное Мусиной-Пушкиной, ни, что еще гораздо важнее, сам Пушкин, который называл поведение Дантеса manège [17] (см. черновик картеля), не верили в любовь Дантеса *. В нее верила только Наталья Николаевна и дамы высшего общества, и этого, как ни удивительно, было достаточно, чтобы потомки получили эту легенду во всей неприкосновенности. Случилось это потому, что так интереснее. Старший Геккерн не только восторжествовал, к нашему стыду, над Пушкиным при жизни, он до сих пор продолжает праздновать победу своей дипломатии. Прижизненной победе Геккерна не приходится удивляться: проверенная в интригах старая дипломатическая лиса должна была успешно провести всю операцию и даже замести следы, но как русское

---

* Я ничуть не утверждаю, что Дантес никогда не был влюблен в Наталью Николаевну. Он был в нее влюблен с января 36 года до осени. Во втором письме „elle est simple" [18] все же — дурочка. Но уже летом эта любовь производила на Трубецкого впечатление довольно неглубокой влюбленности [19], когда же выяснилось, что она грозит гибелью карьеры, он быстро отрезвел, стал осторожным, в разговоре с Соллогубом назвал ее mijaurée [20] (кривлякой) и narrin (дурочкой, глупышкой), по требованию посланника написал письмо, где отказывается от нее [21], а под конец, вероятно, и возненавидел, потому что был с ней невероятно груб и нет ни тени раскаяния в его поведении после дуэли.

общество не разоблачило «котильонного» короля Дантеса и потерпело, что великая жизнь была принесена в жертву тщеславию мелкого карьериста, и в течение ста двадцати лет повторяло, превращало в театральные представления, а затем и в кинофильмы злонамеренное вранье подозрительного барона?! Легенда о многолетней, возвышенной любви Дантеса идет от самой Натальи Николаевны (une persévérance de deux années — двухлетнее постоянство — сказано в ноябрьском письме 36 года) [22]. Итак, Жорж Дантес любил Наталью Николаевну и был верен ей с осени 34 года? Однако теперь мы имеем письмо Дантеса от 20 января 36 года, где он сообщает посланнику, как последнюю новость, что он влюбился в даму, чей муж est d'une jalousie révoltante, возмутительно ревнив. (Значит, уже тогда Н. Н. жаловалась Дантесу на ревность Пушкина.) По Щеголеву, все оставалось непонятно. Как Пушкин, при его характере, мог терпеть двухлетний или даже трехлетний роман своей жены и, следовательно, сплетни света? Теперь же все становится на свое место (Дантес влюбился в январе 36 года, объяснился в феврале, получив известный ответ * дамы, которая в это время была беременна на 6-м месяце (23 мая родилась последняя дочь Пушкина Наталья). Надо думать, что последние два месяца Наталья Николаевна не показывалась в свете**, тем более, что в Страстную субботу умерла мать Пушкина и у них был траур***. Пушкин уехал сначала в Михай-

---

* Т. е. что она его любит, никогда так не любила, хочет, чтобы он ее любил, но верна долгу, т. е. отвечала как Татьяна.

** Раньше я думала так, однако из карамзинской переписки явствует, что Н. Н. встречалась с Дантесом у Карамзиных, где все знали, что он в нее влюблен.

*** 9 июля Пушкин пишет: «Я в трауре и не езжу никуда», — не тогда ли Наталья Николаевна выезжала одна, в чем упрекает Пушкина Долли? [23]

ловское хоронить мать, затем в Москву. Письма поэта к жене совершенно безмятежны (например, «как ты перетащила свое брюхо?..»). Наталья Николавна переехала с детьми на нанятую ею дорогую дачу Добровольского. Коко и Азя стали кататься верхом с кавалергардами («Кланяйся твоим наездницам») — то есть уже появляется Дантес. После родов Наталья Николаевна была больна месяц. С июля она снова начала выезжать. И вот только с этого времени начались сплетни (минеральные воды, катанье верхом и т. д.).

В мае вернулся после годичного отсутствия старший Геккерн, и только тогда он мог, по выражению Пушкина, сводить его жену с собственным «батаром». Это опять информация Натальи Николаевны, и опять ложная. Дантес и Наталья Николаевна прекрасно объяснились в феврале, когда барон путешествовал по Европам и усыновлял Дантеса, а фраза „Rendez moi mon fils" [24] не свидетельствует о сводничестве, а скорее наоборот. Затем не совсем понятно, почему супруга камер-юнкера Пушкина и первая красавица придворного Петербурга оказывалась на балах в каких-то углах („dans tous les coins") [25] и позволяла нидерландскому посланнику говорить ей непристойности. (А дело в том, что в октябре Дантес был болен, и Наталья Николаевна, конечно, хотела узнать, как он себя чувствует.)

Геккерн сразу и до конца понял линию поведения Пушкина. Но если бы он почему-нибудь ее не понял, ему бы ее немедленно объяснили.

Вся молодежь двух дружественных Пушкину домов (Карамзины, Вяземские) была за Жоржа — белокурого, остроумного котильонного принца. К этой молодежи принадлежала и Наталья Николаевна, которая спокойно выслушивала от Валуева, девятнадцатилетнего камер-юнкера и мужа Машеньки Вяземской, такой во-

прос: «Как вы позволяете подобному человеку так обращаться с вами?» (Это о Пушкине!).

Итак, Геккерн знал, что намерен был сделать Пушкин. Он хотел выставить Дантеса трусом и сделать его смешным. Может быть, современному читателю не до конца понятно, чем этот план грозил Дантесу. А грозил он крушением карьеры, потому что гвардейский офицер, а тем более кавалергард, не мог всенародно оказаться трусом. Надо было подавать в отставку и оставаться ни с чем. На это Геккерны были несогласны. Надо было быть не трусом, а героем. И посланник начал превращать своего приемного сына в героя. Для этого Дантес должен был симулировать несчастную страсть на всех петербургских балах, то есть стоять у колонны, вздыхать, бросать страстные взгляды, произносить громкие фразы вроде: «пусть меня судит свет» (дневник Мердер) [26].

Сплетники честно сделали свое дело. Оставался Пушкин. До его сведения необходимо было довести, что Дантес не George Dandin и т. д. [27], а благороднейший молодой человек, который ни минуты не колебался, а сразу принес себя в жертву любимой женщине, женясь на ее некрасивой сестре. Однако довести это до сведения Пушкина было не так легко. Друзья только оглаживали взволнованного и омраченного поэта или довольно нескладно пытались сблизить Пушкина с Дантесом, в чем их так горько упрекает графиня Фикельмон (см. дневник) [28]

Враги бы поостереглись заговорить с Пушкиным на эту тему, рискуя получить пощечину или вызов на поединок (см. историю с мальчишкой Соллогубом) [29], и в план Геккерна, очевидно, вошло возложить эту миссию на Наталью Николаевну. Она одна могла пересказывать мужу увещевания посланника и новеллы о благородстве Дантеса, что она, как мы знаем, и делала, становясь,

таким образом, агенткой Геккерна. А им это было необходимо, чтобы разоружить Пушкина и заставить его замолчать. Таким же агентом Геккерна был и Долгоруков-банкаль, который подставлял рога Пушкину за его спиной. Когда же появился еще один человек, который мог начистоту говорить с Пушкиным и, очевидно, сообщил поэту, что Геккерн победил, версия о благородстве Дантеса взяла верх над его tu l'as voulu, George Dandin и т. д., тогда произошла дуэль. Этим человеком была тригорская соседка и старый друг Пушкина, баронесса Вревская, которая в начале 1837 года приехала в Петербург *, и вот за что обвиняла ее Наталья Николаевна после смерти Пушкина, а не за то, что она, зная о дуэли, не приняла должных мер [30]. О дуэли знали многие (Вяземский, Перовский . . .) и, между прочим, «друг Пушкина» Александрина Гончарова. Могу сообщить многочисленным поклонникам этой дамы, что много лет спустя Александрина Николаевна, не без умиленья, записала в своем дневнике, что к ней в имение (в Австрии) в один день приехали ее beau-frère Дантес (очевидно, из Вены от Геккерна) и Наталья Николаевна из России. И вдова Пушкина долго гуляла вдвоем по парку с убийцей своего мужа и якобы помирилась с ним [31]. Судя по мемуарам Араповой, легенда о великой любви Дантеса бытовала в доме Ланских [32]. Туда она могла попасть только от самой Натальи Николаевны.

Совершенно понятно, что свадьба Екатерины Николаевны активизировала сплетни ** (отношения между

---

* См. «Рукою Пушкина», [«Academia», М.—Л. 1935] стр. 348. Ее адрес записан на письме Осиповой от 9 янв. [1937 года].

** См., например, запись в дневнике А. И. Тургенева (21 января) о том, что Даршиак показывал ему ноябрьские дуэльные документы [33]. Зачем? Когда все было, по-видимому, так благополучно завершено.

После декабрьского успокоения Геккерны в связи со

сестрами, отсутствие Пушкина на свадьбе...), и Вревская могла сообщить Пушкину целый ворох новостей.

Итак, Вревская сделала свое роковое сообщение. В глазах света Дантес герой и т. д., а если Дантес герой — Пушкин смешон. Пушкину было нечего возразить на это. Так возник январский вызов.

Второй причиной посылки картеля я считаю событие давно известное, но неверно толкуемое. Николай I, через много лет, рассказывал Корфу, что чуть не накануне дуэли говорил с Натальей Николаевной о ее семейных делах, а затем Пушкин якобы благодарил Николая I [36]. Надо думать, что монарх кое-что забыл, кое-что смягчил, и это был просто очередной ремонтранс [замечание] жене камер-юнкера, которая подала повод к сплетням. Если сравнить этот эпизод с тем, что записывает Пушкин в дневнике о молодой Суворовой (Ярцевой) [37], ясно, что разговор царя с Натальей Николаевной был для Пушкина чуть ли не последней каплей, переполнившей чашу. Значит, здесь опять виноват Николай I (рассказ Николая I кончается так: через три дня был его последний дуэль).

Это значит, что по-тогдашнему, по-бальному, позимнедворскому, жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично *. И Николай I, конечно, не упрекал Наталью Николаевну за то, что в нее влюблен Дантес — его он, однако, не вызывал и не делал ему замечаний (так же как и полковой командир) по поводу его поведения [39].

свадьбой опять потянули своих куколок за нитки: «Городские сплетни возобновились»(Вяземский) [34]. «Все снова стали говорить про его любовь» (Н. Смирнов) [35].

* Что Наталья Николаевна не умела вести себя в обществе, мы узнаем не от одной графини Фикельмон, но и из писем Вяземского к самой Наталье Николаевне уже после смерти Пушкина (не напеч.) [38].

Поведение Дантеса было точно выверено, и все разговоры о неприличии его манеры держать себя возникли уже после смерти Пушкина, когда стали искать причины катастрофы, а ищут в таких случаях весьма примитивно [40]. (Например то, что Дантес публично звал Катерину ma légitime (моя законная), не свидетельствует ни о чем, кроме некоторого стремления к просторечию, а отнюдь не намекает на какую-то «незаконную» . . .)

Что же касается тайны, окутывающей эту историю и о которой дважды пишет Вяземский (Булгакову и Мусиной-Пушкиной 26. II. 37 года) [41], напомню, что в письме к Михаилу Павловичу он же говорит, что Пушкин считал анонимное письмо проделкой Геккерна и умер в этой уверенности (значит, Жуковский утаил, что, умирая, Пушкин еще вспомнил о Геккерне). Не это ли знание Пушкина казалось Вяземскому неразрешимой тайной?

Эта уверенность Пушкина сыграла немалую роль в *преддуэльной истории.* Благодаря ей состоялась его встреча с Бенкендорфом, который, получив письмо Пушкина, где находилась фраза о посланнике как авторе диплома, немедленно повез поэта в Зимний дворец [42]. Там Пушкин доказал Николаю I свое подозрение, иначе быть не могло. Бросить столь важной персоне, как нидерландский посланник, такое обвинение и не доказать его значило оказаться в каземате или ехать с фельдъегерем в Нерчинск. А мы знаем, что с Пушкиным после этого свидания решительно ничего дурного не случилось, а Николай I (по словам Гогенлоэ-Кирхберга [43] и Смирнова [44]) считал Геккерна автором пасквиля по сходству почерка. Буквально то же сказал Данзас Аммосову [45]. Почерк при библиотечном начертании букв едва ли можно до конца определить, но, во всяком случае, три известные нам диплома написаны не Геккерном. Однако было еще по крайней мере семь

дипломов, до нас не дошедших, а еще был печатный текст, с которого производилась переписка, и в нем надо было вписать только две фамилии. Напомню, что о каком-то дипломе, какого-то формата очень тревожились Геккерны. А еще они тревожились о печати, и не случайно, конечно, и Пушкин пишет Бенкендорфу, что догадался по печати. Итак, из сравнения письма Пушкина Бенкендорфу с «воровской запиской» дипломата к своему приемному сыну видно, что бароны в чем-то просчитались и Пушкин их на чем-то поймал. И, торжествуя, Пушкин пишет ноябрьское письмо. Это документ такой важности для нашей темы, что на нем придется остановиться подробнее.

«Сказочка» Жуковского [46].

В этой сказочке, на которую никто не обратил должного внимания, Жуковским иносказательно рассказаны события преддуэльной истории. Серый волк (Дантес), который хочет съесть любимую овечку (Н. Н.) пастуха-стрелка (Пушкина), но *заглядывается и на других* его овечек (Коко, Азя), да и облизывается. Тут же Дантес называется волком-прожорой *. Далее так изображено сватовство Дантеса: «Но вот узнал прожора, что стрелок его стережет и хочет застрелить (вызов). И стало это неприятно серому волку (Дантес струсил); и он начал делать пастуху *разные предложения* (жениться на К. Н.), на которые пастух и согласился». Затем следует описание плана мести Пушкина: «(пастух думал) — как бы мне доконать этого долгохвостого хахаля . . . *Я соберу соседей и мы накинем на волка аркан*» **. И тут же Жуковский отказывается от роли сви-

---

* Ср. с характеристикой, данной Дантесу Жуковским в письме к Бенкендорфу: «с другой стороны был и ветренный и злонамеренный разврат».

** Письмо Жуковского к Пушкину: «Зная предварительно о том, *что ты* намерен *сделать*» [Пушкин, т. XVI, стр. 186].

ньи, которая должна своим хрюканьем выманить волка, т. е. заманить Геккернов к Пушкину, где в присутствии «соседей» — светских людей, будет разоблачено авторство посланника (а м. б., и Дантеса, ср. в письме Бенкендорфу „mm. les H.") [49]. Конечно, после такого объяснения Геккерн ни одного часа не мог оставаться посланником, а Дантес кавалергардом.

Весь пушкинский план дискредитации Геккерна оказался неприемлемым для Николая I, хотя Пушкин и убедил его, что автором диплома был посол [50]. Царь, очевидно, запретил Пушкину посылать ноябрьское письмо Геккерну и разоблачить его в глазах петербургского общества, а в этих черновиках Пушкин писал: «Дуэли мне уже недостаточно, каков бы ни был ее исход», — значит, ему мало было убить Дантеса и пр., он хотел убрать с поста нидерландского посланника, предварительно опозорив его в глазах общества и обоих дворов, как автора анонимных писем.

В январе все наоборот: Дантес герой, принесший свою жизнь в жертву во спасение чести Натальи Николаевны, посол под охраной Николая I, и дано слово его не разоблачать, остаются только бездоказательные обвинения — отказ от дома (который, однако, не следует преуменьшать) и поток ругательств, которые свидетельствуют лишь о бессильной ярости.

**
*

Дуэль была назначена на 21 ноября (8 ч. утра). Вместо этого произошло официальное сватовство Дантеса,

---

Пушкин, действительно, собирался собрать соседей и накинуть на Геккернов аркан, и это была та месть, в сравнении с которой одесские «подвиги» Раевского [47] превращались в ничто и которую ему, Пушкину, запретил царь, а не Жуковский, как думает Соллогуб [48].

и Пушкин приступил к исполнению мести — разоблачению Геккерна-старшего как автора анонимных писем. Пушкин считал, что с молодым он достаточно расправился, женя его на Коко. К этому времени Наталья Николаевна снабдила мужа достаточным материалом для бешенства самого безудержного, в этот же день возникли страшные черновики писем (к Геккерну-старшему), Пушкин писал их, очевидно, почти одновременно с письмом (сначала тоже черновик) к Бенкендорфу. Письмо к Геккерну комментирует черновики письма к Бенкендорфу. Геккерну он, конечно, не объясняет, как он догадался, кто послал пасквиль, а только хвастается своей находчивостью и говорит, что они были сфабрикованы со столь малыми предосторожностями. Бенкендорфу он объясняет, что догадался, что пасквиль исходит от дипломата, иностранца и пр. — 1) по бумаге (гладкая, английская), 2) по печати, 3) по тому, как они были составлены. Третье отпадает. Диплом в печатном виде был у Аршиака — его только стоило списать [51]. Бумага и печать могли выплыть в откровениях Натальи Николаевны, если, например, какая-нибудь записка Дантеса была запечатана ею. Недаром Геккерн описывает Дантесу печать, которой были запечатаны пасквили, в своей воровской записке. Какое дело невинному человеку до того, какого формата бумага на шутовском дипломе и что изображено на печати?

Не потому ли III отделение затребовало почерк Дантеса? Там уже знали, очевидно, что диплом из голландского посольства *.

---

* Упоминание Бенкендорфом Тибо, учителя француза, жившего у Карамзиных (как возможного автора диплома), после обнаружения „bande joyeuse" становится интересным [52]. Он тоже мог быть одним из „mes drôles" [см. примеч.56]. Шефу жандармов было, очевидно, известно, что карамзинский француз был как-то связан с Дантесом. И во-

Если январское письмо [53] построено только на информации, доставленной Натальей Николаевной, в ноябрьском, несомненно, чувствуется еще один голос. Все, что относится к анонимному письму, сообщено не Натальей Николаевной, она, конечно, не могла знать, что в посольстве фабрикуется документ, порочащий ее честь. Прибавим к этому, что своими сведениями Пушкин очень гордится и непоколебимо уверен в их достоверности. Понимать это надо так: некто присутствует при разговоре Геккерна с Дантесом, при нем же решается „le coup décisif" («решительный удар») — анонимные письма, затем это лицо идет к Пушкину и все ему рассказывает, чем дает ему возможность втоптать посланника в грязь, но, очевидно, по совершенно понятным причинам, это лицо пожелало остаться неизвестным. Здесь вспоминается рассказ барона Бюлера: «В 40-х гг. . . . у Одоевского . . . Левушка [Пушкин] в первый раз узнал из подробного, в высшей степени занимательного рассказа гр. Виельгорского все *коварные подстрекания,* которые довели брата его до дуэли. Передавать в печати слышанное тогда мною и теперь еще неудобно *. Скажу только, что известный впоследствии писатель-генеалог П. В. Долгоруков был тут поименован в числе авторов возбудительных подметных писем» («Р[усский] А[рхив]», 1872, I, стлб. 204). Здесь все: и то, что автор анонимного письма был не один, и ка-

---

обще, при всей нашей нелюбви к Бенкендорфу, не следует преуменьшать его осведомленность. Поэтому же Щеголев совершенно напрасно иронизирует над тем, что Бенкендорф запросил почерк Дантеса. Это следствие разговора (23 ноября в Зимнем, следствие того, что Николай I поверил Пушкину.

* Вероятно, в этом же рассказе фигурировала неприглядная роль Николая I в этой истории: он взял с Пушкина слово ничего не предпринимать самому, обещая принять меры, и ничего не сделал.

кие-то коварные подстрекания, и имя Долгорукова [54].

А примерно через 20 лет (1860) сам Одоевский пишет о Долгорукове: «... Этот недоучившийся господин практиковался лишь по части сплетен, *переносов анонимных подметных писем* и действовал на этом поприще с большим успехом: от них произошли многие ссоры, семейные бедствия и, между прочим, одна великая потеря, которую Россия доныне оплакивает» [55].

Эта известная цитата в свете моего открытия о неизвестном получает новое значение — значит, Одоевский знает, что имел место какой-то *перенос анонимных писем.*

Так как Виельгорский был одним из лиц, получивших диплом, он, очевидно, знал от Пушкина, что не все дипломы были писаны одним почерком. До сих пор мы не знали, какие «коварные подстрекания» довели Пушкина до дуэли. Но здесь можно предположить двойную игру Долгорукова. Не он ли информировал Пушкина и дал ему материал для ноябрьского письма: о разговоре между Геккерном и Дантесом, о плане анонимного письма, о рассылке его. Думать, что Пушкин просто фантазировал, немыслимо. «Господа Геккерны» в письме к Бенкендорфу („mes drôles" — в ноябрьском черновике [56]) указывают на то, что он знал о причастности Дантеса к пасквилю. Вот в чем, по нашему мнению, состояли «коварные подстрекания» Долгорукова или кого-нибудь другого из шайки Геккерна.

Дальнейшие разыскания подтверждают близость Долгорукова к „bande joyeuse" Дантеса. Вяземский пишет жене (1839 г.): «косолапый Долгорукий — приятель Валуева» [57], Валуева (зятя Вяземского) называет и сам bancal [светское прозвище П. Долгорукова] в своем оправдательном письме среди лиц, с которыми он дружил до своего отъезда за границу [58], его же Дантес просит вызвать как свидетеля защиты.

С другой стороны, о близости банкаля к своре Геккерна довольно энергично выразился тот же Вяземский, назвав bancal'я одним из «молодых людей наглого разврата», окружавших голландского посланника [59].

В 1839 г. Долгоруков сыграл весьма странную роль в дуэли кн. Лобанова-Ростовского с кн. Львом Гагариным. Он предложил участникам этой дуэли составить документ о дуэли, взял его на хранение и, по-видимому, доставил полиции, так что, когда участники дуэли явились на место поединка, их уже ждали там жандармы [60].

Противники версии о bancal'е как авторе пасквиля указывают на то, что она возникла лишь после воронцовской истории (1861), между тем, как Гагарина называли сразу. На это я могу возразить следующее: в 1848 г., то есть через 11 лет после рассылки пасквиля и сразу после французской революции, Чаадаев в Москве получил письмо за подписью Луи Колардо, который был якобы знаменитым французским психиатром, прибыл из Парижа, города, как известно, переполненного безумцами всякого рода, в Москву, желая излечить Чаадаева от мании величия. Ряд знакомых Чаадаева тоже получил подобные письма с просьбой уговорить Чаадаева принять услуги знаменитости, потому что, вылечив его, г. Колардо будет иметь доступ в дом знаменитейшего сумасшедшего Дмитриева-Мамонова [61]. Письмо Колардо составлено весьма нагло. Чаадаев немедленно догадался, что автор этого послания — bancal, и тотчас же сочинил очень остроумный ответ, который, по-видимому, забыл отправить *. Я обращаю внимание читателей на следующие обстоятельства: I. Письмо послано цело-

---

* «Вестник Европы», 1871, № 9, стр. 48—49 [Воспоминания М. Жихарева о Чаадаеве]. На эту статью обратил мое внимание Н. И. Харджиев, за что приношу ему живейшую благодарность.

му ряду людей (друзей жертвы); П. Дм.-Мамонов играет в письме ту же роль, что Нарышкин в пасквиле 1836. Там — знаменитый рогоносец, здесь — знаменитый сумасшедший. Это писала одна и та же рука, это придумал тот же самый человек, и этим человеком был кн. Петр Владимирович Долгоруков. Здесь имело место то, что в уголовном праве носит название «единство метода» и является безусловным доказательством виновности подсудимого.

О причинах отправления диплома

Очевидно, голландский посланник, желая разлучить Дантеса с Натальей Николаевной, был уверен, что „le mari d'une jalousie révoltante" [62], получив такое письмо, немедленно увезет жену из Петербурга, пошлет к матери в деревню (как в 1834 г.) — куда угодно, и все мирно кончится. Оттого-то все дипломы были посланы *друзьям* Пушкина, а не врагам, которые, естественно, не могли увещевать поэта. Исключение одно. Тетка Соллогуба — Васильчикова. Она не была в окружении Пушкина. Однако она была сестрой упомянутого в дипломе Нарышкина, и кто-нибудь из „mes drôles" мог выбрать ее именно поэтому. Мы знаем, что Пушкин сделал попытку увезти Наталью Николаевну от свадьбы Дантеса, поехав с ней в Михайловское, о чем он пишет Осиповой, на что соседка отвечает, что красавица жена, наверно, не захочет уезжать (очевидно, в разгар сезона) и кто бы мог найти это дурным (январь 1837), да еще прибавляет: „Honni soit qui mal y pense" [63].

Кажется, никто почему-то не отметил, что письмо Пушкина к Дантесу с отказом от дуэли носит совершенно специфический характер. Это письмо главы дома, на

чьем попечении была молодая девушка, к человеку, ее обесчестившему, а затем под угрозой дуэли согласившемуся на ней жениться. И больше ничего. Потому-то секунданты это письмо Дантесу не показали. С этого письма Пушкин начинает свой первый план мести, который должен изобразить Дантеса трусом. Письмо это, конечно, компрометирует Катерину, и не удивительно, что она стала открытым врагом Пушкина.

Здесь уместно заметить, что брак Дантеса с Катериной, который казался Пушкину таким смехотворным, вполне устраивал обоих Геккернов.

К этому времени слухи об истинном характере отношений обоих баронов сделались довольно упорными (см. показания коллег голландского посланника), и Жоржа надо было непременно женить [64]. При такой репутации рассчитывать на блестящую партию было трудно. Жениться на дочери богатого откупщика — опять конец карьеры.

Катерина была фрейлиной императрицы, племянницей всесильной Загряжской и великолепного Строганова [65]. Этого, на худой конец, было достаточно для баронов.

Но, что было гораздо важнее, Катерина была без памяти влюблена в Дантеса и с первого же дня стала игрушкой в руках баронов. Приехав во Францию, она немедленно перешла в католичество. Она несомненно была посвящена в игру, то есть знала, что Жоржу надо притворяться влюбленным в ее сестру (см. черновик дуэльного письма: „vous avez joué à vous trois un rôle... enfin Mad. Heckern") [66]. Она нисколько не ревновала — ей все объяснили. Ревновала Наталья Николаевна, которая продолжала тупо верить в великую страсть Дантеса (см. дневник Фикельмон: „disputant avec son mari

sur la possibilité du changement dans le coeur à l'amour du quel elle tenait peut-être par vanité seulement") *.

По-видимому, надо верить Жуковскому, когда он уговаривал и успокаивал Пушкина (в ноябре): «Он [Геккерн] дал мне материальное доказательство, что это дело [свадьба] задумано гораздо раньше» [67]. (См. также сказочку Жуковского об охотнике и волке.)

Тетка Загряжская написала Жуковскому, благодаря его за устройство свадьбы Катерины: «Итак, все концы в воду» — едва ли подходящая фраза, когда выдают замуж фрейлину [68].

Вяземский писал Эм. Мусиной-Пушкиной 26 февраля 1837 г.: «Эта история, окутанная столькими тайнами даже для тех, кто следил за ней вблизи». Итак, Вяземскому казалось, что он с близкого расстояния следит за этой историей, однако вот что он писал той же Эмилии Мусиной-Пушкиной 15 января, то есть через пять дней после свадьбы Катерины. Бал у Барантов 14/I:

«Мадам Геккерн имела счастливый вид, который ее молодил на десять лет и придавал ей вид только что постригшейся монахини или обманувшейся новобрачной. Я не могу от вас скрыть, что муж тоже много танцевал, много веселился и никакая тень брачной меланхолии не легла на черты его лица, такого красивого и *выразительного*» [69].

Вот какое впечатление производила эта пара за 10 дней до вызова Пушкина.

Конечно, в этом письме нас интересует не то, что от счастья 29-летняя Катерина казалась 19-летней девочкой, что она была точь-в-точь похожа на новобрач-

---

* Спорила с мужем о возможности такой перемены в сердце, любовью которого она дорожила, быть может, только из одного тщеславия.

ную (вероятно, намек на ее добрачную связь с Дантесом), и не описание красоты Дантеса и отсутствия в нем признаков супружеской меланхолии . . . все это банальное великосветское злоречие изящного сплетника.

Нас поражает в этом письме безмятежный тон и, очевидно, полная уверенность Вяземского, что все в порядке, тревожиться ни о чем не надо, и, главное, нет никакой тайны (tant de mystère! [— «столькими тайнами» — из цитированного письма Вяземского Эм. Мусиной-Пушкиной]). (С этим письмом вполне гармонируют жениховские записочки Дантеса, спокойный, радостный тон которых так удивлял Щеголева [70].) Это тот же Вяземский, что в кар[амзинской] пер[еписке] говорит, что Пушкин сердит на Дантеса, потому что тот перестал ухаживать за его женой. А Жуковский примерно в это же время *смеялся*, узнав, что Андрей Карамзин старается разгадать *тайну* женитьбы Дантеса [71]. Со свадьбы Дантеса и Катерины (10 янв.) шафера поехали к Карамзиным (см. дневник А. И. Тургенева) [72]. Еще бы: ведь Дантес считал карамзинский дом почти родным, как видно из письма Андрея Карамзина [73].

Замечу вскользь, что об исходе дуэли Вяземские посылали справляться не к Пушкиным, а к Дантесам, и что Вяземский за сутки знал о дуэли и не сделал ничего, чтобы спасти своего друга, а княгиня в письме в Москву называла Дантеса только черепицей, которая упала на голову [74]. И очень страшно, что ровно через месяц этот самый Вяземский напишет этой самой Мусиной-Пушкиной о полной победе Дантеса: „Celui qui après l'avoir assassiné moralement a fini par être son meurtrier de fait" [75].

Как надо понимать эту страшную фразу? Вяземский называет моральным убийством, конечно, то, что никто не верил в трусость Дантеса, а все говорили, что своей женитьбой он спас Наталью Николаевну. Этого

Пушкин не мог вынести. Это и есть констатирование полного провала пушкинской политики (он морально убит).

**
*

Щеголев не прав, когда пишет, что в январском письме не осталось и следа утверждения авторства Геккерна. Фраза: «... только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность, и намерение», — находится и в ноябрьском черновике в несколько иной форме, но относится прямо к возможности разоблачения Геккерна как автора анонимных писем.

Если бы Пушкин перестал думать, что Геккерн автор диплома, эта фраза не фигурировала бы в январском письме.

Теперь находит себе место темный и спутанный рассказ Бартенева, со слов кн. Вяземского, о письме 21 ноября: «После этого (то есть после оглашения помолвки Дантеса) государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед *. Так как отношения Пушкина с государем происходили через гр. Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал

---

* О том же пишет Вревская, когда сообщает, как, встретив Пушкина в театре, умоляла его не посылать вызов и пожалеть своих детей. «О них позаботится государь, он знает все мое дело», — ответил Пушкин [76]. Говоря так, Пушкин, очевидно, имел в виду свою поездку в Зимний и реакцию царя на его сообщение. В письме к сестре Николай I сообщает все факты как бы под диктовку Пушкина [77]. Он несколько раз говорит «тогда», имея в виду ноябрь, т. е. день свидания в Зимнем.

известное письмо свое на имя гр. Бенкендорфа, собственно, назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился послать». (Еще в 1-м изд. «Дуэль и смерть» Щеголев предполагает, что это письмо к Нессельроде.)

Эту цитату, а не разговор с Николаем Павловичем, надо было привести Щеголеву. Здесь, и только здесь сказано, что разговор Николая I и Пушкина имел место после помолвки Дантеса и что царь взял с Пушкина слово. Это слово Пушкин нарушил 27 января во французском посольстве, заявив при двух свидетелях, д'Аршиаке и Данзасе, что Геккерн автор диплома [78]. Но Пушкин написал 26 января: «Истина сильнее царя» (в письме Толю) и не скрывал «правды своей в сердце своем», как сказал о нем Тургенев [79].

Краткое резюме

Итак: Щеголев не учитывал следующих обстоятельств: что весь «роман» длился 1 год, что до мая Наталья Николаевна была беременна, до июля больна, что старик Геккерн появился только в мае, что объяснение произошло в феврале 1836 г., что в ноябре Дантес называл *уже* Наталью Николаевну une mijaurée (кривляка, дурочка), что план компрометировать Наталью Николаевну возник у Геккернов сразу после сватовства Дантеса, что 23 ноября в Зимнем дворце Николаю I было доказано, что Геккерн послал анонимные письма (или организовал их рассылку), и с Пушкина было взято слово молчать об этом, чем было разрушено его намерение разоблачения посла в глазах петербургского общества, что, по-видимому, царь обещал поэту, что сам займется этим делом, что весь декабрь Пушкин терпеливо ждал и дождался только активизации сплетен

в связи со свадьбой («городские толки возобновились»). Таким образом, очевидно, что Николай I его обманул, а он сказал Вревской о детях: «Царь позаботится о них, он знает все мое дело»; что брак на Катерине весьма устраивал Геккернов (чего не знал и Пушкин), что Катерина était dans le jeux, что дуэль произошла оттого, что геккерновская версия взяла верх над пушкинской и Пушкин увидел свою жену, то есть себя опозоренным в глазах света. Замечание, которое сделал Николай I жене Пушкина относительно ее поведения, было последним ударом, с этим совпали révélations Вревской о петербургских сплетнях. Сначала Пушкин хотел просто избить Геккернов на бале у Разумовской (?), но их предупредили (у них были свои люди в ближайшем окружении Пушкина — вся молодежь). Вяземские и Карамзины до последнего дня принимали Дантеса. После катастрофы все перепугались и изо всех сил начали оправдывать Наталью Николаевну, которая *одна* могла все остановить в любой момент, но она была не в состоянии поверить, что Дантес ее разлюбил и издевается над нею; как бесконечно одинок был Пушкин все это время; до какой степени вялым и неудачным было поведение друзей (два письма Вяземского). Поведение обоих Геккернов . . . Да он и не терпел, а просто не знал всего. А когда узнал, послал картель [80].

АЛЕКСАНДРИНА

В январе 1837 года, через несколько дней после венчания Дантеса и Екатерины, как продолжение свадебных торжеств, состоялся парадный обед у графа Строганова (посаженого отца). После этого обеда голландский посланник подошел к Пушкину и предложил мировую. Пушкин сухо ответил, что не желает иметь никаких отношений между своим домом и господином Дантесом. По тогдашним нравам это был скандал невероятный *, и против этого надо было своевременно принимать меры. И, по-видимому, Геккерн пустил в ход заготовленную им впрок сплетню. Это должно было иметь примерно такой вид: «А, вы нас на порог не пускаете, так мы и сами не хотим к вам идти, потому что у вас в доме творится безобразие **.

---

*См. в письме С. Н. Карамзиной: «Он упорно заявляет, что никогда не позволит жене... принимать у себя замужнюю сестру». Далее говорится, что это решение Пушкина «приведет в движение все языки города» (Карамзины, стр. 148). Еще важнее, что отказ от дома подчеркнут Пушкиным в картели[1] и даже как бы составляет причину его отправки. Примечательно, что в ноябрьском письме этот момент отсутствует, но в ноябре Пушкин был по-настоящему страшен Геккерну: он грозил посланнику разоблачить его, как автора диплома. Царь отнял право говорить о дипломе, и в картели (вместо этой угрозы) — отказ от дома.

** См. письмо Геккерна бар. Верстолку от 30 января 1837 года: «Мы старательно избегали посещать дом господина Пушкина (пишет голландский дипломат, которому было дважды отказано в этом январе от дома), так как его мрачный и мстительный характер нам был слишком хорошо знаком» (Щеголев, стр. 325).

Прошу обратить внимание на то, что в биографии Дантеса, написанной его родным внуком Метманом, ситуация сглажена: «После свадьбы отношения между обоими домами остались корректными, хотя и холодными» (Щеголев, стр. 360).

Вот отправная точка будущих разговоров о воображаемом романе Пушкина с Александрой Николаевной Гончаровой.

Конечно, клеветник не должен сам распространять клевету. Это было бы наивно и облегчило бы слушателям найти концы. Лучше всего, чтоб это делал кто-то, близко стоящий к жертве. В данном случае, по-видимому, была избрана Софья Карамзина.

Поэтому не следует удивляться, что находящаяся под очевидным и непрерывным влиянием Дантеса Софи впервые заметила на рауте у Мещерских (воскресенье 24 января), то есть за три дня до дуэли, все признаки этого «преступного романа», причем из контекста следует, что Александрина влюблена все в того же Дантеса, а Пушкин ревнует не Наталью Николаевну, а свою свояченицу.

В письме от 27 января 1837 года с изумлением читаем: «В воскресенье у Катрин (Е. Н. Мещерской. — А. А.) было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества). Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, — это начинает становиться чем-то бóльшим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу — по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных)» [2].

От всего этого за версту пахнет клеветой. Если Пушкин и Александрина в связи и живут в одном доме, за-

чем им демонстрировать свои преступные отношения? Как можно кокетничать с человеком, который от ярости скрежещет зубами, и т. д. и т. д.?

„Pacha à trois queues" — так мило несколько раньше Дантес шутя называл трех сестер Гончаровых пушкинским гаремом [3]. А сестра Ольга Сергеевна писала отцу по поводу переезда Александры и Екатерины в дом Пушкина — «Александр представил меня своим женам — теперь у него их целых три» [4]. После того, как они (Геккерны) увели одну из жен, естественно, остались только две. Вот питательный бульон, в котором затем те, кого это устраивало, создали легенду о романе Пушкина с Alexandrine. Это ли не костяк сплетни о романе Пушкина с Александрой Гончаровой?

В сообщении Софьи Николаевны поражают совершенно новые интонации, когда она передает свои впечатления от раута у Мещерских. Свойственные ей терпимость и легкомыслие почему-то впервые ее покидают, появляется какая-то сухость, твердость и совсем не женская ясность формулировок. Тут же как подпорка пригодился князь Петр (Вяземский) (через несколько часов он будет выть у постели умирающего Пушкина), который якобы закрывает лицо и отвертывается от *дома Пушкиных* (опять дом!). В отличие от характерного для Софьи Николаевны стиля частных наблюдений («опускает глаза», «направляет... лорнет», «принимает... выражение тигра» и т. п.) здесь — обобщенная сентенция, повторение полученной «информации».

От кого же узнала С. Н., что Пушкин «серьезно влюблен» в Александрину и Наталью Николаевну ревнует «из принципа», а Александрину «по чувству»? Прошу сопоставить с этим, что заклятый враг Пушкина и приятельница Дантеса Идалия Полетика (о которой ниже) «напомнила» Трубецкому (в Одессе, когда им было уже по 70-ти лет), что и вся дуэль произошла из-

за ревности Пушкина к Александрине и боязни, что Дантес увезет ее во Францию [5]. Эта чудовищная нелепость, так возмутившая Щеголева, — несомненно версия Дантеса. Софи как завороженная повторила за Дантесом и даже сама не заметила, что она говорит. Очень скоро об этом заговорили бы (с подробностями из Декамерона) [6] все кавалергарды *, на это намекали бы (поджимая губы и закатывая глаза) важные дамы в своих салонах. (Фраза в письме Софи: «Это превосходит обыкновенную (?!) безнравственность» — прямо создана для такой ситуации.)

Обращаю внимание читателя на то, что во всей карамзинской переписке, кроме этого грязного обвинения, нет ни слова о романе Александрины и Пушкина. Ни при каких обстоятельствах ни сама Софи в откровеннейшем письме к брату, ни ее брат Александр Карамзин больше не говорят об этом.

И неужели, если бы Вяземский думал нечто подобное, он бы стал так надрываться в письмах к Эм. Мусиной-Пушкиной?

Письмо С. Карамзиной еще примечательно тем, что оно написано в день и час дуэли Пушкина. Об этом пишет сама С. Карамзина в следующем письме (30 янв.): «А я-то так легкомысленно говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, в тот самый час, когда совершалась ужасная ее развязка». И затем она описывает все случившееся, но уже не под диктовку Геккерна-Дантеса (как в среду), а со слов Вяземского или Жуковского. Поэтому там нет ни слова, нам раньше неизвестного. Когда Карамзины пишут о Наталье Николаевне после смерти Пушкина, никто из них

---

* Для современного читателя напомню, что кавалергарды были первым полком, несли службу во дворце, и офицерами этого полка могли быть только сыновья знатнейших и богатейших семей.

ни слова не упоминает об Al., и только однажды сообщается, что Натали очень рада, что сестра едет вместе с ней.

Щеголев не знал карамзинской переписки, но, прочитав примерно то же в воспоминаниях Трубецкого, восклицает — «каждое слово ошибка!» Щеголев прав. Но тут дело в том, что у Софьи Николаевны и у Трубецкого был один и тот же источник. А источник этот Дантес. Это он внушил С. Н. и Трубецкому версию романа Пушкина с Александриной. Кроме его голоса нет ничего в мемориях Трубецкого. Кавалергарды были так же загипнотизированы Дантесом, как молодежь карамзинско-вяземского кружка (bande joyeuse).

Щеголев недооценил мемуары Трубецкого. Все, что там сообщено, говорит не Трубецкой, а сам Дантес (и отчасти Полетика, что все равно), так же как то, что говорит и сообщает Данзас, — это не Данзас, а сам Пушкин. Только от самого Дантеса Трубецкой узнал, что Пушкин дрался не за жену, а за свояченицу; это должно было обелить «бедного Жоржа» и втоптать в грязь Пушкина, обесчестившего порученную ему матерью молодую девушку, а также отомстить за ноябрьское письмо Пушкина, где содержался намек на порочные отношения Дантеса и Геккерна («ваш bâtard или называемый так»).

Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими воспоминаниями Полетики. Трубецкой ни Пушкина, ни его писем, ни сочинений о нем не читал; он по серости своей свято поверил фольклорной истории с поцелуем, углем, лампой, свечкой... усами. Дантес казался ему идеалом остроумия, изящества, умения вести себя с женщинами, одним словом, — он был так же влюблен в Дантеса, как вся карамзинская bande joyeuse.

Таким образом, воспоминания Трубецкого из мараз-

мического бормотания, которое так возмущало Щеголева, превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса.

Очевидно, распространение этой версии было поручено также Полетике * — дочери Строганова, несомненно неравнодушной к Дантесу (Катерина пишет мужу о том, как Идалия рыдала, узнав об его отъезде [7]), и заклятому врагу Пушкина. И Полетика всю свою жизнь действовала в этом направлении. Она так люто ненавидела Пушкина, что в 1889 году называла его извергом, рифмоплетом и т. п. [8] Очевидно, таково было отношение к Пушкину всего строгановского дома, к которому она принадлежала. С Коко она сохранила хорошие отношения и давала в письмах «не дамские» сведения в Сульц, где жили Дантес и Екатерина, о материальных и литературных делах Пушкина, злорадно писала о тираже посмертного издания, якобы не оправдавшего надежд, и т. д. [9]

Сравним сведения Геккерна о каком-то анонимном январском письме, о котором мы больше ничего не знаем [10], и то же в рассказе Полетики, — многозначительное совпадение: Арапова, очевидно, с ее слов утверждает, что под окном во время свидания Натальи Николаевны с Дантесом, якобы происходившего в квартире Полетики в январе 1837 года, сторожил Ланской, который в действительности был не то в Ростове, не то в Воронеже [11]. Надо думать, что этого свидания никогда не было, а то бы мы знали о нем и из других источников.

---

* Об этой даме говорить сложно и трудно. К карамзинско-вяземской bande joyeuse она не принадлежала, муж ее был другом и полковым товарищем Дантеса, она была лучшей подругой Натальи Николаевны, но среди бывших с ней в январские дни не перечислена.

Щеголев допускает, что всю историю романа Пушкина с Александриной выдумала Арапова, дочь Натальи Николаевны от Ланского, — для симметрии и для оправдания поведения Натальи Николаевны. По-моему, воспользовалась, а не выдумала. Эту версию, выдуманную Геккернами, вырастила и пестовала до своего последнего дыхания Идалия Полетика. Она не уставала вдалбливать свою бесстыдную сплетню полоумному Трубецкому в Одессе (о чем он, к счастью, сам сказал своим слушателям на даче в Павловске) *. *Она* говорила В. Ф. Вяземской, что Александрина «призналась» ей, она везде тут как тут.

Геккерн и Полетика были людьми своего времени и круга и твердо знали, что ничто в глазах света не могло так запачкать и совершенно уничтожить Пушкина, как такая сплетня **. Недаром Трубецкой пишет о романе Пушкина и Александрины: «Об них [причинах смертельной дуэли] в печати вообще не упоминается, быть может, потому что *они набрасывают тень* на человека, имя которого так дорого для нас, русских». Он еще помнит, а Щеголев уже не помнит и не понимает неприличие и чудовищность этого обвинения, а затем уже все с умилением пересказывают эту «легенду» и пишут стишки *подруге поэта*.

Итак, дернув неприметную ниточку (Александрина), мы вытянули нечто ужасное и отвратительное, то есть то, что случилось бы, если бы дуэль 27 января почему-нибудь не состоялась. В моей работе доказано, что к

---

* «Не так давно в Одессе умерла Полетика... с которой я часто вспоминал этот эпизод, и он совершенно свеж в моей памяти» (Щеголев, стр. 424).

** Но наступила другая эпоха — и Бартенев (в старости), а за ним П. Е. Щеголев, раскопав измышления Полетики, с легкостью им поверили, я уж не говорю о современных читателях XX века. Те просто в восторге: «Ах, она его лучше понимала, она любила его стихи». Только и слышишь — как будто это такая редкость или заслуга — любить стихи Пушкина.

услугам дипломата для выпуска в свет любой сплетни был весь кавалергардский полк (причем господа офицеры были согласны повторять даже последние новости из Декамерона) *, по крайней мере два петербургских салона — Нессельроде и Бобринской — и, как это ни горько констатировать, молодежь обоих дружеских Пушкину домов — Вяземские и Карамзины. Напомню, что С. Н. Карамзина и после смерти Пушкина не перестает твердить — только бы с Дантесом ничего не случилось. [12] Что говорил сам поэт, уже никого не интересовало. Он был уже «почти смешон» (слова Александра Карамзина в письме к брату Андрею) и стал бы немедленно и преступен. Ни в чем не повинную Александру Николаевну надо было бы увезти на вечное девство к мамаше в деревню, а один из братьев Гончаровых должен был бы при общем сочувствии Петербурга убить на дуэли Пушкина, обесчестившего его сестру, жившую в доме Пушкина и доверенную ему матерью.

Такая связь рассматривалась тогда как инцест [кровосмешение], и трудно себе представить, кому показалось возможным привлекать как улику слова отца Пушкина Сергея Львовича о том, что Александрина больше огорчена, чем вдова [13].

Неужели отец Пушкина мог сказать что-нибудь позорящее память своего только что погибшего сына? Он просто сказал (и хотел сказать), что чужой человек, видевший этот ужас, более расстроен, чем вдова, которая не только своего свекра, но и всех поражала своим удивительным бездушием. Узнав о смерти Александра Сергеевича, старик долго не верил, когда же его убедили, что это правда, сказал: «Мне остается просить Бога не отнимать у меня память, чтоб я не забыл его» [14].

---

* Выше я уже упоминала новеллу мирового фольклора, приспособленную к семейной трагедии Пушкина и резво рассказанную Трубецким со слов самого Дантеса.

Можно с уверенностью сказать, что сплетни о связи Пушкина в то время не существовало, иначе Александрина не могла бы стать фрейлиной в 1839 году [15].

Кроме того, забывают об одном лице, близко стоящем к этому «делу», — о Наталье Николаевне Пушкиной.

При известной ее ревности (см. письма Пушкина) неужели она совершенно безропотно и абсолютно незаметно для постороннего глаза сносила бы скандальный роман мужа и сестры — тут же в доме?

Дантеса, однако, она так ревновала, что это видел весь светский Петербург, и, по словам Софи Карамзиной, чуть не задыхалась, говоря о свадьбе Екатерины, не хотела переписываться с сестрой, и даже не имела ее портрета в своем доме, а Александрина навсегда осталась для нее самым милым, верным и нежным другом. Если же верить измышлениям Араповой, Наталья Николаевна даже обсуждала в 1852 году с сестрой, как лучше поставить в известность жениха Фризенгофа о связи сестры с ее мужем *.

Что же касается остальных трех доказательств этой «преступной связи», то они так же эфемерны. В. Ф. Вяземской, достигшей к этому времени 80 лет, мы совсем не обязаны верить [16]. Она, конечно, была озабочена лишь тем, чтобы снять всякое обвинение с себя (ведь ей Пушкин сказал о дуэли) и с своего дома. Второе — предсвадебная исповедь Александрины жениху — Фризенгофу, о чем повествует та же Арапова, после чего он якобы стал плохо относиться к памяти Пушкина, — вещь просто смехотворная. Последнее — не то крестик, найденный прислугой на пушкинском диване, не

---

* В своих бредовых мемуарах Арапова сообщает изумленному читателю, что перед свадьбой Al. сестрицы долго совещались, как ловчее сообщить жениху, что невеста не девица и что ее любовником был Пушкин.

то цепочка, которую, умирая, Пушкин велел отдать Александрине * — может быть объяснено мотивами совершенно особого характера. Ведь Пушкин сказал Александрине (как единственному взрослому человеку в доме), что едет на дуэль; и она не могла не дать крестик, а он оставил этот крестик дома и перед смертью велел ей его вернуть. Откровенья няньки, надеюсь, можно не обсуждать, тем более, что это несомненно все тот же крестик, про который пушкинская прислуга могла услышать. Что же касается нежелания Пушкина проститься перед смертью с Азей, то оно вовсе не свидетельствует о связи, а наоборот, потому что иначе он, зная, что умирает, вероятно, захотел бы попросить у нее прощенья.

Мне кажется более вероятным, что Пушкин знал, что Al. играла в его доме ту же роль, что и Екатерина Николаевна летом 1836 года.

Отчего Пушкин так ненавидел Екатерину Гончарову, что даже осрамил ее в ноябрьском письме? Скорее всего оттого, что он знал, как, впрочем, и все кругом, о ее роли в начальной стадии дантесовской истории **.

Почему Пушкин категорически отказался прощаться с Александриной? Вероятно, потому же. Александрина не могла не стать конфиденткой, а следственно, и помощницей своей младшей сестры. Влюбленной Наталье Николаевне нужен кто-то для разных мелких услуг. Ближе и вернее всех была Al. Могла же она с удовлетворением записать в дневнике в 18... г., что Наталья Николаевна гуляла с Дантесом по ее парку и совершенно

---

* Говорят, эта цепочка до последнего времени украшала собой дом Фризенгофов. Неужели после этого открытия можно серьезно говорить о том, что она была доказательством преступной связи самой Chatelaine со своим зятем.

** Летом 1836 года Коко (Екат. Ник.), влюбленная в Дантеса, способствовала встречам Натальи Николаевны и Дантеса, чтобы видеть его (Щеголев, стр. 72).

помирилась с ним [17]. И эта ее страшная австрийская запись (уже более чем зрелой женщины) не продолжение ли ее петербургской деятельности? Если она тогда не понимала все неприличие такой записи, что она понимала в 1836 году, когда она, как и прочие члены bande joyeuse, была под обаянием и *гипнозом* Дантеса?

Вспомним конспектные записки Жуковского о поведении Дантеса с Екатериной: «При Тетке ласка к жене; при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries ». * Дантесу нужно было, чтобы кто-то рассказывал Наталье Николаевне о грубости его с женой, якобы свидетельствующей о великой страсти к самой Наталье Николаевне. И Александрина ходила к Дантесам, и, возвращаясь, говорила, что Дантес чуть не бьет Коко, и госпожа Пушкина была в восторге — значит он меня действительно любит, значит это в самом деле grande et sublime passion [великая и возвышенная страсть].

Когда исследователи начинают говорить об Александрине, то почему-то неизбежно впадают в ханжеский умиленный тон и забывают, что она была одной из разряженных (с осиной талией) сестер Гончаровых, которых Жуковский называет овечками [19], на которых облизывается Дантес, член bande, так что непрерывно находилась в обстановке, враждебной Пушкину **.

Из всего следует, что Al. выезжала в свет вместе со своими сестрами, а не занималась хозяйством и деть-

---

* См. конспективные записки Жуковского (Щеголев стр. 308) [18].

** См. также у Карамзиных — флирт с А. Россетом. (Карамзины, стр. 120 [20]. Я (может быть, слишком смело) сопоставляю это с араповским изображением семейной жизни Дантесов, где Екат. Ник. страдает оттого, что ее муж любит Наталью Николаевну. Делаю я так потому, что источником Араповой была вернее всего та же Александрина.

ми *. Однако, созданному Араповой образу скромной, умной и доброй некрасивой девушки очень повезло. Никому дела нет, что та же Арапова дальше изображает тетку ведьмой, истеричкой и домашним тираном (которая запрещала Наталье Николаевне ездить кататься с Ланским). Читатель уже поверил, и это навсегда. Цитата окаменела. Ее и сейчас повторяют все. Ни из чего не следует, что Александрина была пушкинской партии. Это относится и к ее тетке К. И. Загряжской **. И та и другая были партии Натальи Николаевны, что совсем не одно и то же. Как известно, в воспоминаниях Араповой нет ни одного доброго слова о Пушкине.

Откуда же шла эта подозрительная информация? От Натальи Николаевны? Но она умерла в 1863 году, когда Араповой было 18 лет. Какая мать, да еще такая ханжа, как Наталья Николаевна, рассказала бы своей 18-летней дочери сцену возвращения Пушкина под утро от «Амалии» и историю ухаживания Дантеса, который всюду возникал перед *тремя* восхищенными Гончаровыми.

---

* См. письмо Пушкина Бобринскому, где Александр Сергеевич просит объяснить, которую из его невесток он приглашает на бал, чтобы восстановить мир в семье [21].

** Катерина Ивановна Загряжская — кузина Строганова, сестра тещи Пушкина Натальи Ивановны Гончаровой, тоже, как известно, не благоволившей к поэту. До сих пор вопрос об ее отношении к Пушкину не обсуждался, но считалось, что она скорее дружественна к Пушкину (он не забывает письменно целовать ее ручки, и т. д.). Это ни из чего не следует. Она одевала к венцу Коко (см. Карамзины, стр. 159), она была на Мойке в часы агонии поэта и не вошла в кабинет (о ч е н ь в а ж н о). Но во всяком случае можно утверждать, что она не была геккерновской партии (см. в письме Геккерна к Дантесу о том, что он запретил Коко писать тетке и вообще ее характеристику) [22]. Она была ни за Дантеса, ни за Пушкина, она охраняла интересы Натальи Николаевны. Очень похоже, что Александрина поступала точно так же [...]

Люди видят то, что хотят видеть, и слышат то, что хотят слышать.

Здесь дело не обошлось без Александрины, с которой Арапова встречалась уже за границей.

По Араповой, Пушкин — какой-то промотавшийся неудачник, грубиян, вульгарный развратник («Опять был у Амалии»), дурной муж мученицы, страдалицы и жертвы *. Араповой даже в голову не пришло заглянуть хотя бы в нежные, заботливые и изящнейшие письма Пушкина к жене. Этот образ до нее донесли собственная мамаша, Александра Николаевна Гончарова и, вероятно, Полетика.

Дантес, наоборот, сервирован роскошно: его приезд, бедность, болезнь в гостинице, встреча с вельможей, который поражен красотой и прелестью юноши, их дружба... Любовь молодого кавалергарда — единственная, возвышенная, на всю жизнь. Боюсь, что здесь тоже дело не обошлось без Натальи Николаевны, Полетики и тети Ази (напомню, что для Араповой Дантес был таким же дядей, как для детей Пушкиных, и тон ее писаний ничем не отличается от биографии Дантеса, составленной родным внуком Дантеса — Метманом).

Ничто в последующей жизни Александры Николаевны не подтверждает легенду о ее роли «доброго ангела» в жизни Пушкина. Никакого хранения памяти о нем; зато можно без особого напряжения проследить ее добрые отношения с домом Дантеса. Воспитанные ею сыновья Пушкина (Александр и Григорий) ездили в Сульц к «дяде Жоржу», как сообщает нам внук убийцы Пушкина — Метман. Там они выслушивали рассказы «дяди» о его русских приключениях, что мы узнаем от Араповой, которую это тоже ничуть не шокировало.

---

* Покойная М. Г. Соломина говорила мне в 1924 году, что встречалась в «свете» с Араповой и та охотно повествовала, как ее мать (Н. Н. Ланская) была более счастлива во 2-м браке, чем в первом.

Девочки Пушкины, тоже питомицы Александрины, переписываются со своими эльзасскими кузинами.

В письме, якобы возмутившем даже Наталью Николаевну, Александра Николаевна описывает обед у Геккерна-старшего в Вене. Уж об его-то роли в пушкинской истории она не могла не знать. У нее Арапова познакомилась с дочерью Дантеса — графиней де Ван-даль и любовалась ее браслетом — свадебным подарком обеих сестер Екатерине Николаевне Гончаровой.

Сам Дантес бывал у Фризенгофов в имении под Веной, и, как я уже говорила, Александра Николаевна с удовлетворением написала в дневнике, что он встретился там с Натальей Николаевной, весь день гулял с ней по парку , и они совершенно помирились [23]. Она же всю жизнь хранила легенду о grande et sublime passion Дантеса к ее сестре.

1962

Приложения

наброски 1964—65 годов для окончания

I

I. Библиотека Пушкина и Александра Гончарова.
II. Портрет «дяди Жоржа» у Александрины.
III. Чашка — подарок Ази. Бекеша.

II

Заключение

Никакого культа Пушкина после его смерти в доме вдовы не было. Наоборот, Н. Н. было, по-видимому, тяжело все связанное с А. С. Но почему хозяйственная Александрина не проявила ни малейшей заботы о библиотеке и бекеше [24] (хотя бы для детей)?

Недавно мне довелось прочесть письма Александрины к брату Дмитрию [25]. В них, по правде сказать, кроме упорных требований денег, ничего не содержится. Однако из 1-го следует, что Александрина выезжала в свет со своей сестрой Екатериной, а из 10-го, что она несомненно была в bande joyeuse и таким образом находилась под обаянием Дантеса, как и все прочие. Имя

Пушкина в этих письмах отсутствует, Ланскому — приветы. В общем, все как и должно быть.

III

К тому, что воспитанные Александриной мальчики Пушкины ездили в гости к Дантесу („Oncle George a tué papa")* а девочки переписывались со своими кузинами, что Александрина, живя в генеральском доме Ланских, не соблаговолила поберечь библиотеку поэта: оказывается, что в ее письмах к брату Пушкин вообще ни разу не упоминается, ни живой, ни мертвый, а о Ланском она что-то пишет (в связи с продажей его лошади).

IV

В замке у Александрины в столовой до самой войны 1940 года висел портрет Дантеса [26]. Для меня лично этого было бы достаточно, чтобы доказать, что она никогда не любила Пушкина. Автор работы Раевский пытается объяснить отсутствие пушкинского портрета в доме его belle-soeur ревностью хозяина дома Фризенгофа. (Чувство, очевидно, унаследованное его дочерью, которой было, очевидно, объяснено, что мамаша занималась кровосмешением). Не думаю, что было многим приличнее повесить портреты обоих — и убийцы, и жертвы. Да и так ли нужно было обвешиваться портретами родственников? Н. Н., например, никогда не имела портрета покойной сестры (в сущности так трагически погибшей) [27], потому что она никогда не могла ей простить победу над Дантесом.

---

* «Дядя Жорж убил папу» (франц.).

Несомненно, этот портрет в столовой — это остаток того культа Дантеса, о котором я говорю в начале моей статьи, и он должен был напоминать хозяйке дома те «счастливые времена», когда красивый кавалергард всюду появлялся перед тремя восхищенными Гончаровыми (см. воспоминания Араповой).

[ПУШКИН В СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКЕ КАРАМЗИНЫХ]

Отрывки

... Наше отношение (то есть отношение русского общества) к окружению Пушкина очень прочно и как бы не подлежит какому бы то ни было пересмотру. (В этом косность литературоведения.) Появление семейной переписки Карамзиных (1836—1837) должно было бы в корне изменить наше представление об отношении этого семейства к Пушкину. Однако этого не случилось, и пушкинисты продолжают писать о Карамзиных как о близких друзьях поэта («Пушкин. Исследования и материалы», т. II, 1958, Н. В. Измайлов, Лирические циклы Пушкина). Даже оглушительное открытие Софьи Николаевны о том, что Пушкин исписался и Булгарин прав(?!), не заставило исследователей пересмотреть свои старые воззрения. Меня же не трогает даже письмо Ек. Карамзиной о том, как она благословила умирающего Пушкина, потому что оно написано с целью показать сыну Андрею, насколько лучше Николай I относился к ним, к Карамзиным, чем к только что погибшему поэту. В этом я вижу только безмерный эгоизм и душевную черствость, да еще, пожалуй, отражение того, как дурно относился к Пушкину сам Карамзин. (Не надо забывать холодное и даже раздраженное отношение Карамзина к Пушкину в связи с «Вольно-

стью» в 1820 году и «Старым мужем».) А ламентации по поводу того, что умер лучший друг их семьи, скорее свидетельствуют о высоком отношении его к ним, а не их — к нему. Он о них таких писем не оставил!..

...Отчего Аврора не отдала письма (100-й юбилей?)...

...Появление семейной переписки Карамзиных, которую в свое время утаила от мира Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина, заставляет нас пересмотреть вопрос о так называемых друзьях поэта. Появились новые и очень неожиданные враги Пушкина и участники подготовки (во всяком случае косвенные) гибели поэта. Редактор, увлеченный новизной и интересностью материала, не замечает, что попал в самую гущу врагов Пушкина, которые, кстати сказать, были гораздо опаснее, чем Уваров или Булгарин. Опаснее, потому что Пушкин их любил, был с ними или с их родителями откровенен, и, применяя военный термин, можно сказать, что Пушкин попал в окружение. Мы слишком хорошо знаем, чем это кончается....

...С какой готовностью молодежь этого кружка (Карамзины—Вяземские) сообщала Дантесу все, что могло его интересовать, видно из письма Дантеса к Беверну из-под ареста.

Мы с ужасом узнаем, что через 18 дней после смерти Пушкина Машенька Валуева (дочь Вяземского) пересказала открытому врагу Пушкина Екатерине Николаевне Дантес слова, сказанные Пушкиным в салоне ее матери — В. Ф. Вяземской, якобы друга Пушкина [«Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастие, когда хочу» и т. д.]. Не верить этому сообщению Дантеса мы, к сожалению, не

можем, потому что он просит вызвать Валуевых как свидетелей защиты.

Если тяжелая трагедия, которую русское общество чувствовало и чувствует [сейчас] (1962) как незаживающую рану, не подсказала большей сдержанности этой молодой особе (вероятно, видевшей Пушкина в гробу), можно себе представить, как хорошо была поставлена осведомительная служба Геккернов до 27 янв., и то, что пишет Пушкин посланнику в ноябрьском письме («Если дипломатия есть лишь искусство узнавать, что делается у других, и расстраивать их планы, вы отдадите мне справедливость и признаете, что были побиты по всем пунктам»), с бóльшим правом мог написать ему сам Геккерн. Пушкин же, так же как его друзья, совершенно не знал, что происходит в голландском посольстве. Информация Натальи Николаевны (тоже направляемая Геккерном) была типичной дезинформацией . . . . . .

[О НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЕ ПУШКИНОЙ И ДУЭЛИ ПУШКИНА]

Отрывки

. . . Пушкин спас репутацию жены. Его завещание хранить ее честь было свято выполнено. Но мы, отдаленные потомки, живущие во время, когда от пушкинского общества не осталось камня на камне, должны быть объективны. Мы имеем право смотреть на Наталью Николаевну как на сообщницу Геккернов в преддуэльной истории. Без ее активной помощи Геккерны были бы бессильны. Это, в сущности, говорит и Вяземский в письме к в. к. Михаилу Павловичу. . . .

. . . Из всего явствует, что Пушкин не имел ни малейшего влияния на жену, что она делала все, что хотела, никак с ним не считаясь; разоряла, лишала душевного спокойствия, не пустила к себе его умирающую мать и привела в дом своих сестер, нанимала дорогие дачи и квартиры, забывала его адрес, когда он уезжал, и без устали повествовала о своих победах, жаловалась Дантесу на его ревность, сделала его (мужа) своим конфидентом, что, по мнению Долли Фикельмон, и вызвало катастрофу, и, наконец, *не вышла на вынос, чтобы, как говорит Тургенев, не показываться жандармам.* Как будто для нее жандармы были опасны. . . .

. . . В сущности она [Наталья Николаевна] сделала только то, что ежедневно делают многие из наших блиста-

тельных дам, которых однако же из-за этого принимают не хуже прежнего; но она *не так искусно умела скрыть кокетство*. . . . . Почему Пушкин просто не запретил жене говорить с Дантесом, как он запретил просватанной Катерине? — Он, как конфидент, слишком знал, что с ней происходит, и просто боялся *чего угодно*. . . .

. . . Дантес уверял Натали, что полюбил ее с первого взгляда. А что другое он мог ей говорить? И конечно, влюбленная женщина верила. . . .

. . . Как выясняется из писем Дантеса, он говорил своему приемному отцу — ты. Это звучит по крайней мере *неожиданно*. В то время родителям (в особенности по-французски) говорили — вы. См., например, письмо Пушкина к Сергею Львовичу (дек. 1836). Это так недавно вынырнувшее *ты* окончательно решает вопрос о характере отношений между Геккерном и Дантесом. . .

. . . Истинную причину своего бешенства Пушкин исключил из окончательного текста письма, потому что она серьезно компрометировала Наталью Николаевну («. . . представить ей гнусное повед[ение . . .] [. . . к]ак жертву [ради] /ее [?]/ /чести [?]/»). Слова эти целиком совпадают . . . с письмом Вяземского к вел. кн. Мих. Павл.: «Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести г-жи Пушкиной. Но, конечно, это только плод досужей фантазии. Ничто ни в прошлом молодого человека, ни в его поведении относительно нее не допускает мысли ни о чем-либо подобном. Последствия это хорошо доказали, как ваше высочество ниже увидите. Во всяком случае, *это оскорбительное и неоснова-*

тельное предположение дошло до сведения Пушкина и внесло новую тревогу в его душу».

Как крепко держался Геккерн за эту версию, доказывается тем, что в письме к Нессельроде, когда уже все было *кончено,* т. е. после смерти Пушкина, посланник пишет: «... с тем высоконравственным чувством, которое заставляло моего сына закабалить себя на всю жизнь, чтобы спасти репутацию любимой женщины». ...

... Это мое наблюдение подает нам надежду, что Пушкин не так уж был 'смешон' и не бросался на каждого встречного и поперечного (о чем пишет Софи 29 декабря 1836 года) чтобы рассказать ему о Дантесе. Сестра ее, Мещерская, с которой говорил Пушкин, не была ему первой встречной. Все это внушил Софи тот же Дантес, которого, естественно, рассказ Пушкина мало устраивал. Тем более, что и само описание поведения Пушкина очень механично, в нем совершенно отсутствует элемент живого наблюдения; и какой-то раз навсегда принятый пошловатый и небрежный тон — chat tigre, грызет ногти и т. д.

Думаю так, потому что иначе неизбежно мы знали бы о неуместных, с точки зрения светских приличий, «конфидансах» Пушкина уже давно из других источников. Александру Ивановичу Тургеневу, с которым часто и подолгу беседовал в ту пору Пушкин, он ничего не рассказал, это видно из дневника Тургенева. Кроме того, образ поэта, который создает карамзинская переписка, слишком уж разнится от того, который восстает из донесений послов, находившихся тогда в России, и большая часть которых была знакомыми Пушкина... Тургенев называет Пушкина одним из корифеев салонов Петербурга... ...

[ЗАМЕТКА О СТИХОТВОРЕНИИ «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»]

Я всегда была твердо убеждена, что стихотворение «Моя родословная» (1830) сыграло роковую роль в отношении к Пушкину тех людей, с которыми он собирался жить. Как известно, не напечатанная при жизни (запрещенная Николаем I), она [«Моя родословная»] имела широкое хождение, и сохранилось несколько копий, сделанных самим Пушкиным. По мысли Пушкина, она должна была нанести обиду «новой знати», потомкам фаворитов XVIII в., но Пушкин не рассчитал, что к его времени вся русская аристократия так или иначе уже была в родстве с этой новой знатью, охотно заключая браки с детьми и внуками фаворитов, — так что он обидел ее всю. Я не надеялась найти где-нибудь документы, подтверждающие эту мысль. Чванные аристократы, думалось мне, ни за что не выскажут свою обиду. Так, вероятно, и было, но человек, связанный с этой аристократией, так формулирует отношение петербургского света к Пушкину:

«Ответ Булгарину, в котором, отражая упреки аристократии, Пушкин с правом или без права нападал на самые высокопоставленные фамилии в России, — вот истинные преступления Пушкина, преступления тем более тяжкие, чем выше и богаче были его враги, чем теснее они были связаны с влиятельнейшими домами и окружены многочисленными приверженцами . . . Вот настоящие причины того недоброжелательства, ко-

торое известная часть дворянства (особенно та, которая занимала видные посты в государстве) питала к Пушкину при его жизни и которое отнюдь не исчезло с его смертью».

Слова эти были написаны через несколько дней после смерти Пушкина. Можно себе представить, с каким злорадством это общество следило за развитием романа жены Пушкина, как охотно делалось оно эхом вымысла Геккерна о героизме Дантеса и пр. Лермонтов в своем показании сообщает: «Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, *называя его благороднейшим человеком*». Итак, геккерновская версия брака Дантеса с Катериной осталась в силе и после гибели Пушкина.

17 апреля 1949

ПУШКИН И ДЕТИ

Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя «детским писателем», * как теперь принято выражаться, хотя его сказки вовсе не созданы для детей, и знаменитое «Вступление» к «Руслану» тоже не обращено к детскому воображению, этим произведениям волею судеб было суждено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми.

Нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет.

Но все мы бесчисленное количество раз слышали от 3-летних исполнителей «Кота ученого» и «Ткачиху с поварихой» и видели, как розовый пальчик тянулся к портрету в детской книге: и это называлось — «дядя Пушкин». **

В 1937 г., в юбилейные дни, соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на П-ской ул. в Ленинграде. *** Послали грузовик — кран — вообще все, что полагается в таких случаях.

Но затем произошло нечто беспримерное.

Дети, игравшие вокруг памятника, подняли такой вой, что пришлось позвонить, куда следует, и спросить: «Как быть?» — Ответили: «Оставьте им памятник», и грузовик уехал пустой . . .

---

* Когда Пушкина попросили написать что-нибудь для детей, он пришел в столь свойственную ему ярость: «Батюшка, Ваше сиятельство! Побойтесь Бога: я ни Льву, ни Очкину, ни детям — ни сват, ни брат. Зачем мне sot — действовать 'Детскому Журналу'? Уж и так говорят, что я в детство впадаю . . .» (Из письма А. С. Пушкина к В. Ф. Одоевскому, Декабрь 1836 г. — Полное собрание сочинений в 10 томах, т. X, М., «Наука», 1965, стр. 516) Sot — действовать — каламбур: sot — дурак (франц.) — там же, стр. 756.

** «Конька-Горбунка» Ершова тоже все знают и любят. Однако я никогда не слышала «Дядя Ершов»! А вы?

*** Поставленный в 1884 году в той части города, которая еще не существовала в пушкинское время.

MARGINALIA И МЕЛОЧИ

[1] О смелости выражений: «Адское пламя давало только разглядеть вечную тьму преисподней».

Ср. Voltaire: „Sur la liberté des expressions".

Истинная смелость самого Пушкина: «Великолепный мрак . . .» и «сумрак ваш священный».

[2]. Сон Сарданапала (разъяснить недоразумение).

[3]. Экушар Лебрен (эпиграмма: „Parnasse est vieux") — сравнить с октавой «Домика в Коломне».

[4]. Дон Жуан Байрона в «Нулине» (canto V).
(And asked now and then for cast-off dresses).

[5]. But this will be a mournful tale («Гяур»).
(Печален будет мой рассказ)

[6]. Предисловие к Онегину и Буало (Sous un voile...).

[7]. Реалии: общество игроков (Вяз[емский] — жене), Анг[лийская] набережная, живые картины и Станционный смотритель (у Смирновой), Ник[олай] I на наб[ережной] (у Цявловского).

[8]. Об обществе игроков в письме Вяз[емского] к жене. Старуха Загряжская. Туалет при Пушкине. Картежница, отсюда старуха в «Игроке» Достоевского.

Ее русский говор. Старуха без внешности. Офицером инженерных войск был брат Дельвига (см. его мемуары).

О симметрии «Арапа Петра Вел[икого]» и «Пиковой дамы». Париж — герцог Орлеанский.

О говоре старой графини в «Пиковой даме». Русский докарамзинский язык (XVIII в.) «вчерась . . .».

[9]. «Недвижный страж дремал на царственном пороге . . .» и письмо Вяз[емского] к А. Тургеневу («Остафьевский архив»).

[10]. Lebrun à Palissot (Lettres, pages . . .).

[11]. *Aurora borealis* (северное сиянье). См. „Don Juan" Байрона.

У Пушкина дважды:

1) Навстречу *северной Авроре*

2) *Авророй северной* явись

[12] *Остатки французской рифмы.*

Напр[имер]: rivage — sauvage. Abeille — vermeille, Poésie — banquet d'ambroisie (fr.).* Отсюда: дикий брег, над розой алой, пир воображенья . . .

[13]. Qu'un autre (античная трад[иция]: Гораций 1. VII. Laudabunt *alii* claram Rhodon). ** Отсюда: «Пускай их Батюшков поет».

[14]. Ainsi — как начальное слово эпилога.
См. эпилоги «Руслана», «Кавк[азского] плен[ника]» и «Цыган».

[15]. Одические начала.

I. Да. См. Lebrun (54, 127) — Да, слава в прихотях вольна.

II. Нет. См. Lebrun (66, 112) — Нет, я не льстец . . . .

---

* берег — дикий. Плеча — алый, Поэзия — пир богов (ф р а н ц.)

** Пусть другие воспевают славный Родос (л а т.).

III. Oh, toi qui. См. Lebrun (51, 64) — О ты, который сочетал . . .

[16]. Tandis que — *Одическое начало* (См.: А. Шенье, Ода III. Корде „Tandis que partout . . .") *

См. также Lebrun (I, 399) „Tandis que la Tamise". **

Отсюда: «*Меж тем как* удивленный мир . . .». Вольтер уже пародирует это начало (где), пародически оно и у Пушкина: «Меж тем как генерал Орлов . . .».

[17]. *Бога полн.* См.: Гораций. I. III, XIX. Дифирамб Plenoque Bacchi: Quo me Bacche rapis tui plenum (I. III, XXV, *** а также Hor. I. I, XIX: In me tota ruens Venus Cyprum deseruit . . , **** но и у Горация это уже традиция, идущая из Греции (. . .). У Пушкина «Пока не требует . . .» в черновике *Бога полн).*

[18]. «Когда за городом задумчив я брожу . . .» См. Legouvé. Cimetière de village отнюдь не как источник, а как вероятную традицию, которую Пушкин не мог не знать.

[19]. О природе пушкинских самоповторений. *****

Фррмы пушкинских самоповторений.

1) Традиция. 2) Восхождение к одному и тому же образцу.

---

* В то время как повсюду *(франц.).*

** В то время как Темза *(франц.).*

*** Вакх, я полон тобой! Куда увлекаешь меня (кн. III, ода XXV; перевод Г. Ф. Церетели).

**** Горацций, кн. I, ода XIX: И бессилен пред натиском Я Венеры: она с Кипром рассталася (перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского).

***** В другом авторском списке этот пункт раскрыт шире: не повторение себя, а многократное восхожд[ение] к одному источнику.

В черновом наброске, озаглавленном «Заметки о Пушкине», есть еще одна редакция этого пункта:

[20]. Пушкин в царскосельском парке:

Ветхий пук дерев (ива у озера).

Живые воды (царскосельские водопады). Сии живые воды (1836).

Розовое поле («Гавриилиада»; «Евгений Онегин», VIII гл.).

[21]. Voltaire: Vous allez graver votre nom sur les débris de l'Angleterre . . . (1756). (Sur la conquête de Mahon). *

И на обломках самовластья
Напишут наши имена . . .

[22]. Вольтер в «Деревне» Пушкина (Le fils de mon manoeuvre à ses études élevé . . . va grossir l'armée des laquais et pages — идут собою множить . . .). Дословный перевод.

[23]. . . . воскресил
Корнеля гений величавый

См. Буало: [. . .]

[24]. Петербург 1-й гл[авы] «Он[егина]» и Петербург «М[едного] Всадника». (Первый — милая родина глазами юного изгнанника, второй — свинский П[етербург] писем, мрачный и беспощадный, как в «Шинели» Гоголя — см. Петербург «Пиковой дамы», — где ветер, **

Клубя капоты дев ночных
И заглушая часовых . . .).

Вступленье (военная столица и т. д.), одическое великолепье и маскировка, оттуда и цветные эпитеты, от кот[орых] в тексте поэмы нельзя найти ни следа. И от

---

* Вольтер: Вы напишете ваше имя на обломках Англии . . . (На завоевание Магона *(франц.)*.

** Еще один образ, кот[орый] может занять почетное место в отделе „Sur la liberté des expressions" — Ветер, окликающий часовых . . . (*Прим. А. А. Ахматовой*).

всей онегинской пестроты и разнообразия — рестораны, балы, театр — остался только непроглядный мрак и шлюхи. Рыданье над человеком. Бездомность автора. Адрес Пушкина угол Б. Морской д. Жадимировского — 1833 г., октябрь. Живет до половины мая (ст. стиля). Оттуда два шага до Адмиралтейства

. . . и светла
Адмиралтейская игла.

С 7 февр[аля] ходит в архив — значит, мимо Петра. 6 июля родился сын Александр, т. е. наследник имени — новый *Пушкин*.

Пушкин, наверно, не подумал, сколько пришлось бежать бедному Евгению через Вас[ильевский] Остр[ов]. Там и на трамвае едешь — так соскучишься (!)

[25]. Les pas odorants — оленя след пахучий (Шенье).

[26]. Ventus niger — вихорь черный (Анчар).

[27]. Объяснение к стихотворению «Нет, я не дорожу . . .» — влияние только что прочитанного Делорма.

В этом стих[отворении] Делорм, описывая свою музу, говорит, что она не пляшущая с открытыми грудями одалиска и не молящаяся на феодальной могиле (le front sur le marbre *), как д[онна] Анна, владелица замка, а скромная девушка, кот[орая] во всякую погоду стирает белье в ручье и ухаживает за своим безумным отцом. Она умирает от чахотки, как Инеса, а могла (как Лаура) иметь успех, и серенады, и поклонников, и слушать cent braves ** своей игре на арфе.

Вот что Пушкин пишет об этом стихотворении: «. . . мы с изумлением находим стихотворения, исполненные свежести и чистоты. С какой меланхолической

---

* склонившись лицом на мрамор *(франц.)*.
** сотни браво *(франц.)*.

прелестью описывает он, например, свою музу!» („Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme". II. 5, VII, стр. 238).

[28]. *Элегия Пушкина* («Купить хоть слово девы милой, хоть легкий звук ее шагов». Ср. с элегией Грессе . . .)

[29]. *Заклинание* и конец Гяура.

[30]. «О Мильтоне и переводе Шатобриана». Доказываю, что это такой же пастиш, как и «Последний свойственник».

(Тема — *независимость поэта).*

[31]. Мадонна и Рыцарь бедный — Ваккенродера.

[32]. Aimables ignorants (Парни) — «милые невежды» («Евг[ений] Он[егин]»), беспечные невежды («Была пора», 1836).

[33]. «Публика смотрит на вас как на свою собственность» («Ег[ипетские] н[очи]»). См «Пелам»: You became public property.

(Одинаковая ситуация).

Там же. Отвод описания любовных бесед.

Ср. «Барышня-Крестьянка».

[34]. Еще один знакомый Пушкина.

«. . . он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам» («Воображаемый разговор с Ал[ександром] I», Михайловское, 1824).

„. . . je suis ennuyé d'être traité dans ma patrie avec moins d'égard que le premier galopin anglais qui vient y promener parmi nous sa platitude et son baragouin" (Казначееву. Июнь. В Одессе — Пушкин, т. X, стр. 88).

(«. . . мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-ан-

гличанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной»; стр. 770).

Слоан (англичанин-католик; 1794—1871) имел большой успех в высшем обществе (см.: Бутурлин, Мемуары, стр. 441—442). В 1824—1825 гг. молодой Бутурлин находился в Одессе со своим воспитателем Слоаном (стр. 53, гл. 36—39).

См. о Слоане в письмах В. Ф. Вяземской к мужу (из Одессы 1824).

Итак, первый попавшийся английский шалопай, которого Воронцов предпочитал всем своим известным и неизвестным соотечественникам, был 30-летний красавец Слоан. Обращение с ним Воронцова и было причиной обиды Пушкина.

Выписка о Слоане: «Слоан имел большие успехи в высшем обществе» (стр. 441—442, Мемуары Бутурлина).

«Воронцова считали либералом и англоманом» и т. д. «У него было 3 англичанина: 1) врач, 2) чиновник Джаксон, управляющий имением жены, и 3) конюх» (стр. 30).

«Гр. Воронцов принял меня очень любезно и расточался в любезностях перед моим наставником (г. Слоан)».

«Все мы, приближенные к нему (а также г. Слоан), ежедневно у него обедали, даже когда он отлучался из города, а поваром у него был французский кулинарный артист» (стр. 16. Записки 1824—1827 года граф[а] М. Д. Бутурлина, стр. 30).

ПИСЬМА

К С. В. фон ШТЕЙНУ

[1906]

1

Мой дорогой Сергей Владимирович,

простите и Вы меня, я в тысячу раз более виновата в этой глупой истории, чем Вы.

Ваше письмо бесконечно обрадовало меня, и я буду очень счастлива возвратиться к прежним отношениям, тем более что более одинокой, чем я, даже быть нельзя.

Мой кузен Шутка называет мое настроение «неземным равнодушием», и мне кажется, что он-то совсем не равнодушен, и, на мое горе, ко мне.

Все это, впрочем, скучная чепуха, о которой так не хочется думать.

Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рождество в Царское к Вале, хоть на 3 дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где . . . ну, да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать немыслимо, и в голове такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, ничего, кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете. Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не «зажилю», как говорят на юге.

Вы хороший, что написали мне. Я Вам страшно благодарна. Что Вы делаете, думаете и видаете ли Валерию?

Ваша Аня.

P. S. Тоника советую сунуть в... Андрей говорил мне, что он все тот же. Куда Вам писать?

Мой адрес: г. Киев, Меринговская ул., д. № 7, кв. 4, А. А. Горенко.

2

[1906]

Киев, Меринговская, 7, кв. 4

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рождество в Петербург. Это невозможно, во-первых, потому, что денег нет, а во-вторых, потому, что папа не хочет * этого. Ни в том, ни в другом Вы помочь мне не можете, но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге. Если нет,

---

* Не захочет (2) — неразб., дважды поправлено.

то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение ,невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узнаете слог Диккенса?). Что мне делать?

Когда я приеду, расскажу Вам одну удивительную историю, только напомните, я теперь все забываю.

Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица! Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки и не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

Между прочим, могу сообщить Вам, что бросила курить. За это кузены чествовали меня.

Сергей Владимирович, если бы [Вы] видели, какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась на гвоздь и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно — вообще скверно.

Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.

Милый, света нет.

Стихов я не пишу. Стыдно? Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня — **в с е**.

Ваша Аннушка.

P. S. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому известно.

Аня.

3

31 декабря 1906 г.

Дорогой Сергей Владимирович, сердечный припадок, продолжавшийся почти непрерывно 6 дней, помешал мне сразу ответить Вам. Неприятности сыпятся как из рога изобилия, вчера мама телеграфировала, что у Андрея скарлатина.

Все праздники провела у тети Вакар, которая меня не выносит. Все посильно издевались надо мной, дядя умеет кричать, не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день: за обедом и после вечернего чая. Есть у меня кузен Саша. Он был товарищем прокурора, теперь вышел в отставку и живет эту зиму в Ницце. Ко мне этот человек относился дивно, так что я сама была поражена, но дядя Вакар его ненавидит, и я была, право, мученицей из-за Саши.

Слова «публичный дом» и «продажные женщины» мерно чередовались в речах моего дядюшки. Но я была так равнодушна, что и ему надоело, наконец, кричать, и последний вечер мы провели в мирной беседе.

Кроме того, меня угнетали разговоры о политике и рыбный стол. Вообще скверно!

Может быть, Вы пришлете мне в заказном письме карточку Кутузова? Я только дам сделать с нее маленькую для медальона и сейчас же вышлю Вам. Я буду Вам за это бесконечно благодарна.

Что он будет делать по окончании университета?

Снова служить в Красном Кресте? Отчего Вы не телеграфировали мне, как было условлено? Я день и ночь ждала телеграмму, приготовила деньги, платья, чуть билет не взяла.

Но уж такое мое счастье, видно!

Сейчас я одна дома, принимаю визиты, а в промежутках пишу Вам. Это, конечно, не способствует стройности моего письма — но Вы простите, да?

Пишите, когда будет время, о себе. Мы так давно не виделись.

Я буду на днях сниматься. Прислать Вам карточку?

P.S. Тысяча пожеланий на Новый Год.

4

[январь 1907 г.]

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle soeur*. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов.

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как 5 месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так. Где ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

---

* Свояченица (франц.).

Сережа! Пришлите мне карточку Г. К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший, настоящий друг, хотя Вы, как никто, знаете меня.

Ecrivez * *Аня.*

5

2 февраля 1907 г.

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра!
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен! Спеши! Пора!

И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это

. . . всем судило Неизбежное,
Как высший долг — быть палачом.

Меня бесконечно радуют наши добрые отношения и

---

* Пишите.

Ваши письма, светлые желанные лучи, которые так нежно ласкают мою больную душу.

Не оставляйте меня теперь, когда мне особенно тяжело, хотя я знаю, что мой поступок не может не поразить Вас.

Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам: я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело.

Вы пишете стихи! Какое счастье, как я завидую Вам. Мне нравятся Ваши стихотворения, я вообще люблю Ваш стиль.

Тетрадь Ваших стихов у нас, и когда я вернусь домой, я вышлю ее Вам, если Андрей не предупредил меня. Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру Шиллера? Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко.

Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Э т о — т а й н а, я даже Вале ничего не написала.

Пишите мне, Сергей Владимирович, мне стыдно просить об этом, отнимать у Вас время, которое Вам так дорого, но Ваши письма — такая радость.

Зачем Вы называете меня Анна Андреевна? Ведь последний год в Царском эти церемонии уже совершенно вышли из употребления. Я — другое дело. Но ведь разница в годах и положении играет большую роль.

Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Вл. Викт. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня.

P. S. Стихи Федорова, за немногими исключениями, действительно слабы. У него неяркий и не (sic) довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, — поэты. Благодарю Вас за Сонеты, я с удовольствием их читала, но должна сознаться, что больше всего мне понравились Ваши заметки. Не издает ли А. Блок новые стихотворения — моя кузина — его большая поклонница.

Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н. С. Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

6

[февраль 1907 г.]

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне — я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы

будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня . . .

Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. * в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним радостью, но он мне (увы!) не поверил.

Целую Вас, мой дорогой друг.
Аня.

7

11 февраля 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам. Пусть Бог пошлет Вам исполнения Вашего самого горячего желания, а я никогда, никогда не забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым, спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant *, по-русски этого нельзя выразить. Как раз сегодня Наня купила II-й сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр. стих[отворение] «Незнакомка», стр. 21, но оно великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны, судя по объявлению. Если бы Вы знали, мой

---

* В подлиннике 14 ч., считаем это опиской; см. письмо 2-е.

* Запугивающий, вызывающий робость (франц.).

дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня. Но довольно о нем. Я когда-то проиграла Мешкову пари — мои стихи. Вероятно, он поэтому спрашивал Вас о них. Я хочу послать ему анонимно маленькую поэму, которая посвящается нашим прогулкам летом 1905 г. Если случайно знаете его адрес, сообщите, пожалуйста. Мы кутим, и Сюлери играет главную роль в наших развлечениях. Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь, со мной, что я могу его видеть, — это так безумно хорошо. Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Посылаю Вам одно из моих стихотворений. Оно растянуто и написано без искры чувства. Не судите меня как художественный критик, а то мне заранее страшно. В Вашем последнем письме Вы говорите, что написали что-то новое. Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи. Вот хорошо, если бы мы когда-нибудь встретились. Еще раз благодарю Вас за карточку. Вы не знаете, что Вы сделали для меня, мой хороший!

...Я УМЕЮ ЛЮБИТЬ

Я умею любить.
Умею покорной и нежною быть.
Уею заглядывать в очи с улыбкой,
Манящей, призывной и зыбкой.
И гибкий мой стан так воздушен
и строен
И нежит кудрей аромат.
О, тот, кто со мной, тот душой
неспокоен
И негой объят...
Я умею любить. Я обманно
стыдлива.
Я так робко нежна и всегда
молчалива,
Только очи мои говорят.
Они ясны и чисты,
Так прозрачно-лучисты,
Они счастье сулят.
Ты поверишь, — обманут,
Лишь лазурнее станут
И нежнее и ярче они,
Голубого сиянья огни.
И в устах моих алая нега,
Грудь белее нагорного снега,
Голос — лепет лазоревых струй.
Я умею любить. Тебя ждет
поцелуй.

Евпатория, 1906 г.

8

Киев, 13 марта 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за свою одичалость. Только

вчера я достала «Жизнь человека», остальных произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла надежду. Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо. Сестра вышивает ковер, а я читаю ей вслух французские романы или Ал. Блока. У нее к нему какая-то особенная нежность. Она прямо боготворит его и говорит, что у нее вторая половина его души. Напишите, какого у вас в кружке мнения о Давиде Айзмане. Его сравнивают с Шекспиром, и это меня смущает. Неужели будем мы современниками гения? Летом наша семья будет жить на даче около Севастополя. В первых числах июня я еду туда и буду в восторге, если Вы заедете к нам. Мы так давно не виделись!

Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере «Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною уже в Евпатории. Но я послала его слишком поздно и сомневаюсь, чтобы оно было напечетано.

Но если это случится, то напишите мне о нем Ваше откровенное мнение и покажите еще кому-нибудь из поэтов. Профаны хвалят его — это дурной признак. Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других, — ведь я больше не пишу. Мне все равно! Все ушло из души вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, Вы хорошо понимаете меня.

. . . Из белых роз не свей венок,
Венок душисто-снежных роз,
Ты тоже в мире одинок,
Ненужной жизни тяжесть нес,

говорила я когда-то в крымском стихотворении «Весенний воздух властно смел».

Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Аннушка.

P. S. Когда кончатся экзамены Г.-К.?

9

[*1907*]

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (э т о с е к р е т), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей Владимирович, если у Вас явится

такая мысль, не присылайте браслета или не отвечайте мне на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам.

Не пишите тете Маше, что я говорила Вам о браслете. Она может это неверно понять.

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома — если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошю. Доктор сказал, что курсы — смерть. Ну, и не иду — маму жаль.

Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд».

Sic transit gloria mundi *.

Прощайте! Увидимся ли мы?

Аннушка.

г. Севастополь, Малая Морская № 43, кв. 4.

10

Открытое письмо с почтовым штемпелем

29 октября 1910 г. Киев.

На днях возвращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня. Пожалуйста, передайте мое приглашение Екатерине Владимировне. О дне сговоримся по телефону. Здесь я проболела 2 недели.

Жму Вашу руку.

---

* Так проходит земная слава! (лат.).

К В. Я. БРЮСОВУ

1

[*Не ранее октября 1910*]. *Царское Село.*

Многоуважаемый Валерий Яковлевич, посылаю Вам четыре свои стихотворения. Может быть Вы сочтете возможным напечатать какое-нибудь из них. Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией. Простите, что беспокою.

Анна Ахматова.

Мой адрес: Царское Село, Бульварная ул. д. Георгиевских. Анне Андреевне Гумилевой.

2

22 октября 1912 г.

Посылаю Вам, Валерий Яковлевич, несколько моих стихотворений, написанных на днях. Я не могла сделать этого раньше, потому что у меня родился ребенок и я ничего за всю осень не написала.

Уважающая Вас

Анна Ахматова

Царское Село
Малая ул. 63.

К П. Е. ЩЕГОЛЕВУ

26 апреля 1914 г.

Многоуважаемый Павел Елисеевич,

посылаю Вам несколько стихотворений для «Дня». Если Вы найдете возможным принять что-нибудь из присланного, пожалуйста, известите меня по адресу: В[асильевский] О[стров], Тучков переулок, 17, кв. 29. А. Гумилевой.

Уважающая Вас Анна Ахматова.

К А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ

16 июля 1915 г.

Дорогая Анастасия Николаевна,

только вчера я получила Ваше письмо, которое переслали сюда из Царского.

Лето у меня тяжелое: газеты приходят не каждый день, так что военные вести узнаешь с большим опозданьем, Николая Степановича перевели куда-то на юг, и он теперь пишет еще реже.

Я поправляюсь очень медленно, но много работаю, по-видимому в древне голос музы лучше слышен.

С удовольствием посылаю Вам стихотворение «Молитва» для альманаха «Война».

Оно нигде не было напечатано. Мне кажется, что мой «Июль 1914» лучше там не помещать, потому что он слишком не нравится военной цензуре. Как Вы думаете?

Пожалуйста, передайте мой привет Федору Кузьмичу. Всего Вам доброго, целую Вас.

Ваша Анна Ахматова

К ФЕДОРУ СОЛОГУБУ

1

28 июля 1915 г. Слепнево

Мне было очень радостно, дорогой Федор Кузьмич, получить Ваше письмо. Спасибо, что вспомнили обо мне.

Я живу с моим сыном в деревне, Николай Степанович уехал на фронт, и мы о нем уже две недели ничего не знаем.

Пожалуйста, передайте мой привет Анастасии Николаевне. Желаю Вам всего хорошего.

Анна Ахматова

2

[*1923?*]

Дорогой Федор Кузьмич,
из разговора с Н. Л. Алянской я выяснила, что отдать Полярной Звезде мои стихи 1922 было бы прямым нарушением контракта. Мне очень жаль, что так вышло и что я раньше не привела в ясность вопроса о договоре. Жму Вашу руку.

Ваша А. Ахматова

ИЗ ПИСЬМА К Н. С. ГУМИЛЕВУ

17 июля 1914.

...С недобрым чувством жду июльскую «Русскую Мысль». Вероятнее всего там совершит надо мною страшную казнь Valère. Но думаю о горчайшем уже перенесенном и смиряюсь....

К И. М. БРЮСОВОЙ

3 мая 1925. Царское Село.

Многоуважаемая Иоанна Матвеевна, из письма Г. А. Шенгели к М. Шкапской я узнала, что Вы разрешили биографу Н. Гумилева Лукницкому, снять копии с писем Н. С. /Гумилева/ к В. Я. Брюсову. Так как я сама принимаю участие в этой работе и очень хорошо знаю как эти документы важны для биографа Гумилева, позвольте мне поблагодарить Вас за Ваше доброе отношение.

Уважающая Вас. А. Ахматова.

К О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ

12 июля [1935]

Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память. Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно — непременно побываю у Вас.

Лето ледяное — бессонница и слабость меня совсем замучали.

Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется я его не увижу — он сказал мне, что погибает от тяжелой психастении. Что это за мир такой? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.

С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свидания.

Крепко жму Вашу руку и целую Надюшу.

Ваша Ахматова.

К Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

1

[*1945*]

Дорогая Надюша,
как приятно было получить от Вас весточку.

Сегодня у меня бурный день: завтра сдаю Марьону. Она до ужаса надоела мне — и предвижу еще много возни и сложностей. Если все пойдет гладко — надо бы опять поехать в санаторию. Здоровьем своим я вообще довольна. Когда и что узнаю о Вас? В Ленинграде — пустыня. Не вижу почти никого. К новому дому словно привыкла, но как то все еще живу на Фонтанке.

Я даже не знаю Вашего адреса. По радио говорят, что в Ташкенте — лето. Вспоминаю 1944. Ах Надя, Надя!

Ваша Анна.

2

2 авг. [1945] (открытка)

Надюша!

Чувствую себя до такой степени виноватой перед Вами, Эдиком и Ниной, что не знаю с чего начать. Я получала письма и телеграфные поздравления, я бывала утешена вашей памятью обо мне, я отвечала невпопад, уверена что не все дошло. Представляю себе, как Вам жарко сейчас. А у нас шумные предосенние бури с крупным дождем и облаками.

От Софьи Аркадьевны, которой я иногда пишу — никогда ни слова.

Целую Вас, Ервана, Нину. Не забывайте.

Ваша Анна.

3

12 июля 1957

Дорогая Надюша

очень хочу жить с Вами в Москве, лишь бы сохранился мой дом в Ленинграде.

Рабты у меня много (переводной) и все московская.

Жду вестей, крепко Вас целую. В воскресенье еду к себе на дачу в Комарово.

Ваша А. Ахматова

Красная Конница
4, кв. 3.

4

8 окт. 1963

Надюша,

очень скучно так долго ничего не знать о Вас. Почему опять Псков? Как здоровье?? Кто вокруг Вас? Напишите.

Целую
Ваша Ануш

5

27 дек. 1963. Москва

Надя,

посылаю Вам три странички — это в «Листки из Блокнота», которыми я продолжаю постоянно заниматься. Вероятно кончится небольшой книгой.

Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня — Дня слез и Славы. Нам надо побыть вместе — давно пора.

У Вас, то есть у Осипа Эмильевича все хорошо. Сейчас позвоню Вашему Жене.

Спасибо за письмо

Ваша Ахматова

К Н. И. ХАРДЖИЕВУ

1

[Ленинград, 1932 г.][1]

Милый Николай Иванович,
очень нехорошо, что ничего не знаю о Вас. Как Вам живется, что Вы делаете?

У нас очень плохо и скучно. Хотела написать Вам настоящее письмо, но вчера заболела Ира[2] и я в хлопотах.

Буду ждать вестей от Вас.

Ахматова.

2

[Ленинград, 1932 г.][1]

Милый Николай Иванович, благодарю Вас за письмо. Если бы Вы знали, как приятно получить письмо от знакомого. Это со мной так редко случается. Рада, что Вы работаете и даже хотите приехать сюда. В конце месяца в Москву вернется Вера Федоровна Румянцева[2] и привезет Вам письмо от меня. От Левы[3] нет вестей: он не ответил никому из нас — не знаю, что думать. У нас все по старому — только еще хуже.

Вчера была в Эрмитаже. Пустыня. Выставка — «Период абсолютизма» — похожа на первоклассный магазин bric-a-brac'a где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке. На меньшиковские палаты (их красят) нацепи-

ли огромный герб. Чудовищно! Н. Н. [4] замучен музейными делами, зол и «несправедлив». — Совершенно неожиданно для себя я получила госснабжение – это во многом облегчит мое положение дома.

Спите ли Вы теперь и что Осип (М.) и Надя? [5]

Если будет оказия — напишите и, пожалуйста, не раздумывайте приехать.

Что Вы пишете о Пастернаке? [6] Жду вестей и очень прошу быть добрым и, если можно, веселым.

Ахматова.

3

[*Ленинград, февраль 1933 г.*][1]

Милый Николай Иванович, послала Вам письмо с Вашим знакомым, поджидала ответ, но, вероятно у Вас не было случая передать письмо. 14, днем, читаю в быв. Пушкинском Доме доклад о «Зол.[отом] Пет.[ушке]» [2]

Завтра Н. Н. едет на два дня в оМскву для участия в жюри. Я думаю, что он позвонит Вам.

Живу какими-то остатками бодрости и, главное, не думать. Как Ваша работа?

Что слышно о Вашем приезде в Петербург?

Напишите мне.

Ахматова.

От Левы нет вестей.

4

[*Ленинград, лето 1933 г.*][1]

Милый Николай Иванович, оба Ваши письма я получила. Благодарю Вас. Очень хочу в июле-августе при-

ехать в Москву. Будете ли Вы в городе? Сегодня у меня был Вольпе. Книгу и письмо передала. О М. М.[2] плохие вести. Просит хлеба. Николаша[3] не арестован, конечно. Это московские сплетни, но очень настойчиво просит у меня портплед, который он Вам дал. Это, кажется, спешно. Простите. Спасибо за Чулкова и Левшина.[4]

В Москве ли Пильняк, Толстая?[5] Я здорова, как всегда летом. Привет В. Б.[6]

Ваша Ахматова.

Как же у Вас с комнатой?

5

[*Ленинград, 9 августа 1933 г.*][1]

Милый Николай Иванович, В. Ф.[1] Вам расскажет о моих неудачных сборах в Москву. Однако я еще не теряю надежду. Был ли у Вас Лев? Он обещал написать с дороги и я начинаю беспокоиться.

Когда Вы займетесь Вашим здоровьем, пойдете к доктору? Не огорчайте друзей своим упорством.

Куда перевели М. М.?

Бонч предлагает мне продать мой архив.[2]

Напишите несколько слов хоть по почте.

Ахматова.

6

[*Ленинград, 1934 г.*][1]

Спасибо за альбом, он чудный.[2] Когда я Вас теперь увижу, милый Николай Иванович, мне что-то очень скучно стало жить. Совсем не вижу людей, плохо работаю. Что

Москва, после мая я отношусь к ней совсем по-новому. [3] Напишите мне.

Н. Н. купил газетные вырезки о футуризме за 13—15 гг. Вот бы Вам.

Жму руку.

Ахматова.

7

[*Ленинград, 2-я половина 30-х гг.*][1]

Милый Николай Иванович, я у Лидии Михайловны Андриевской [2] (Кирочная 8, кв. 69), где Вы уже были с Люсей. [3] Зайдите туда. Я непременно хочу с Вами попрощаться.

Ахм.

8

[*Ташкент, 12 марта 1942 г.*]

Милый Николай Иванович, спасибо, что не забываете меня. Как Вы могли подумать, что я на Вас сержусь. Если хватит сил — приеду в Алма-Ату повидаться с Вами. [1] Перенести здешнее лето будет очень трудно и Вам и мне.

Я закончила поэму, [2] которая Вам когда-то нравилась. Из Ленинграда вестей нет.

Привет Шкловскому, Зощенке и Лиле Брик.[3]

Пишите.

Ваша Ахматова.

9

[*Ташкент, конец апреля-начало мая 1942 г.*][1]

Милый Николай Иванович, Виктор Борисович[2] расскажет Вам обо мне и моей жизни в Ташкенте.

21 марта через Ташкент в Самарканд проехал с семьей Н. Н. Пунин. Он был в тяжелом состоянии, его было нельзя узнать. Недавно я получила от него письмо.[3]

Милый друг, мне очень трудно — от Вл. Георг. вестей нет.[4]

Пишите мне. Ну и жарко.

Ваша Ахматова.

10

[*Ташкент, 25 мая 1942 г.*]

Мой дорогой друг, вот случай передать Вам несколько слов.

Много думаю о Вас и тревожусь за Вас.

«Не терайте отчаянье», как говорил когда-то наш друг.[1] О себе говорить все труднее. Повидаться бы! Меня зовут в Альма-Ату, но все это так сложно. Вчера получила открытку от Гаршина. Он был психически болен и не писал мне 5 месяцев. Жду вестей от Вас: [...]

Ваша Ахматова.

11

[*Ташкент, 4 июля 1942 г.*]

Мой дорогой друг, письмо, которое привез мне сын Паустовского, глубоко тронуло меня. Благодарю Вас за до-

верие, за светлую дружбу, которая столько лет была моим утешением и радостью.

Сегодня получила письмо от Н. Н. Пунина. Он опять спрашивает Ваш адрес. Из Ленинграда получила несколько телеграмм — две из них от Вл. Геор.

Напишите мне, что Вам лучше, что мы скоро увидимся. И пусть все у Вас будет благополучно.

Ваша Ахматова.

12

[*Ташкент, 10 января 1943 г.*]

Дорогой Николай Иванович, наконец после долгого лежания в больнице — я дома.[1] Благодарю Вас за память и внимание. Как печально, что мы не встретились в Средней Азии. Может быть это случится в Москве.[2] Напишите о себе, не надо терять друг друга в такое время.

Ахматова

13

[*Ташкент, 6 апреля 1943 г.*]

Дорогой друг, Ваша открытка была неожиданной и милой радостью. Но как жаль, что мы не встретились в Азии, где сегодня началась нежная зеленеющая свежая весна.

Живу в смертной тревоге за Ленинград, за Владимира Георгиевича. Болела много и тяжело. Стала совсем седой. Хотела послать Вам с Валерией Сергеев-

ной [1] мою «Поэму без героя», которая выросла и приобрела «Эпилог», [2] но не успела все это переписать. Как-нибудь другой раз.

От Левы телеграмма. Он здоров и поехал в экспедицию. [3]

О возможности моего приезда в Москву поговорите с Вал. Серг.

Второе лето в Ташкенте я едва ли вынесу.

Получаю изредка письма от Ник. Ник. (адрес его: Самарканд, Октябрьская, 43. В. Академия Художеств.).

Передайте мой привет и благодарность Крученыху.

Видаетесь ли с Бриками? И вообще как все происходит? И как давно я не видела Вас. Страшно подумать, что листья на деревьях, которые я застала в Ташкенте, выросли еще до войны, а теперь кажется — это было в прошлом существовании: Марьина Роща [4] и мои приезды в Москву и проводы на вокзале.

Напишите мне, мой дорогой друг. Я Вас всегда помню.

Ваша Ахматова.

14

[*Ташкент, 14 апреля 1943 г.*]

Милый Николай Иванович, посылаю Вам «Поэму без героя» и несколько стихотворений. Есть ли возможность переправить и лично передать все это Вл. Георг. Гаршину (Л-д 22, часть 053). Он работает в больнице Эрисмана, живет на улице Рентгена 3.

Ждем с Надюшей вестей от Вас. Не забывайте. Вчера выступала на вечере Маяковского.

Привет.

Ахматова.

15

[Ташкент, 2 июня 1943 г.]

Совсем Вы меня забыли, Николай Иванович. А теперь все разлетаются из Ташкента и я шучу: «Фирса забыли, человека забыли!» – но шутка выходит кислая.

Что Москва? Что Брики? Что додельщик Крученых? [1]

Отсюда всюду далеко – написала я в одном письме, а выехать невозможно.

У меня новый дом просторный, уединенный, пустынный. Я еще никогда не жила в таком пустынном доме, хотя руины и пустыри — моя специальность, как Вы знаете.

Получили ли Вы мою поэму и письма, которые везла Вам В. С. Познанская?

Если Вам трудно писать — пришлите телеграмму. Очень скучно так долго ничего не знать о Вас.

Ах да, сейчас мне приходит в голову послать Вам мою книгу, которая вышла здесь. [2] По-моему ее главная (и единственная) прелесть заключается в том, что на ней нигде не означено место ее выхода. От этого у нее такой уютный вороватый вид. Зелинского я называю: Составитель меня (ради Бога — это между нами) и Надя говорит, что это не моя острота, а Осипа. Может — быть! Живу я над Надей — сейчас она у брата. Надя стала очень добрая и светлая — жалеет людей и безмерно кротка со мной. Левка уехал в тайгу, от него была телеграмма из Новосибирска. Вероятно экспедиция продолжится несколько месяцев. Владимир Георгиевич в Ленинграде. Он работает с $7\frac{1}{2}$ ч. утра до 11 ч. в. без выходных дней. Во время обстрелов и бомбежек читает лекции и делает вскрытия и вообще представляет из себя то, что принято называть скромным

словом — герой. Тем не менее меня все неотступно спрашивают: «Почему ваш муж не может устроиться?» Или: «Разве ему не полагается отдых?» и так без конца.

Напишите о себе. *Мой адрес:* Жуковская ул. 54. Жму Вашу руку.

Ваша Ахматова.

16

[*Ташкент, 20 июня 1943 г.*]

Милый Николай Иванович,

Наш (т. е. Надин и мой) друг Наталия Александровна Вишневская [1] передаст Вам это письмо и расскажет о нас все, что Вам будет интересно узнать.

Я опять хвораю — нет сил подняться, а быть в Москве нужно и хочется.

В мае я послала Вам несколько писем с Познанской, Ася [2] отвезла Вам мою книгу. Вероятно Вы молчите, потомучто ждете моего приезда.

Сейчас узнала римские новости.[3] Каково?

Хочется (как всегда) сказать Вам много замечательных вещей, но меня торопят, или я сама тороплюсь.

Все-таки увидимся.

Привет Москве.

Ваша Ахматова.

У нас температура 41°.

17

[*Ташкент, начало июля 1943 г.*]

Милый Николай Иванович, благодарю Вас за телеграммы и Ваши хлопоты обо мне.

Сейчас еще все неясно. Как только что-нибудь выяс-

нится — пошлю телеграмму. Завтра эта открытка полетит к Вам.

Привет от Нади.

А.

18

[*Ташкент, 27 сентября 1943 г.*]

Дорогой Николай Иванович, что-то я стала беспокоиться о Вас. Здоровы ли Вы? — как Ваши дела, работа, настроение?

Сегодня получила хорошую телеграмму от Левы. Экспедиция, в которой он участвовал, закончилась и он едет обратно в Норильск. Из Ленинграда мне пишут много и часто. В Самарканде умерла Анна Евгеньевна Пунина. [1] Ее смерть очень поразила меня. Привет Москве. Напишите мне.

Ваша Ахматова.

[приписка] Пастернак написал мне пенное восхительное письмо с потрясающим анализом поэмы.
[приписка] Умерла мама Надюши. [2]

19

[*Ташкент, 14 декабря 1943 г.*]

Дорогой Николай Иванович, как видите я обрела в Средней Азии способность отвечать на письма. Относительно моего отъезда я высказалась эпиграмматически.

«Неуважительна причина,
Вам надлежало быть в пути».
«Да я уехала почти,
Но задержала . . . скарлатина».

Это я позавидовала лаврам Крученыха, которому прошу передать мой привет.

Благодарю Вас за письмо. Грустно, что для Вас квартирный вопрос не теряет остроты. Надюша больна, конечно, ей надо отсюда уехать.

До свидания.

Ваша Ахм.

20

[*Ленинград, сентябрь 1950 г.*][1]

Милый Николай Иванович, узнала у Ник. Мих.[2] где Вы и умоляю сейчас прийти.

Сегодня звонили из «Огонька», надо изменить один стих.[3] Хочу Вашего совета. Жду.

Ахматова.

21

[*Москва, 2 мая 1964 г.*]

Николай Иванович, просмотрите это.[1] Куда поместить Ваш текст, не на 6-ю ли страницу?[2]

Моди[льяни][3] везет Александр Павлович Нилин. Иначе мы с Вами никогда бы не собрались — я ему

бесконечно благодарна. Взгляните на рисунок и отдайте ему. Спасибо и с наступающим!

Анна Ахматова.

Помните, как мы с Вами в этот день бродили по Ордынке и слушали Пасхальный звон.

[. . .]

А.

22

[*Комарово, 1965 г.*][1]

Милый Николай Иванович, Ваш почитатель (Вы видели его у меня, когда приехала дочка Шагала) и мой соавтор по переводу Леопарди[2] передаст Вам эту записку. Дайте ему то, что Вы написали о рисунке Модильяни и он расскажет Вам обо мне.

Я — в Будке[3] — лета вовсе не было и я совсем одичала.

Скучно так долго ничего не знать о Вас.

Ахматова.

К С. ВЕЙНБЕРГУ

1

Многоуважаемый господин Вейнберг!

Все, кому я показывала Ваши переводы, находят их превосходными. Я сама занимаюсь этим делом и знаю, что это такое.

Вам удалось сохранить все вплоть до моего дыхания, отношение к слову бережное, смысл передан до конца. Мои стихи еще никогда не звучали так ни на

одном языке. Если у Вас есть еще переводы моих стихов, пожалуйста пришлите их мне.

Благодарю Вас

Анна Ахматова

22 дек. 1962
Москва.

2

Простите меня, милый доктор, за мое бесконечное молчание. Причин у меня слишком много, чтобы их перечислять.

Была рада получить Ваши переводы — они мне понравились.

Всего Вам хорошего

Анна Ахматова

17 янв. 1965
Ленинград.

К ЖОРЖУ НИВА

Господин Нива!

Надеюсь в ближайшее время подробно и убедительно написать Вам по поводу сделанного Вами перевода очерка С. К. Маковского.

Этот очерк содержит бесчисленное количество ошибок, которые надо приписать возрасту писавшего, и его дурным источникам.

Все, что сделали Вы, — прекрасно. Переводы стихов очень бережны и точны.

Я благодарю Вас

Анна Ахматова

7 июня 1963 — Москва.

К ВИКТОРУ АНДРЕЕВИЧУ ГОРЕНКО

1

Милый Виктор,

чувствую себя очень виноватой перед тобой. Я своевременно получила твою фотографию, за которую я тебя благодарю, и чудесные нейлоновые чулки. Но мои постоянные переезды из Москвы в Ленинград и из Ленинграда в Москву, а еще больше тяжелая сердечная болезнь и длительное пребывание в больнице — у меня было уже три инфаркта — нарушают нормальное течение моей жизни. О себе мне почти нечего тебе сообщить. Я немного перевожу, в настоящее время — румын, и занимаюсь Пушкиным.

Еще раз благодарю тебя, что не забыл сестру.

Твоя Аня

Все лето буду у себя на даче в Комарове с Ханной. Целую тебя.

7 июня 1963
Москва

2

Милый Виктор,

Как мне было приятно получить Твое доброе письмо. Благодарю также за предложение посылок. Но, дорогой брат, это не нужно. Я на такой жестокой диете, что посылать мне что-нибудь съедобное бесполезно. Что ж касается одежды, она мне ни к чему: того, что у меня есть, хватит, вероятно, до конца.

Передать Твой привет Леве не могу — он не был у меня уже два года, но по слухам защитил докторскую диссертацию, и успешно ведет научную работу.

Если выйдет сборник моих стихов, я, конечно, с удовольствием пошлю их Тебе, и, разумеется, с надписью. Сборник 1961 года какие-то сумасшедшие раскупили в несколько минут, и у меня даже нет экземпляра.

Будь здоров.

Крепко Тебя целую

Твоя сестра Анна

20-е июля 1963 г.

3

Милый Виктор,

посылаю Тебе мою последнюю фотографию. Многие считают ее самой удачной. Мне пришло в голову, что я все же могу исполнить Твою просьбу о подписи на стихотворном сборнике.

В этот конверт я вкладываю эту надпись, а Ты купи мою книгу стихотворений и наклей на титульный лист мою надпись.

Будь здоров.

Целую тебя.

Твоя Анна

15 сентября 1963 г.

4

1 декабря 1964,
Москва.

Милый Виктор,

случилось так, что я потеряла твой адрес и вовремя не ответила тебе и не поблагодарила за твой великолеп-

ный подарок — черное кимоно. Я ношу его с особым удовольствием. Сегодня еду в Рим и на Сицилию, где мне вручат премию за стихи. Командировка всего 10 дней. Я, конечно, в большой тревоге, — выдержит ли мое здоровье. Посылаю тебе мою последнюю фотографию — она лучше всех остальных. Передай мой привет твоей жене. Целую тебя.

Всегда твоя Аня

5

WESTERN UNION. Telegramm. NPC148 (33) BI426
1431 Madison Ave ID London LB Via ITT 10 1055
Victor Gorenko care Lis Olheunky (TA3—5642 Apt)
3299 Radiodrive Bronx N.Y.
Stayng one week Hotel President Russell Square London can cable or call me terminus 8844
Sister Anna

6

Милый Виктор!

Сегодня мне принесли три мои молодые фотографии (из хороших). Мне хочется, чтоб они были у тебя, посылаю тебе их.

Лето прошло неважно, из-за плохой погоды я почти не гуляла и как-то ослабла.

Когда вернусь в город, напишу подробней.

Не забывай сестру. Будь, главное, здоров. Привет моей милой belle-soeur.

Твоя Аня

К Л. К. ЧУКОВСКОЙ

1

На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.

Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит. *

Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.

Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.

Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас — я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, – но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.

Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается — много садов и парков, под конец чуточку лучше,

---

* Так было уже один (а м. б. и не один) раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов, тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в честь ее топтала всё кругом (всп. Гаспра, 1929). Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена. (А х м.)

но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее *самому* констатировать «полное падение» (chute complète) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).

Между прочим (хотя это уже другая тема) я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть и т. д.

Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту — людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей — рифмованные строки вызывают скуку.

Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК'а), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже м. б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то, главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политически). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор — новатор par excellence. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие. обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна испуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в литературной обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со

мною расправиться, что не без грации делает, напр., в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.

Вот, примерно, все, что я хотела Вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем, Вам они едва ли интересны.

1960, 22 января—29 февраля,
Ленинград—Москва.

2

... Струве [1] не подозревает, что после вечера Русского Современника в Москве в 1925 г. было первое постановление. Даже упоминание моего имени (без ругани) — было запрещено. Оно выброшено из всех перечислений — оно просто не существует. Г-ну Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла, он, якобы занимались моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать: «Ее звезда закатилась», и бормочет что-то о новом рождении в 1940 г. Но почему же тогда «Четки» и «Белая стая», которые переписывали от руки и искали у букинистов, не находили себе издателя? Просто оттого, что книги находились в index librorum prohibitorum.

Двухтомник Гессена («Петроград», 1928) был запрещен [...]. Систематическая ругань (о которой г-н Струве умалчивает) началась примерно с Лелевича («На посту»). «Мы не можем сочувствовать женщине, кото-

рая не знала, когда ей умереть», — писал Перцов, и это самая приличная фраза из его статьи («Жизнь искусства», 1925). (Позднее [1946] про Сергиевского в Москве говорили: «Он себе из Ахматовой шубу сшил», как про дачу Плотника: «На ваших костях стоит»). Когда Осинский и Коллонтай попытались пикнуть, их немедленно усмирили. Простые смертные не смели рот открыть. (Книга Виноградова шла как научная, «Образ Ахматовой» — как рукопись.) Очень мило звучат критические статьи того времени. Например: «Критика и контрреволюция». Можно еще заглянуть в тогдашнюю «Литературную энциклопедию» (?!).

Всем этим [. . .]г-н Струве пренебрегает. Он говорит о тяжко больной (находит даже туберкулез брюшины) женщине, которая чуть не каждый день читала о себе оскорбительные и уничтожающие отзывы и, если бы не поддержка верного читателя, вероятно так или иначе погибла. Это были годы голода и самой черной нищеты. То странное «пособие», которое я получала, я делила между мамой и Левой и жила на несколько рублей в месяц. Это тогда знали все, знают и теперь.

Затем, как может не прийти в голову г-ну Струве, что в то время я писала нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать т. н. «Друзьям»? (Таков был «Реквием».) Вот несколько таких стихотворений *:
«Не мудрено, что похоронным звоном» («Лит. газ.»)
Александрийские стихи («О лучше б ястребом», 20-е годы)
«Зачем вы отравили воду» (1935)
Эпиграммы (20-е годы)
«Пива светлого наварено» (1922)
«Не столицею европейской» (30-е годы)
«Привольем пахнет дикий мед» ** (30-е годы)
Последний тост (1934)
Русский Трианон (сгорел)

«И ты мне все простишь» (20-е годы)
Морозова (30-е годы)
Черепки (30-е годы)
Подражание армянскому
Стеклянный звонок
«И неоплаканною тенью» (20-е годы)
«На стеклах нарастает лед» (30-е годы)
«Что войны, что чума» (Лит. газ.»)
«В том доме было очень страшно жить» (20-е годы)
(полузабыла)
Стансы
Подвал памяти
Застольная

Итого [. . .] при беглом больничном [. . .]

Этот первый том производит впечатление последней корректуры, над которой еще надо серьезно поработать: перепутаны даты, развалилась целая поэма («Путем . . .»), нет цикла («Новоселье»), [. . .], все в чудовищных опечатках, никуда не годится расположение стихов.

1. «Закат»

2. «Одна звезда» (стр. 284)

не признаю своими.

Замеченные опечатки

1. В эпиграфе к «Дидоне»

2. В стихотворении «Зов» (стр. 330). Пропущена строка.

3. «Я не была здесь лет семьсот» — нет первой строфы.

4. «Если плещется» — неверная дата, 1940 вместо *1928* (1 декабря).

5. В стихах к Марине — не Мариинской башни, а *Маринкиной*.

6. Мелхола, оказывается — *не* хочет Давида.

7. «Нам встречи нет» — посвящени О. А. Г.-С., которого нигде нет.

8. Безобразно напечатано стихотворение «Угадаешь ты ее не сразу».

Если бы Струве дождался выхода «Бега», а не печатал куски из разных журналов, он понял бы, что существует маленькая поэма 1940 г. «Путем всея земли», что «Шаг времени» — случайное т. н. редакторское заглавие и к «Предыстории» никакого отношения не имеет, стихотворение «Зов» могло бы быть не изуродовано до бессмыслицы, по крайней мере 11 стихотворений не были бы забыты («Последний тост» 1934, [. . .], «А человек, который для меня», «И это будет для людей» 1964, последнее стихотворение «Полночных стихов» 1965, «Вместо посвящения» в «Шиповник цветет», «Важно с девочками простились», «Ты пьян, и все равно . . .» из «Новоселья» . . .). Все это довольно существенно. [. . .]. Пропущено и последнее стихотворение цикла «Новоселье» «Как будто страшной песенки» («Встреча»). Кроме того, пропущена моя ташкентская «Смерть»: «А я уже стою на подступах . . .» и «Я была на краю чего-то»; а главное и самое непростительное — нету «Всем обещаньям вопреки». [. . .] «Я голос Ваш» («Многим») — было напечатано в журнальчике «Свирель Пана» — отсутствует. «И мы забыли навсегда» *, «Видел я тот венец златокованный» были в некоторых экземплярах Anno Domini (Берлин) — тоже нет. Все это узловые вещи.

---

* И мы забыли навсегда» — самое настоящее предсказание.

Итак, при двух неизвестно чьих стихотворениях («Закат» и «Одна звезда . . .») не хватает 11-ти проверенных и одобренных автором стихотворений, всунуты стихи из старых журналов, отвергнутые автором для книг, из цикла «Новоселье» выпало заглавие и два стихотворения (второе и четвертое). «Полночные стихи» испорчены тем, что произошло с «Зовом» (выпала строка). Не надо было печатать и кусок «Поэмы без Героя», раз она вся идет во II томе. Что сделано с «Путем всея земли» — «неприятно и речь затевать», как говорил Некрасов. Еще неприятнее писать о Предисловии. С этого я начинаю мою критику и не буду повторяться.

(январь-февраль 1966 года. Боткинская больница)

К А. И. ГУМИЛЕВОЙ

[Ноябрь 1917]

Милая Мама,
только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее письмо. На сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо? Целую тебя и Леву.

Твоя Аня

К Г. И. ЧУЛКОВУ

15 марта 1930 г.

Милый Георгий Иванович,
благодарю Вас за хлопоты. Мне очень стыдно, что Вам приходится возиться с моими делами. Я ничего не могла найти из того, что нужно Вам послать. Знаю, что мои стихи были переведены на английский (отдельная книга, пер [евод] Дадингтон), немецкий, французский польский, японский, библейский (древнееврейский), украинский языки.

Нас выселяют из квартиры, потому что дом передается какому-то учреждению. Целую Надежду Григорьевну и крепко жму Вашу руку.

Ахматова

К В. Г. ГАРШИНУ

2 октября 1941 г. Москва

Я благополучно приехала в Москву. Куда поеду дальше — не знаю. Чистополь, по-видимому, отпадает.

Я здорова. Очень бы хотелось узнать хоть что-нибудь о Вас. Привет.

А.

К В. А. СУТУГИНОЙ

1

2 августа 1945. Ленинград

Дорогая Вера Александровна,

Ваша открытка с нашим домом пристыдила меня. Поверьте, что Ваша память обо мне и любезность Крачковского, который сам завез письмо, безмерно тронуло меня. В Ташкенте я довольно часто встречала Ал. Н. Тихонова который стал писать необычайно интересные мемуары. Я живу совсем одна и всё в той же комнате. За окном сад и нежное ленинградское небо. Целую Вас.

Ваша Ахматова

2

30 сентября 1963 г.

Примите мои нежнейшие поздравления и пожелания, наша чудесная Вива. Ваша Ахматова.

3

29 августа 1965. Комарово

Дорогая Вива!

Конечно, очень грустно, что мы так редко видимся. Но это происходит главным образом оттого, что мы обе часто плохо себя чувствуем.

Когда буду в городе, непременно позвоню Вам. И Вы звоните. Клянусь что больше не буду требовать от Вас мемуаров.

На днях выйдет моя книга «Бег времени», сберегу экземпляр для Вас. Целую Вас.

Ваша Ахматова



Силуэт работы Елизаветы Кругликовой



1910-е годы. Собрание Михаила Балцвиника (1931-1980)



Н. В. Недоброво



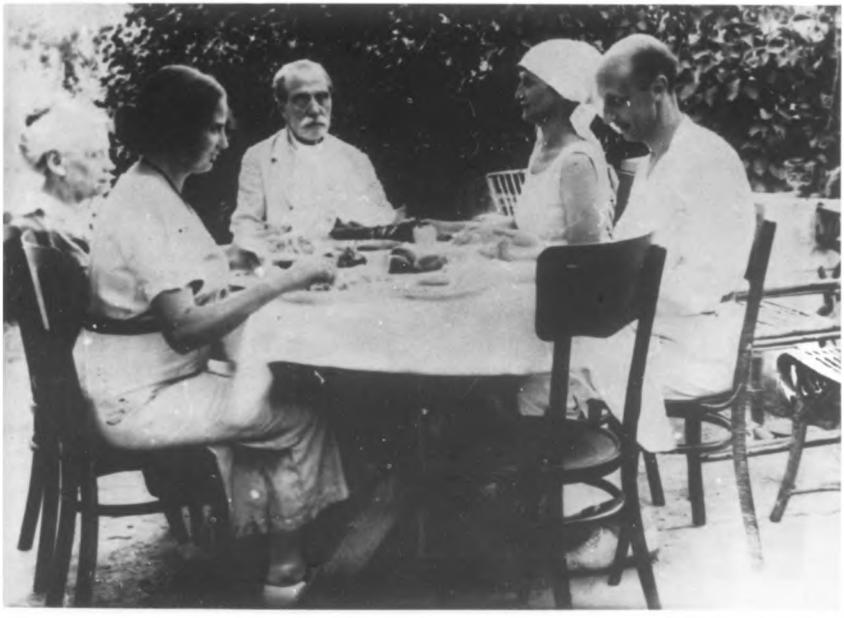
Ленинград, 1920-е годы
(Собрание Михаила Балцвиника)



1920-е годы (Собрание Михаила Балцвиника)



Во дворе Фонтанного Дома, 1920-е годы
(Собрание Михаила Балцвиника)



У Шервинских, Старки (под Каломной), 1930-е годы
(Собрание Михаила Балцвиника)



Белая ночь. Ленинград, 1939-1940 (вариант)
Худ. Александр Осмеркин (собр. М. Балцвиника)



1950-е годы



Анна Ахматова, Надежда Мандельштам, Эмма Герштейн,
1950-е годы



Похороны на кладбище в Комарове — 10 марта 1966

ПРИЛОЖЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ А. А. АХМАТОВОЙ

I. АХМАТОВА И Н. В. НЕДОБРОВО

1

«Милой Вере — лучшее, что написано о молодой Ахматовой»: такую надпись А. А. Ахматова сделала на машинописной копии статьи Н. В. Недоброво о ней, даря эту копию одной своей знакомой пятьдесят лет спустя после написания статьи — 21 ноября 1964 г.

А летом 1965 года, в Париже, в беседе с Н. А. Струве (см. в нашем втором томе «Восемь часов с Анной Ахматовой»), она о той же статье сказала, противопоставляя ее напечатанной в *Новом Мире* заметке о ее поэзии А. Синявского: «Он [Синявский] знал всю мою поэзию, но так и не понял, а вот Н. В. Недоброво знал только первые мои две книжки, а понял меня насквозь, ответил заранее всем моим критикам, до Жданова включительно. Его статья, напечатанная в одной из книжек *Русской Мысли* за 1915 год, лучшее, что обо мне было написано...»

Этот дважды высказанный отзыв о статье Недоброво в превосходной степени достаточен для того, чтобы привлечь внимание к никогда не воспроизводившейся, забытой и сейчас многим недоступной статье, и мы поэтому включаем ее в приложение к настоящему тому. (Статья Недоброво имеется теперь в английском переводе в американском журнале *Russian Literature Triquarterly*, No. 9, Spring 1974, pp. 221—236.)

Статья Недоброво была напечатана в июльской книге *Русской Мысли* за 1915 год, с двумя примечаниями: одним редакционным — о том, что статья была сдана в редакцию в

апреле 1914 года и напечатание ее было задержано преимуществом, которое давалось статьям, связанным с войною; и другим — авторским: о том, что приводимые в статье выдержки из «Четок» были сверены с вышедшим в мае 1915 г. вторым изданием. Таким образом, статья пролежала в редакции больше года, хотя редактор журнала, П. Б. Струве, очень ценил сотрудничество Н. В. Недоброво (а по словам Ахматовой в разговоре с Н. А. Струве она даже была «заказана» ему П. Б. Струве, но в этом позволительно усомниться: инициатива статьи почти наверняка принадлежала самому Н. В.).

Автор статьи, Николай Владимирович Недоброво (1882—1919), был не только автором «лучшего, что было написано о молодой Ахматовой» — его с ней связывали близкие личные отношения, и он сыграл в ее жизни довольно большую роль.

Сейчас незаслуженно почти забытый, он перед первой мировой войной и в годы самой войны занимал довольно видное место в литературной жизни Петербурга. Он был известен и как поэт, и как литературный критик, и как теоретик стиха. Правда, стихов своих ему так и не удалось собрать, и они остались разбросанными по тогдашним повременным изданиям (главным образом в *Русской Мысли* и в *Северных Записках).* А литературно-критическая продукция его невелика: кроме статьи об Ахматовой — интересная статья о Фете под названием «Времеборец (Фет)» в *Вестнике Европы* за 1910 год; статья о В. И. Туманском в *Известиях Отделения Языка и Литературы Академии Наук;* статья о ритме и метре в *Трудах и Днях* Андрея Белого (1912); и несколько рецензий — вот как будто и все, если не считать нескольких неподписанных заметок в *Аполлоне,* в отношении которых авторство Недоброво весьма вероятно. В письмах Недоброво к его другу Б. В. Анрепу, о которых будет сказано ниже, есть еще указание на прозаическое произведение — повесть «Душа в маске» — и на предстоящее появление его в печати, но нам пока не удалось установить, было ли оно опубликовано и, если да, то где (в «Северных Записках» между 1913 и 1917 гг. его не было). Самое крупное литературное произведение Недоброво — трагедия в стихах «Юдифь», на библейскую тему, написанная еще в 1912—13 г., — появилось в печати уже посмертно,

в 1923 г., в зарубежной *Русской Мысли*, редакция которой получила рукопись от вдовы писателя (вероятно, через Ю. Л. Сазонову-Слонимскую). [1]

Н. В. Недоброво вырос и окончил гимназию в Харькове. По окончании гимназии он переехал в Петербург — учиться на историко-филологическом факультете университета. Окончив университет, поступил на службу в канцелярию Государственной Думы, где его сослуживцем был другой ныне забытый поэт той эпохи, Александр Кондратьев. В конце 1916 г. Недоброво с женой уехал на Кавказ. Обострение долголетней болезни, туберкулеза почек, вынудило его остаться там и после Февральской революции. Он жил сначала в Сочи, а потом в Красной Поляне, в Черноморской губернии. В 1919 г., после занятия Северного Кавказа большевиками, Недоброво переехали в Крым, где Н. В. и скончался 5 декабря 1919 г. (в Ялте).

Ко времени написания статьи об Ахматовой Недоброво был уже довольно давно знаком с нею лично. Знакомство это быстро перешло в близкую и даже интимную дружбу. В «Белой стае», третьем сборнике стихов Ахматовой, вышедшем в начале 1917 года и включавшем стихи главным образом 1914—16 гг., четыре стихотворения были посвящены Недоброво. Правда, в первых изданиях посвящения эти не были Ахматовой обозначены: они появились — в форме инициалов «Н. В. Н.» — только в четвертом, дополненном, издании сборника, вышедшем уже после смерти Недоброво (оно было напечатано в Берлине, но помечено «Петербург 1923»). Среди этих четырех стихотворений самое раннее («Целый год ты со мной неразлучен...») было помечено 1914 годом; но в более поздних сборниках («Из шести книг», 1940; «Стихотворения», 1961; и «Бег времени», 1965) эта дата была почему-то изменена Ахматовой на 1915: «неразлучность» их в самом деле могла начаться в 1914 г., а 1915 год — это уже начало конца их близости.

Другие стихотворения, которые Ахматова снабдила посвящениями Недоброво, относятся к 1915 и 1916 гг. Это — «Есть в близости людей заветная черта...» (весна 1915), «Все мне видится Павловск холмистый...» (1915) и «Царскосельская статуя» (осень 1916). Для последнего стихотворения, наиболее из всех безличного, Ахматова в сборнике

«Из шести книг» раскрыла инициалы, дав полностью имя Недоброво.

Об отношениях Ахматовой с Недоброво письменных, а тем более печатных, свидетельств немного. В «Указателе личных архивных фондов в государственных хранилищах СССР» (т. II: *Н—Я;* М., 1963) значатся под именем Недоброво семь единиц хранения за годы 1904—1914 в ЦГАЛИ и 81 единица хранения за годы 1887—1917 в Пушкинском Доме. Среди этих материалов могут быть и письма Н. В. и письма к нему. В Государственной Публичной Библиотеке с 1967 г. находятся на хранении принесенные ей в дар В. А. Знаменской-Щербачевой — той самой «Верой», которой Ахматова подарила машинопись статьи Недоброво о себе — 20 писем Н. В. Недоброво и 11 писем его жены. Фотокопии этих писем и некоторых других материалов, относящихся к Недоброво (в том числе повесток заседаний Общества Поэтов, основанного Недоброво совместно с Е. Г. Лисенковым в 1913 г., а также несколько фотографий: самого Недоброво, его жены и самой В. А. Знаменской) были присланы Знаменской ближайшему другу Недоброво, Борису Васильевичу Анрепу, жившему в Лондоне, и по просьбе самой Знаменской пересланы им мне — так же, как и 24 письма, полученные им от Знаменской между февралем 1967 и октябрем 1968 г.[2] В сентябре 1968 г. Анреп связал меня эпистолярно с В. А. Знаменской, и я получил от нее три письма. В моих руках имеются также 30 писем Н. В. Недоброво к Б. В. Анрепу за годы 1910—1914 (последнее письмо датировано 12 мая 1914 г.). Они были подарены мне Анрепом вскоре после второй мировой войны, вместе с альбомом собственноручно записанных стихотворений Недоброво.

Б. В. Анреп и Н. В. Недоброво познакомились, когда они оба были учениками 6-го класса 3-й гимназии в Харькове, в которую Анреп перевелся в 1899 г., когда отец его был назначен попечителем Харьковского учебного округа. До того времени Анреп учился в Петербурге. Вот что он рассказал о своем знакомстве с Недоброво в написанных им по моему настоянию воспоминаниях о их дружбе (он давно обещал мне сделать это, но записал свои воспоминания только в 1969 г., уже незадолго до смерти):

> Мне было 16 лет. Из петербургской гимназии я был переведен в шестой класс 3-й харьковской гимназии на Кокошкинской улице [...] Класс был многочислен-

ный, и инспектор посадил меня в передний ряд парт, что считалось привилегией. Парты были на двух учеников каждая, и рядом со мной был посажен некий хорошо воспитанный фон-дер-Лауниц, сын местного предводителя дворянства, очень милый, но не очень преданный школьным занятиям, будущий офицер, славно погибший в первую мировую войну.

Ученики смотрели на меня с интересом, отчасти потому, что я был новичком из столичного Петербурга, а также потому, что я был сыном попечителя. Это любопытство было мне неприятно и заставило меня замкнуться — тем более, что компания была весьма разношерстная.

Шел урок истории, — пережевывание освобождения Греции. Меня мало занимало то, что говорил учитель, и я был занят более интересным делом: читал под партой "Prometheus Unbound" Shelley. Я увлекался тогда этим английским поэтом и рассчитывал, что учитель, который стоял в проходе между партами у задней стены, не заметит моего «преступления». Вдруг я услышал:

— Анреп, назовите греческого национального героя, который сыграл большую роль в освобождении Греции.

Я встал, отупев, но смутно вспомнил знаменитое имя.

— Падокордия! — объявил я громко и уверенно. Общий хохот в классе встретил мое заявление. Учитель нахмурился:

— Рекомендую вам слушать меня более внимательно. Недоброво, может быть, вы ответите на мой вопрос?

Изящный ученик с последней парты первого ряда встал, улыбаясь:

— Каподистрия — он сыграл большую роль во время восстания греков против турок. Родился на Корфу в 1776 году, был некоторое время диктатором возрожденной Греции, но был убит политическими врагами в 1831 году.

— Прекрасно, — сказал учитель. — Я вам ставлю пятерку.

Урок кончился. Ученики бросились к выходу из

класса. Сконфуженный, я остался на своем месте и вынул английскую книгу из-под парты. Недоброво подошел ко мне, приятно улыбаясь.

— Да вы гений, вы нас всех развеселили.

Я вспыхнул.

— Вы читали, я вижу, английскую книгу. Позвольте познакомиться.

— Я не слушал, я читал Шелли. «Падокордия», — лучшее, что я мог придумать.

— Это было великолепно! Я тоже люблю Шелли, но не знаю английского языка, читаю в переводах. Пойдемте завтракать.

Старушка в коридоре сидела за прилавком и продавала чай, бутерброды, паюсную икру, пирожки с мясом и капустой. Мы разговорились.

— Зачем вы приехали в Харьков? Я только и мечтаю перебраться в Петербург. Я должен был бы быть в седьмом классе, но потерял целый год, заболев воспалением мозга, и доктора запретили мне всякие умственные занятия. Вел растительный образ жизни. Теперь воскрес.

Разговор перешел на литературные темы. За все время нашего знакомства и последующей дружбы это был наш главный предмет разговоров. Недоброво меня сразу прельстил и своим изящным видом, и прекрасными манерами, и высоким образованием. Он заставлял меня задумываться и высказываться о вещах, о которых я раньше и не думал. Со своей стороны, он любил анализировать и свои чувства, и поэзию, и философию, а если критиковал мои взгляды, то делал это всегда очень деликатно, и очень умело заставлял меня принимать свои логические заключения и взгляды, ждал наших встреч, и каждая являлась для меня событием.

В первый же день нашего знакомства Недоброво ждал меня при выходе из гимназии.

— Нам по дороге, пойдемте вместе.

Мой сосед в классе, Лауниц, сказал мне, что Недоброво считает себя головой выше всех товарищей и мало с кем говорит. Он на это имел полное право. Он недостаточно знал иностранные языки, но иностранная литература была ему хорошо знакома, и он

поражал меня своими острыми замечаниями об известных писателях. Я чувствовал, что я не на его высоте, и старался не ударить лицом в грязь. Я стал искать его дружбы, и мне льстило, когда я почувствовал, что и он ищет моей. Мы становились неразлучны. Обыкновенно он провожал меня до дому.

— До завтра, Борис Васильевич.

— До завтра, Николай Владимирович.

Мы были всегда на «вы» и на «имя-отчество».

Вышло так, что в результате наговоров одной университетской дамы мать Анрепа не захотела, чтобы Недоброво бывал у них в доме («мать Недоброво живет, сдавая комнаты постояльцам, а кажется, отец Недоброво — уездный полицейский чиновник или что-то вроде того — с женой, говорят, не живет. А сестра Недоброво, очень красивая женщина, живет где-то актрисой, а вы знаете, Прасковья Михайловна, что это значит: актриса!»). Анреп прибавляет, что о своей семье Недоброво никогда ему не говорил, но все эти сплетни казались ему вздором и только вызывали в нем сочувствие. Только раз как-то, когда разговор зашел о древней России, Недоброво сказал, что его предок, боярин Недоброво, был казнен Иоанном Грозным, а опричники разграбили его имение и их род после того обеднел [3]. Во всяком случае в Харькове все встречи между Анрепом и Недоброво происходили либо в гимназии, либо на улицах. Позже, в Петербурге, ситуация совершенно изменилась.

Анреп и Недоброво проучились вместе в 6-м и 7-м классах. После этого родители услали Анрепа в Англию (по-видимому, на один год). В Харьков он уже не вернулся, так как отец его был назначен попечителем Петербургского учебного округа, и семья опять переехала в Петербург. В 1902 г., то есть, очевидно, сразу по возвращении в Россию, Анреп поступил в Императорское Училище Правоведения. Недоброво он, по его словам, до того потерял из виду, получая от него только редкие письма (письма эти у него не сохранились; возможно, что они хранятся либо в фонде Недоброво в ЦГАЛИ или в Пушкинском Доме, либо в семейном фонде фон Анрепов — приставкой «фон» пользовался еще отец Б. В., сам Б. В. ее отбросил — в ЦГАЛИ). Тогда же, когда Анреп поступил в Правоведение, он получил письмо от Недоброво, что тот приезжает в Петербург и поступает в университет. Недоброво стал бывать у Анре-

пов в доме почти каждую неделю. Вел он себя безукоризненно, целовал матери Анрепа ручку, поддерживал светский разговор. Отец Анрепа прислушивался к его мнениям, заинтересовался им, и между ними завязались беседы на политические и академические темы. Анреп пишет:

> Я обратил внимание, что Недоброво с большим вниманием выслушивает отца, часто не соглашается с ним, но высказывается крайне вежливо, не сдавая, однако, своих позиций. Отец был октябрист, Недоброво — кадет. Он мечтал о конституции наподобие английской; он также думал, что федеративное русское государство, ввиду разнообразия национальностей, входящих в состав России, явится логической необходимостью в будущем.

То, что Анреп говорит здесь о разговорах между его отцом и Недоброво, относится, очевидно, к более позднему времени: между 1902 и 1905 гг. ни кадетов, ни октябристов еще не существовало. Но именно отец Анрепа, который в 1907 г. стал членом III Государственной Думы и примкнул к фракции октябристов, рекомендовал Недоброво в канцелярию Думы. Сделал он это несмотря на расхождение в политических взглядах.

Между Б. В. Анрепом и Недоброво, когда после обеда они удалялись в комнату Б. В., разговоры шли совершенно иного рода — «о Тютчеве, о Фете, об Анненском, о Блоке, о других русских поэтах, а также о Бодлэре и Верлене, которые сильно вдохновляли нас». И Б. В. и Н. В. оба в то время писали стихи. По словам Анрепа, Недоброво к большинству молодых поэтов был очень строг и не стремился входить в личные отношения с ними, вследствие чего «многие считали его снобом и чуждались его». Анреп говорит также, что он особенно ценил и личность и литературное творчество Вячеслава Иванова, а тот «со своей стороны высоко ставил ум, критические статьи и литературную требовательность Н. В., часто виделся с ним, и между ними возникли теплые дружеские отношения». Здесь Анреп опять несколько упреждал события: сближение между Недоброво и Вячеславом Ивановым относится к более позднему времени, когда сам Анреп уже жил за границей. Из поэтов более близких к нему по возрасту Недоброво дружил с Ю. Н. Верховским (1878—1956) и А. Д. Скалдиным, (1885—1943) и одно время с гр. В. А. Комаровским (1881—

1914). Ю. Л. Сазонова тоже упоминает, что Вячеслав Иванов ценил и любил Недоброво. По ее словам, то же относилось и к Андрею Белому.

В дальнейшие годы учения Анреп и Недоброво встречались реже — оба были слишком заняты. Рассказывая об этом периоде, Анреп пишет:

> Несмотря на свое холодное отношение ко многим коллегам и товарищам, Н. В. искал людей интересных и, очевидно, нашел нескольких, которые его привлекли и с которыми он любил встречаться. Может быть потому, что он провел свои ранние годы в провинции, петербургское общество привлекало его также своим лоском, но, конечно, он избегал поверхностных людей, и интеллигентность и оригинальность были, вероятно, качествами, которые он ценил больше всего. Была и другая и весьма привлекательная сторона в его характере: он был прекрасным фигурным конькобежцем, мы иногда ходили вместе кататься на коньках, и я, как и другие, любовался его искусством на льду. Он также любил танцы и на балах, как, например, на балах Академии Художеств, привлекал взоры дам. На одном из этих балов (насколько помню), он встретил одну из самых красивых женщин, известных в мире художников, — Любовь Александровну Ольхину, а также одного из ее друзей, художника Димитрия Семеновича Стеллецкого, с которым он меня познакомил. Эти новые знакомства имели важные последствия в нашей жизни. Стеллецкий вошел в мою семью как родной и стал моим большим другом и изменил совершенно мои интересы, заставив меня бросить академическую карьеру и стать художником. А Недоброво женился на Л. А. Ольхиной.

По поводу того, что Анреп пишет о Недоброво как конькобежце, заслуживает быть отмеченным, что, несмотря на свою раннюю болезненность, приведшую к преждевременной смерти, он в те предвоенные годы занимался разными видами спорта, явно преодолевая свою видимую «немощность» огромными усилиями воли. В разное время он увлекался верховой ездой, фехтованьем, лыжными прогулками, катаньем с гор на санях, игрой в теннис.

Анреп по окончании Правоведения поступил в университет на 4-й курс. Сдав все переходные экзамены, а так-

же государственный экзамен, он был оставлен при университете по кафедре Л. И. Петражицкого для подготовки к званию магистра. Но все эти планы и намерения пошли прахом в результате знакомства его со Стеллецким, который был тогда скульптором (им, между прочим, были вылеплены бюсты Недоброво и Анрепа, а также, кажется, отца последнего): Стеллецкий объявил Анрепу, что он губит свою жизнь «юристикой», что он — поэт, художник.

> Он повел меня в Эрмитаж, в Музей Александра III, где я впервые увидел картины и пережил потрясающие часы.
>
> — Бросьте все, посвятите себя искусству.
>
> Новый мир открылся передо мной. Еще год я старался совместить «юристику» с искусством. «Спрошу Н. В.», подумал я и пошел к нему [. . .] Н. В. принял меня особенно ласково:
>
> — Ты переживаешь бурю в себе, которую, может быть, ты переживешь только раз в жизни. Ты материально обеспечен и ты горишь высокими желаниями. Стеллецкий прав — может быть, ты никогда не будешь знаменитым художником, но что такое знаменитость перед любовью? Ты всегда будешь каяться, что не последовал проснувшейся страсти. Бросай свою «юристику», говоря словами Стеллецкого, и начинай свою новую жизнь. Я тебя благословляю, хотя и чувствую, что я тебя потеряю. Но спросим Любовь Александровну [она тогда еще не была, по-видимому, женой Недоброво. — *Г. С.*]

Л. А. убедила Анрепа последовать совету Стеллецкого, они оба поцеловали его, и это его «очень тронуло».

Л. И. Петражицкий был в это время болен оспой, и у Анрепа не было возможности лично попрощаться с ним. В душе он был этому рад. Вместо личного объяснения он послал ему букет белой сирени, объяснил в письме происшедшую с ним перемену и просил простить ему его «измену» Сам же уехал со Стеллецким в Италию, потом в Париж, стал учиться живописи — и у Стеллецкого и в разных школах. В 1908 г. он переехал на постоянное жительство в Париж, где обзавелся студией на бульваре Араго, которую сохранял за собой до 1965 года (я там у него бывал в 50-х годах). Позднее у него была также студия на северной окраине Лондона, около Hampstead Heath. Первое время на

лето он обычно возвращался в Россию, к родителям — вероятно, в небольшое имение в Борисоглебском уезде Ярославской губернии. Недоброво, который тем временем женился, на лето обычно уезжал в Крым, и встреч между ними, по-видимому, в эти первые годы жизни Анрепа за границей не было. Зато установилась вскоре оживленная дружеская переписка: от периода заграничной жизни Анрепа сохранилось 30 писем Недоброво к нему, принадлежащих сейчас мне.

Некоторые сведения о дальнейшей жизни Анрепа читатель найдет в этом же томе в очерке «Ахматова и Б. В. Анреп».

2

В статье Ю. Л. Сазоновой, которую она назвала «Опыт портрета», мы находим следующее описание наружности Н. В. Недоброво, значительно дополняющее рассказ Б. В. Анрепа:

> Николай Владимирович Недоброво был чрезвычайно тонок, с узкими, чуть покатистыми плечами и поднятой на высокой крепкой шее узкой головой. В его внешнем облике прежде всего запоминались руки с узкой, нежно-розоватой длинной кистью, с тонкими нежными пальцами — руки редкой красоты и выразительности. И запоминался ослепительный фарфоровый блеск его кожи, поразительно сочетавшийся с резкими очертаниями его мужественного лица. Решительный нос с горбиной, два крыла широких «соболиных» бровей над продолговатой узостью длинных глаз, почти спрятанных в тихое время и вдруг расширявшихся в открытое голубое сияние: редкий человек мог вынести это голубое сверкание, и часто спорщик отступал не перед логическими доводами Николая Владимировича, а перед внезапно раскрывшимся синим блеском его глаз. В гневе глаза становились большими и синими, с черным огнем в середине, блистали прямо на ослушника, — и всегда в этом гневном блистании чувствовалась правда возмущенного духа.

В лице его бывал и тихий блеск: при изгибе узких ярких губ блистали «жемчужными» переливами ровные белые зубы. Губы были самой резкой и самой изменчивой чертой в лице. Когда они сжимались, опуская углы книзу, общение невольно прекращалось; но те же неприязненные сухие губы, раздвинутые длинной улыбкой, становились детски-приветливыми, радостными. Иногда углы приподнимались, и опускалась середина, создавая странный узор — это при стараниях уловить собеседника в петлю своих умозаключений.

Тонкость, узкость линий была основным признаком внешнего очерка Н. В., нежность и блистание были основой его красок. Тонкость линий почти неестественная, в сочетании с прозрачностью красок почти женственной, создавали общее впечатление хрупкости. «Перламутровый мальчик» звали его в интимном кругу в пору его студенчества. «Он фарфоровый», пугались друзья потом, когда видели узкий очерк застенчиво улыбавшегося Н. В. среди реальных «трехмерных» фигур остальных собравшихся. Особенности внешнего облика отличали его сразу: его нельзя было пропустить, не заметить. Люди, видавшие его мельком где-нибудь в людном месте, с полной точностью вспоминали его через много лет.

К этому добавлялось ощущение несовременности: «у него лицо Чаадаева», «он совсем из сороковых годов». Такой тонкий, хрупкий, что кажется, всякий может его обидеть — но вот, оказывается, он очень силен, и узкое тело его напряжено крепкими мускулами. Такой нежный, «фарфоровый», что, кажется, дуновение ветра может его погасить — но вот, оказывается, годы болезней и несчастий не изменили его: все тем же перламутром блистало лицо его за несколько дней до смерти, и так же безупречны были линии узких рук, когда они уже держали кипарисовый крест с обвивавшей его белою розой. [4]

Знакомство Недоброво с Ахматовой произошло в 1913 году, но когда именно, мы не знаем. Лето 1913 года Недоброво и его жена проводили за границей — сначала на курорте в Германии, а потом в Париже, где встречались с Анрепом. Встреча с Ахматовой могла произойти и до того, в

Петербурге, в Обществе Поэтов или в редакции *Аполлона*, но первое упоминание ее имени в переписке с Анрепом — в письме от 29 октября 1913 года. Одна короткая фраза: «Источником существенных развлечений служит для меня Анна Ахматова, очень способная поэтесса...» В следующем письме (16 ноября) Ахматова упоминается снова:

> Я, за последнее время, чувствую себя как будто лучше, хотя и дорогою ценой. Я окружаю себя людьми, в обществе которых трачу время до такой степени щедро, что его вовсе на себя не остается. О. А. [жена художника Химона — *Г. С.*], Ахматова, девица Рейнольдс, одна влюбленная в Л. А. очаровательная своею молодостью курсистка, целое «Общество Поэтов», возродившееся недавно «Общество Ревнителей», в состав совета которого я на днях избран, все это мелькает передо мной, возбуждая мои чувства и давая мне передышки в том глубоком унынии, которое совершенно затопляло меня прежде.

Мы знаем, что с г-жей Химона Недоброво был давно знаком, что с «очаровательной курсисткой», то есть В. А. Знаменской, он познакомился еще весной того же года, так что не исключена возможность и более раннего знакомства с Ахматовой.

Зимой того же года Недоброво провели больше месяца в Павловске, где Н. В. несомненно часто видался с Ахматовой. Сообщая Анрепу о предстоящей поездке туда на рождественские праздники, он писал ему 5 декабря, что там у него будет «два занятия — писание и спорты: лыжи, коньки, катанья с гор». Есть основание думать, что в эту зиму в спортивных занятиях спутницей его была Ахматова. Но упоминания ее имени в этом письме нет. После того в письмах был долгий пробел: следующее письмо датировано уже 27 апреля 1914 г. Около половины его уделено Ахматовой, причем можно думать, что еще до того Недоброво послал своему другу какие-то стихи ее, или же предположить, что какое-то письмо Недоброво об Ахматовой и ее стихах не сохранилось у Анрепа (сама Ахматова подарила ему свои ранние сборники гораздо позже: «Вечер» в 1916 г., «Четки» и «Белую стаю» в 1917 г.). Недоброво писал:

> Твое последнее письмо меня очень обрадовало — то, что Ты так признал Ахматову и принял ее в на-

ше лоно, мне очень дорого; по личным прежде всего соображениям, а также и потому, что, значит, мы можем считать, что каждому делегирована власть раздавать венцы от имени обоих. Я всегда говорил ей, что у нее чрезвычайно много общего, в самой сути ее творческих приемов, с Тобою и со мною, и мы нередко забавляемся тем, что обсуждаем мои старые, лет 10 тому назад писанные стихи, с той точки зрения, что, под Ахматову или нет, они сочинены.

Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и генсборовский портрет маслом, а, пуще всего, поместить ее в самом значущем месте мозаики, изображающей мир поэзии. Осенью, приехав сюда, я думаю, Ты не откажешься ни от одной из этих задач. [5]

Портретов Ахматовой, будь то в духе Леонардо или Гейнсборо, Анреп не оставил. Но много лет спустя после этого письма, когда Недоброво уже давно не было в живых, он — может быть, памятуя о его словах — ввел изображение Ахматовой в свою мозаику на полу в вестибюле Национальной галлереи в Лондоне. Мозаика изображает мир искусств, и в ней фигурирует также известная английская писательница Эдит Ситвелл. Весьма вероятно, что письмо Анрепа, на которое откликался тут Недоброво, сохранилось в бумагах последнего.

В следующем письме от 12 мая, последнем сохранившемся письме Недоброво к Анрепу — Н. В. опять писал об Ахматовой:

Твое предыдущее письмо я, кроме французского словца, вслух прочел Ахматовой. Мы очень смеялись этому странному сочетанию большой проницательности, а тут же — безмерной какой-то недогадливости. Во всяком случае она просит передать Тебе, что только восторги незнакомца и способны ее тронуть, так как восторгами добрых знакомых она переобременена сверх меры и никак не может разобраться, к чему собственно они относятся.

Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень это мне грустно.

Дальше Недоброво писал, что лето его начнется в нача-

ле июля и что он, вероятно, полностью проведет его в Крыму:

> ...Мне хочется не иметь никаких обязанностей, даже лечебных, не иметь новых впечатлений, а, отдыхая телом на старых местах, писать побольше для того, чтобы развлекать Ахматову в ее «Тверском уединении» присылкой ей идиллий, поэм и отрывков из романа под заглавием «Дух дышит, где хочет» и с эпиграфом:
>
> И вот на памяти моей
> Одной улыбкой светлой боле,
> Одной звездой любви светлей.
>
> В этом романе с поразительной ясностью будет изображено противозаконие духа и нравственностей человеческих. Сделано это будет с обыкновенным искусством.

Из этих двух писем 1914 года видно, какое большое место в жизни Недоброво заняла к тому времени А. А. Ахматова. Роман, о котором он писал в последних процитированных строках, не был, насколько известно, написан, но, может быть, и был начат, и в бумагах Недоброво могли сохраниться наброски его. В них могли отразиться и отношения его с Ахматовой.

Вскоре после майского письма Недоброво уехал в Крым. По-видимому, он уехал один; во всяком случае на часть этого лета Л. А. уехала с теткой в Германию, где ее застала война. Ахматова уехала в Слепнево, свое «Тверское уединение». Анреп же, которого ждали в Петербурге осенью, приехал в Россию еще летом, ибо началась война, которой Недоброво, видимо, не ждал. Из-за войны, видимо, и Недоброво вернулся в Петербург раньше срока, равно как и Ахматова. Анреп был призван как офицер запаса, но прежде, чем проследовать на фронт, задержался недолго в Петербурге, и Недоброво познакомил его с Ахматовой. В 1915 году они стали встречаться, когда Анреп приезжал с фронта в отпуск. Знакомство это оказалось роковым для отношений Недоброво с Ахматовой. Отразилось оно и на его отношениях с Анрепом. Если не сразу, то во всяком случае уже весной 1915 года в сердце Ахматовой место Недоброво занял самый близкий друг его, о котором он так

много с ней говорил. Несомненный лирический герой многих любовных стихотворений Ахматовой 1915—1917 гг. — Борис Анреп. Это *он* «на память чуда» дал ей кольцо; *его* дух «высокомерьем помрачен»; *он* думает, что она «пришла на помощь» его «неверью»; он — «отступник», который «за остров зеленый» (Англию) «отдал, отдал родную страну» и т. д. Подробнее всю историю отношений Анрепа и Ахматовой читатель найдет ниже в рассказе самого Анрепа. Оставила ли Ахматова какой-нибудь рассказ об этом эпизоде в ее жизни, нам не известно. Но в поэзии ее он сыграл большую роль.

3

В письмах Н. В. Недоброво к В. А. Знаменской об Ахматовой ничего нет. Между Недоброво и восемнадцатилетней «очаровательной курсисткой» очень скоро установились отношения, которые, пожалуй, всего лучше можно охарактеризовать как amitié amoureuse. Из писем В. А. Знаменской к Б. В. Анрепу мы знаем, что, хотя она в те годы иногда и встречала Ахматову (первая встреча произошла на приеме у Недоброво в честь Вячеслава Иванова), она — по молодости и наивности — далеко не сразу догадалась о ее близости с Недоброво и, по-видимому, узнала о ней лишь из жалоб Любови Александровны. Так, в письме к Анрепу от 20 октября 1967 г. Знаменская писала, что Л. А. «тяжело переживала отношения А. А. с Н. В.» Отношение Л. А. к самой Знаменской было, напротив, полно нежной любви, с оттенком некоторой, очевидно ей вообще свойственной, сентиментальности, о чем свидетельствуют надписи на подаренных ею Знаменской фотографиях.

В письмах же Н. В. к Знаменской звучат ноты слегка игривой влюбленности. Похоже, что она сама отдала себе полный отчет в этом лишь много-много лет спустя, когда решила прочитать А. А. Ахматовой некоторые из писем Недоброво. В одном его письме к Знаменской из Крыма летом 1915 г. прозвучала неожиданная грусть, почти несомненно навеянная переменой в отношении А. А. к нему, хотя имя ее упомянуто и не было. Он писал: «Простите меня

за короткое письмо — пусть оно будет снимком с души, каждый день уменьшающейся в своем протяжении». Вскоре после этого в переписке между Недоброво и Знаменской наступил большой и необъяснимый перерыв (она сама не могла его объяснить): между августом 1915 г. и январем 1917 г. писем совсем нет. Может быть, это объясняется тогдашним настроением Недоброво, а также его болезнью. Зато очень характерны именно письма от августа 1915 г. Письмо от 11 августа начинается с полушутливого совета о том, как надо шить платья («... так, чтобы всякая их складка, всякая пуговица и всякая отделка имела бы какой-нибудь смысл и преследовала определенную цель: или удобства для заключенного в одежду тела, или сподручности обращения с платьем, или, наконец, прельстительности»). А дальше Недоброво писал:

> Я люблю вспоминать о Вас и всякое напоминание о Вас мне приятно. Вы меня всегда упрекаете, что я не слишком хорошо к Вам отношусь — это по-моему и есть то единственное настоящее хорошее отношение, когда от человека просто ощущаешь удовольствие, совершенно отчетливо ощутимое. Мне приятно всегда представить себе, как я Вас увижу, как мы заговорим и мне даже в воображении хочется подойти к Вам поближе и заговорить о чем-нибудь таком, о чем ни Вы ни я ни с кем чужим не заговорим. Хочется от Вас какой-нибудь исповеди, какого-нибудь неожиданного проявления — и теперь, когда я пишу, я улыбаюсь и много-много чего припоминаю. Я многое в Вас очень чувствую, мне нравится, что в Вас это есть и я всегда рад все это видеть и слышать. Помните наши разговоры в феврале 14 года на Кавалергардской? Если Вы сюда приедете, дайте скорее знать.

В. А. Знаменская жила в то время у матери и отчима в Григорове, под Новгородом. Недоброво же жил один в Петербурге, на Гагаринской — кажется, у родственников своей жены, которая поступила в армию сестрой милосердия и уехала на сербский фронт.

Следующее письмо, от 20 августа, опять начиналось с нескольких фраз о платьях («... Ради Бога поменьше складок, особенно складок заглаженных — они только толстят платье, делают его не гибким на теле и бесполезно раздробляют внимание» и т. д.). Дальше читаем:

Я рад, что Вы меня ощутили, хотя меня и огорчает, что после этого Вы не написали мне ничего нежного и томного, ничего такого, что бы и мне еще раз помогло почувствовать плотное прикосновение к Вашей теплоте...

Работы в последние дни у меня стало меньше и я сижу иногда вечерами дома, читаю и рассматриваю разные прекрасные старые книги, которые Анреп привез из Галиции. Здесь и Лафонтен с бесчисленным количеством гравюр, и Витрувий, и Буало, и Гораций, и итальянский Декамерон в издании XVI века и французский его перевод, в 10 томах с гравюрами и много другого. Перечитывая иногда то ту, то другую новеллу, я вспоминаю, что Вы их любите, и думаю, как буду показывать Вам эти книги по Вашем приезде. Я живу в очень приятной комнате, но Вы меня в ней уже не застанете, так как в самом начале сентября я перееду в Царское, где и рад буду принимать Вас с самою большою нежностью. Там я сделаю то, о чем сейчас могу только говорить — крепко обнимаю Вас и целую.

Может быть, последовавший за этим письмом необычно долгий перерыв объяснялся тем, что их встречи — по крайней мере первое время после того — участились? Но Знаменская об этом не упоминает. Неясно даже, вернулась ли она в Петербург до отъезда Недоброво. Правда, от Л. А. Недоброво она получила открытку из Царского Села, датированную 18 мая 1916 г. и адресованную на Фонтанку, дом 24. Это был день годовщины знакомства между ними, и Л. А. писала ей:

Дорогая моя Верушка, по уговору шлю Вам в юбилейный день сердечный привет и пожеланье нам всем еще многих лет сердечной дружбы. Крепко целую мою дорогую. Ник. Влад. усердно кланяется.

Любящая Вас Л. Недоброво.

Следующее письмо Н. В. написано уже в январе 1917 г. из Сочи, куда Недоброво уехали, кажется, летом 1916 г. Письмо начиналось с благодарности за полученное письмо и поздравления (очевидно, с Рождеством и Новым Годом) и просьбы не сердиться за то, что они «плохо» пишут: «... борьба за существование здесь очень трудна, еще труд-

нее, чем в СПБ, и отнимает все время». Из Сочи Знаменская получила от Недоброво три письма, а от его жены — два. Все они были адресованы в Григорово, но последнее переслано было почтой в Петербург. Этим последним письмом, написанным на Пасху, Недоброво, очевидно, откликался на известие о смерти матери Знаменской:

Христос Воскресе,

дорогой и далекий друг!

Нет одиночества, которого бы Он не пришел разделить, и нет смерти, о бессилии которой Он не пришел бы напомнить своим Воскресением. Он не приходит к маленькому горю и к призрачному психологическому одиночеству, но Вас, милый и бедный друг, Он коснется, а вернее уже и коснулся. Мне верится, что Вы все это чувствуете и что Ваше горе не черное. А утешаться в нем и не надобно. Живите, как всегда жили, и дайте Божьему миру как можно больше любви своей.

Мы очень опечалились скорбными вестями о Вас и нас очень тронуло, что Вы прислали свои карточки; с особенной пытливостью я всматривался в Ваше лицо, думая о Вас и о том, как Вы все перенесете. Смотрел, пока вдруг сразу не успокоился надеждой, что у Вас на душе правильно.

Дальше Недоброво опять писал о том, как трудно им живется, о тяжелой болезни Л. А. (она болела повторными плевритами). Сам он тоже испытывал большие физические страдания, но говорил о них, как всегда, сдержанно:

... я с наступившим теплом, хотя и пободрее, но все-таки не чувствую ничего, кроме надоевшего чувства болезни, да душевной тягости и скуки от неправедной жизни — неправедна жизнь, в которой нет ничего кроме заботы о себе, особенно теперь. В том, что я инвалиден именно теперь, я чую кару. Так бы мне хотелось на волю, в Петербург.

В любимый Петербург Недоброво больше не попал. После того Знаменская получила еще одно письмо от него из Красной Поляны (горной деревушки, куда они переехали из Сочи) от 4 августа 1917 г. и одну открытку оттуда же, а также одно — последнее — письмо от Н. В. из Ялты, написанное больше чем полгода спустя (27 марта 1918 г.). В

нем он поздравлял В. А. с замужеством (она вышла в январе за скрипача В. Э. Фехнера) и кончал письмо так: «Я надеюсь, что Владимир Эдуардович согласится, не видав меня глазами, принять мои дружелюбные приветствия». В том же письме он говорил, что ни о жене, ни о внешней стороне их жизни не может сообщить ничего нового против недавнего письма Л. А., «которая Вам, однако, прелюбезно кланяется и крепко Вас обнимает». [6]

Знаменская долго ничего не знала о судьбе Недоброво, которых гражданская война отрезала от нее. Даже вступая в переписку с Б. В. Анрепом в 1967 г., она считала, что Недоброво умер еще в 1918 г. О последних днях Л. А. Недоброво, которой удалось эвакуироваться из Крыма и при содействии ее старой знакомой О. А. Химона и одного американца [7] поселиться в Италии, в Сан Ремо, где она и скончалась довольно скоро от чахотки, В. А. узнала уже от меня.

4

Мы видели, что четыре стихотворения Ахматовой были ею открыто посвящены Н. В. Недоброво, начиная с позднего издания «Белой стаи». В письме Б. В. Анрепу от 17 мая 1967 г. В. А. Знаменская писала:

> . . . сейчас мне попалась следующая моя запись:
>
> При встрече со мной на даче в Комарово 24 августа 1963 г. Анна Андр. в беседе о Николае Влад. перечислила мне ее стихотворения, ему посвященные; записывала я сразу при ее цитировании:
>
> 1. Царскосельская статуя
> 2. «Все мне видится Павловск холмистый . . .»
> 3. «Есть в близости людей заветная черта . . .»
> 4. «Пока не свалюсь под забором . . .» (1921 г.)
> 5. «Одни глядятся в ласковые взоры,
>   Другие пьют до солнечных лучей . . .» (1936 г.)
> 6. Бахчисарай: «Город чистых водометов,
>   Золотой Бахчисарай . . .»
>
> А. А. тогда же говорила мне, что в новом издании ее стихотворений она везде проставит посвящения Николаю Влад.

Не знаю, какое издание А. А. имела в виду, и мне кажется, что эти 6 стихотворений не все, что ею посвящены Н. В. Недоброво.

Из перечисленных В. А. Знаменской стихотворений первые три плюс еще одно («Целый год ты со мной неразлучен...»), не названное ею, но упомянутое в одном более позднем письме к Анрепу, уже были напечатаны с посвящением Недоброво в издании «Белой стаи» 1923 г., так что фраза А. А. о «будущем издании» не совсем понятна, даже если исходить из того, что А. А. могла не принимать во внимание напечатанное в Берлине издание «Белой стаи»: все эти посвящения были налицо и в сборнике 1961 г. Очевидно, А. А. просто хотела сказать, что она *оставит* их и в следующих изданиях своих стихов. Или же ударение тут было на тех *трех* стихотворениях, которые до того не носили посвящения Недоброво. Но ни одно из них не носит такого посвящения и в вышедшем в 1965 г. «Беге времени».

Стихотворение под № 6 (в приведенном выше списке), начинающееся строкой «Вновь подарен мне дремотой» (а не так, как записано у Знаменской), было написано еще при жизни Недоброво, в 1916 г. Из ряда помет под стихами мы знаем, что часть 1916 года (лето и осень?) А. А. провела в Крыму и во всяком случае была в связанном с детскими воспоминаниями Севастополе. Недоброво довольно часто ездил в Крым (на дачу жены проф. А. А. Смирнова в Алуште). Он провел там лето 1915 года. Но был ли он там в 1916 г., мы не знаем (я уже упоминал, что за 1916 год нет ни одного его письма к В. А. Знаменской; единственное письмо Л. А. Недоброво относится к маю 1916 г.). Во всяком случае встреча между ним и А. А. в Крыму в 1916 г. не невозможна. Нет оснований не верить В. А. Знаменской, которая *дважды*, ссылаясь на слова самой Ахматовой, пишет о посвящении стихотворения о Бахчисарае Н. В. Недоброво. С другой стороны, может показаться странным, что это единственное из перечисленных Ахматовой в разговоре со Знаменской стихотворений, написанное еще при жизни Недоброво, на котором она не обозначила посвящения. Между прочим, стихотворение написано не в Бахчисарае, а в Севастополе (Бахчисарай поэту «подарен дремотой»); и написано оно в плане прощально-воспоминательном — в таком именно плане А. А. в 1916 г. воспринимала свои отношения с Недоброво. Встреча с тем, к кому обра-

щено стихотворение, *могла* быть и не в 1916 г., а раньше, хотя насколько нам известна биография Ахматовой, в 1915 г. она в Крыму не была, а в 1914 г. Недоброво еще не «уходил» от нее в «царство тени», а такими словами кончается стихотворение о Бахчисарае:

Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой!

Конечно, автобиографической «правды» не следует искать в стихах. Думается, однако, что, если и была встреча реальная, а не иносказательная, то была она в 1916 г. Приведу первые три строфы (из пяти) этого, вошедшего в «Белую стаю», стихотворения — они своими царскосельскими реминисценциями тоже вызывают образ Недоброво:

Вновь подарен мне дремотой
Наш последний звездный рай —
Город чистых водометов,
Золотой Бахчисарай.
Там, за пестрою оградой,
У задумчивой воды,
Вспоминали мы с отрадой
Царскосельские сады
И орла Екатерины
Вдруг узнали — это тот!
Он слетел на дно долины
С пышных бронзовых ворот.

Одно из стихотворений в списке Знаменской написано много лет спустя после смерти Недоброво, в 1936 г. Что оно «обращено» к Н. В., к его памяти, представляется мне весьма вероятным. Оно интересно поэтому, как ретроспективное отражение всего эпизода в поэзии Ахматовой. Приведу его полностью (по тексту «Бега времени»):

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твое несу я бремя
Тяжелое, ты знаешь сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет.

И снова черный масляничный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня.
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель . . . о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода.

Стихотворение это впервые было напечатано в журнале *Ленинград* (1940, № 2), с небольшим разночтением в стихе 15-м. Оно вошло в сборник «Из шести книг» (в раздел «Ива»), в сборник 1961 г. (где «Ива» была переименована в «Тростник») и в «Бег времени» — во все три без всякого посвящения. Слова В. А. Знаменской, с ссылкой на Ахматову, — единственное свидетельство о посвящении стихотворения Недоброво. Свидетельство — достаточно веское. Содержание стихотворения вполне соответствует посвящению. И в стихотворении опять реминисценции Царского Села, с которым у А. А. была связана память о Недоброво: «подкапризовая дорога» — аллея в Екатерининском парке в Царском, ведущая к сооружению, известному под названием «Большой Каприз»; оно состоит из арки, пересекающей аллею, а над аркой, служившей прежде въездными воротами, возвышается легкая беседка — «Каприз».

Еще одно стихотворение, названное Знаменской, если оно действительно посвящено Недоброво, тоже представляет собой посвящение посмертное. Оно было впервые напечатано в журнале *Записки Мечтателей* в 1921 г.; потом вошло в раздел «Голос памяти» в книге „Anno Domini MCMXXI", с датой 1921. В сборнике 1961 г. его нет. В «Беге времени» оно напечатано, но *без* посвящения — вопреки словам А. А. о «будущем издании». Из всех стихотворений, в посвящении которых Н. В. Недоброво Ахматова призналась Знаменской, это, без сомнения, самое трагическое. Воз-

можно, что именно в 1921 г. до А. А. дошло известие о смерти Недоброво в Крыму (Крым был занят красными войсками в конце 1920 года), и стихотворение навеяно этим известием. Вот оно полностью:

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной,
Уверенно в дверь постучится
И прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно . . .
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

Строка «И *прежний, веселый,* дневной» перекликается со строкой «А как *прежде,* и *весел* и юн» в более раннем стихотворении, которое сама Ахматова отметила, вместе с тремя другими, посвящением Н. В. Недоброво.

5

Мне думается, что В. А. Знаменская была права, считая, что семью стихотворениями не исчерпываются все стихи Ахматовой, относящиеся к Недоброво. Среди «любовных» стихотворений Ахматовой, относящихся к периоду ее близости с Недоброво, есть еще несколько, которые *могли* быть обращены к нему. Но Ахматова почему-то не назвала их

Знаменской, и у них могли быть и другие адресаты — среди стихов 1913—15 гг. есть и стихи, посвященные Кузьмину-Караваеву, и стихи, посвященные Б. В. Анрепу (см. об этом ниже, в рассказе самого Анрепа). В нескольких любовных стихотворениях 1913 года («Покорно мне воображенье...», «Не будем пить из одного стакана...», «У меня есть улыбка одна...») фигурируют «серые глаза» любимого. К сожалению, я как-то не спросил Анрепа, какого цвета были глаза у Недоброво. Ю. Л. Сазонова писала о их «голубом сверкании» и «синем блеске». В одном стихотворении, которое легко могло быть посвящено Недоброво, глаза — «первых фиалок светлей».

Об одном очень известном стихотворении с «серыми глазами», которое часто — и, думается, ошибочно — относили к Александру Блоку, Ю. Л. Сазонова высказала предположение, что оно обращено к Недоброво. Это — стихотворение, начинающееся строками «Покорно мне воображенье / В изображеньи серых глаз». Вот что писала о нем Сазонова в статье в *Новом Русском Слове:*

> Николай Владимирович Недоброво был другом и отчасти вдохновителем поэтов начала века. С Ахматовой его связывала тесная дружба. Нам представляется, что в стихах Ахматовой в «Четках» —
>
> Прекрасных рук счастливый пленник
> На левом берегу Невы,
> Мой знаменитый современник,
> Случилось, как хотели вы, —
>
> она обращалась к Недоброво, а не к Блоку, как принято считать. Блок не был пленником прекрасных рук, и во всяком случае это не могло быть его отличительным признаком. О прекрасных руках жены Недоброво говорилось часто, и это как бы было ее особенностью. Руки же Ахматовой были невероятно гибки, так что она, скрестив их, могла охватить себя всю, соединив ладони за спиной, но это ставилось ей почти в укор, как и другие ее гимнастические возможности. Н. В. Недоброво мог быть назван пленником, по своей обычной покорности жене, которую он полушутя называл «императрицей». Блок ничьим пленни-

ком в таком смысле не был. Эпитет «знаменитый», не применимый к мало печатавшемуся Недоброво, мог быть либо дружеским преувеличением, либо просто желанием направить критиков по ложному следу.

Последнее предположение Сазоновой вполне правдоподобно, как правильно, вероятно, и то, что она говорит о «счастливом пленнике». Но она обрывает цитату как раз перед теми строками, которые, если знать всё, что мы знаем, об отношениях Недоброво и Ахматовой (правда, *всего* мы, может быть, и не знаем: Недоброво рассказа о них не оставил, а рассказ Ахматовой, если таковой и имеется, пока неизвестен), едва ли можно отнести к Недоброво. Вот эти строки:

Вы — приказавший мне: довольно,
Поди, убей свою любовь!
И вот я таю, я безвольна,
Но все сильней скучает кровь.

Стихотворение, если верить помете под ним, написано в Слепневе в июле 1913 года. Оно может, таким образом, относиться только к самому началу знакомства между А. А. и Недоброво (знакомство это едва ли могло произойти раньше мая 1913 г.). Должны мы предположить, что она сразу же увлеклась им, а он, когда она уезжала на лето в Слепнево, «приказал» ей «убить любовь» и только позже сам сдался? При этом им могли руководить его дружеские отношения с Н. С. Гумилевым. Но никаких других указаний на такое развитие событий в романе Ахматовой с Недоброво у нас нет. Надо, однако, признать, что, если элиминировать Блока, то, кроме Недоброво, никто другой, пожалуй, не мог бы быть адресатом этого стихотворения. Сама Ахматова никогда этого стихотворения к Блоку не относила. В своих передававшихся по телевидению воспоминаниях, позднее напечатанных по рукописи (*Звезда,* 1967, № 12, стр. 186—87), она рассказала о своих немногочисленных встречах с Блоком. В комментарии к этому рассказу проф. Д. Е. Максимов говорит, что «легенду» о романе с Блоком А. А. решительно отрицала, а, читая ему свои воспоминания о Блоке, в шутку назвала их: «О том, как у меня не было романа с Блоком». Говоря о стихотворениях Ахмато-

вой, относящихся к Блоку, из которых только одно было написано еще при его жизни, он даже не упоминает о том, что стихотворение «Покорно мне воображенье...» читатели обычно воспринимали как обращенное к Блоку. Несколько иначе, однако, поступил покойный В. М. Жирмунский (1891—1970), который в последние годы своей жизни занимался подготовкой к изданию полного собрания стихотворений Ахматовой. В статье «Анна Ахматова и Александр Блок» (*Русская Литература*, 1970, № 3, стр. 57—81), в которой он подробно останавливается на взаимоотношениях Ахматовой и Блока и на их поэтической перекличке, к трем «достоверным» стихотворениям Ахматовой о Блоке он условно присоединил еще два, которые, говорит он, «современники связывали с именем Блока без фактических доказательств — на основании биографических домыслов». Жирмунский отмечает, что в «Четках» эти два стихотворения напечатаны подряд, хотя первое написано в 1912 году в Царском Селе, а второе — в июле 1913 года в Слепневе. Первое стихотворение, где имя адресата, пишет Жирмунский, «может быть, подсказывается последней строчкой» — о коротком, звонком имени, это — «Безвольно пощады просят...» Второе же стихотворение — «Покорно мне воображенье...». По поводу этого последнего Жирмунский говорит, что два его последние стиха «близко напоминают дарственную надпись к 'Четкам'». Эту дарственную надпись Жирмунский приводит в той же статье. Она обрамляла печатное заглавие на титульном листе. Над названием Ахматова надписала «Александру Блоку», а под названием подписалась: «Анна Ахматова». За этим шло поставленное в кавычки двустишие: «От тебя приходила ко мне тревога / И уменье писать стихи» и дата: «Весна 1914 г. / Петербург». По поводу двустишия Жирмунский пишет, что оно, очевидно, представляет цитату, но сказать, откуда она — «из неизвестного нам стихотворения самой Ахматовой или из другого источника, также пока не разысканного» — нельзя. Первое представляется Жирмунскому более вероятным вследствие метрической формы дольника, неупотребительной в классической поэзии. Жирмунский прибавляет также, что «современники говорили, что у Л. А. Дельмас, воспетой Блоком в образе Кармен, были прекрасные руки», и отмечает, что в экземпляре «Четок», принадлежавшем Блоку, эти два стихотворения никакими

пометками не выделены. Есть основание думать, что Жирмунскому должна была быть известна статья Сазоновой, но он ее гипотезы не упоминает, хотя в другом контексте и касается отношений Ахматовой с Недоброво.

Среди стихотворений Ахматовой того же периода, которые никак нельзя отнести к Недоброво, одно заслуживает особенного внимания. Это — стихотворение «Высокие своды костела...» — о самоубийстве на почве несчастной, неразделенной любви, о «мальчике веселом», которому та, от чьего имени написано стихотворение, «принесла смерть» («Я не знала, как хрупко горло / Под синим воротником...»). Несмотря на различие обстоятельств (самоубийца не застрелился, а повесился), «сюжет» этого стихотворения напоминает историю Всеволода Князева, молодого корнета, писавшего стихи и застрелившегося в 1913 году из-за О. А. Глебовой-Судейкиной. Самоубийство Князева — одна из тем первой части «Поэмы без героя». Счастливым соперником Князева здесь изображен Александр Блок. Читая «Поэму», я не мог не вспоминать стихотворение о «мальчике веселом». Между тем такого или сколько-нибудь похожего эпизода в жизни Ахматовой мы не знаем. Мне кажется, что это стихотворение (помеченное — «Ноябрь 1913») — один из примеров (есть и другие!) в поэзии Ахматовой, в том числе и любовной, стихов, написанных как бы не от ее имени, а от чьего-то чужого. Есть, конечно, у Ахматовой и «любовные» лирические стихотворения с чисто фиктивными персонажами. Некоторые стихотворения, как уже не раз отмечалось, написаны от имени лирического *героя*, а не героини — в мужском роде.

Что касается Недоброво, то не может быть, мне кажется, сомнения, что это он выведен в «Поэме без героя» как один из ряженых — тот, что «полосатой наряжен верстой» — и что к нему относятся строки:

Ты железные пишешь законы:
Хаммураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны... —

Недоброво тогда служил в канцелярии Государственной Думы, то есть имел прямое отношение к законодательной деятельности, хотя и не «писал законов». При этом он был очень высокого роста, как можно видеть по одной любительской фотографии, на которой он снят в студенческом

сюртуке и стоит именно «верстой». Фотография изображает пикник (кажется, на Островах) и на ней, кроме Недоброво, сняты Анреп, Стеллецкий, жена Недоброво и сестры Девель.

До строк о Хаммураби, Ликургах и Солонах о наряженном верстой говорится, что он «как будто не значится в списках, в калиостpах, магах, лизисках», и поэт называет его «ровесником Мамврийского дуба» и «вековым собеседником луны». Из дальнейшего следует, что он — поэт:

Существо это странного нрава,
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество,
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем...
Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть!..
Да что там! Про это
Лучше их рассказали стихи.

Роль наряженного верстой в истории Пьеро (Князева) и Коломбины (Глебовой-Судейкиной) не совсем ясна. Как будто он в стороне: «И ни в чем не повинен...» Но наряженный верстой появляется снова в начале «Решки», в ироническом диалоге между автором и его редактором. На жалобы редактора о том, что нельзя понять, кто в «Поэме» в кого влюблен, «Кто когда и зачем встречался, / Кто погиб и кто жив остался, / И кто автор, и кто герой», и к чему рассуждения о поэте, поэт отвечает:

. . .Там их трое –
Главный был наряжен верстою,
А другой как демон одет, —
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались...
Третий прожил лишь двадцать лет,
И мне жалко его...

Таким образом, наряженный верстой (Недоброво?) оказывается *главным*. Но главный он — не в треугольнике с

Пьеро и Коломбиной, где третий — «демон», то есть Блок; главный он — для самой Ахматовой. (Подозревать какую-либо роль Недоброво в истории Князева и Глебовой-Судейкиной нет никаких оснований). Недоброво появляется еще раз, но уже без всякого маскарада, в коротенькой третьей главе первой части поэмы, но об этом будет речь дальше.

Поскольку Б. В. Анреп был юристом по образованию, слова о «железных законах» могли бы относиться и к нему, и, кажется, он сам так сначала и думал. Но в 1913 году его в Петербурге не было, и Ахматова с ним не была знакома, так что появление его на маскараде едва ли было бы оправдано. Но какая-то контаминация образов Недоброво и Анрепа в «ровеснике Мамврийского дуба» все же возможна. Анреп тоже был высокого роста, но при этом, в отличие от «хрупкого» и изящного Недоброво, и очень крупного сложения. В том, что в «подтексте» «Поэмы», если брать ее в целом, Анреп тоже играет роль, нет сомнения (см. об этом ниже, в рассказе самого Анрепа).

Отношений между А. А. и Недоброво Знаменская касалась в целом ряде писем к Б. В. Анрепу. Так, 23 апреля 1967 г. она писала, что летом 1964 или 1965 года (по другому письму это было именно в 1964 году) возила Ахматовой письма к себе, «прочла 5—6 вслух и... остановилась, застеснялась, что-то почувствовала неладное. А Анна Андр. говорит: 'да они носят влюбленный характер...' М. б. смешно, но точно какая-то тень ревности мелькнула».

При той же встрече В. А. дала Ахматовой копию письма Н. В. от 5 января 1914 г. и стихотворение его «Заяц», напечатанное в 1916 г. в *Альманахе Муз*, и «А. А. нашла (как считала и я), что это письмо интересно в связи с этим стихотворением — как показатель творческого процесса» (Недоброво писал о своих лыжных прогулках — не упоминая об Ахматовой — и они же составляли фон стихотворения).

В другом письме, говоря о жалобах Л. А. Недоброво по поводу Ахматовой, Знаменская писала, что последняя относилась к Л. А. «свысока, уничтожающе». «И как ей быть подругой Ник. Влад., когда ее вкусы дальше понимания Надсона не идут?»: эти слова стояли в кавычках — очевидно как слова Ахматовой, но когда и кому сказанные, остается неясным. В свою очередь, Л. А. Недоброво выставляла против Ахматовой разные обвинения — вплоть до того, что

она заразила ее мужа туберкулезом. Возвращаясь мыслью к прошлому, Знаменская так резюмировала свои впечатления: «Сейчас мне кажется, что в жизни душевной и физической Анна Андр. принесла много, много горестей Ник. Влад. (тогда я была слишком наивна, не смела)».

Дальше в том же письме Знаменская писала:

> Мне кажется, что Вы совершенно правы, что внешне, среди поэтов Ник. Влад. держался гордо и холодно, казался равнодушным, в душе же ощущал горечь и одиночество. Л. А. была нежной, преданной ему женщиной, но, пожалуй, ее вкусы были иные, чем у него. Мне он представлялся широко образованным человеком, с тонкими, глубокими и оригинальными суждениями не только в области поэзии, но и живописи и истории; человеком, жаждущим нежности, преданности, понимания. Он высоко ценил талант А. А. Ник. Влад. мне говорил, что он редактирует сборник стихов А. А. (это были «Четки») и когда он выйдет из печати — «Вы с ним не расстанетесь». (А Анна Андр., когда я ей рассказала об этом — говорила, что он никогда не был редактором ее стихов.) Удивительно, что больше я ничего, никаких разговоров Н. В. об А. А. не помню, по-моему он мне никогда ничего о ней не говорил. Несмотря на ряд прелестных стихотворений А. А., посвященных Н. В. (я потом напишу Вам те, которые она мне назвала — я их при ней же и записала) — по-моему, она была изменщицей, и он об этом знал.

Дальше Знаменская пишет о «влюбленности» Ахматовой в самого Анрепа и приводит следующие сказанные ей А. А. слова: «... мое отношение к нему [Анрепу] вызвало расхождение Н. В. с Бор. Вас., вот почему я ему ничего не говорила о Вас, не просила его адреса для Вас, чтобы не упоминать имени Ник. Влад. и его не огорчить». Передавая этот разговор с А. А., Знаменская прибавляет: «Это при Вашей встрече в Париже».

Похоже, что, рассказывая Знаменской об этой встрече, А. А. слукавила: из рассказа Анрепа видно, что она сама первая упомянула имя Недоброво. И, зная адрес Анрепа, она отказалась сообщить его Знаменской — та узнала его много позже от одной английской студентки, знакомой Анрепа, и сама вступила в переписку с ним.

Из рассказа Анрепа вытекает, что Ахматова не сказала ему (но он знал это), что в 1962 году она получила от меня переданные ей одним моим знакомым-американцем выдержки из писем Недоброво к Анрепу — всё, что относилось в этих письмах к ней. Эту машинописную выписку она потом подарила В. А. Знаменской, и я узнал ее среди фотокопий, которые Государственная Публичная Библиотека по просьбе Знаменской послала Анрепу. В письме от 26 мая 1967 г. она писала ему:

> Между прочим, как я Вам писала, Анна Андр., передавая мне копию с 3-х отрывков из писем Ник. Вл. Вам, с которых для Вас будут сделаны фотокопии, сказала, как интересны и важны имеющиеся у меня материалы о Ник. Вл. и Люб. Ал. и чтобы я не торопилась сейчас же их дать в ГПБ. Откуда у нее были эти отрывки из писем Ник. Влад., она мне не сказала, но сейчас я совершенно уверена, что их ей передал Ваш знакомый, о котором Вы мне писали и которого я не знаю.

В. А. имела тут в виду меня. В более позднем письме она писала Анрепу, что А. А. называла ей меня и говорила о моем интересе к Недоброво и намерении издать его произведения. Когда мой знакомый передавал А. А. упомянутые выдержки, он, между прочим, спросил ее по моей просьбе насчет писем Н. В. к ней. Она ему сказала, что вынуждена была все его письма уничтожить после обыска у нее в связи с арестом сына.

Что касается «редактирования» Недоброво «Четок», то возможно, что в разговоре со Знаменской Н. В. имел в виду то, о чем писала Ю. Л. Сазонова в статье в *Новом Русском Слове:* «Ахматова совещалась с ним по всем вопросам, касающимся поэзии. У меня сохранился экземпляр *Четок* с пометками Недоброво ритма всех стихотворений и указаниями иного расположения стихотворений для готовившегося тогда третьего издания».

В длинном письме от 20—26 октября 1967 г. Знаменская писала о большом «Дон-Жуанском списке» Ахматовой и прибавляла, что знает кой-кого из этого списка и далеко не все вызывают у нее симпатию, или — как она говорила — «возможность их принять». Дальше говорилось много — и очень отрицательно — об Артуре Сергеевиче Лурье, а также об О. А. Глебовой-Судейкиной, с которой Лурье жил

в начале 20-х годов и которая играет такую большую роль в «Поэме без героя». Их обоих Знаменская хорошо знала: после выхода замуж за В. Э. Фехнера они вместе ездили в концертное турне и жили в одном салон-вагоне. Для биографии Ахматовой может представлять интерес одно место в этом письме — то, где говорится о плане Глебовой-Судейкиной соблазнить Ахматову уехать за границу:

> Между прочим, не помню точно — пожалуй, это было в 1922 г. — Ольга Афанасьевна собиралась уехать за границу и говорила мне, что она очень зовет ехать с ней Анну Андр., что как раз сейчас самое время — потому что ее слава (вроде как) поглотительницы мужских сердец, обольстительницы, стоит и заграницей очень высоко. И речь была об А. А. не как поэтессе, а как Клеопатре с берегов Невы. Здесь нет никаких точных слов, только как мне запомнился смысл речей О. А. И как это она могла стать героиней «Поэмы без героя» — я что-то не пойму.

О планах «увезти» Ахматову в Париж Знаменская вспоминала еще в одном письме. С этим интересно сопоставить то, что позже, в 1926 г., в Париже распространялись слухи о предстоящем приезде туда Ахматовой. Об этом писала самой Ахматовой Марина Цветаева (см. М. Цветаева, «Неизданные письма», Париж, 1971, стр. 377). Но Цветаева не упоминала в этой связи Глебову-Судейкину, а последняя в это время уже жила в Париже.

Свое обещание рассказать Анрепу о том, как она познакомилась с четой Недоброво, а также о знакомстве с Ахматовой, В. А. Знаменская исполнила в своем длинном письме в Лондон. Это двойное письмо было закончено 1 февраля 1968 г.

Знакомство Знаменской с Л. А. Недоброво произошло в начале мая 1913 года на вечере памяти Гаршина в Рабочем клубе на Обводном канале. Одной из устроительниц этого вечера была известная переводчица Мария Валентиновна Ватсон, которая и пригласила на этот вечер Знаменскую. Перед началом вечера она увидела в зале очень красивую даму. Н. В. Недоброво позже, в письме Б. В. Анрепу, как мы видели, характеризовал Знаменскую, как влюбленную в его жену «очаровательную курсистку». Об этой «влюбленности» свидетельствует и то, как больше пятиде-

сяти лет спустя Знаменская описывала свою встречу с Л. А. Недоброво: «... я увидела очень красивую даму, одетую с большим вкусом, в светло-бежевом платье, отделанном чудесными кружевами в цвет материи; прелестное мягкое, женственное выражение лица, статная фигура. Она такая была единственная во всем зале, да и вообще — немного таких встречалось».

В антракте Л. А. Недоброво со своим спутником, оказавшимся потом А. Д. Скалдиным, прошла в артистическую, где хозяйкой была М. В. Ватсон. Та познакомила Знаменскую с ними. При этом выяснилось, что Л. А. приехала на вечер, чтобы повидаться с каким-то выступавшим на нем артистом Московского Художественного Театра и устроить читку пьесы ее мужа. Знаменская в письме Анрепу прибавляла, что за все время своей дружбы с Недоброво она так и не узнала (или совершенно забыла), о какой пьесе шла речь и была ли она принята к постановке. Но то была несомненно «Юдифь», о которой Недоброво действительно вел переговоры с театром Станиславского.

«Видимо, мое застенчивое преклонение вызвало симпатию ко мне Л. А.», писала Знаменская. Во всяком случае она и Скалдин тут же пригласили ее на следующее собрание Общества Поэтов. На этом собрании Знаменская познакомилась и с Н. В. Недоброво. По-видимому, это было 18 мая, и этот день потом считался у четы Недоброво юбилейным днем их знакомства. В первую годовщину знакомства оба Недоброво подарили Знаменской свои портреты, и на своем Н. В. сделал такую надпись: «Вере Алексеевне Знаменской, чтобы она вспоминала о моей к ней дружбе и тогда, когда о своей дружбе ко мне она уже забудет. Если бы не забыла. Недоброво. 18. V. 14 — в первую годовщину знакомства».

О впечатлении, произведенном на нее Н. В. Недоброво и о знакомстве с Ахматовой Знаменская рассказывала так:

> Пленительное впечатление произвел на меня Николай Владимирович. У меня сложились с Недоброво очень хорошие отношения. Я их обоих любила — каждого по-своему и в каждого была влюблена. Чаще всего я у них встречалась с А. Д. Скалдиным, Евг. Гр. Линсенковым и Юрием Никандровичем Верховским. У Недоброво в январе 1914 г. на рауте в честь В. И. Иванова я познакомилась с Анной Андреевной Ахмато-

вой. В этот вечер она была такая, как на портрете О. Делла Вос Кардовской и такая, как нарисовал ее А. А. Блок в его стихотворении: «Красота страшна», – Вам скажут, – / Вы накинете небрежно / Шаль испанскую на плечи, / Красный розан в волосах...

Как мне помнится, больше у Недоброво с А. А. Ахматовой я никогда не встречалась, не помню ее и на собраниях Общества Поэтов, на Спасской улице.

После встречи и знакомства с Ник. Вл. в О-ве Поэтов в мае 1913 г. я была у Недоброво раза два и уехала на каникулы к родителям в деревню Григорово под Новгородом. Там находилась Земская Учительская семинария, директором которой был мой отчим. [...]

По возвращении осенью 1913 г. в СПБ я стала довольно часто бывать у Недоброво; меня приглашали к обеду с тем, чтобы провести у них и вечер; часто в эти же дни бывал у них и А. Д. Скалдин. После обеда мы уютно устраивались у топящегося камина, пекли на угольках каштаны, которые Н. В. очень любил. Вечера проходили в беседе, иногда Н. В. читал вслух, а то и просто в веселой болтовне.

В первой же открытке Л. А. писала мне: «Я не сердилась на вас, что Вы 'ворвались' ко мне, т.к. ворвались Вы как свежий утренний ветер и внесли к нам молодость и радость». [...]

Чудесные письма писал мне Н. В.

Дальше В. А. рассказывала:

В 1914 г. Недоброво переехали в Царское Село; жили они близко от вокзала, на б. Бульварной ул., д. 54. Я часто получала открытки подобного характера: «...Я буду очень рад, если Вы приедете в пятницу с утра. Займемся, а там и поболтаем. Л. А. Вас целует. Ваш Недоброво». Я часто приезжала на целый день. Гуляла с Н. В. в парке; он помогал мне разбираться в средневековой латыни — в тот год я была в семинаре проф. О. А. Добиаш-Рождественской — «Вопросы инвеституры». Вечером Н. В. провожал меня на вокзал. В письмах Н. В. делился со мной своими переживаниями, состоянием здоровья, занятиями и др. В письме 17. IV. 15: «У меня печали и радости небольшие: сегодня я доволен, что нет бури и солнце светит; предыдущие дни было наоборот; это меня огор-

чало. Лежа я читал, главным образом Пушкина — сколько радости по тому или другому случаю и сколько грусти общей и безысходной я испытываю всегда при этом чтении. А ведь конечно его жизнь одна из самых завидных во все времена. По этому примеру судите, до какой степени ни к чему все мерки жизни счастьем и несчастьем, радостью, горем и т. д. — мишура все это. А то, в чем дело, так сразу не скажешь Читайте, пожалуйста, биографии великих людей — не те, где излагаются формуляры их славы, но в которых обнажена вся мука их жизней — это очень освобождает от всего того, что Вам грозит. Эти мысли и чувства — все, что вообще можно из меня вычерпать — видите, из какого горького колодца вздумали Вы пить, дорогая себялюбка. Ну да это дело хорошее...

Если бы начало этого письма Знаменской о частых визитах к Недоброво в Царское относились целиком или преимущественно к 1914 году, то, в сопоставлении с тем, что мы знаем об отношениях между Н. В. и Ахматовой, можно было бы удивиться, что В. А. никогда не встречала там последнюю. Но в письме почти наверное «контаминированы» 1914 и 1915 годы. А в 1915 году уже началось охлаждение между Н. В. и А. А., и горечь цитируемого письма Н. В. не случайна и не удивительна.

В ответ на вопрос Б. В. Анрепа об отношениях между Н. В. и его женой Знаменская писала, что отношения эти были «самые нежные, внимательные, с большим уважением и сердечностью — все обоюдно». И приводила примеры: как Н. В. волновался, когда в самом начале войны Л. А. застряла в Германии, где она была с теткой; как тревожило его отсутствие вестей от нее подолгу, когда она уехала в Сербию.

Во второй части своего длинного письма, в котором она пыталась восстановить всю историю своего знакомства с Недоброво, Знаменская писала, что она пришла в полное отчаяние от невозможности рассказать все как хочется и что она думает, что в лучшем случае ей удалось показать Недоброво лишь «очень односторонне», применительно к его отношениям с ней. «И вообще-то разве по моим силам дать характеристику человека такого многостороннего, умного, глубоко-образованного, с его богатством духовной, ду-

шевной и интеллектуальной жизни!» — восклицала она. И прибавляла: «Могу только печально смеяться над собой. А вы — надо мной».

Говоря о разнообразии своей жизни и интересов в те годы (концерты, опера, театры, лекции, новые знакомства — в том числе со студентом-политехником В. Э. Фехнером, который ушел добровольцем на войну и за которого она потом вышла замуж), В. А. писала:

> Но... Недоброво оставались моими дорогими, любимыми и для них у меня всегда находилось время. Отношения Н. В. с Анной Андреевной меня совершенно не интересовали, об этом никаких слов с Н. В. ни разу не было, и если что-то доходило, то только очень редко от Л. А. и, конечно, я целиком, очевидно, думала как она.

Дальше она касалась отношений между Анрепом и А. А., о которых ничего не знала, и отношения Н. В. к Анрепу, о котором узнала из посланных мною Ахматовой выдержек из писем Недоброво:

> ...только получив от А. А. эти отрывки из писем Н. В. к Вам, я поняла, как Вы ему были близки и дороги. По-моему, кроме Вас, такого интимно-близкого, дорогого, родного, любимого у него никогда не было. Были люди, которые м. б. были ему интересны, м. б. он их уважал, но ничего похожего на Ваши с ним отношения не было. Н. В. был человек гордый и скрытный и... стыдливый и мимозный. Эта манера «свысока», о которой Вы писали, что Н. В. в этом обвиняли — именно этими его свойствами и объясняется. Кроме того уже со времени заражения tbc он страдал малокровием, нервным переутомлением; нося в себе много творческих мечтаний и планов, он не мог их осуществить, т. к. физическая слабость, отсутствие сил не позволяли. [...]
>
> Внешность Н. В. носила очаровательные следы dandy'зма — всегда элегантно одет, блистал какой-то тончайшей манерой ухода за собой, прелестными манерами, какой-то рыцарской вежливостью, изяществом; искрился мыслями, остроумными замечаниями, оживлением, и при мужественности я всегда чувствовала мягкую дружескую нежность. Мне сейчас попа-

лась на глаза книжечка с моими записями из прочитанного. Композитор Дж. Пучини в одном из своих писем к своему другу — либреттисту оперы «Турандот» — пишет: Мне кажется, все мы в этом нуждаемся, и эту «нужду» я отчетливо чувствовала в Николае Владимировиче. [...] В моей долгой жизни я встречала много разных людей, завет Н. В. я не забывала: «...дайте Божьему миру как можно больше любви своей», но и до сегодняшнего дня я помню и люблю Л. А. и Н. В. — так много света, радости, любви и нежности нас соединяло...

В. А. писала также Анрепу, что, когда Недоброво уехали в конце 1916 года на Кавказ, на их квартире на Бульварной улице в Царском Селе остались их вещи «и, главное, библиотека Н. В., его архив и даже, кажется, дневник». О судьбе всего этого она не могла ничего узнать. Нам известно только, что в Пушкинском Доме хранится какой-то архив Н. В., охватывающий почти всю жизнь его до 1917 года.

По крайней мере в двух более поздних письмах Знаменская опять очень отрицательно отзывалась об А. С. Лурье. Ей очень не понравились его воспоминания об О. А. Глебовой-Судейкиной, напечатанные в «Воздушных Путях»: сделанный мною фотостат этих воспоминаний был послан ей Б. В. Анрепом. Она писала также о возмущении, которое вызвало у Ахматовой то, что писал покойный С. К. Маковский об ее отношениях с Гумилевым.

Мною от Знаменской было получено три письма, написанных в сентябре и октябре 1968 года (последнее письмо было от 19 октября — на девять дней позже ее последнего письма к Анрепу). Никаких новых сведений о Недоброво в этих письмах не было. В последнем письме В. А. благодарила меня за посланные ей мною копии писем ко мне Ю. Л. Сазоновой и писала, что ей «очень дорого было узнать, что она была около него до самого конца», ибо она знала, что Сазонова «преданно любила Ник. Влад.» Я ответил на последнее письмо В. А., но больше писем от нее не получал. Она скончалась 15 декабря 1968 г., о чем я узнал от Анрепа. Архив ее, включающий ее переписку с Анрепом и со мной, хранится в Государственной Публичной Библиотеке как «фонд В. А. Знаменской-Щербачевой»: вторым браком она была замужем за композитором В. В.

Щербачевым (1889—1952), который написал много музыки на слова А. Блока.

***

Отразились ли как-нибудь отношения с Ахматовой в творчестве самого Недоброво — хотя бы в его лирике?

Ю. Л. Сазонова в своей статье в *Новом Русском Слове* цитировала два четверостишия из одного стихотворения Недоброво как «стихотворное утверждение [...] будто Ахматова не писала ему стихов». Она объясняла это тем же желанием направить современников, и в частности критиков, по ложному следу, какое видела в том, что Ахматова назвала Недоброво своим «знаменитым современником».

Стихотворение, о котором говорила Сазонова, было напечатано в 1916 году в *Альманахе Муз* (Петроград, кн-во «Фелана») вместе с четырьмя другими стихотворениями Недоброво. Все они без дат и все почти наверное написаны не позже 1915 года. Вот это стихотворение с его неожиданной концовкой:

С тобой в разлуке от твоих стихов
Я не могу душою оторваться.
Как мочь? В них пеньем не твоих ли слов
С тобой в разлуке можно упиваться?

Но лучше б мне и не слыхать о них!
Твоей душою словно птицей бьется
В моей груди у сердца каждый стих,
И голос твой у горла, ластясь, вьется.

Беспечной откровенности со мной
И близости — какое наважденье!
Но бреда этого вбирая зной,
Перекипает в ревность наслажденье.

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближеньи каждого лица,
В своей крови свирелей пенье слышишь!

И скольких жизней голосом твоим
Искуплены ничтожество и мука...
Теперь ты знаешь, чем я так томим? —
Ты, для меня не спевшая ни звука.

Предположение Ю. Л. Сазоновой об адресате кажется мне вполне правдоподобным, хотя объяснение заключительной строки может быть и иным. Стихотворения этого нет в анреповском альбоме, что может означать, что оно относится скорее к более позднему, чем к более раннему, периоду — к 1915 году, а не к 1914 или 1913. Но оно во всяком случае написано до выхода «Белой стаи», а туда вошли все стихи, которые Ахматова при жизни, по ее собственному признанию, посвятила Недоброво. В «Четках» таких стихов не было, хотя некоторые, как я уже говорил, можно было бы счесть обращенными к Недоброво. Но и в «Белой стае» посвящения обозначены не были, и формально Н. В., пожалуй, имел право говорить, что А. А. «не спела для [него] ни звука».

В «Белой стае» было одно стихотворение, посвящение которого Недоброво (правда, с опечаткой, могшей кой-кого ввести в заблуждение: «*К.* В. Н.» вместо «Н. В. Н.») было обозначено в четвертом («берлинско-петербургском») издании 1923 г. Мне думается, что это стихотворение, помеченное «1915. Петербург. Весна», было как бы ответом на процитированное выше стихотворение Недоброво, которое Ахматова должна была знать до его появления в печати. Вот это стихотворение:

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —
Пусть в жуткой тишине сливаются уста,
И сердце рвется от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие поражены тоскою . . .
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.

Ахматова отвечает Недоброво не на упрек, брошенный им ей за то, что она «не спела для [него] ни звука». Ответ

ее — не прямой, а косвенный. Но в этом стихотворении впервые в стихах, посвященных ему, сказалось ее охлаждение к нему: черта достигнута, и ее сердце больше не бьется под его рукой. Охлаждение можно, значит, датировать довольно точно: весной 1915 года. Как мы видели, оно было связано с появлением на сцене Б. В. Анрепа.

При одинаковом чередовании мужских и женских рифм и ямбическом размере обоих стихотворений они формально не идентичны: в стихотворении Недоброво строго выдержан пятистопный ямб; в стихотворении Ахматовой довольно необычное и капризное сочетание 6-стопного и 5-стопного ямба: на двенадцать строк четыре шестистопных и восемь пятистопных, причем вторая строфа вся пятистопная, в третьей строфе только одна строка (первая) шестистопная, а в первой строфе, наоборот, только одна строка (последняя) — 5-стопная. Общий эффект такого метрического построения — движение от тяжелизны к легкости. При этих метрических различиях — налицо явный синтактический параллелизм, что особенно чувствуется в конечных двустишиях обоих стихотворений: «Теперь ты знаешь...» и «Теперь ты понял...», где мы находим и лексическое почти-тождество. Есть перекличка, и образная и словесная, и между вторым четверостишием Недоброво, с одной стороны, и первым и последним четверостишиями Ахматовой. И, одновременно, это второе четверостишие Недоброво очень близко перекликается, даже словесно, с тем местом в его статье об Ахматовой, где он писал, что ее творчеству «дорого трепетать своими созданиями *в самой груди,у сердца слушателя, и ластиться у его горла*». Да и все стихотворение в целом представляется как бы сжатым поэтическим выражением того, что Недоброво писал о ее поэзии, о ее *человеческом* содержании. Надо думать, особенно если исходить из первой строки, что стихотворение написано вскоре после написания статьи, во время той «трехмесячной разлуки», о которой Недоброво писал, как о предстоящей им, в письме Анрепу в мае 1914 года. [9]

В альбоме Анрепа бóльшая часть стихотворений Недоброво относится к более раннему времени, и в них не может быть ни стихов, обращенных к Ахматовой, ни поэтических отголосков ее творчества (а чтó бы ни говорил сам Недоброво — я имею в виду приведенные мною слова его в письме к Анрепу о стихах «под Ахматову» — между

поэтикой Ахматовой и его приемами в ранних стихах никакого сходства не было). Но два последних записанных в альбоме стихотворения (что не значит непременно, что они последние по времени) могли относиться к Ахматовой. В отношении первого из них такое предположение на первый взгляд кажется даже весьма соблазнительным. Напомню то письмо Недоброво к Анрепу, в котором он писал, что с Ахматовой можно было бы сделать и рисунок в духе Леонардо да Винчи, и портрет в стиле Гэнсборо. А вот что говорит Недоброво, обращаясь к кому-то в этом стихотворении:

Во взгляде ваших длинных глаз, то веском,
То зыбком, то поющем об обмане,
Вдруг тайный свет затеплится в тумане
И воссияет углубленным блеском.

Не так ли в зачарованном лимане
Плывет луна, заслушиваясь плеском?
Ах, вас бы повести к леонардескам
В музее Польди-Пеццоли в Милане.

Себя, смотрясь, как в зеркала, в полотна,
Вы б видели печальной в половине,
А в остальных жестокой беззаботно.

А вас живую с вами на картине
Сличая, я бы проверял охотно
Больтраффио, Содому и Луини.

При сопоставлении этого стихотворения со строками Недоброво в письме к Анрепу мне показалось несомненным, что оно написано об Ахматовой и должно относиться ко второй половине 1913 или началу 1914 года (письмо было написано весной 1914 года). Такую гипотезу я высказал в докладе об Ахматовой и Недоброво, который читал летом 1971 г. в одном канадском университете и в двух университетах США. Но тогда публикация этого стихотворения была мне неизвестна, что я и оговорил. С тех пор я ее обнаружил, и она как будто опровергает мою гипотезу: стихотворение было напечатано в февральской книге *Северных*

Записок за 1913 год, то есть *до* предполагаемого знакомства Недоброво с А. А. Больше того: заглавие стихотворения в журнале представляет собой посвящение как будто бы совершенно другому лицу, имя которого обозначено инициалами: *Е. М. М.* Среди знакомых Недоброво и Анрепа я не знаю никого с такими инициалами. Найди я эту публикацию еще при жизни Анрепа, я мог бы спросить его (в его альбоме посвящения нет, хотя есть в нем другие стихотворения с посвящениями, в том числе тогдашней жене Анрепа, самому Анрепу, Вячеславу Иванову, О. А. Химона и др. А в том же номере *Северных Записок*, где напечатано стихотворение «Е. М. М.», другое стихотворение посвящено Татьяне Модестовне Девель, одной из сестер Девель, харьковских знакомых Анрепа и Недоброво, часто упоминаемых в письмах последнего). [10]

Конечно, и до лета или осени 1913 года, когда они, вероятно, познакомились, Недоброво мог встречать Ахматову — на башне у Вячеслава Иванова, в редакции *Аполлона*, на разных литературных собраниях, может быть даже у Н. С. Гумилева, и ничто не мешало ему уже тогда увидеть в ней «леонардеску». Но, не говоря о том, что содержание стихотворения говорит о знакомстве, а не о мимолетных встречах, подобных упомянутым, — почему посвящение какой-то Е. М. М.? До личного знакомства и близости «камуфляж», подобный заподозренному Ю. Л. Сазоновой у самой Ахматовой в ее стихотворении о «знаменитом современнике», едва ли мог быть нужен. Адресат стихотворения остается таким образом неизвестен, а само стихотворение — примером того, как опасно иногда строить умозаключения на основании даже как будто бы очень явных признаков.

Отсутствие посвящения в анреповском альбоме указывает на возможность того, что ко времени записи этого стихотворения в альбом Недоброво мысленно перепосвятил его Ахматовой.

Относимость второго стихотворения к Ахматовой еще гораздо более гадательна. Оно стилизовано под персидскую газель и озаглавлено «Газелла». Оно не *об* Ахматовой, но *могло* быть написано *для* нее. Вот заключительные шесть строк его:

Тело смуглой баядерки, дерзко гнущееся в пляске,
Все быстрее, все смелее раз от раза,
как разглядеть?

Склад души у дев, жадной до влюбленных наших взглядов,
У которой все увертка, все проказа,
как разглядеть?

А намеренья поэта, у которого для девы
В наставленьях, в песнях, в сказках нет отказа,
как разглядеть?

Строка о деве «жадной до влюбленных взглядов» напоминает кое-что в статье Недоброво об Ахматовой.

9

В своей уже упоминавшейся статье об Ахматовой и Блоке, в которой он цитировал полемическую статью Блока против акмеистов, противопоставлявшую «усталую, болезненную, женскую и самоуглубленную манеру» Ахматовой «мужественно-твердому и ясному взгляду на жизнь» акмеистов, В. М. Жирмунский писал, что Ахматова едва ли согласилась бы с такой характеристикой ее поэзии и что из всех ранних отзывов о себе она отдавала предпочтение (мы это уже знаем!) отзыву Недоброво, который назвал ее «сильной» и в ее стихах угадал «лирическую душу, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную». [11] Приведя эти слова из статьи Недоброво в *Русской Мысли,* Жирмунский сопровождал их следующей цитатой из Ахматовой:

> Как он мог угадать жестокость и твердость впереди? Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки — так себе сентименты, слезливость, каприз... Но Недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его, потому что хорошо знал меня.

После этой цитаты Жирмунский ставит в скобках дату: *24 мая 1940 года.* Но не говорит, откуда эта цитата: из письма А. А. (если так, то к кому — к нему?)? из недавних воспоминаний? из дневника? А вслед за этим Жирмунский

писал, что в «Поэме без героя» эта мысль запечатлена в следующих словах:

Разве ты мне не скажешь снова
Победившее
смерть
слово
И разгадку жизни моей?

При этом ту часть «Поэмы», где находятся эти слова, Жирмунский назвал *«царскосельской идиллией, посвященной памяти Н. В. Недоброво»*. Так как в последние годы жизни Ахматовой Жирмунский много общался с ней (их дачи в Комарове были по соседству), то надо полагать, что у него были хорошие основания связывать эти строки с Недоброво. Жаль только, что он не привел целиком всю концовку третьей главы «Девятьсот тринадцатого года». Перед приведенными им строками мы читаем:

А теперь бы домой скорее
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.
Там за островом, там за садом,
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей?

Концовка третьей главы в «Поэме» — последняя дань Ахматовой памяти Н. В. Недоброво. Она сама назвала эту третью главу «Лирическое отступление: последнее воспоминание в Царском Селе».

1972 *Глеб Струве*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Печатая в 1923 г. пьесу Недоброво «Юдифь» и статью о нем Ю. Л. Сазоновой-Слонимской *(Русская Мысль*, Прага—Берлин, 1923, кн. VI—VIII), П. Б. Струве сделал такое примечание: «Я с душевным удовлетворени-

ем помещаю «Юдифь», посмертное произведение Н. В. Недоброво, который был всегда желанным сотрудником *Русской Мысли,* и любовно написанный Ю. Л. Сазоновой-Слонимской его портрет. Личность Н. В. Недоброво даже для тех, кто не был с ним лично близок, была отмечена внутренней значительностью и глубиной».

2. Рядом с Н. В. Недоброво в том же архивном «Указателе» фигурирует Владимир Владимирович Недоброво (1905—1957), для которого зарегистрировано 336 единиц хранения за годы 1910—1951. Он назван «кинодраматургом». Судя по дате рождения, он, несмотря на совпадение отчеств, не мог быть родным братом Н. В. Возможно, что это был сын, от второго брака, отца Н. В. В воспоминаниях Б. В. Анрепа ничего о таком браке нет, а В. А. Знаменская о семье Недоброво вообще ничего не говорит. Анреп только намекает, что родители Н. В. не жили, на его памяти, вместе.
3. Если верить Ю. Л. Сазоновой, Недоброво происходил из старинной дворянской семьи. Она же говорит о детских годах, до Харькова, проведенных «в родительских имениях Тамбовской и Курской губерний». Анреп ничего об этом не говорил, но он познакомился с Недоброво, когда тому было уже шестнадцать лет. Где-то я, помнится, читал, что по матери Недоброво находился в каком-то родстве с Баратынским. После Пушкина, которому он не видел равных, Тютчев и Баратынский были его любимыми поэтами. О Тютчеве он писал работу в университете. Есть у него и стихотворение о Тютчеве.
4. О последнем периоде жизни Недоброво Ю. Л. Сазонова рассказала гораздо позже — в статье о нем в *Новом Русском Слове* (Нью-Йорк) от 26 мая 1954 г. Она жила одновременно с Недоброво в Сочи и в Красной Поляне и потом виделась с Н. В. в Крыму до самой его смерти. В Сочи Недоброво встречался с Вячеславом Ивановым.
5. В Петербурге Анреп и Недоброво перешли на «ты». В письмах своих Недоброво всегда писал слово «ты» с прописной буквы.
6. Подробности о жизни Недоброво на Кавказе и в Крыму см. в уже упоминавшейся статье Ю. Л. Сазоновой в *Новом Русском Слове.*
7. Американец, о котором идет речь, — очевидно, тот самый «византолог, читающий лекции в Филадельфийском университете», с которым Недоброво встречались в 1913 году в Париже и с которым они, вероятно, по-

знакомились через супругов Химона (а те с ним — в Константинополе). В таком случае это, без сомнения, профессор Уиттемор (Thomas Whittemore).

После первой мировой войны он изучал фрески в Святой Софии и других храмах в Константинополе. Русская эмиграция обязана ему не только тем, что он сделал для Л. А. Недоброво, а и тем, что он учредил ряд стипендий для русских студентов во Франции. Распределением этих стипендий ведал в Париже возглавлявшийся М. М. Федоровым Комитет помощи русскому юношеству за рубежом. В 1924—25 г. я работал в этом комитете, но понятия не имел, что Уиттемор, имя которого я постоянно слышал, имел когда-то какое-то отношение к Недоброво.

8. Для Недоброво Пушкин был мерилом всех ценностей. Об исполнении Ахматовой «завета» Пушкина он писал в своей статье о ней. Думается, что в «пушкинизм» Ахматовой и он внес какой-то вклад. Об этом писала и Ю. Л. Сазонова.
9. На синтактический параллелизм двух стихотворений обратил мое внимание К. Ф. Тарановский после моего доклада в Гарвардском университете, за что приношу ему искреннюю благодарность.
10. См. об этом также мою статью «К проблеме аттрибуции стихотворных посвящений» в *Ricerche Slavistiche*, vol. XVII—XIX (In memoriam G. M a v e r), pp. 507—514.
11. В. М. Жирмунский и сам еще до революции напечатал интересную статью об Ахматовой. Статья эта появилась через полтора года после статьи Недоброво в той же *Русской Мысли*, как часть общей статьи о «преодолевших символизм», то есть акмеистах. Позже Жирмунский напечатал очень хорошую статью о «Белой стае» в газете *Наш Век* (бывшая *Речь*). Обе статьи об Ахматовой в переработанном виде вошли в книгу «Вопросы теории литературы» (1928). Статья из *Нашего Века* в первоначальном виде воспроизводится нами в этом томе. Недоброво уехал из Петербурга на юг до выхода «Белой стаи». В письме мне Ю. Л. Сазонова писала, что она показывала Н. В. экземпляр «Белой стаи», который Ахматова ей подарила перед ее отъездом из Петербурга. По-видимому, своего экземпляра у Недоброво даже не было. См. также интересное сопоставление статьи Недоброво об Ахматовой и статьи В. М. Жирмунского об акмеистах («Преодолевшие символизм», *Русская Мысль*, 1916, № 12) в предисловии Е. Эткинда к посмертно вышедшей книге Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой» (изд-во «Наука», Ленинград 1973) стр. 14—18.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С тех пор как были написаны печатаемые выше рассказы об отношениях Ахматовой с Н. В. Недоброво и с Б. В. Анрепом прошло несколько лет. За это время в Советском Союзе к личности Недоброво и его месту и роли в жизни Ахматовой был проявлен большой интерес, и его имя не раз упоминалось в статьях о ней — в частности в связи с «Поэмой без героя», которая — правда, не совсем полностью — вошла наконец в последнее издание произведений Ахматовой. [1]

О том, как ценила Ахматова раннюю статью Недоброво о себе, и о том, как отразился Недоброво в «Поэме без героя» писал в своей вышедшей посмертно (с вступительной статьей Е. Эткинда) книге об Ахматовой В. М. Жирмунский:

> Ахматова в поздние годы не любила, когда ее поэзию называли, по поверхностным воспоминаниям о «Четках» — «усталой», «слабой», «болезненной». Поэтому из ранних отзывов о своих стихах она в особенности ценила статью Н. В. Недоброво, который назвал ее «сильной» и в стихах ее усмотрел «лирическую душу, скорей жестокую, чем слезливую и уж явно господствующую, а не угнетенную». «Как он мог угадать жестокость и твердость впереди, — говорила она Л. К. Чуковской через много лет после смерти своего друга. — Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки — так себе сентименты, слезливость, каприз... Но Недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его, потому что хорошо знал меня». И в последние годы жизни, в автобиографических заметках к «Поэме без героя»: «Ты, кому эта поэма принадлежит на $^3/_4$ так, как я сама на $^3/_4$ сделана тобой, я пустила тебя только в одно лирическое отступление». В царскосельском эпизоде поэмы («А теперь бы домой скорее, Камероновой галереей...») это «предсказание» облечено в стихотворную форму:

Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей? [2]

Цитируя слова Ахматовой о том, кому «Поэма» принадлежит на $^3/_4$ и кем она сама сделана на $^3/_4$, Жирмунский в примечании ссылался на, видимо, неопубликованный текст в ЦГАЛИ.

Место и роль Недоброво в «Поэме» до сих пор, однако, освещены недостаточно. Судя по приводимому Жирмунским тексту, его как будто не следует искать в сцене маскарада или еще где-нибудь. В интересной статье Т. В. Цивьян Недоброво упоминается только мимоходом. Но она и не задается целью отыскать «прототипы» в «Поэме». [3]

Еще меньше света пролито пока на возможное место в «Поэме» Б. В. Анрепа. Мне представляется, что в «Госте из будущего» образ Анрепа как-то контаминирован с образом реального человека, который, как правильно замечает в уже упомянутой книге Жирмунский, «не современник описываемых событий», а «принадлежит к более позднему временно́му плану, чем остальные герои поэмы», являясь «до известной степени живым свидетелем происходящего действия и слушателем рассказа героини». [4] Этого гостя Ахматовой «из будущего» выдает «сигары синий дымок». Но с «Гостем из будущего» как-то сливается и кто-то другой, и в этом другом («с тобой, ко мне не пришедшим»), может быть, следует видеть Анрепа.

Г. С.

---

[1] См. Анна Ахматова. «Избранное». Москва, «Художественная литература», 1974, 522 стр. (С послесловием Н. Банникова).

[2] В. М. Жирмунский. «Творчество Анны Ахматовой. Изво «Наука», Ленинград, 1973, стр. 42.

[3] «Заметки к дешифровке 'Поэмы без героя'». «Труды по знаковым системам V» («Ученые Записки Тартуского Государственного Университета», вып. 284, Тарту, 1971, стр. 255—257).

[4] Жирмунский, ук. соч., стр. 155.

ДОБАВЛЕНИЕ К ПОСЛЕСЛОВИЮ О НЕДОБРОВО

Во втором Пушкинском сборнике, составившем том 215 «Ученых Записок Латвийского Государственного Университета» (Рига, 1974), была напечатана интересная статья Р. Д. Тименчика «Ахматова и Пушкин. Заметки к теме». Касаясь пушкинских отголосков в поэзии Ахматовой, Тименчик многие из них, особенно царскосельские и петербургские, связывает с личностью Н. В. Недоброво и отношениями Ахматовой с ним. Недоброво он при этом называет «одним из самых замечательных представителей ахматовского поколения».

Тименчик считает, что пушкинскими реминисценциями «пронизаны» все стихи Ахматовой, обращенные к Недоброво, которого, говорит он, окружала «аура пушкинских интересов». Во втором разделе своей статьи, озаглавленном «Страдальческая тень», с эпиграфом из Ахматовой (. . . Это тени, / Оторвавшиеся от тел»), Тименчик разбирает стихотворение Ахматовой «Вторая годовщина» (см. стр. 287 в первом томе нашего издания). Стихотворение это было написано 1 июня 1946 г., ко второй годовщине ее возвращения в Петербург (из Ташкента). Оно начинается строками о «невыплаканных», «внутри скипевшихся» слезах, а кончается строками о том, как она «свой город увидала / Сквозь радугу последних слез». Тименчик правильно определяет «сюжет» этого стихотворения как «слезы, прорвавшиеся сквозь былую 'бесслезность' ('Но в мире нет людей бесслезней, / Надменнее и проще нас', 1922)»; а «смысловой стержень всех лирических мотивов стихотворения» видит в «возвращении»: «возвращение Автора в 'свой город', возвращение слез к 'Музе Плача' и возвращение 'страдальческой тени'».

Третья строфа стихотворения (всего их в нем четыре) читается:

Но мнится мне: в сорок четвертом,
И не в июня первый день,
Как на шелку возникла стертом
Твоя страдальческая тень.

Упоминая о том, что «страдальческая тень» это реминисценция из Пушкина, из шестой главы «Евгения Онегина» (о Ленском), Тименчик относит ее в стихотворении Ахматовой к Недоброво. При этом он отмечает, что возникновение «страдальческой тени» на «стертом шелку» нуждается в реальном комментарии и дает его: «Теневой силуэт Недоброво был необычайно красив, — зная это, он повесил в кабинете, где принимал гостей, сбоку от рабочего стола, парчовую занавеску, на которую падало отражение его профиля». Он прибавляет, что ему рассказала это в 1972 году близкая знакомая Недоброво, Т. М. Девель (о сестрах Девель см. в воспоминаниях Б. В. Анрепа об Ахматовой в настоящем томе).

Говоря о том, что Недоброво посвящено и так называемое «царскосельское отступление» в «Поэме без героя», Тименчик пишет:

> По нашему предположению, к нему (как и к Городу — одновременно) относится «страдальческая тень». Тень «глашатая красот Петербурга» совмещена с «призраком» Города. (Ср. в «Поэме без героя»: «Тень моя на стенах твоих»). Это совмещение — следствие смешения двух противоборствующих мотивов отечественной петербургологии, представленных и в воззрениях Недоброво: «Люблю тебя, Петра творенье» и «Быть пусту месту сему» (напомним, что обе эти цитаты взяты эпиграфами к Эпилогу «Поэмы»).

«Глашатаем красот Петербурга» назвал Недоброво его земляк по Харькову, известный литературовед А. И. Белецкий (1884—1961), которому Недоброво показывал — по-видимому, в 1907 году — Петербург. И Тименчик, который цитирует выдержки из воспоминаний Белецкого об этой поездке в Петербург, * дальше пишет:

> Декламирование соответствующих отрывков «Медного всадника» засвидетельствовано вышеприведенными воспоминаниями А. И. Белецкого, а отношение Недоброво к пророчеству «царицы Авдотьи» в принадлежащем, несомненно, ему тексте повестки вечера

---

* Воспоминания Белецкого напечатаны И. Я. Айзенштоком в сборнике статей «Искусство слова», выпущенном к 80-летию Д. Д. Благого (Москва, 1973).

стихов на тему «Красоты Петербурга» в руководимом им Обществе Поэтов (1913): «Совет Общества предуведомляет, что стихи о Петербурге на тему «месту сему быть пусту» едва ли соответствовали бы духу предполагаемого заседания. **

По поводу этой повестки Тименчик пишет:

Как видим, Недоброво отказался от настроений, вызвавших восемью годами ранее его стихотворение «Царское Село», отсылку ко второй части которого соблазнительно было бы видеть в финале «Второй годовщины» («не видно нив и слез отсюда»).

Стихотворение Недоброво о Царском Селе Тименчик приводит по хранящейся в Пушкинском Доме рукописи, относя его, видимо, к 1905 году. Вот оно:

Чужды преданьям и народу
Дворцы и церкви рококо,
Они, сменившие природу,
Ее отдвинув далеко,
И генералы в римских тогах,
И гладь искусственных озер,
И желтый гравий на дорогах
И трав остриженный ковер.

** Повестка эта приведена полностью В. Н. Княжниным в примечаниях к письмам к нему Александра Блока в книге «Письма Александра Блока. Со вступительными статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина» (Ленинград, 1925). Речь идет о заседании Общества Поэтов 27 апреля 1913 г., на котором должен был читать доклад «О связи некоторых явлений русского стихотворного ритма с дыханием» сам Недоброво. К повестке об этом заседании было приложено следующее извещение: «М. Г. — Совет Общества Поэтов уведомляет Вас, что в начале мая, в заседании Общества Леонидом Викторовичем Рудницким будет прочтен доклад 'Красота Петербурга и поэзия', после которого предполагается чтение стихотворений, относящихся до красоты Петербурга. — Если Вам угодно принять участие в этом чтении и у Вас есть соответствующие, еще не напечатанные стихотворения, то благоволите до 1 мая доставить их на рассмотрение редакционного комитета Общества, на имя Председателя Комитета Н. В. Недоброво (Спб., Кавалергардская, № 20). — При этом Совет Общества предуведомляет, что стихи о Петербурге на тему 'месту сему быть пусту' едва ли соответствовали бы

Нас — было время — легкокрылой
Европой замутил угар,
И вырос из болот унылый
И стройный каменный кошмар.
Не видно нив и слез отсюда,
И мысль, возникнувшая здесь,
Туманится над жизнью люда,
Бессилия и яда смесь. *

По поводу этого стихотворения Тименчик дает следующий комментарий, сопоставляя его с ахматовским стихотворением «Одни глядятся в ласковые взоры...», написанным в 1936 году, в котором он видит отмеченную еще Жирмунским связь пушкинской и фольклорной традиции в поэзии Ахматовой:

> Некоторое поэтическое несовершенство не подготовлявшегося для печати стихотворения Недоброво может, обнажая его декларативную сторону, подсказать слово «полемика» для характеристики взаимоотношения этих двух лирических стихотворений. Думается, что важнее не полемика, а самое смысловое движение в пределах тех же категорий: «дворцы и церкви» и «преданья и народ», «подкапризовое» и «древнее». Второй оппозит реализуется и названием «маслиничного вечера», который у русского читателя не может не ассоциироваться с «привычками милой старины» (VI, 47), и «двурогого свидетеля», отсылающего к строфе, которая кончается стихами «Младой двурогой лик луны / На небе с левой стороны», а начинается — «Татьяна верила преданьям / Простона-

---

духу предполагаемого заседания». Заседание это состоялось 7-го мая. Кто читал на нем стихи, Княжнин не говорит. В том же Обществе Недоброво читал 1 ноября того же года сообщение о книге кн. С. М. Волконского «Выразительный человек».

* В рукописном альбоме стихотворений Недоброво, полученном мною от Б. В. Анрепа, строки 3-я и 4-я читаются несколько иначе:

Сады, которые природу
Преобразили далеко...

Кроме самых ранних, бóльшая часть стихотворений в альбоме не датирована, но есть основания думать, что этот вариант более поздний.

родной старины» (VI, 99). Пафос ахматовского стихотворения, в известном смысле, заключается в снятии этой оппозиции, и нейтрализатором является «Пушкин». *

В заключительной части своей статьи, цитируя из статьи Ахматовой о пушкинском «Каменном госте» слова о том, что Пушкин, «откликаясь 'на каждый звук', вобрал в себя опыт всего своего поколения», Тименчик пишет, что то же самое можно и должно сказать и об Ахматовой» и что «это и сказал впервые именно Недоброво в стихах и в прозе». И он цитирует из обращенного к Ахматовой стихотворения Недоброво в «Альманахе Муз» (1916) несколько строк, начиная с «Как ты звучишь в ответ на все сердца...») и фразу из статьи в «Русской Мысли» в 1915 году: «К Ахматовой надо отнестись с тем бóльшим вниманием, что она во многом выражает дух этого поколения и ее творчество любимо им».

Говоря о перекличке Ахматовой с Пушкиным, Тименчик упоминает также реминисценции в поэзии Ахматовой из других поэтов пушкинской поры, в том числе Вяземского и Дельвига.

По словам Тименчика, о смерти Недоброво сообщил Ахматовой в 1920 году О. Э. Мандельштам. Он приводит следующие фразы из ее «Листков из дневника»: «Он узнал об этом несчастии в Коктебеле у Волошина. И никогда никто больше не мог сообщить мне никаких подробностей». Этих фраз нет в напечатанных во втором томе нашего издания «Листках из дневника» о Мандельштаме. Имя Недоброво там не упомянуто ни разу. **

---

* Цифры в скобках отсылают к главам и стихам «Евгения Онегина». В примечании к цитируемым здесь местам статьи Тименчик приводит еще некоторые реминисценции Ахматовой и из Пушкина и из стихов гр. В. А. Комаровского, с которым дружил одно время Недоброво.

** Интересно, что, несмотря на привезенные Мандельштамом сведения, обстоятельства смерти Недоброво не были даже в 1925 г. широко известны в литературных кругах Петербурга, и В. Н. Княжнин в примечаниях к письмам Блока писал, что Недоброво умер в С о ч и. Как на первоисточник рассказов о «страдальческом умирании» Недоброво, Тименчик ссылается на письма жены Недоброво к Максимилиану Волошину, хранящиеся в Пушкинском Доме.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 1979 г.

В самом конце 1976 года вышел однотомник «Стихотворений и поэм» Ахматовой в большой серии «Библиотеки поэта». Этот том, свыше 550 страниц, был составлен и комментирован одним из лучших знатоков поэзии Ахматовой и в последние годы ее жизни частым ее собеседником (они были соседями по Комарову), В. М. Жирмунским, но вышел уже после его смерти (он умер в 1971 г.). На обороте титульного листа это издание названо не совсем правильно «наиболее полным и первым научно подготовленным собранием произведений А. Ахматовой». Не говоря о том, что однотомник включает только стихотворные произведения — ее проза, критическая и иная, и не подлежала включению в него — в однотомник не вошли ни «Реквием» (кроме четырех отдельных стихотворений, публиковавшихся и раньше,связь которых с «Реквиемом» никак не обозначена — №№ 316—319), ни ряд других стихотворений.

В издании Жирмунского следующие стихотворения отождествлены как посвященные Н. В. Недоброво: №№ 127 (Есть в близости людей заветная черта...), 135 (Целый год ты со мной неразлучен...), 149 (Царскосельская статуя: Уже кленовые листы...), 150 (Вновь подарен мне дремотой...) 151 (Все мне видится Павловск холмистый...) и 189 (Милому: Голубя ко мне не присылай...). Всего шесть стихотворений, то-есть на одно меньше, чем Ахматова назвала Знаменской и почти наверное на несколько меньше, чем было на самом деле.

Первые три из этих шести стихотворений и пятое напечатаны в однотомнике с инициалами Н. В. Н. в посвящениях. О четвертом в примечании сказано, что оно, «по-видимому», тоже посвящено Недоброво, а о последнем — что посвящение в автографе было перечеркнуто. Стихотворение «Царскосельская статуя» — единственное, которое раньше дважды печаталось с полным именем Недоброво: в сборниках «Из шести книг» (1940) и «Стихотворения» (1958).

Первые пять из упомянутых стихотворений в однотомнике, посвященных Недоброво, названы и в вышедшей раньше, но тоже уже посмертно (в 1973г.) книжке Жирмунского «Творчество Анны Ахматовой».

В примечаниях в однотомнике к «Поэме без героя» имя Недоброво упомянуто только с отсылкой к примечанию к стихотворению «Есть в близости людей заветная черта...». Там сказано, что Недоброво в «Поэме» посвящено царскосельское «лири-

ческое отступление». Даны при этом (очень кратко) сведения о Недоброво, и цитируется из черновых заметок Ахматовой такая ее фраза о нем: «Я сама на $^3/_4$ сделана тобой». Не сказано, однако, входила ли эта фраза — как можно подумать — в письмо (или черновик письма) Ахматовой к Недоброво.

Мне хочется сказать еще кое-что о разных толкованиях роли отдельных персонажей в «Поэме без героя» — на эту тему будут, вероятно, еще очень много писать и спорить.

В главном сюжетном эпизоде в «Поэме» — в истории Князева и Глебовой-Судейкиной — Недоброво, насколько известно, не играл никакой роли. И я, может быть, напрасно предположил, что в «наряженном верстою», который назван Ахматовой главным из троих, надо видеть — пусть главного в каком-то другом смысле —Недоброво. В жизненой ситуации, легшей в основу этого эпизода в «Поэме», не совсем как будто ясна и роль Блока: был он соперником Князева? Но почти все сразу увидели его в том «другом», который «как демон одет». Говоря об этом в своей книге о творчестве Ахматовой, Жирмунский ссылался на строки, которые он называл «опознавательными» и которые появились в «Поэме» только в 1962 году: «Это он в переполненном зале (Стал ту черную розу в бокале...» Поэма вообще переплетена разного рода реминисценциями и цитатами из Блока, и Жирмунский правильно видел место Блока в «Петербургской повести» как особое: «он ее сюжетный герой (Арлекин), и он выступает в ней как высшее воплощение своей эпохи („поколения') — в этом смысле он присутствует в ней цитатно, своими произведениями». И Жирмунский без всяких колебаний относил к Блоку такие определения Арлекина в сюжетном треугольнике «Поэмы», как «Гавриил или Мефистофель» и «Демон с улыбкой Тамары».

С другой стороны, в жизни Князева — правда, в несколько более ранний период — большую роль играл М. А. Кузмин. Между тем, толкователи «Поэмы» большей частью склонны были его обходить, хотя в примечаниях к однотомнику Жирмунский отождествил Кузмина упоминаемого в первой главе первой части как «общего баловня и насмешника», перед которым «самый смрадный грешник — воплощенная благодать». Но в книге Жирмунского Кузмин при разборе «Поэмы» упоминается только вскользь, в числе других литературных имен того времени. Кажется, первым заговорил специально о Кузмине всвязи с «Поэмой» Р. Д. Тименчик — в статье, напечатанной в 1967 г. в «Материалах XXII научной студенческой конференции» (Тартуский Государственный Университет, Тарту). Помимо текстуальных параллелей, строфичного сходства и др., он увидел в «Поэме» полемику с циклом Кузмина «Форель разбивает лед» в книге под тем же названием (1929), где во

«Втором ударе» затрагивается эпизод самоубийства Князева. Связи между «Поэмой» и «Форелью» касалась потом в своей статье «Заметки к дешифровке ‚Поэмы без героя'» («Труды по знаковым системам», вып. IV «Ученых Записок Тартуского Государственного Университета», Тарту, 1971) Т. В. Цивьян. И наконец, совсем недавно об этом же писал новейший биограф Кузмина, молодой американский славист Джон Малмстад в своей биографии Кузмина, написанной на основании тщательного изучения малоизвестных до тех пор кузминских материалов и вошедшей в третий том «Собрания стихов» Кузмина под его и В. Ф. Маркова редакцией (Мюнхен, Fink Verlag, 1977). Малмстад говорит не только о полемике Ахматовой с «Форелью», но и видит в «Поэме» жестокую карикатуру на Кузмина, изображенного как «Владыка», «Калиостро» и «изящнейший Сатана». Он обвиняет Ахматову в том, что она не поняла Кузмина и «бесчувственность» по отношению к нему. В связи с этим Малмстад подробно останавливается на отношениях между Кузминым и Князевым и на стихах, которые Кузмин посвящал своему молодому другу (см. М. А. Кузмин. Собрание стихов III. Несобранное и неопубликованное. Приложения. Примечания. Статьи о Кузмине, стр. 185—188).

В том же издании В. Ф. Марков пишет, что цикл Кузмина «Форель разбивает лед» «в некоторых частях... является предком ‚Поэмы без героя' Ахматовой (особенно второе вступление и удары 2 и 12)». Но полемики Ахматовой с «Форелью» он не касается.

И наконец, французская переводчица и толковательница «Поэмы без героя», которой была известна статья Р. Д. Тименчика, высказала предположение, что именно Кузмин мог быть «наряженным полосатой верстою» (см. Anna Akhmatova. Poème sans héros. Présenté et traduit par Jeanne Rude. Edition bilingue. Paris, Seghers, 1970, p. 22).

II. АХМАТОВА И БОРИС АНРЕП

7 июня 1969 г. скончался в Лондоне на 86-м году жизни (род. 16 сентября ст. ст. 1883 г.) международно известный русский художник-мозаист Борис Васильевич Анреп. Ниже печатается написанный самим Б. В. и завещанный им мне на предмет посмертного опубликования, если я сочту это нужным, рассказ об его отношениях с А. А. Ахматовой до революции 1917 г. и об его встрече с ней в Париже в 1965 г., когда она во второй раз после революции побывала на Западе (первый раз она была в Италии в 1964 г.). Этому рассказу я хочу предпослать краткие воспоминания о моем многолетнем знакомстве с Б. В. Анрепом, а также выдержки из его писем ко мне, поскольку они имели отношение к Ахматовой, и сопроводить его рассказ пояснительным комментарием.

Моя дружба с Б. В. началась довольно поздно: мы познакомились с ним только летом 1941 г., сразу — едва ли не на другой день — после начала войны между СССР и Германией. С апреля 1941 г., со дня вторжения немцев в Югославию (где, между прочим, жили тогда мои родители и мой младший брат, призванный французами на военную службу и служивший шофером во французском посольстве), я работал, в свободные от моих университетских занятий часы (большей частью на вечернем и ночном дежурстве), на радиостанции агентства Рейтер, под Лондоном, в качестве русского «слухача» (monitor). После того как Советский Союз вступил в войну, понадобилось значительное увеличение персонала, владеющего русским языком, я был сделан главным русским слухачом, и под мое начало был принят на службу ряд новых слухачей. Некоторые из них были приняты по моей рекомендации, но все подвергались предварительному испытанию. В числе принятых был и Б. В. Анреп. Знаком я с ним не был и должен сознаться, что даже по имени знал его не как художника-мозаиста, которому уже принадлежал ряд мозаик в разных странах Европы, а как бывшего сотрудника журнала *Аполлон* и одного из организаторов (в 1912 году) выставки современного русского искусства в Лондоне, о которой я читал в том же *Аполлоне* и в газетах. Выставка эта познакомила западный мир с целым рядом талантливых русских худож-

ников. Хотя Анреп и наезжал постоянно в Лондон, где я поселился в 1932 году, из Парижа, где у него была мастерская, и хотя у нас даже оказались потом общие знакомые, вышло так, что до войны мы с ним не встречались. Анреп выехал из России еще в 1908 году, решив отказаться от заманчивой научной карьеры и посвятить себя искусству. После того, если не считать короткой побывки летом 1912 года, он вернулся на родину только когда началась первая мировая война, и следующие два года провел на фронте. В 1916 г. он устроил себе командировку в Лондон на службу в русском правительственном комитете, возглавлявшемся ген. А. К. Гермониусом и ведавшем снабжением русской армии, главным образом артиллерийским (в этом комитете, между прочим, служил до революции будущий советский комиссар иностранных дел Максим Литвинов). После этого Анреп возвратился в Россию на короткое время только в самом конце 1916 года и снова уехал — уже навсегда — в начале Февральской революции.

Когда кончилась деятельность комитета Гермониуса, Анреп вернулся к своей работе мозаиста, поселившись снова в Париже. Почти от всего русского он отошел, сохранив только несколько знакомств в Лондоне и связь с русским теннисным клубом в Париже. Газет русских не читал. О том, как далек он был от жизни русской эмиграции, свидетельствует тот факт, что только в 1966 году, прочтя в посланных мною ему *Воздушных Путях* письма В. Д. Набокова к жене из тюремной камеры в Крестах, он узнал о трагической гибели Набокова в Берлине в 1922 году. А он хорошо помнил Набокова как одного из своих профессоров в Правоведении, где Набоков преподавал уголовное право.

Знакомство мое с Б. В. скоро перешло в дружбу. Я стал бывать у него в его студии около Hampstead Heath (той самой, о которой он рассказывает в своей «повести» о черном кольце). Познакомился с его тогдашней гражданской женой, Марией Алексеевной Волковой. О своих первых женах Б. В. никогда со мной не говорил. Его первая жена была русская, Юния Павловна Хитрово. У Ахматовой есть (в «Белой стае») посвященное ей стихотворение, написанное в Севастополе в декабре 1916 года: «Судьба ли так моя переменилась, / Иль вправду кончена игра?» Посвятил ей одно стихотворение и Н. В. Недоброво, в каждом письме к Анрепу неизменно передававший ей приветы. Анреп разо-

шелся с ней, по-видимому, сразу после революции. Вторая его жена была англичанка. Звали ее Helen Maitland. Она ушла от него к его другу, Роджеру Фраю (Fry), известному английскому художественному критику. [1]

Помню, как раз на Рождество Анреп угощал меня замечательным жареным гусем с яблоками. Готовил он всегда сам — был не только гурманом, но и прекрасным поваром: священнодействовал на кухне. Любил и умел выпить. Очень много в те дни курил: всегда приходил на службу к Рейтеру (радиостанция помещалась в лесу, в загородном доме, принадлежавшем когда-то знаменитой артистке Эллен Терри, известной своей близостью к Бернарду Шоу) с большим запасом маленьких папирос "Weights", которыми всегда угощал сослуживцев (папиросы в те дни были почти что предметом роскоши — доставать их было нелегко).

Мы стали даже довольно часто переписываться, так как на «службе» сходились не так часто (он обычно дежурил днем, я — ночью, с полуночи до семи часов утра). Мне интересны были рассказы Б. В. о разных писателях и художниках, многих из которых он знал еще до первой мировой войны, а с другими встречался во время войны. К сожалению, я не имел времени записывать его рассказы. Особенно хорошо знал он Гумилева. Как-то он рассказал мне, как был свидетелем вызова Гумилевым на дуэль Максимилиана Волошина — столкновение между ними произошло в мастерской художника А. Я. Головина над Мариинским театром. С Гумилевым Анреп виделся чуть не каждый день, когда тот в 1917 году, после Парижа, прожил около трех месяцев в Лондоне (едва ли не Анреп устроил Гумилева на работу в шифровальный отдел Комитета ген. Гермониуса; если бы Гумилев тогда остался в Лондоне, судьба его сложилась бы совершенно иначе). Об отношениях Анрепа с поэтом и критиком Н. В. Недоброво см. выше, в рассказе об Ахматовой и Недоброво.

От Анрепа я еще до своего переезда в Америку (в 1946 г.) получил не только ценнейшие неизданные гумилевские материалы, использованные мною для тома «Неизданный Гумилев» (1952) и для позднейшего Собрания сочинений Гумилева в четырех томах, но и ряд писем Недоброво и рукописей его стихотворений.

О своих отношениях с А. А. Ахматовой Б. В. в то время мне не рассказывал — только упоминал вскользь. Но он тогда же подарил мне три книжки ее стихов в прекрасных кожаных переплетах по его заказу, с ее дарственными надписями. Надпись, сделанная ею на «Вечере», вышедшем до их знакомства, была воспроизведена в первом томе нашего издания (см. факсимиле обложки между стр. 16 и 17 второго издания). Надпись на «Четках» (в четвертом издании 1916 г.) гласила: «И эти / Ч Е Т К И / Анрепу / Ахматова» (первые два слова надписаны над заглавием на шмутцтитуле). Внизу в левом углу рукой А. А. написано: «1917 г. 18 февраля / Петербург». На «Белой стае» (первое издание 1917 г.) на шмутцтитуле — просто подпись: *Анна Ахматова* (в верхнем правом углу, наискосок). На «Вечере» и на «Четках» надписи — карандашом.

Переписка моя с Анрепом продолжалась — иногда с большими перерывами — и после того как я в 1947 г. окончательно переселился в Америку. За период с 1941 по 1944 г. у меня имеется 12 писем Б. В., потом следует большой перерыв — до 1951 года (может быть, какие-то письма еще отыщутся). Затем, за период с 1951 по 1963 г. сохранилось 32 письма, а за период с 1964 по 1969 г. — 44 письма и две телеграммы. Почти каждый раз, когда я ездил в Европу, я навещал Б. В. либо в Париже, либо в Лондоне, и мы много встречались (личное общение Б. В. всегда предпочитал письменному, хотя я не могу пожаловаться и на его эпистолярную скупость) — особенно в 1951, 1956, 1960, 1964, 1966 и 1967 гг. В последний раз мы виделись ранней осенью 1967 года, когда я возвращался через Лондон с одного научного съезда в Белграде. А на пути в Белград, куда я тоже ехал через Лондон, я прогостил два или три дня у Б. В. в одном прелестном имении, принадлежавшем его английским друзьям. Намечались встречи и в 1968 и 1969 гг., но в эти годы мои поездки в Европу не состоялись.

Кажется, первое упоминание Ахматовой в письмах Б. В. ко мне было в 1952 г. В связи с моей работой над литературным наследием Н. В. Недоброво Анреп писал мне: «У Ахматовой должно быть много писем и стихотворений [Недоброво]». Позже, как я уже рассказал в статье о Недоброво, я просил одного моего коллегу, ехавшего в Россию, выяснить судьбу этих писем.

Я довольно часто снабжал Б. В. русскими книгами, которые могли интересовать его — не только нашими с Б. А. Филипповым изданиями, но и другими. И он обычно откликался на них. Так, 13 февраля 1961 г. он писал мне по поводу первого выпуска *Воздушных Путей:* «Получил альманах только неделю тому назад и конечно с большим интересом прочел 'Поэму без героя'. Мастерство большое! Даже акробатическое, которое, мне так кажется, тревожит призраки покойников». За этими словами, почувствовал я, что-то кроется, но большего Б. В. тогда мне не сказал. 7-го августа того же года он благодарил меня за второй выпуск того же альманаха и писал:

> Читаю с большим интересом и Мандельштама и Ахматову, мастерство которой исключительно. Ее портрет навел на меня уныние. Я ужаснулся разрушению, причиненному ее красоте временем. Помню ее тонкую, плоскую фигуру, худое измученное лицо, лоб, прикрытый челкой, точеный нос с характерным переломом: это было 44 года тому назад.

В июле 1962 г. Б. В. просил меня сообщить ему адрес Ахматовой (которого я не знал) и спрашивал «совета»: «Можно ли ей писать?», прибавляя, что он послал ей очень хорошее воспроизведение в красках своей мозаики Sacred Heart (Сердце Иисусово) по адресу Союза Писателей в Ленинграде.* В конце того же письма Б. В. писал: «А если Вы в сношениях с Анной Андреевной, передайте ей от меня сердечный и низкий поклон. Дайте ей мой адрес: парижский или лондонский». К тому времени я уже знал от Б. В. кое-что об его дружбе с А. А. во время войны и в начале революции. Прямых сношений с А. А. у меня не было и не могло быть, но как раз тогда явилась возможность просить одного моего знакомого американца побывать у нее, передать ей привет от Анрепа, а также некоторые выдержки из писем Недоброво к нему, в которых

шла речь о ней (см. эти выдержки выше, в статье о Недоброво), и спросить о письмах Недоброво к ней. Мой знакомый выполнил все эти поручения осенью 1962 года. Я поделился сообщенными им сведениями с Анрепом, и тот в письме от 24 октября 1962 г. благодарил меня за передачу привета А. А., прибавляя: «Думаю, что могу ей написать, не доставляя этим неприятности». А 14 февраля 1963 г. он писал мне, что послал А. А. репродукцию мозаики по сообщенному мною адресу, но отклика никакого не получил.

Полгода спустя Б. В. в открытке, изображавшей его мозаики в часовне Вестминстерского (католического) собора в Лондоне, благодарил меня за третий выпуск *Воздушных Путей* и писал:

> С удивлением нашел свое 4-стишие Ахматовой среди других стихов, написанных для нее.
>
> Текст слегка изменен. Но я был тронут. Старые забытые чувства нахлынули на мое 80-летнее сердце. Сегодня как раз мое рождение.

Открытка была помечена 28-го сентября. Об упоминаемом здесь четверостишии см. ниже, в рассказе самого Анрепа, а также в моем комментарии к нему.

Незадолго перед тем я, помнится, виделся с Анрепом в Лондоне по пути из Баварии, где я участвовал в одной конференции о советской литературе. У меня был с собой текст «Реквиема» Ахматовой, который я получил из Москвы еще в марте того года и никак не мог решиться напечатать, боясь повредить ей. Должно быть, я прочел его, под строгим секретом, Б. В. По возвращении в Калифорнию в сентябре я наконец принял решение издать «Реквием» под маркой «Товарищества Зарубежных Писателей» в Мюнхене (к тому времени я узнал о наличии за рубежом других и, возможно, дефектных экземпляров «Реквиема»). «Реквием» вышел в конце 1963 года, и Б. В. откликнулся на него в письме от 7 марта 1964 г. Я в это время жил под Лондоном, но с Анрепом до марта не виделся, так как у него перед тем был первый сердечный припадок. В своем письме он писал мне о припадке, о «зверской боли в груди», которая прошла, но после которой осталась большая слабость, и приглашал меня с женой позавтракать или пообедать до его намечавшегося отъезда на континент. О «Реквиеме» он в этом письме писал, что это лучшее про-

изведение Ахматовой — «ее памятник нерукотворный», и благодарил меня за напечатание его.

В постскриптуме к тому же письму была еще фраза, немного загадочная для меня и сейчас, которая не могла относиться к «Реквиему»: «Описание наружности Недоброво очень верное. Кое что в его характере я могу объяснить». Эта фраза могла относиться к «Поэме без героя», где, по мнению Б. В., Ахматова в сцене «маскарада» вывела Н. В. Недоброво (см. подробнее об этом ниже). Но, кажется, к тому времени разговора об этом у нас не было. Может быть, эта фраза относилась к каким-то воспоминаниям о Недоброво, которыми я поделился с Б. В. — например, описанию его наружности в статье Ю. Л. Сазоновой.

В январе и феврале 1965 г. Б. В. благодарил меня за сообщенные ему мною сведения об А. А. и за передачу ей еще раз привета через одного моего лондонского знакомого, а в февральском письме кроме того писал: «Об А. А. и Модильяни у меня есть 'бестактная история', но если Вас еще увижу, то расскажу». Мы увиделись снова лишь в 1967 г., но спросить его о «бестактной истории» я забыл, а он мне ее не рассказал. Но он вернулся к ней (может быть, в ответ на мой запрос) в письме от 23 октября 1968 г. Я нашел историю не столько «бестактной», сколько неправдоподобной и нелепой, и пересказывать ее не считаю нужным.

В марте 1965 г. Б. В. благодарил меня за четвертый выпуск *Воздушных Путей*, называя его «одним из самых интересных», и писал, что воспоминания Ахматовой (о Модильяни и о Мандельштаме) произвели на него большое впечатление. А два месяца спустя сообщал мне о слухах о том, что Ахматова должна приехать в Англию в сентябре, и вместе с тем писал, что он должен 27 мая ехать в Париж — ликвидировать свою мастерскую: после своего сердечного припадка он довольно долго болел, а зимой перенес две тяжелые операции, и ему пришлось принять решение прекратить свою работу мозаиста, требовавшую и больших физических усилий (ему было уже за 75 лет, когда он писал мне, что все еще таскает пудовые мешки с камнем для мозаики), и разъездов, и работы высоко под крышами зданий. Очевидно, отвечая на это письмо, я написал Б. В., что Ахматова ожидается в Англии не в сентябре, а еще в июне, потому что в следующем письме (от 27

мая) он писал мне: «Благодарю за письмо и за сведения об А. А. К большому сожалению не могу ими воспользоваться, так как сегодня уезжаю в Париж на месяц». Я писал Б. В., что собираюсь сам в Англию — в надежде повидать А. А., и он заканчивал письмо так:

> Если увидите А. А., передайте ей мои сердечные пожелания здоровья и прекрасных стихов. Среди тысяч ее поклонников остаюсь одним из самых скромных, но искренне почитающих ее гений.

Мне удалось слетать в Англию, я присутствовал на торжественной докторской церемонии в Оксфорде и на приеме в честь А. А. в тот же вечер, на котором Д. Д. Оболенский и сэр Исайя Берлин познакомили меня с ней. Хотя А. А. была знакома с моим отцом и бывала изредка на собраниях сотрудников *Русской Мысли* в редакции журнала под нашей квартирой на Нюстадской улице (позднее переименованной в Лесной проспект) на Выборгской стороне, я ее тогда не видал, а видал только раз — на вечере поэтов в Петербургской Городской Думе в январе 1915 года, на котором она читала стихи. После Оксфорда я был дважды (второй раз по ее желанию) принят А. А. в Лондоне в гостинице The President (неподалеку от Британского Музея и от хорошо мне знакомого Лондонского университета). При этом я исполнил просьбу Б. В., передал его привет и сказал, что он должен был уехать в Париж. Если память мне не изменяет, его отъезд в Париж немного задержался, и я еще успел по прилете в Лондон переговорить с ним по телефону. Именно от меня А. А. узнала, что Б. В. будет в Париже (сама она тогда еще не знала, разрешат ли ей поехать туда: заезд в Париж в программу не входил).

Из Англии я очень скоро вернулся в Калифорнию и очень долго после того ничего от Анрепа не получал, так что начал даже беспокоиться об его здоровье. Не могу теперь припомнить, но почти уверен, что я ему о своих встречах с А. А. и впечатлениях от них написал. Прошло несколько месяцев прежде чем я наконец получил от Б. В. письмо, датированное 7 декабря 1965 г. Оно начиналось так:

> Не обижайтесь за мое молчание. В Париже я видел А. А. А. и по возвращении в Лондон стал писать Вам длинное письмо, но заболел опять — сначала повтор-

ными сердечными припадками, а потом воспалением легких. Так ослабел и оглупел, что совершенно не мог взяться за перо...

Через два дня после того Б. В. дописал начатое им длинное письмо и послал мне. В нем он описывал свое посещение А. А. в Париже. Инициатива визита исходила от нее. Так как он потом включил этот рассказ в несколько измененном виде в печатаемую ниже «повесть о черном кольце», то я не буду здесь цитировать это письмо. Приведу из него только несколько строк, прямого отношения к Ахматовой не имеющих, но существенных для дальнейшего рассказа о самом Анрепе:

> Ликвидация моей мастерской в Париже была весьма печальным событием в моей жизни. Мебель и вещи роздал соседям, а мозаичные матерьялы и все оборудование мастерской отдал больнице, которая лечит частично парализованных. Теперь я в Лондоне "for good" [навсегда], на положении инвалида.

Свою незаконченную работу над мозаиками в Вестминстерском соборе в Лондоне Анреп передал своему помощнику и приятелю, англичанину.

В следующем письме (11 декабря) Б. В. просил меня оставить строго между нами все, что он написал о встрече с А. А. 2 января 1966 г. он благодарил меня за первый том нашего издания Ахматовой и писал: «Книга издана прекрасно. Лестно было видеть в книге копию с обложки стихов с двустишием мне. Не знаю, понравится ли это А. А.» (Речь шла о надписи на сборнике «Вечер».) Он благодарил меня также за длинное письмо и обещал объяснить «некоторые вещи» при свидании. Думаю, что здесь имелись в виду некоторые места в «Поэме без героя», о которых я его спрашивал.

После смерти А. А., Б. В. прислал мне несколько вырезок — откликов лондонской печати на ее смерть — и приложил к ним записочку с одним словом: «Грустно», подписью «Б. А.» и датой «7. М. 66». В письме от 19 марта он писал, что узнал о смерти А. А. сразу же, так как лондонское телевидение сообщило о ней в тот же день. В конце письма он приписывал: «Соберусь с силами — напишу чтó я Вам рассказывал про ее кольцо. Так как это кольцо она

упоминает в своих стихах, это может быть интересно для будущности».

Я не припоминаю теперь, когда именно рассказывал мне Б. В. историю «черного кольца» — должно быть, это было в 1964 году. Но рассказал он тогда не все. Обещанный письменный рассказ я получил не сразу после только что цитированного письма. 14 июля того же года Б. В. благодарил меня за посланные ему мною сообщения из России об отпевании и погребении А. А. и прибавлял:

> Как грустно все это. Мир ее праху, слава ее памяти. На моей совести камнем лежит «одно воспоминание» *, и для собственного облегчения я записал его для Вас — не для печати. Если хотите, я пришлю его Вам. Это об ее «черном кольце».

Я, конечно, написал, что прошу прислать, и к следующему письму Б. В. приложил свой рассказ. Привожу почти полный текст письма (я тогда только что вернулся из штата Колорадо, где преподавал летом, и Б. В. начинал письмо с упоминания об этом):

> Благодарю Вас за карточку, посланную Вами из Колорадо. Вы наверное отдохнули там, несмотря на лекции. Местность, очевидно, очень красивая и романтичная.
>
> Посылаю Вам мои воспоминания о «черном кольце». Я старался написать эти воспоминания новым правописанием, а теперь пишу по старому и сбиваюсь. В старом правописании все ясно, в новом смысл часто сбивается: все — всѣ или всё, мир или мiр, и другие случаи.
>
> Мои воспоминания «О черном кольце» не подлежат напечатанию во время моей жизни. После, если Вы будете думать, что их стоит напечатать, предоставляю Вам это решить и сделать. Все, что написано, так и было. Многое пропущено и забыто. И ничего не преувеличено; может быть сумбурно, но и это соответствовало моим чувствам.

Здесь почти наступил момент дать слово самому Б. В. Анрепу — его рассказу о черном кольце, то есть о том «черном перстне», о котором Ахматова написала стихотворный «триптих», озаглавленный «Сказка о черном кольце». Первые две его части были напечатаны во втором издании

сборника „Anno Domini" под заглавием «Два отрывка из сказки 'О черном кольце'», а третья добавлена в публикации в *Литературном Современнике* в 1940 г., причем тут под стихами были поставлены даты: *1917—1936*. Надо поэтому полагать, что третья часть была написана в 1936 г. Первая часть стихотворения читалась так:

Мне от бабушки татарки
Были редкостью подарки;
И зачем я крещена,
Горько гневалась она.
А пред смертью подобрела
И впервые пожалела
И вздохнула: «Ах, года!
Вот и внучка молода».
И простивши нрав мой вздорный,
Завещала перстень черный.
Так сказала: «Он по ней,
С ним ей будет веселей».

Эти строки могут служить как бы эпиграфом к следующей далее «повести» Б. В. Анрепа.

Рассказ Анрепа написан им от руки на больших листах линованной бумаги и занимает восемнадцать страниц. Насколько я понял, копии его он себе не оставил, но у него мог остаться черновик, и с него потом могли быть сняты копии. После 1967 года Б. В. переписывался об Ахматовой с В. А. Знаменской и с воронежским «ахматоведом» А. С. Крюковым. Знаменской он писал о своей встрече с Ахматовой в Париже, но о «черном кольце» как будто не рассказывал. Не думаю, чтобы он писал об этом эпизоде и А. С. Крюкову, письма которого потом тоже передал мне.

Глеб Струве

БОРИС АНРЕП

О ЧЕРНОМ КОЛЬЦЕ *

Бабушка завещала Анне Андреевне «перстень черный». *«Так сказала: 'Он по ней, / С ним ей будет веселей'»*. В Англии такие кольца в свое время назывались «траурными». Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре черной эмали был маленький брильянт. А. А. всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу.

Н. В. Недоброво познакомил меня с А. А. в 1914 году по моем приезде из Парижа, перед моим отъездом на фронт. Н. В. восхищенно писал мне про нее еще раньше, и при встрече с ней я был очарован: волнующая личность, тонкие, острые замечания, а главное — прекрасные, мучительно-трогательные стихи. Недоброво ставил ее выше всех остальных поэтов того времени.

В 1915 году я виделся с А. А. во время моих отпусков или командировок с фронта. Я дал ей рукопись своей поэмы «Физа» на сохранение; она ее зашила в шелковый мешочек и сказала, что будет беречь как святыню:

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги,
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне Архангел Божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в Его раю.

1915

Мы катались на санях; обедали в ресторанах; и все время я просил ее читать мне ее стихи; она улыбалась и напевала их тихим голосом. Часто мы молчали и слушали всякие звуки вокруг нас. Во время одного из наших свиданий в 1915 году я говорил о своем неверии и о тщете религиозной мечты. А. А. строго меня отчитывала, указывала на путь веры, как на залог счастья. «Без веры нельзя».

Позднее она написала стихотворение (кстати, А. А. терпеть не могла слово «стихотворение»), имеющее отношение к нашему разговору:

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взор беспомощно-туманный:
Где видел я персидскую сирень
И ласточек, и домик деревянный?

О как ты часто будешь вспоминать
Внезапную тоску неназванных желаний
И в городах задумчивых искать
Ту улицу, которой нет на плане!

При виде каждого случайного письма,
При звуке голоса за приоткрытой дверью
Ты будешь думать: «Вот она сама
Пришла на помощь моему неверью».

4 апреля 1915

Так это и было. Но от нее я не получил ни одного письма, и я не написал ни одного, и она не «пришла на помощь моему неверью», и я не звал.

В начале 1916 года я был командирован в Англию и приехал с фронта на более продолжительное время в Петроград для приготовления моего отъезда в Лондон. Недоброво с женой жили тогда в Царском Селе, там же жила А. А. Николай Владимирович просил меня приехать к ним 13 февраля слушать только что законченную им трагедию «Юдифь». [1] «Анна Андреевна тоже будет», добавил он. Вернуться с фронта и попасть в изысканную атмосферу царскосельского дома Недоброво, слушать «Юдифь», над которой он долго работал, увидеться опять с А. А. было очень

привлекательно. Н. В. приветствовал меня, как всегда, радушно. Я обнял его и облобызал и тут же почувствовал, что это ему неприятно: он не любил излияний чувств, его точеная, изящная фигура съежилась — я смутился, Любовь Александровна (его жена) спасла положение, поцеловала меня в щеку и сказала, что пойдет приготовлять чай, пока мы будем слушать «Юдифь». А. А. сидела на диванчике, облокотившись, и наблюдала с улыбкой нашу встречу. Я подошел к ней, и тайное волнение объяло меня, непонятное болезненное ощущение. Я их испытывал всегда при встрече с ней, даже при мысли о ней, и даже теперь, после ее смерти, я переживаю мучительно эти воспоминания. Я сел рядом с ней.

Н. В. открывал рукопись «Юдифи», сидя за красивым письменным столом чистого итальянского ренессанса, с кручеными фигурными ножками: злые языки говорили, что Н. В. женился на Л. А. из-за ее мебели. Правда, Н. В. страстно любил все изящное, красивое, стильное, технически совершенное. Он стал читать: Н. В. никогда не пел своих стихов, как большинство современных поэтов; он читал их, выявляя ритм, эффектно модулируя, ускоряя и замедляя меру стихов, подчеркивая тем самым смысл и его драматическое значение. Трагедия развивалась медленно. Несмотря на безукоризненное стихосложение и его прекрасное чтение, я слушал, но не слышал. Иногда я взглядывал на профиль А. А., она смотрела куда-то вдаль. Я старался сосредоточиться. Стихотворные мерные звуки наполняли мои уши как стуки колес поезда. Я закрыл глаза. Откинул руку на сидение дивана. Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо [2]. «Возьмите, — прошептала А. А. — Вам». Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я зажал руку в кулак. Недоброво продолжал читать. Наконец кончил. Что сказать? «Великолепно». А. А. молчала, наконец промолвила с расстановкой: «Да, очень хорошо». Н. В. хотел знать больше. «Первое впечатление замечательной силы». Надо вчитаться, блестящее стихосложение, я хвалил в страхе обнаружить, что половины я не слыхал. Подали чай. А. А. говорила с Л. А. Я торопился уйти. А. А. осталась.

Через несколько дней я должен был уезжать в Англию.

За день до моего отъезда получил от А. А. ее книгу стихов «Вечер» с надписью:

Борису Анрепу —
Одной надеждой меньше стало
Одною песней больше будет

Анна Ахматова
1916. Царское Село
13 февраля

Тринадцатого февраля!!

Несколько времени перед этим я подарил А. А. деревянный престольный крест, который я подобрал в полуразрушенной заброшенной церкви в Карпатских горах Галиции. Вместе с крестом я написал ей четверостишие:

Я позабыл слова и не сказал заклятья,
По деве немощной я, глупый, руки стлал,
Чтоб уберечь ее от чар и мук распятья,
Которое ей сам, в знак дружбы, дал.

Это четверостишие появилось в третьем томе *Воздушных Путей* (Нью-Йорк, 1963) среди разных стихов, посвященных А. А. Мое четверостишие появилось в измененном виде:

Я позабыл слова, я не сказал заклятья,
По немощной я только руки стлал,
Чтоб уберечь ее от мук и чар распятья,
Которые я ей в знак нашей встречи дал.

1916

Для меня нет сомнения, что эти изменения сделаны были самой А. А. Причины этих изменений мне не совсем ясны. Хотела ли А. А. улучшить литературное качество четверостишия? Так ли? Только ли? Самые значительные изменения: «которое» на «которые» и «дружбы» на «встречи» — вносят личную, интимную, мучительную ноту [3]. Наша «встреча» нашла отзвук в нескольких стихах А. А.:

Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо,
Возвратил и силу, и свободу,
И на память чуда взял кольцо.
Мой румянец жаркий и недужный
Стерла богомольная печаль.
Памятным мне будет месяц вьюжный,
Северный встревоженный февраль.

Февраль 1916
Царское Село

Я уехал в Лондон, откуда должен был вернуться недель через шесть. Но судьба сложилась иначе.

Небо мелкий дождик сеет
На зацветшую сирень.
За окном крылами веет
Белый, белый Духов День.

Нынче другу возвратиться
Из-за моря — крайний срок.
Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.

На одну из этих башен
Я взойду, встречая свет...
Да в стране болот и пашен
И в помине башен нет.

Только сяду на пороге,
Там еще густая тень.
Помоги моей тревоге,
Белый, белый Духов День!

1916, весна. Слепнево

Я никогда не писал. Она тоже отвечала полным молчанием.

И без песен печаль улеглась.
Наступило прохладное лето,
Эта встреча никем не воспета,
Словно новая жизнь началась.
Сводом каменным кажется небо,

Уязвленное желтым огнем,
И нужнее насущного хлеба
Мне единое слово о нем.

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, —
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

1916. Слепнево.

Престольный крест, подаренный мною А. А., оставил след в ее стихах:

Когда в мрачнейшей из столиц
Рукою твердой, но усталой,
На чистой белизне страниц
Я отречение писала,

И ветер в круглое окно
Вливался влажною струею, —
Казалось, небо сожжено
Червонно-дымною зарею.

Я не взглянула на Неву,
На озаренные граниты,
И мне казалось — наяву
Тебя увижу, незабытый.

Но неожиданная ночь
Покрыла город предосенний.
Чтоб бегству моему помочь,
Расплылись пепельные тени.

Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в день измены, —
Чтоб степь полынная цвела,
А ветры пели, как сирены.

И вот, он на пустой стене
Хранит меня от горьких бредней,
И ничего не страшно мне
Припомнить, — даже день последний.

1916, август. Песочная Бухта.

Меня оставили в Англии, и я вернулся в Россию только в конце 1916 года и то на короткое время. Январь 1917 года я провел в Петрограде и уехал в Лондон с первым поездом после революции Керенского. В ответ на то, что я говорил, что не знаю, когда вернусь в Россию, что я люблю покойную английскую цивилизацию разума (так я думал тогда), а не религиозный и политический бред, А. А. написала:

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша — сон,
И марево — столица эта.

Ты говоришь — моя страна грешна,
А я скажу — твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.

Вокруг тебя — и воды, и цветы.
Зачем же к нищей грешнице стучишься?
Я знаю, чем так тяжко болен ты:
Ты смерти ищешь и конца боишься.

1 января 1917.

И позже в том же году:

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь
И в смертельном бою невредим.

Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

1917. Слепнево. [4]

Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила в квартире проф. Срезневского, [5] известного психиатра, с женой которого она была очень дружна. Квартира была за Невой, на Выборгской или на Петербургской Стороне, не помню. Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов. Помню, посреди реки мальчишка лет восемнадцати, бежавший из тюрьмы, в панике просил меня указать дорогу к Варшавскому вокзалу. Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. «Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах». — «Я снял погоны».

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революций. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. «Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже». — Ну, пе-

рестанем говорить об этом». Мы замолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете». — «Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо». Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А. А. тронула кольцо. «Это хорошо, оно вас спасет». Я прижал ее руку к груди. «Носите всегда». — «Да, всегда. Это святыня», — прошептал я. Что-то бесконечно женственное затуманило ее глаза, она протянула ко мне руки. Я горел в бесплотном восторге, поцеловал эти руки и встал. А. А. ласково улыбнулась. «Так лучше», — сказала она.

Сказка о черном кольце (1917—1936)

Сразу стало тихо в доме,
Облетел последний мак,
Замерла я в долгой дреме
И встречаю ранний мрак.
Плотно заперты ворота,
Вечер черен, ветер тих,
Где веселье, где забота,
Где ты, ласковый жених?
Не нашелся тайный перстень,
Прождала я много дней,
Нежной пленницею песня
Умерла в груди моей.

1917, июль [6]

С первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи.

Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки А. А., и единственное известие, которое я получил о ней, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:

Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите.

Анна Ахматова

Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль. Я остался в Лондоне и

мало-помалу вернулся к своей работе по мозаике. Как-то раз, раздеваясь, я задел цепочку на шее, она оборвалась, и кольцо покатилось по полу. Я его уложил в ящичек из красного дерева, обитый бархатом внутри, в котором сохранялись дорогие для меня сокровища: военные ордена; золотой портсигар, подаренный мне командиром английского броневого отряда в России Локер-Ламсоном; запонки самоубийцы, которого я похоронил; и другие вещицы. Я собирался отдать исправить цепочку, но не сделал этого. Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей. Перед его отъездом я просил его передать А. А. большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый матерьял на платье. Он нехотя взял, говоря: «Ну, что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена». Я разинул рот от удивления: «Не глупите, Николай Степанович», сказал я сухо. Но я не знаю, получила ли она мой подарок. Погиб бедный Гумилев! Погиб большой поэт!

Другой поэт и близкий друг, Н. В. Недоброво, заболел туберкулезом почек и его увезли на юг, где он вскоре и умер. Он был большой друг А. А. Помню, я тяжело перенес известие об его смерти. Перед этим я ему написал дикое письмо, из которого помню глупую, но искреннюю фразу: «Дорогой Николай Владимирович, не умирай, ты и Анна Андреевна для меня вся Россия!»

**
*

Шли годы. В глубине души заживающая рана: как часто я отпирал свой ящичек с драгоценностями и нежно прикладывался к черному кольцу. Носить его я больше не хотел, это казалось мне или святотатством или комедией. Жизнь сосредоточилась на художественной работе, на мозаике. Но в сердце прошлое смутно жило, и кольцо мысленно было со мной «всегда».

Опять война. Она застала меня в Париже, но я бежал от немцев в тот день, когда они входили в Париж, добрал-

ся до Лондона через две недели кружным путем. Немецкие бомбы упали совсем близко от моей студии и разрушили ее. Я потерял сознание, но отошел и выбрался [7]. Это случилось ночью. На утро вернулся, чтобы спасти что́ осталось. Не могу найти драгоценного ящичка. Боже! как я рад — вот он! Но что же это? Он взломан и пуст. Злоба к ворам. Стыд. Не уберег святыни, слезы отчаянья наполнили глаза. Почему я не дал кольцо на сбережение в банк? Потому что я хотел иметь его при себе, как пленника, которого я мог видеть, когда хотел. Но я уехал в Париж и не беспокоился о нем. Нет, вина моя, нечего и говорить! Что я скажу, если А. А. спросит? . .

В 1945 году и эта война кончилась. Я послал А. А. фотографию в красках моей мозаики Христа: „Cor sacrum". Его грудь вскрыта, и видно Его пламенное Сердце. Я не знал ее адреса и послал в Союз Писателей в Ленинграде, с просьбой переслать конверт по ее адресу. На фотографии я написал: «На добрую память». Ответа не было, и я не знал, получила ли она пакет.

Жизнь текла. Я работал в Лондоне, я работал в Париже, я работал в Ирландии. Мозаика требовала много напряжения и тяжелого труда. Благодаря дружескому содействию Г. П. Струве, я читал почти все, что А. А. печатала и что печаталось заграницей. И эти стихи волновали меня так же сильно, как раньше — может быть, сильнее. Острые страдания, которые я когда-то переживал от потери черного кольца, смягчились мало-помалу в тихую скорбь Но чувство вины продолжало мучить.

В 1965 году состоялось чествование А. А. в Оксфорде. приехали даже из Америки. Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж, где меня ждали, привести в порядок дела, так как я должен был прекратить, по состоянию здоровья, мозаичные работы и проститься со своей парижской студией.

Образ А. А., какою я помнил ее в 1917 году, оставался таким же очаровательным, свежим, стройным, юным. Я спрашивал себя, было ли прилично с моей стороны уехать из Лондона. Я оказался трусом и бежал, чтобы А. А. не спросила о кольце. Увидеть ее? «Мою Россию!» Не лучше ли сохранить мои воспоминания о ней, как она была? Те-

перь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.

Так мои мысли путались, стыдили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело...

Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: «Вы Борис Васильевич Анреп?» — «Да, это я». «Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами, не отходите». — «Буду очень рад». Через минуту тот же важный голос: «Анна Андреевна подходит к телефону». — «Слушаю». — «Борис Васильевич, вы?» — «Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос». — «Я только что приехала, хочу вас видеть, можете приехать ко мне сейчас?» — «Сейчас, увы, не могу: жду ломовых, они должны увезти мою мозаику». — «Да, я слышала (?), в пять часов я занята». — «А вы не хотели бы позавтракать со мной или пообедать где-нибудь в ресторане?» — «Что вы, это совсем невозможно (?). Приходите в восемь часов вечера». «Приду, конечно, приду».

Ломовые не приехали. Весь день я был сам не свой — увидеть А. А., после 48 лет разлуки! и молчания! О чем говорить? Столько было пережито. Сколько страдания! И общего, и личного. Воспоминания болезненно возникали, теснились бессвязно, искаженные провалами памяти. Что я скажу о черном кольце? Что мне сказать? Не уберег сокровища. Нет сил признаться. Принести цветы — банально. Но все-таки пошел в цветочный магазин и заказал послать немедленно букет роз в Hôtel Napoléon, близко от Arc de Triomphe. [8]

Гостиница была полна советскими. Молодая, очень милая девушка подошла ко мне. «В господин Анреп?». — «Да». — «Анна Андреевна вас ждет, я проведу вас к ней». Мы подошли к лифту. «Я видела ваши мозаики в Лондоне, мне особенно понравились сделанные вами мозаики в Вестминстерском соборе». — Это была Аня Каминская, внучка Н. Н. Пунина, мужа А. А. Она сопровождала А. А. в ее путешествии.

Мы поднялись на второй этаж, и Аня открыла дверь в комнату А. А. и тотчас же исчезла. В кресле сидела вели-

чественная, полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.

«Екатерина Великая», подумал я.

«Входите, Борис Васильевич».

Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже было без выражения.

«Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии». — «Англичане очень милы, а 'торжество' — вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату полную цветов, я сказала себе: 'Это мои похороны'. Разве такие торжества для поэтов?» — «Это вашим поклонникам нужно, им хочется высказаться, выразить свое уважение».

Мы заговорили о современных поэтах. Только бы не перейти на личные темы! — «Кого вы цените?» А. А. поморщилась и молчала. «Мандельштама, Бродского?» — «О да, Бродский! Ведь он мой ученик». — Она заговорила о Недоброво: «Вы дали его письма к вам Струве. Скажите мне, к каким годам относятся эти письма?» [9] — «Все письма до 1914 года, и в них ничего нет, решительно ничего. А у вас, Анна Андреевна, не сохранились его письма?» — «Я их все сожгла». — «Как жаль».

Я боялся продолжать разговор о Недоброво, но А. А., очевидно, желала этого: «Николай Владимирович был замечательный критик, он прекрасно написал критическую статью про мои стихи, он не только понимал меня лучше, чем кто-либо, но он предсказал дальнейшее развитие моей поэзии. [10] Лозинский тоже писал про меня, но это было не то!»

Я слушал, изредка поддерживал разговор, но в голове было полное безмыслие, сердце стучало, в горле пересохло — вот-вот сейчас заговорит о кольце. Надо продолжать литературный разговор! «А где похоронена Любовь Александровна?» — «Похоронена на кладбище в Сан Ремо». — «Вы знаете, — сказала А. А. после минуты молчания, — я никогда не читала 'Юдифи' Недоброво». Я замер. Она желает напомнить о 13 февраля 1916 года, когда мы вместе слушали «Юдифь», когда она отдала мне свое черное кольцо! Это вызов! Хорошо, — что-то злое шевельнулось во мне, — я его принимаю. Неужели она не видит, в каком я состоянии?» «'Юдифь', — сказал я равнодушно, — очень академично выработанное произведение, весьма искусное стихосложение, но в общем довольно скучное. Ведь же это

вещь достойная внимания, она наверное войдет в собрание его стихотворений, которое, надеюсь, Струве издаст». — «Струве, — отвлеклась А. А., — он много работает, он литературовед, но он поддерживает холодную войну, а я решительно против холодной войны». — «По-моему, Анна Андреевна, Струве главным образом интересуется современной русской литературой». — «А вы читали 'Реквием'?» — «Да, это великое трагическое произведение, написано вашей кровью, больно читать». — «Хотите, я вам прочту свои последние стихи, вы, может быть, сравните их с 'Юдифью' Недоброво, они на библейский сюжет: Саул, неверная жена, Давид».

А. А. открыла маленькую записную книжку и певучим голосом стала читать. Певучее чтение мне казалось вытьем, я так давно не слыхал ничего подобного. После «Реквиема» мне казалась вся затея упражнением в стихописании. Я не вникал в слова. — «Ну вот, что́ вы думаете?» — «Как всё — очень хорошо». — «Совсем не хорошо» ,-- сказала А. А. с раздражением. Я чувствовал, что надо сказать что-то умное, и не мог выжать ни слова. «Очень объективно». — «Да, объективно». Я не знал, что́ можно добавить к этому глупому замечанию, и молчал. — «Как вы живете, Анна Андреевна?» — нашелся я. — «Переводами, — сказала она, поняв мой вопрос в простом материальном смысле. — Я перевожу поэтов древних времен». — «Вы сами переводите?» — удивился я. — «Нет, конечно; несколько специалистов дают мне дословные переводы, я их перекладываю в русские стихи». — «Вы всегда в Ленинграде, где вы отдыхаете?» — «У меня дача в Финляндии, я там отдыхаю. Вы помните, вы прислали мне цветную фотографию вашей мозаики Христа? Она долго была на моем столе, а потом исчезла». — Тут я мог просто сказать, что такая же судьба постигла ее кольцо. Но фотография — одно, кольцо — другое! Я ничего не сказал. Я чувствовал себя не по себе, надо идти. — «Я боюсь вас утомить, Анна Андреевна, я пойду». — «Нет, нет, мне видеть вас большой отдых, вы совсем не изменились». — Я сгорал от стыда. — «В личное одолжение посидите еще двадцать минут». — «Конечно, Анна Андреевна, сами скажите, когда мне надо уходить».

Разговор не клеился. А. А. чего-то ждала. — «Как вы пережили осаду Ленинграда?» — «Меня спас Сталин (это было известно всем), он благоволил ко мне и прислал за

мной самолёт, на котором я улетела из Ленинграда. Позднее он свою милость переложил на равнодушие или, может быть, на ненависть». — Опять молчание. — «Ну, теперь идите, благодарю, что пришли. Напишите хоть на Новый год». — А. А. величественно поднялась с кресла, проводила меня до маленькой передней, прислонилась к стене. — «Прощайте». Протянула руку. Внезапный порыв: я поцеловал ее безответные губы и вышел в коридор в полудурмане, повернул не туда, куда надо, добрался кое-как до выхода, долго шел по Champs Elysées и до ночи сидел в кафе.

Тысячу раз я спрашивал себя: зачем? зачем? Трусость, подлость. Мой долг был сказать ей о потере кольца. Боялся нанести ей удар? Глупости, я нанес еще больший удар тем, что третировал ее лишь как литературный феномен. Пока я думал, что́ я еще могу сказать или спросить о поэтах современниках, она воскликнула: «Борис Васильевич, не задавайте мне, как все другие, этих глупых вопросов!» Ее горячая душа искала быть просто человеком, другом, женщиной. Прорваться сквозь лес, выросший между нами. Но на мне лежал тяжелый гробовой камень. На мне и на всем прошлом, и не было сил воскреснуть.

Во время нашего разговора дверь в соседнюю комнату оставалась приоткрытой, кое-когда был слышен легкий шорох. Кто там? Может быть, политический контроль; может быть, свой человек — не знаю. Это невидимое присутствие было мне неприятно. Было ясно, что кто-то подслушивал наш разговор. Не это ли помешало нашей последней встрече превратиться в теплую, душевную беседу? Я ищу себе оправдания, не так ли? Я его не нахожу.

5 марта 1966 года А. А. скончалась в Москве. Мне бесконечно грустно и стыдно.

Б. Анреп

Под подписью рукой Б. В., но другими чернилами, приписано:

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно —
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда...
. . . . . .

1917 [11]

ПРИМЕЧАНИЯ Г. П. СТРУВЕ

1. «Юдифь», трагедия в стихах в пяти действиях с прологом, была напечатана только после революции, в *Русской Мысли* (Прага—Берлин, 1923, кн. VI—VIII).
2. Во второй части триптиха («Сказка о черном кольце») говорится о потере кольца, о том, как друзья владелицы искали его везде (Возле моря на песке / И меж сосен на лужке), и как «Тот, кто был других смелее», уговаривал ее «Подождать до склона дня», а она «... совету удивилась / И на друга рассердилась, / Что глаза его нежны». И стихотворение кончается так:

> «И на что вы мне нужны?
> Только можете смеяться,
> Друг пред другом похваляться
> Да цветы сюда носить».
> Всем велела уходить.

В третьем стихотворении владелица кольца возвращается к себе в светлицу, валится на кровать и «в сотый раз» припоминает:

> Как за ужином сидела,
> В очи темные глядела,
> Как не ела, не пила
> У дубового стола,
> Как под скатертью узорной
> *Протянула перстень черный,*
> Как взглянул в мое лицо,
> Встал и вышел на крыльцо.

За этим следует строка точек и заключительное четверостишие:

> Не придут ко мне с находкой!
> Далеко над быстрой лодкой
> Забелели паруса,
> Заалели небеса.

Анреп не нашел нужным цитировать эти строки, но, хотя они в деталях и не соответствуют жизненному эпизоду, они представляют интерес как его творческое воссоздание или преображение.
3. Прав или не прав Б. В. Анреп, приписывая самой А. А. изменения в его тексте (мне представляется, что здесь

возможно искажение при переписке и передаче через несколько рук), он не отметил двух, на мой взгляд, существенных разночтений: во второй строке вместо «По *деве немощной я, глупый,* руки стлал» «читается: «По *немощной я только* руки стлал», а в третьей строке слова «чар и мук» переставлены: «мук и чар». В одной строке в результате изменений нарушен шестистопный размер.

4. Поскольку «остров зеленый» явно означал Англию, это стихотворение многими воспринималось как обращение к Гумилеву. В 1917 году, когда стихотворение было написано, Гумилев в самом деле провел некоторое время в Лондоне, но только по пути в Париж (дольше он прожил в Лондоне уже в 1918 году). Не очень похожи были на обращение к Гумилеву заключительные строки. И совсем уже странным, в применении к нему, казалось обращение «лихой ярославец». Рассказ Анрепа ставит все на место в этом стихотворении, и только «лихой ярославец» нуждается в дополнительном объяснении. У семьи Анрепа было небольшое (материнское?) имение около города Романова-Борисоглебска, Ярославской губернии (одно из самых красивых местоположений на Волге — помню его с детсва). Отсюда, по-видимому, и имена Анрепа и его брата: Борис и Глеб. Если память мне не изменяет, я обратил внимание Б. В. на то, что это стихотворение обращено к нему.
5. В первоначальном тексте Анрепа вместо фамилии Срезневского стояла фамилия Бехтерева, знаменитого психиатра. На то, что это, вероятно, ошибка, указал ему я, и он сказал, что он мог спутать, что квартира могла быть квартирой д-ра Срезневского, работавшего в клинике Бехтерева на Выборгской стороне. Валерии Сергеевне Срезневской, своей подруге (и жене доктора?) Ахматова посвятила два стихотворения: одно в 1913 г. («Вместо мудрости опытность . . .»), а другое в 1964 г. — уже ее памяти («Почти не может быть, ведь ты была всегда . . .»). У Срезневских Ахматова, кажется, жила, когда она разошлась с Гумилевым.
6. Я не знаю, почему Б. В. озаглавил это стихотворение «Сказка о черном кольце», но как-то не спросил его об этом. Стихотворение это никогда в «триптих» не входило. Напечатано он было в «Белой стае». Конечно, в нем есть упоминание о тайном перстне», и оно несомненно связано с триптихом. Дата под этим стихотворением — «1917, июль».
7. В первоначальной версии этого рассказа (в письме мне) Б. В. писал: «Когда во время последней войны немецкая бомба на парашюте разорвалась ночью вблизи моей сту-

дии в Hampstead'е, я в постели был контужен и язык мой отказался служить, несмотря на все мои усилия крикнуть, сказать, прошептать». Это было в 1944 году, когда Б. В. перестал уже работать у Рейтера и мы с ним общались гораздо реже.

8. Не знаю, знал ли Б. В., что управляющим этой гостиницей был сын С. К. Маковского, бывшего редактора *Аполлона*. Самого С. К. тогда уже не было в живых.
9. Мне и раньше говорили, что А. А. очень интересовалась, *от какого времени* были письма Недоброво, переданные мне Анрепом.
10. Надпись, которую Ахматова сделала на копии статьи Недоброво, даря ее В. А. Знаменской, приводится нами в этом же томе в статье об А. А. и Недоброво.
11. Речь, видимо, идет о стихотворении «Мелхола». Но «неверной жены» в нем нет. Ясно, что Анреп был не в состоянии не только оценить, но и по-настоящему воспринять стихотворение Ахматовой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Среди стихов Ахматовой почти наверное можно будет найти и другие, не отмеченные (и даже не замеченные) Анрепом, которые несомненно «обращены» к нему. Одним из таких несомненных поэтических обращений к нему кажется мне следующее стихотворение:

Не прислал ли лебедя за мною,
Или лодку, или черный плот? —
Он в шестнадцатом году весною
Обещал, что скоро сам придет.
Он в шестнадцатом году весною
Говорил, что птицей прилечу
Через мрак и смерть к его покою,
Прикоснусь крылом к его плечу.
Мне его еще смеются очи
И теперь, шестнадцатой весной.
Что мне делать! Ангел полуночи
До зари беседует со мной.

Стихотворение это было впервые напечатано в разделе «Ива» в сборнике «Из шести книг» (1940) в составе цикла из трех, тематически между собою как будто совершенно

не связанных и, как выяснилось позднее, разновременно написанных стихотворений, под общим названием «Шестнадцатый год». Из двух других стихотворений одно было потом включено в совершенно другой цикл («Путем всея земли»), а другое напечатано как отдельное. Даты под стихотворением не было. При перепечатке в «Беге времени» (в издание 1961 года стихотворение это не вошло) оно было помечено: «Москва, 1936», хотя, если исходить из содержания и хронологии, его надо было бы считать написанным в 1932 году (*И теперь, шестнадцатой* весной).

Думается, что к Анрепу могло относиться и следующее стихотворение:

А ты теперь тяжелый и унылый,
Отрекшийся от славы и мечты,
Но для меня непоправимо милый,
И чем темней, тем трогательней ты.
Ты пьешь вино, твои нечисты ночи,
Ты наяву не знаешь что во сне,
Но зелены мучительные очи, —
Покоя, видно, не нашел в вине.
И сердце только скорой смерти просит,
Кляня медлительность судьбы.
Все чаще ветер западный приносит
Твои упреки и твои мольбы.
Но разве я к тебе вернуться смею?
Под бледным небом родины моей
Я только петь и вспоминать умею,
А ты меня и вспоминать не смей.
Так дни идут, печали умножая.
Как за тебя мне Господа молить?
Ты угадал: моя любовь такая,
Что даже ты не мог ее убить.

Это стихотворение было, по-видимому, написано летом 1917 года в Слепневе (хотя в «Беге времени» оно почему-то датировано «1916»). * Напечатано оно было впервые (с небольшими разночтениями) в газете *Петроградское Эхо* от 22 января 1918 г., а потом вошло в сборник «Подорожник» (без даты) и в „Anno Domini" (с датой: «Лето. *1917*»). Конечно, стихотворение могло быть написано и Гумилеву, что было бы интересно, хотя и не очень вероятно. Не все в нем

вяжется с историей «романа» между Ахматовой и Анрепом — например, строки о «западном ветре», который все чаще приносит ей «упреки и мольбы» (в первоначальной версии было даже «*угрозы* и мольбы») любимого, противоречат рассказу Анрепа, который говорит, что после их разлуки ранней весной 1917 года (в самом начале марта) он ни разу не писал А. А. С другой стороны, обращенность к кому-то другому не вяжется сама по себе с тем, что нашло отражение в ряде других стихотворений А. А. этого же времени. О какой-либо переписке Гумилева с ней во время его пребывания за границей нам неизвестно. Зато, хотя мы и знаем только одно письмо его будущей жены, А. Н. Энгельгардт, к нему (от конца 1917 года), мы знаем, что переписка между ними *была* и что роман этот начался еще до отъезда Гумилева на Запад. Все это снова ставит вопрос о соотношении между биографией поэта и его творчеством. И вопрос о том, стоит ли в стихах поэта докапываться до биографической подкладки. Но соблазн этот для историка литературы (и даже критика) всегда велик — не устояли против него и самые заядлые «формалисты» среди критиков.

Некоторые «анреповские» мотивы слышатся и в таких стихотворениях как «Долго шел через поля и села...» (1915), «Мы не умеем прощаться...» (1917), «Когда в тоске самоубийства...» (1917; не голос ли Анрепа тот голос, что «звал утешно»?), « В тот давний год, когда зажглась любовь...» (1921). Среди *поздних* стихотворений Ахматовой есть еще одно, явно написанное Анрепу, но о нем будет речь дальше, в связи с моей дальнейшей перепиской с Б. В.

После того, как он прислал мне свой рассказ «О черном кольце», Б. В. довольно долго не возвращался в своих письмах к ахматовской теме. Наконец, в декабре 1966 г., он прислал мне один интересный документ, письмо последнего мужа Ахматовой, Н. Н. Пунина, к ней из Самарканда в Ташкент во время войны. Оно печатается нами в этом же томе. Еще до того, в сентябре, я послал Анрепу стихотворение, помеченное 1960 годом, которое вошло в советское собрание стихотворений Ахматовой («Бег времени»), вы-

шедшее почти одновременно с нашим, но включавшее ряд стихотворений, нам в то время недоступных (это стихотворение напечатано нами теперь во втором издании первого тома нашего собрания, на стр 323—24). Вот это стихотворение, которое сильно затронуло Б. В.:

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне...
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл...
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог...
Я без него могла.

Сразу на присылку этих стихов Б. В. не отозвался. А в письме от 7 января 1967 года писал:

> Благодарю за стихи, посланные Вами еще в сентябре. Тяжело было писать о них.

И дальше, цитируя первые три строки стихотворения, рядом с ними написал:

> Одно из самых мучительно-трогательных стихотворений А.А. Почти каждое слово основано на пережитом, одето пронзительной фантазией, незабвенным чувством.

В этом отзыве обращает на себя внимание сочетание «основанного на пережитом» с «пронзительной фантазией». Стороннему читателю, только что прочитавшему рассказ Анрепа, оно может показаться в человеческом плане несправедливым, жестоким, но больше всего ему бросится в глаза поэтическое *преображение* биографических данностей. Оно тоже свидетельствует о том, как ненадежен биографический подход к поэтическому творчеству.

Прошел почти год после тог. Я написал Б. В., что известный зарубежный специалист по акростихам (и сам плодовитый автор таковых), Геннадий Панин, обратил мое внимание на то, что стихотворение Ахматовой «Песенка»,

раньше печатавшееся без названия (Бывало, я с утра молчу... — 1916), представляет собой акростих ему, Борису Анрепу. Как и я, Анреп этого не заметил. Он писал мне:

> Благодарю Вас за сообщение об акростихе, я об нем не знал и принял его как подарок А. А. из-за гроба. С моей стороны, я никаких акростихов никогда не писал. Был глубоко тронут.

12 июля 1968 г. Б. В. снова писал мне, что он никогда никаких акростихов не сочинял и только недавно узнал от своей новоявленной корреспондентки в России (В. А. Знаменской), что очень многие стихи Ахматовой были посвящены ему. Но какое именно, Знаменская, в отличие от стихов к Недоброво, не указывала. В том же письме Б. В., отвечая на мой вопрос, откуда строка (с подписью Б. А.) «Я пою и лес зеленеет», которую Ахматова взяла эпиграфом к своим «Эпическим мотивам» (ранее печатавшимся без названия, а в некоторых сборниках под названием «Эпические отрывки») при включении их в «Бег времени», писал:

> Эти слова из «Физы» и относятся до более ранней поэмы. Весь отрывок из «Физы» следует: —
>
> И сказала Мая: «Не осилю забвенья,
> Не подниму ребер и себя не слышу,
> Я пела в уши Физе, но его нет,
> И что сыну моему в наследство?
> Только заглавие песни и размер:
> — Я пою и лес зеленеет».

Я не совсем понял, что́ хотел сказать Б. В. словами «относятся к более ранней поэме». Строка «Я пою, и лес зеленеет», как я потом припомнил и проверил, повторяется трижды в поэме Анрепа «Человек». Эта поэма из восьми коротких глав напечатана в *Альманахе Муз* (П., 1916, стр. 13—18).* Может быть, она должна была войти в «Физу» как составная часть. Б. В. как-то говорил мне, что «Физу» он уничтожил. Не знаю, так ли это. Цитировал он эту вещь в своем письме на память? Экземпляр «Физы» мог сохраниться в бумагах Ахматовой: Б. В. говорит, что она носила поэму зашитой в мешочек. Напечатан «Физа» никогда не был.

В сентябре 1968 г. Б. В. послал мне пластинку, наговo-

ренную Ахматовой — ее стихи. У меня уже была эта пластинка (я купил ее в Стокгольме в 1964 году), и с разрешения Б. В. (а может быть даже по его просьбе) я переслал ее Аркадию Викторовичу Белинкову, с которым незадолго до того познакомился и разговаривал об Ахматовой.

23 октября Б. В. отозвался на посланные ему мною копии страниц из книги И. В. Одоевцевой «На берегах Невы» — о Гумилева и Ахматовой. Он писал:

> Благодарю за присылку страниц из книги Одоевцевой, которые прочел несколько раз и пошлю Знаменской, как бы от Вас. По-моему, она пишет очень занимательно; думаю, что длинные разговоры с Гумилевым несколько обработаны ею, но, насколько я помню собственные разговоры с ним, остаются в его характере. Краски иногда чересчур сгущены, как, например, его возмущение, что А. А. ищет смерти своего сына и его самого, это просто смехотворно, но возможно. (Отыми и ребенка и друга). Гумилев иногда любил представлять себя важным супругом. Вся тирада в разговоре по поводу «Муж хлестал меня узорчатым / Вдвое сложенным ремнем» и дальнейшее заявление, что из-за этих строк он «прослыл садистом», и его возмущение и упреки возможны, как и ни нелепы. Мне вспоминается день, когда он уезжал из Англии в Россию после революции. Я хотел послать маленький подарок А. А. . . . —

тут Б. В. рассказал тот же эпизод, который он включил в черном кольце, и затем продолжал:

> С другой стороны мы, конечно, много раз говорили о стихах А. А. Я запомнил одну фразу его: «Я высоко ценю ее стихи, но понять всю красоту их может только тот, кто понимает глубину ее прекрасной души». Мне, конечно, эти слова представились исповедью. Понимал ли он «всю красоту ее души» или нет, осталось для меня вопросом. Он одновременно просил меня познакомить его с какой-нибудь девицей легкого поведения. Общее мое заключение о воспоминаниях Одоевцевой, что они, может быть, литературно использованы и сгущены, но близки к истине. Я говорю о характеристике Гумилева только.

В том же письме Б. В. отвечал на некоторые мои вопросы о «Поэме без героя»: мне казалось, что некоторые

намеки и «портреты» в ней (как последние ни законспирированы иногда), он должен был понять и узнать, хотя его знакомство с Ахматовой и относилось к более позднему времени. Он писал, что Князева не знал и про него ничего сказать не может. А дальше говорил:

> О «поэме» и «маскараде» дело сложнее: я ничего не *знаю*, но соображения есть. *Третий*, конечно, Князев. *Второй: не Блок.* Хотя А. А. высоко ценила его как поэта, но как человека, к которому она тоже относилась тепло, она интимно его не знала и, насколько мне известно, он особенно горячих чувств не питал и даже, кажется, ее стихи не особенно волновали его. Конечно, то, что я говорю, только мои соображения на основании разговоров (литературно-дружеских) с ней. Конечно, в этих разговорах она ни на какие откровенности не пускалась, кроме, может быть, только о Недоброво, с которым у нее были самые близкие отношения и как с критиком, и как с поэтом, и как с человеком, который бесконечно ее любил, ценил и, если можно употребить это выражение, «учил»: как критик, он всегда имел много что сказать и о ритме, и о других сторонах словесного искусства. И она сознавалась, что он имел на нее большое влияние. Вспоминая все это, я думаю, что фразы:
>
> Ты железные пишешь законы:
> Хаммураби, ликурги, солоны
> У тебя поучиться должны и т. д.
>
> относятся к Недоброво.

Этими словами Анреп подтверждал мое собственное предположение, основанное на тех же строках. Но дальше он писал:

> Образ Недоброво переплетен с другим образом, о котором я говорить не буду, а посылаю Вам стихотворение, как другу, на дружескую ответственность которого я полагаюсь, чтобы не разглашать стихотворения, здесь прилагаемого, а также моих соображений.

Я не сомневаюсь, что Б. В. имел в виду самого себя: ни о ком другом он не стал бы говорить так криптически. Он этого не подтвердил, но и не отрицал. И Недоброво, и Анреп оба были высокого роста («Полосатой наряжен верстой . . .»), но при этом Недоброво был худ и строен (Анреп

писал об его «изящной и точеной» фигуре), а Анреп был крупного и даже могучего сложения и, может быть уже и тогда, с некоторой наклонностью к «грузности». Анреп писал также, что он не придает году «маскарада» (1913) «значения определенной даты», думая, что «какие-то личные соображения могли привести А. А. к выбору этого года» (при этом он как будто упускал из виду, что дата эта во всяком случае имела значение с точки зрения самоубийства Князева). И он прибавлял немного загадочно: « я даже предполагаю какие». Свое письмо он заканчивал так: «Как свой [ее?] единственный акростих, как многие стихи скрывают жизненную правду, они волнуют меня, знающего о ком и о чем идет речь». Я этой фразы не понял, и Анреп мне так ее и не разъяснил.

Стихотворение, о котором упоминал Анреп, было приложено к письму. Оно называлось «Прощание», было посвящено А. А. Ахматовой и датировано 1916 годом. Вот оно:

Прощание

А. А. Ахматовой

За верстами версты, где лес и луг,
Мечтам и песням завершенный круг,
Где ласковой руки прикосновенье
Дает прощальное благословленье.
Исходный день, конечная верста,
Прими мой дар священного креста.
Постой, продлись, верста! От устья рек
По морю уплывает человек.
Он слышит зов вдали: «Постой, постой!»
Но та мечта останется пустой,
Но не верста, что мерит вдохновенье
И слов мучительных чудотворенье.
Ты создаешь свои стихи со стоном,
Они наполнят мир небесным звоном.

1916
Б. Анреп

В стихотворении этом, конечно, ясна связь с тем, что рассказал Б. В. Анреп о своих отношениях с А. А. Но пря-

мой связи между этим стихотворением (так как стихотворение, оно очень слабое и какое-то косноязычное) и эпизодом маскарада в поэме и ролью Недоброво (или Анрепа) в в этом эпизоде я не усматриваю. Возможно, что я так и написал Б. В., потому что в письме от 15 ноября 1968 г. он писал, что ему кажется, что я не отдаю себе отчета, *почему* он послал мне это стихотворение. Сознаюсь, что, как я ни старался «отдать себе отчет» в этом с тех пор, мне это и сейчас неясно. Едва ли четыре раза повторяющееся в стихотворении слово «верста» связывает его с тем, кто «наряжен верстой», и является ключом к загадке. Кстати, в «Решке» он — *первый*, а Князев несомненно — *третий* — тот, что «прожил лишь двадцать лет». Что в эпизоде с Князевым фигурирует и Блок, Анреп напрасно отрицал: роль его в этом эпизоде не зависит никак от отношений между ним и Ахматовой. А вот роль Князева в отношении к Ахматовой остается не ясна до конца.

К строке в стихотворении о «даре священного креста» Б. В. сделал следующее примечание: «Древний, деревянный, престольный крест, подаренный мною Анне Андреевне, был найден мной в мусоре разрушенной деревенской церкви в Галиции в 1914 г. А. А. взяла его с собой на юг, покидая Ленинград во время последней войны». Б. В., по-видимому, забыл, что еще гораздо раньше, даря мне сборники Ахматовой, он вместе с ними подарил мне два листка, в них вложенных. На одном было записано посвященное Ахматовой четверостишие (то же, что и в *Альманахе Муз*), со следующим объяснением на обороте:

> В 1916 году я подарил Анне Андреевне древний напрестольный деревянный крест, найденный мной в разрушенной и брошенной церквушке недалеко от деревни Пакости в Галиции. Четверостишие написано мною по поводу этого подношения. *

На другом листке было записано следующее стихотворение:

Ахматовой

Мне страшно, милая, узор забавных слов
В живую изгородь над нами разростется,
В трехсмысленной игре тугим узлом совьется:
Кокетства ваш прием остер и вечно нов.

Но как несносен он! Как грустно будет знать,
Что переплет листвы изящной пестротою
Скрывал простор лугов с их теплой простотою,
Деревню бедную, затопленную гать,
Березовый лесок за тихою рекою.

БА

1916

К сожалению, я никогда не спросил Б. В., какое место он отводит этому стихотворению во всей истории своих отношений с А. А.

В 1969 г. я получил от Анрепа три письма: в первом, от 1 января, он писал главным образом о Солженицыне, которого читал тогда и который произвел на него большое впечатление. Во втором, от 6 января, сообщал о смерти В. А. Знаменской, которая незадолго до того упала на улице, повредила себе что-то и, проболев некоторое время, умерла 15 декабря. Третье письмо, от 18 января, оказалось последним полученным мною от Б. В., хотя он и прожил еще около пяти месяцев после того. Я ответил ему 6 февраля, но он мне больше уже не писал — вероятно, чувствовал себя слишком плохо.

При своем последнем письме он прислал мне стихи, о которых писал:

> После смерти ААА я написал прилагаемые стихи. Это объединение моих чувств, моих разговоров и ее веры, насколько она выразила мне ее в 1917, а также в 1965 году. Много фраз подлинно сказанных ею, некоторые — не ее, а мои, но и они передают суть ее мыслей. Поверьте, я ничего не придумал без обоснованного воображения.

Рискуя разочаровать читателя, должен сказать, что после долгих колебаний я решил не печатать это стихотворное произведение Б. В. Анрепа, озаглавленное «Поминание». С чисто-поэтической точки зрения оно не делает чести Б. В. Бóльшему пониманию всего эпизода его отношений с А. А. оно, по-моему, не способствует. Не дает оно ничего и для понимания личности А. А. Лучше поэтому предать его забвению.

III ПИСЬМО Н. Н. ПУНИНА А. А. АХМАТОВОЙ

14 апреля 42
Самарканд, больница

Здравствуйте, Аня!

Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган; и это заслужено. Все еще в больнице не столько потому — что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле... Есть мягкая кровать, и кормят, хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихо развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это — чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру —это было на Петровском острове у Голубевых, куда на время переселился, потому что там, как мне казалось, единственная в Ленинграде теплая комната — я тоже чувствоал этот восторг и счастье. Тогда именно я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто — как я уже писал Вам в запиночке — похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас — именно потому, что это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна как Ваша: от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей — и это мне казалось особенно ценным — а той органичностью, то есть неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, то есть всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. [...] В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это, я помню, наполнило меня тогда радостью

и каким-то совсем необычным, не сентиментальным умилением, созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай (вообще тогда много было от «Божественной Комедии»). И радовался не столько за Вас, сколько за мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, и я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован; но что есть Бессмертное и я в нем окажусь — это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне довелось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа как золотая заря, среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего мезмерным умилением — и славой, — о, кто бы я ни был, что бы ни сделал! Человеку гораздо необходимее собственного счастья знат и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего . . .» и т. д. Эти слова — почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно — «и славой», именно — «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался. Но я остался жить, я сохранил и само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так много раз случалось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня и мне легко беречь перед этой солнейной славой это чувство бессмертного. И я счастлив.

Мне хорошо здесь, в больнице хорошо, рука почти зажила — Вы видите, я пишу своим почерком. Правда, много забот, как устроиться, как прокормиться, но они не поглощают меня так, как это было раньше. И мне не жаль

брошенного, кроме некоторых вещей, которые я просто из-за спешки забыл взять.

В вагоне, когда я заболел, мне почему-то вспомнился Хлебников, и я воспринял его, как самый чистый голос нашего времени, по отношению к которому Маяковский что-то одностороннее, частный случай. Вы — не частный случай, но почему-то я не мог соотнести Вас с Хлебниковым, и это до сих пор мне непонятно.

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас Видеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале.

КОММЕНТАРИЙ

Вышеприведенное письмо было адресовано А. А. в Ташкент, где, как вытекает из текста, Пунин и А. А. виделись перед тем на вокзале — очевидно, по пути Пунина в Самарканд.

Письмо нами печатается — с пропуском одного небольшого пассажа, где речь идет о человеке, еще живущем — по копии, которую Г. П. Струве получил в декабре 1966 г. от Б. В. Анрепа. Посылая ему эту копию, Б. В. писал, что сам он получил ее от г-жи Аманды Хэйт (Miss Amanda Haight), проживавшей в Англии молодой американки, которая, будучи студенткой в Москве, познакомилась с А. А. Ахматовой и решила писать о ней диссертацию для Лондонского университета. А. А. называла ее иногда своим биографом. Когда А. А. была в Англии в 1965 г., Аманда Хэйт была бóльшую часть времени около нее; она же сопровождала ее в Париж. Ею был напечатан впервые (в лондонском журнале *The Slavonic and East European Reviev)* более или менее полный — хотя, как оказалось, и не совсем исправный — текст «Поэмы без героя». В том же журнале она рецензировала «Бег времени» и первый том нашего издания Ахматовой.

Б. В. Анреп, знавший, что Г. П. Струве не только известно об Аманде Хэйт, но что он и знаком с ней лично, писал ему 10 декабря 1966 г., что Аманда (так Б. В. называл ее в письмах) передала ему письмо Н. Н. Пунина по просьбе А. А., а на его вопрос, почему А. А. желала, чтобы он видел это письмо, «ответила, что я написал корот-

кое письмо А. А. перед ее отъездом из Парижа, которое А. А. дала прочесть Аманде, говоря: 'Я нахожу, что оно очень похоже на письмо Пунина'. Письмо это было дано Аманде в Москве недели за две до смерти А. А. (Так я понял.) На вопрос мой: 'Просила ли А. А. дать копию письма кому-нибудь другому?' Аманда сказала: 'Да, Исайе Берлину'». Анреп прибавлял, что он не входил в сношения с И. Берлином (Sir Isaiah Berlin, известный оксфордский философ), но что «идея» Ахматовой остается ему совершенно непонятна. Дальше он писал: «В виду моих психологически близких отношений с А. А. в нашей молодости, проблемы кольца и многих стихов, может быть моя краткая прощальная записка взволновала в А. А. старые воспоминания и она хотела своей фразой, что моя записка напомнила ей письмо Пунина — тоже прощальное — и передачей мне копии письма Пунина выразить, что ее чувства по получении этих двух писем были того же порядка». «В таком случае, почему она хотела, чтобы Amanda дала другую копию Исайе Берлину?» — спрашивал дальше Анреп.

В письме к Г. П. Струве от 7 января 1967 г. Анреп снова возвращался к этой теме и, более или менее пересказывая всю историю, писал: «Если действительно А. А. приказала Аманде дать мне и Исайе Берлину копии письма Пунина, то тайна и мотивы этого остаются для меня темными».

Мы не знаем, писал ли Н. Н. Пунин после того Ахматовой (сведения о самом Пунине и о дальнейшей судьбе его см. во втором томе нашего издания, стр. 405), но его письмо из Самарканда не носило характера «прощального».

Поскольку ни биография самой А. А., ни биография Н. Н. Пунина до сих пор во всей полноте не освещены, и подоплека всего того, о чем пишет Пунин, нам во всяком случае не известна, мы от всякого биографического комментария к письму воздерживаемся, печатая его лишь как интересный литературно-психологический документ и считая, что мы вправе это сделать, поскольку, посылая письмо Б. В. Анрепу, А. А. имела все основания думать, что оно будет им показано Г. П. Струве и после смерти ее самой и Анрепа может быть опубликовано.

Мы здесь коснемся лишь возможной, хотя — сознаемся — и весьма отдаленной и натянутой связи между Б. В. Анрепом и сэром Isaiah Berlin (знакомы они между собой не были). Упомянутый Айзайя (или Исай Маркович) Берлин после войны (в 1945 г.) посетил А. А. в Ленинграде. Сам он в печати об этом визите рассказал лишь в 1981, но сведения о нем, на основании его дружеских и конфиденциальных рассказов, в печать проникли, и притом в иска-

женном виде, и тогда, когда об этом во всяком случае не следовало говорить *.

В свете того, что известно о встрече между И. М. Берлином и Ахматовой (они встретились у нее в «Фонтанном доме»), является мысль, не есть ли «Гость из Будущего» в «Поэме без героя» — Исайя Берлин. Напомним соответствующие строки «Поэмы»:

Звук шагов тех, которых нету,
По сияющему паркету,
И сигары синий дымок.
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И проникнуть в тот зал не мог.
Он не лучше других и не хуже,
Но не веет Летейской стужей,
И в руке его теплота.
Гость из Будущего! — Неужели
Он придет ко мне в самом деле,
Повернув налево с моста?

Здесь, может быть, следует особенно выделить строки о человеке, который «*не* появился» и «проникнуть в тот зал не мог», и связать их с намеками на «Гостя из Будущего» в «Третьем и последнем» посвящении к «Поэме» — о человеке, который «ко мне во дворец Фонтанный / опоздает ночью туманной / новогоднее пить вино» и который

. . . не первую ветвь сирени,
не кольцо, не сладость молений —
он погибель мне принесет.

Иными словами, как образ Анрепа, по его собственному домыслу, переплелся в первой главе «Поэмы» с образом Н. В. Недоброво, так не слился ли «Гость из Будущего» (и именно из Англии), Исайя Берлин, фактически посетивший Ахматову в «Фонтанном дворце», с ожидавшимся ею многие годы, но не явившимся человеком, которому она подарила свое черное кольцо? Ахматова наказала нам не искать в поэме «никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов». И все же: полисемантичность этой поэмы, ее многосмысленность, не подлежит сомнению. И не все в ней пока поддается разгадке.

IV. [ПРЕДИСЛОВИЕ М. А. КУЗМИНА К ПЕРВОЙ КНИГЕ СТИХОВ А. А. АХМАТОВОЙ («ВЕЧЕР», СПБ. 912)]

В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обреченными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмертным. Хотя предсмертное времяпрепровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Вы сами знаете, что в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа.

И воспоминания эти идут не последовательно и не целостно, а набегают друг на друга острой и жгучей волной, из которой сверкнет: то давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то чье-то голубое платье, то голос чужого вам прохожего. Эти мелочи, эти *конкретные* осколки нашей жизни мучат и волнуют нас больше, чем мы этого ожидали, и, будто не относясь к делу, точно и верно ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись и страдали — где мы жили.

Можно любить вещи, как любят их коллекционеры, или привязчивые чувственной привязанностью люди, или в качестве сентиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, непонятной и неизбежной, открывающейся нам то в горестном, то в ликующем восторге, на которое мы указывали выше. Нам кажется, что, в отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, желтый свет свечей в

спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет. Мы не хотим сказать, что всегда у автора вещи имеют такое особенное значение: часто они не более, как сентиментальные сувениры, или перенесение чувства с человека и на вещи, ему принадлежащие. Мы говорим это не в упрек молодому поэту, потому что это уже не мало — заставлять читателя и помечтать и поплакать и посердиться с собою вместе, хотя бы посредством чувствительной эмоциональности, — но особенно ценим то первое пониманье острого и непонятного значения вещей, которое встречается не так часто. И нам кажется, что Анна Ахматова имеет ту повышенную чувствительность, к которой стремились члены общества обреченных на смерть.

Этим мы не хотим сказать, чтобы мысли и настроения ее всегда обращались к смерти, но интенсивность и острота их такова. Положим, она не принадлежит к поэтам особенно веселым, но всегда жалящим.

Нам кажется, что она чужда манерности, которая, если у нее и есть, однородна несколько с манерностью Лофорга, то есть капризного ребенка, привыкшего, чтоб его слушали и им восхищались. Среди совсем молодых поэтов, разумеется, есть и другие, стремящиеся к тонкой и, мы сказали бы, хрупкой поэзии, но в то время, как одни ищут ее в описании предметов, которое принято считать тонким: севрских чашек, гобеленов, каминов, арлекинов, рыцарей и мадонн (Эренбург), другие в необыкновенно изощренном анализе нарочито-причудливых переживаний (Мандельштам), третьи в иронизирующем описании интимной, несколько демонстративно-обыденной жизни (Марина Цветаеве), — нам кажется, что поэзия Анны Ахматовой производит впечатление острой и хрупкой потому, что сами ее восприятия таковы, от себя же поэт прибавляет разве только лафорговскую, на нам вкус приятную, манерность.

Вячеслав Иванов однажды высказал мысль, что у оригинальных поэтов прежде всего появляется своя манера, от которой впоследствии они отказываются для своего «лица», в свою очередь приносимого в жертву своему стилю.

Из того, что в данном случае у поэта манера уже существует, легко можно заключить, что этот поэт оригинальный и что новый женский голос, отличный от других и слышимый несмотря на очевидную, как бы желаемую обладателем его, слабость тона, присоединился к общему хору русских поэтов.

Мы пишем не критику, и наша роль сводится к очень скромной: только назвать имя и как бы представить вновь прибывшую. Мы можем намекнуть слегка об ее происхождении, указать кой-какие приметы и высказать свои догадки, — что мы и делаем. Итак, сударыни и сударь, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его — Анна Ахматова.

М. Кузмин

V. СТАТЬЯ Н. В. НЕДОБРОВО

АННА АХМАТОВА *

I

Первый сборник Анны Ахматовой «Вечер», изданный в начале 1912 года, был вскоре распродан. Затем ее стихи появлялись в различных повременниках, а в марте 1914 года вышел новый сборник «Четки», в который включена также значительная часть стихотворений из «Вечера». Среди неповторенных стихов есть казненные с излишним жестокосердием. [1]

По выходе первого сборника на стихах Ахматовой заметили печать ее личной своеобразности, немного вычурной; казалось, она и делала стихи примечательными. Но неожиданно личная складка Ахматовой, и не притязавшая на общее значение, приобрела, через «Вечер» и являвшиеся после стихи, совсем как будто не обоснованное влияние. В молодой поэзии обнаружились признаки возникновения *ахматовской* школы, а у ее основательницы появилась прочно обеспеченная слава.

Если единичное получило общее значение, то, очевидно, источник очарования был не только в занимательности выражаемой личности, но и в искусстве выражать ее: *в но-*

ром умении видеть и любить человека. Я назвал перводвижную силу ахматовского творчества. Какие точки приложения она себе находит, что́ приводит в движение своею работою и чего достигает — это я стараюсь показать в моей статье.

II

Пока не было «Четок», вразброд печатавшиеся после «Вечера» стихи ложились в тень первого сборника, и рост Ахматовой не осознавался вполне. Теперь он очевиден: перед глазами очень сильная книга властных стихов, вызывающих большое доверие.

Оно, прежде всего, достигается свободою ахматовской речи.

Не из ритмов и созвучий состоит поэзия, но из слов; из слов уже затем, по полному соответствию с внутренней их жизнью, и из сочетания этих живых слов вытекают, как до конца внутренностью слов обусловленное следствие, и волнения ритмов, и сияния звуков — и стихотворение держится на внутреннем костяке слов. Не должно, чтобы слова стихотворения, каждое отдельно, вставлялись в ячейки некоей ритмо-инструментальной рамы: как ни плотно они будут пригнаны, чуть мысленно уберешь раму, все слова расскакиваются, как вытряхнутый типографский шрифт.

К стихам Ахматовой последнее не относится. Что они построены на слове, можно показать на примере хотя бы такого стихотворения, ничем в «Четках» не выдающегося:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха,
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

Речь проста и разговорна до того, пожалуй, что это и не поэзия? А что, если еще раз прочесть да заметить, что

когда бы мы так разговаривали, то для полного исчерпания многих людских отношений каждому с каждым довольно было бы обменяться двумя-тремя восьмистишиями — и было бы царство молчания. А не в молчании ли слово дорастает до той силы, которая пресуществляет его в поэзию?

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, —

какая простая, совсем будничная фраза, как она спокойно переходит из стиха в стих, и как плавно и с оттяжкою течет первый стих — чистые анапесты, коих ударения отдалены от концов слов, так кстати к дактилической рифме стиха. Но вот, плавно перейдя во второй стих, речь сжимается и сечется: два анапеста, первый и третий, стягиваются в ямбы, а ударения, совпадая с концами слов, секут стих на твердые стопы. Слышно продолжение простого изречения:

нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха, —

но ритм уже передал гнев, где-то глубоко задержанный, и все стихотворение вдруг напряглось им. Этот гнев решил все: он уже подчинил и принизил душу того, к кому обращена речь; потому в следующих стихах уже выплыло на поверхность торжество победы — в холодноватом презрении:

Ты напрасно бережно кутаешь...

Чем же особенно ясно обозначается сопровождающее речь душевное движение? Самые слова на это не расходуются, но работает опять течение и падение их: это «бережно кутаешь» так изобразительно и так, если угодно, изнеженно, что и любимому могло бы быть сказано, оттого тут и бьет оно. А дальше уже почти издевательство в словах:

Мне плечи и грудь в меха —

этот дательный падеж, так приближающий ощущение и выдающий какое-то содрогание отвращения, а в то же время звуки, звуки! «Мне плечи и грудь...» — какой в этом спондее и анапесте нежный хруст все чистых, все глубоких звуков.

Но вдруг происходит перемена тона на простой и значи-

тельный, и как синтактически подлинно обоснована эта перемена: повторением слова «напрасно» с «и» перед ним:

И напрасно слова покорные...

На напрасную попытку дерзостной нежности дан был ответ жесткий, и особо затем оттенено, что напрасны и покорные слова; особливость этого оттенения очерчивается тем, что соответствующие стихи входят уже в другую рифмическую систему, во второе четверостишие:

И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.

Как это опять будто заурядно сказано, но какие отсветы играют на доске этого щита — щит ведь все стиохотворение. Не сказано: и напрасны слова покорные, — но сказано: и напрасно слова покорные *говоришь*... Усиление представления о говорении не есть ли уже и изобличение? И нет ли иронии в словах: покорные, о первой? И не оттого ли ирония так чувствуется, что эти слова выносятся на стянутых в ямбы анапестах, на ритмических затаениях?

В последних двух стихах:

Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои, —

опять непринужденность и подвижная выразительность драматической прозы в словосочетании, а в то же время тонкая лирическая жизнь в ритме, который, вынося на стянутом в ямб анапесте слово «эти», делает взгляды, о которых упоминается, в самом деле «этими», то есть вот здесь, сейчас видимыми. А самый способ введения последней фразы, после обрыва предыдущей волны, восклицательным словом «как», — он сразу показывает, что в этих словах нас ждет нечто совсем новое и окончательное. Последняя фраза полна горечи, укоризны, приговора и еще чего-то. Чего же? — Поэтического освобождения от всех горьких чувств и от стоящего тут человека; он несомненно чувствуется, а чем дается? Только ритмом последней строки, чистыми, этими совершенно свободно, без всякой натяжки раскатившимися анапестами; в словах еще горечь: «*несытые* взгляды твои», но под словами уже полет. Стихотворение кончилось на первом вздроге крыльев, но, если бы его продолжить, ясно: в пропасть отрешения отпали бы действующие лица стихотворения, но один дух трепетал бы,

вольный, на недосягаемой высоте. Так освобождает творчество.

В разобранном стихотворении всякий оттенок внутреннего значения слова, всякая частность словосочетания и всякое движение стихового строя и созвучия — все работает в сообразовании и в соразмерности с другим, все к общей цели, и бережение средств таково, что сделанное ритмом уже делается, например, значением; ничто, наконец, не идет одно вопреки другому: нет трения и взаимоуничтожения сил. Оттого-то так легко и проникает в нас это такое, оказывается, значительное стихотворение.

А если обратить внимание на его стройку, то придется еще раз убедиться в вольности и силе ахматовской поэтической речи. Восьмистишие из друх простых четырехстрочных рифмических систем распадается на три синтактических системы: первая обнимает две строки, вторая — четыре, и третья — снова две; таким образом, вторая синтактическая система, крепко сцепленная рифмами с первой и третьей, своим единством прочно связует обе рифмические системы, притом хоть и крепкою, но упругою связью: выше я отметил, говоря о драмаческой действенности способа введения второго «напрасно», что смена рифмических систем тут и надлежаще чувствуется и производительно работает.

Итак, при разительной крепости стройки, какая в то же время напряженность упругими трепетаниями души!

Стоит отметить, что описанный прием, то есть перевод цельной синтактической системы из одной ритмической системы в другую, так, что фразы, перегибая строфы в средине, скрепляют их края, а строфы то же делают с фразами, — один из очень свойственных Ахматовой приемов, которым она достигает особенной гибкости и вкрадчивости стихов, ибо стихи, так сочлененные, похожи на змей. Этим приемом Анна Ахматова иногда пользуется с привычностью виртуоза.

III

Разобранное стихотворение показывает, как говорит Ахматова. Ее речь действенна, но песнь еще сильнее узывает душу.

В этом можно убедиться по стихотворению:

Углем наметил на левом боку
Место, куда стрелять,
Чтоб выпустить птицу — мою тоску
В пустынную ночь опять.
Милый, не дрогнет твоя рука,
И мне не долго терпеть.
Вылетит птица — моя тоска,
Сядет на ветку и станет петь.
Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму»,
И опустил глаза.

В песне, как прежде в речи, та же непринужденность словорасположения — этих слов, без насилия над языком, не соединить иначе как в эти стихи: стихи выпелись из просто сказанных слов; оттого такими искренними и острыми они воспринимаются. Примечателен их песенный лад: он — свободный стих дактило-хореического ключа, живой и впечатлительный; начинаясь чисто дактилической строкой и в последующих стихах то и дело, особенно в конце стихов, сменяя дактили на хореи, стихотворение особенную нежную томность приобретает от запевов (анакруз) третьего, четвертого, шестого, девятого и десятого стихов, от этих лишних, до первого главного ударения, в начале стиха раздающихся слогов. Например, начало второй строфы:

Милый, не дрогнет твоя рука,
И мне не долго терпеть.

Стихотворение сложено в трех строфах. Первая построена эподически: четные стихи, трехударные, короче нечетных, четырехударных. Вторая строфа начинается такой же стройкою: второй стих трехударен; поэтому того же ждешь и от четвертого, но вдруг он оказывается, как нечетный, четырехударным. Этот стих:

Сядет на ветку и станет петь, —

на котором происходит перелом лирической волны — и значительность стиха еще приподнимается именно ритмическим его перенасыщением, которое, таким образом, ис-

полняет определенную и необходимую в целом стихотворении работу. Лирический перелом именно в конце второй строфы еще яснее чувствуется по сопоставлению с песенной связью двух первых строф — с тем, как они скликаются между собою третьими своими, очень певучими стихами:

Чтоб *выпустить птицу — мою тоску*

и

Вылетит птица — моя тоска.

Третья строфа, таким образом, как бы обособлена: она снова эподического строения, по образцу первой; только в последнем стихе первый, везде ударяемый (с необходимою оговоркою о строках с запевами) слог ударение теряет (тут — не запев, так как первое ударение ложится на четвертом слоге), отчего стих становится особенно легким, совсем летучим. И недаром, а в полном соответствии с вызываемым им видением; ведь это стих:

И опустил глаза.

Какой он нежный и скромный, а самое верное — тающий. В чем же источник этого последнего ощущения? Конечные созвучия во всем стихотворении — рифмы, во всем, кроме одного созвучия, связующего именно последний стих с десятым: ска*зал* — гла*за*. Оно — ассонанс, и несовпадение созвучия в том, что в откликающемся стихе недоговорен, как тонкое облако растаял последний звук *л*, но, чтобы не убыло нежности, этот нежный звук вообще не пропал: созвучие начинается очень глубоко, и только первый звук слова «сказал» — *с* — оставлен без отклика, затем идет созвучие гортанных *к* и *г*, созвучие *а*, *з*, и опять *а; а* то *л*, которое вдесятом стихе слышится в конце созвучного слова, в двенадцатом легло к началу, между гортанным и первым *а:* сказа*л* — гла*за*.

В дальнейшем, когда мне случится касаться отдельных стихотворений, я уже не буду говорить о том, как волнующаяся душа творения выявляется в звучащей плоти слова.

IV

В разобранных стихотворениях и без подчеркивания поражает струнная напряженность переживаний и безоши-

бочная меткость острого их выражения. В этом сила Ахматовой. С какой радостью, что больше уже не придется, хоть вот в этом, в затронутом ею, томиться невыразимостью, читаешь точно в народной словесности родившиеся речения:

Безвольно пощады просят
Глаза. Что мне делать с ними,
Когда при мне произносят
Короткое, звонкое имя?

Или такое:

Столько просьб у любимой всегда,
У разлюбленной просьб не бывает.

Человек века томится трудностью речи о своей внутренней жизни: столького не выговорить за неустройством слов — и, прижатый молчанием, дух медлит в росте. Те поэты, которые, как древле Гермес, обучают человека говорить, на вольный рост выпускают внутренние его силы и, щедрые, надолго хранят его благодарную память.

Напряжение переживаний и выражений Ахматовой дает иной раз такой жар и такой свет, что от них внутренний мир человека скипается с внешним миром. Только в таких случаях в стихах Ахматовой возникает зрелище последнего; оттого и картины его не отрешенно пластичны, но, пронизанные душевными излучениями, видятся точно глазами тонущего:

Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
Ах, со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не смог.

Или продолжение стихотворения о просящих пощады глазах:

Иду по тропинке в поле
Вдоль серых сложенных бревен.
Здесь легкий ветер на воле
По-весеннему свеж, неровен.

Иногда лирическая скромность заставляет Ахматову едва намекнуть на страдание, ищущее выражения в природе, но в описании все-таки слышны удары сердца:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

Однако, слезы текут из глаз от этого безголосого ветра.

V

Уже по вышеприведенным стихам Ахматовой заметно присутствие в ее творчестве властной над душою силы. Она не в проявлении «сильного человека» и не в выражении переживаний, дерзновенно направленных на впечатлительность душ: лирика Ахматовой полнится противоположным содержанием. Нет, эта сила в том, до какой степени верно каждому волнению, хотя бы и от слабости возникшему, находится слово, гибкое и полнодышащее, и, как слово закона, крепкое и стойкое. Впечатление стойкости и крепости слов так велико, что, мнится, целая человеческая жизнь может удержаться на них; кажется, не будь на той усталой женщине, которая говорит этими словами, охватывающего ее и сдерживающего крепкого панциря слов, состав личности тотчас разрушится и живая душа распадется в смерть.

И надобно сказать, что страдальческая лирика, если она не дает только что описанного чувства — нытье, лишенное как жизненной правды, так и художественного значения. Если ты все стонешь о предсмертном страдании и

не умираешь, не станет ли презренною слабость твоей дрвбло лживой души? — или пусть будет очевидным, что, в нарушение законов жизни, чудесная сила, не сводя тебя с пути к смерти, каждый раз удерживает у самых ворот. Жестокий целитель Аполлон именно так блюдет Ахматову. «И умерла бы, когда бы не писала стихов», говорит она каждою страдальческою песней, которая оттого, чего бы ни касалась, является еще и славословием творчеству.

VI

Жизнеспасительное действие поэзии в составе лирической личности Ахматовой предопределяет и круг ее внимания и способ ее отношения к явлениям, в этот круг входящим.

Тот, кому поэзия — спаситель жизни, из боязни очутиться вдруг беззащитным, не распустит своих творческих способностей на наблюдательские прогулки по окрестностям и не станет писать о том, до чего ему мало дела, но для себя сохранит все свое искусство.

По той же основной причине не с исследовательским любопытством, в котором мне всегда чудится недоброжелательство к человеку, смотрит она на личную жизнь. Всегда пристрастно и порывисто ее осознание жизненного мгновения, и всегда это сознание совпадает с жизненной задачей мгновения; а не в этом ли источник истинного лиризма?

Я не хочу сказать, что лиризмом исчерпываются творческие способности Ахматовой. В тех же «Четках» напечатан эпический отрывок: белые пятистопные ямбы наплывают спокойно и ровно и так мягко запениваются.

> В то время я гостила на земле.
> Мне дали имя при крещеньи — Анна,
> Сладчайшее для губ людских и слуха.

У этого стиха не та душа, что у лирического стиха Ахматовой. Судя по этому образцу, не-лирические задачи будут разрешаться ею в пристойной тому форме: в поэме, в повести, в драме; но форма лирического стихотворения никогда не является у нее лишь ложным обличием нелирических по существу переживаний [2].

Творчество Ахматовой не стремится напечатлиться на душу извне, показывая глазам зрелище отчетливых образов или наполняя уши многотонной музыкой внешнего мира, но ему дорого трепетать своими созданиями в самой груди, у сердца слушателя, и ластиться у его горла. Ее стихи сотворены, а не сочинены. Во всяком случае, она, не губя обаяния свой лирики, не могла бы позволить себе того пышного красования сочинительскою силою, которое художнику, отличающемуся большею душевною остойчивостью, не только не повредило бы, но могло бы явиться в нем даже источником очарования.

Сказанным предопределяется безразличное отношение Ахматовой к внешним поэтическим канонам. Наблюдение над формою ее стихов внушает уверенность в глубоком усвоения ею и всех формальных завоеваний новейшей поэзии и всей, в связи с этими завоеваниями возникшей, чуткости к бесценному наследству действенных поэтических усилий прошлого. Но она не пишет, например, в канонических строфах. Нет у нее, с другой стороны, ни одного стихотворения, о котором бы можно было сказать, что оно написано исключительно, или главным образом, или хоть сколько-нибудь для того, чтобы сделать опыт применения того или иного новшества, или использовать в крайнем напряжении то или иное средство поэтического выражения. Средства, новые ли, старые ли, берутся ею те, которые непосредственно трогают в душе нужную по развитию стихотворения струну.

Поэтому, если Ахматовой в странствии по миру поэзии случится вдруг направиться и по самой что ни на есть езжалой дороге, мы и тогда следуем за нею с неослабно бодрой восприимчивостью. Целее не подражать ей, если в своих скитаниях руководствуешься картами и путеводителем, а не природным знанием местности.

Когда стихи выпеваются так, как у Ахматовой, к творческой минуте применимы слова Тютчева о весне:

Была ль другая перед нею,
О том не ведает она.

Естественное дело, что, обладая вышеописанными свойствами, ахматовские стихи волнуют очень сильно и не одним только лирическим волнением, но и всеми жизненны-

ми волнениями, возбудившими к деятельности творческую способность. Из двух взглядов на поэзию: из убеждения, что человеческие волнения должны быть переработаны в ней до полной незаразительности, так, чтобы воспринимающий лишь отрешенно созерцал их, а трепетал только одною эстетической эмоцией, и из предположения, что и самые жизненные волнения могут стать материалом искусства, которе тогда одержит всего человека, гармонизируя его вплоть до физических чувств, — я предпочитаю второй взгляд и хвалю в Ахматовой то, что может показаться недостатком иному любителю эстетических студней.

Вот эта действенность стихов Ахматовой вынуждает отнестись ко всему в них выраженному с повышенной степенью серьезности.

VII

Несчастной любви и ее страданиям принадлежит очень видное место в содержании ахматовской лирики — не только в том смысле, что несчастная любовь является предметом многих стихотворений, но и в том, что в области изображения ее волнений Ахматовой удалось отыскать общеобязательные выражения и разработать поэтику несчастной любви до исключительной многоорудности. Не окончательны ли такие выражения, как приведенное выше о том, что у разлюбленной не бывает просьб, или такие:

Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.

Или:

Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,
Как будто копил приметы
Моей нелюбви.

Или это стихотворение:

У меня есть улыбка одна.
Так, движенье чуть видное губ.

Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.
Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

Много таких же, а может быть, и еще более острых и мучительных выражений найдется в «Четках», и, однако, нельзя сказать об Анне Ахматовой, что ее поэзия — «поэзия несчастной любви». Такое определение, будь оно услышано человеком, внимательно вникшим в «Четки», было бы для него предлогом к неподдельному веселью, — так богата отзвуками ахматовская несчастная любовь. Она — творческий прием проникновения в человека и изображения неутолимой к нему жажды. Такой прием может быть обязателен для поэтесс, женщин-поэтов такие сильные в жизни, такие чуткие ко всем любовным очарованиям женщины, когда начинают писать, знают только одну любовь, мучительную, болезненно-прозорливую и безнадежную. Чтобы понять причину этого, надо в понятии поэтессы, *женщины*-поэта, сделать сначала ударение на первом слове и вдуматься в то, как много за всю нашу мужскую культуру любовь говорила о себе в поэзии от лица мужчины и как мало от лица женщины. Вследствие этого искусством до чрезвычайности разработана поэтика мужского стремления и женских очарований, и, напротив, поэтика женских волнений и мужских обаяний почти не налажена. Мужчины-поэты, создавая мужские образы, сосредоточивались на общечеловеческом в них, оставляя любовное в тени, потому что и влеклись к нему мало, да и не могли располагать необходимой полярной чуткостью к нему. Оттого типы мужественности едва намечены и очень далеки от кристаллизованности, полученной типами женственности, приведенными к законосообразной цельности. Довольно ведь назвать цвет волос и определить излюбленную складку губ, чтобы возник целостный образ женщины, сразу определимый в некотором соотношении к религиозному идеалу вечноженственности. А не через эту ли вечноженственность мужчина причащается горних сфер?

И если иной раз в различных изломах нашей мужской культуры берется под сомнение самая допустимость жен-

щины в горние сферы, то не потому ли это, что для нее нет туда двери, соответствующей нашей вечной женственности?

В разработке поэтики мужественности, которая помогла бы затем создать идеал вечномужественности и дать способ определять в отношении к этому идеалу каждый мужской образ, — путь женщины к религиозной ее равноценности с мужчиною, путь женщины в Храм [3].

Вот жажда этого пути, пока не обретенного, — потому и несчастна любовь, — есть та любовь, которою на огромной глубине дишит каждое стихотворение Ахматовой, с виду посвященное совсем личным страданиям. Это ли «несчастная любовь»?

Теперь в том же понятии поэтессы, женщины-*поэта*, надо перенести ударение на второе слово и вспомнить Аполлона, несчастно влюбившегося бога-поэта, вспомнить, как он преследовал Дафну и как, наконец, настигнутая, она обернулась лавром — только венком славы... Вечное колесо любви поэтов! Страх, который они внушают глубинностью своих поползновений, заставляет бежать от них: они это сами знают и честно предупреждают. Тютчев говорит деве, приглашая ее не верить поэтовой любви:

Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом —

и дальше:

Он не змеею сердце жалит,
Но как пчела его сосет.

В составе любовной жажды, выражаемой в «Четках», ясно чувствуется стихия именно этой пчелиной жажды, для утоления которой слишком мало, чтобы любимый любил. И не темная ли догадка о скудости просто любви заставляет мужчину как-то глупо бежать от женщины-поэта, оставляя ее в отчаянии непонимания.

Отчего ушел ты?
Я не понимаю...

Или в другом стихотворении:

О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

И что-то, хоть и очень мелко человеческое, но все-таки

понимал тот, кто, как сообщается в одном стихотворении, в день последнего свидания

... говорил о лете и о том,
Что быть поэтом женщине — нелепость.

Желание напечатлеть себя на любимом, несколько насильническое, но соединенное с самозабвенной готовностью до конца расточить себя, с тем, чтобы снова вдруг воскреснуть и остаться цельным, и отрешенно *яснъим*, — вот она, поэтова любовь. С путями утоления этой любви иногда нельзя примириться — так оскорбительны они для обыкновенного сердца:

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес, —
Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.

Неверна и страшна такая любовь; но из нее же текут лучи, обожествляющие любимое, или, по крайней мере, делающие его видимым. Аполлоново томление по напечатлению на недрах личности сливается с женственным томлением по вечномужественному — и в лучах великой любви является человек в поэзии Ахматовой. Мукой живой души платит она за его возвеличение.

Но не только страдания несчастной любви выражает лирика Ахматовой. В меньшем количестве стихотворений, но отнюдь не с меньшей силой, выпевает она и другое страдание: острую неудовлетворенность собою. Несчастная любовь, так проникшая самую сердцевину личности, а в то же время и своею странностью и способностью мгновенно вдруг исчезнуть внушающая подозрение в выдуманности, так что, мнится, самодельный призрак до телесных болей томит живую душу, — эта любовь многое поставит под вопрос для человека, которому доведется ее испытать; горести, причиняющие смертельные муки и не приносящие смерти, но при крайнем своем напряжении вызывающие чудо творчества, их мгновенно обезвреживающее, так что человек сам себе являет зрелище вверх дном поставленных за-

конов жизни; неимоверные воспарения души без способности спускаться, так что каждый взлет обрывается беспомощным и унизительным падением, — все это утомляет и разуверяет человека.

Из такого опыта родятся, например, такие стихи:

Ты письмо мое, милый, не комкай,
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.
Не гляди так, не хмурься гневно,
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —
В этом сером будничном платье,
На стоптанных каблуках...

Кажется, только мертвый с такой остротою мог бы вспоминать о жизни, с какой Ахматова вспоминает о времени, когда она не вошла еще в свой испепеляющий опыт; а едва свойства этого опыта будут ею определены, мы увидим, что в мечтах огромного большинства людей он — лучшая доля. Вот что говорит она, вспоминая Севастополь:

Вижу выцветший флаг над таможней
И над городом жуткую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает, и больно вздохнуть.
Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.
Все глядеть бы на смутные главы
Херсонского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы
Безнадежно дряхлеют сердца.

И еще — надобно много пережить страданий, чтобы обратиться к человеку, который пришел утешить, с такими словами:

Что теперь мне смертное томленье!
Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

Такое самозабвение дается не только ценою великого страдания, но и великой любви.

IX

Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение — не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нет: самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук, — все свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную.

Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее требований, тем, что она хочет радоваться ли, страдать ли только по великим поводам. Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в средине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края — и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. Непонимающий их желания считает их чудаками и смеется над их пустячными стонами, не подозревая, что если бы эти самые жалкие, исцарапанные юродивые вдруг забыли свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу там у стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников.

X

Конечно, биение о мировые границы — действие религиозное, и если бы поэзия Ахматовой обошлась без силь-

нейших выражений религиозного чувства, все раньше сказанное было бы неосновательно и произвольно.

Но она сама указывает на религиозный характер своего страдальческого пути, кончая одно стихотворение такими строками:

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.
Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Путь, неведомый для нас?

Как Ахматова знает упоение молитвы, можно судить по описанию молящихся перед мощами святой:

И, согнувшись, бесслезно молилась
Ей о слепеньком мальчике мать,
И кликуша без голоса билась,
Воздух силясь губами поймать.

Нельзя не отметить, как здесь живет напряжение чуть шевелящихся губ, свойственное немой молитве: все губные, так часто встречающиеся в этой строфе: *б*, *п* и *м*, стоят или в начале, или в конце слов, или смежны с ударяемым гласным, например: губáми поймáть. Примечательно, что ни одного *р* нет во всей строфе.

Наконец, весь вышеописанный жизненный опыт, в молитвенно покаянном осознании, приводит к такому смирению:

Ни розою, ни былинкою
Не буду в садах Отца.
Я дрожу над каждой соринкою,
Над каждым словом глупца.

Религиозный путь так опеределен в Евангелии от Луки (гл. 17, ст. 33): «Иже аще взыщет душу свою спасти, погубит ю: и иже аще погубит ю, живит ю». Еще в «Вечере» Ахматова говорила:

. . . Не печально,
Что души моей нет на свете.

А стихи, кончающиеся упоминанием об указуемом ангелом пути начинаются так:

Пожалей о нищей, о *потерянной*,
О моей живой душе . . .

Для такой души есть прибежище в Таинстве Покаяния. Можно ли сомневаться в безусловной подлинности религиозного опыта, создавшего стихотворение «Исповедь»:

Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос: «Дева! встань».
Удары сердца чаще, чаще . . .
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.

Не дочь ли Иаира?

XI

При общем охвате всех впечатлений, даваемых лирикой Ахматовой, получается переживание очень яркой и очень напряженной жизни. Прекрасные движения души, разнообразные и сильные волнения, муки, которым впору завидовать, гордые и свободные соотношения людей, и все это в осиянии и в пении творчества, — не такую ли именно человеческую жизнь надо приветствовать стихами фета:

Как мы живем, так мы поем и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь.

А так как описанная жизнь показана с большою силою лирического действия, то на перестает быть только личною ценностью, но обращается в силу, подъемлющую дух всякого, воспринявшего ахматовскую поэзию. Одержимые ею, мы и более ценной и более великой видим и свою, и общую жизнь, и память об этой повышенной оценке не изглаживается — *оценка обращается в ценность*. И если мы, дей-

ствительно, как я думаю, вплываем в новую творческую эпоху истории человечества, то песнь Ахматовой, работая в ряду многих других сил на восстановление гордого человеческого самочувствия, в какой бы малой мере то ни было, но не помогает ли нам грести?

В частности же лирика, так много занимающаяся человеком и притом не уединенным *я*, но его соотношениями с другими людьми: то в любви к другому, то в любви другого к себе, то в разлюблении, то в ревности, в обиде, в самоотречении и в дружбе, — такая лирика не отличается ли глубоко гуманистическим характером? Способ очертания и оценки других людей полон в стихах Анны Ахматовой такой благожелательности к людям и такого ими восхищения, от которых мы не за года только, но, пожалуй, за всю вторую половину XIX века отвыкли. У Ахматовой есть дар геройского освещения человека. Разве нам самим не хотелось бы встретить таких людей, как тот, к которому обращены хотя бы такие, уже раз приведенные, строки:

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

Или такого:

А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,
Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?

Или такого:

Прекрасных рук счастливый пленник
На левом берегу Невы,
Мой знаменитый современник,
Случилось, как хотели вы.

Или — тут уже нельзя отказать себе в приведении всего стихотворения; оно образец того, как надобно показывать героев:

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне; улыбнулся;
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных древних ликов
На меня поглядели очи...

(На какую вышину взлет, сразу, мгновенно — сила то, значит, какая!)

Десять лет *замираний и криков,*
Все мои бессонные ночи
Я вложила в *тихое* слово
И сказала его напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто, и ясно.

Не только умом, силою, славою и красотой (хоть и излюблены эти качества гуманистами) обильны люди Ахматовой, но и души у них бывают то такие черные, как у того, для кого берегутся лучшие улыбки, то такие умилительные, что одно воспоминание о них целительно:

Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как *причастница* спала.

Не должно говорить, что стоит это сравнение, если только не напрасно я писал выше о́ другом Таинстве.

Я думаю, все мы видим приблизительно тех же людей, и, однако, прочитав стихи Ахматовой, мы наполняемся новою гордостью за жизнь и за человека. Большинство из нас пока ведь совсем иначе относится к людям; еще в умерших, так-сяк, можно предположить что-нибудь высокое, но в современниках? — как не пожать плечами...

Но вопрос, не оказываются ли именно стихи верным постижением настоящего; если так, то она не только помо-

гает плыть к стране новой культуры, но уже завидела ее и возвещает нам: «Земля».

Еще недавно, созерцая происходившие в России события, мы с гордостью говорили: «Это — история». Что же, история еще раз подтвердила, что *крупные* ее события только тогда бывают *великими,* когда в прекрасных биографиях вырастают семена для засева народной почвы. Стоит благодарить Ахматову, восстановляющую теперь достоинство человека: когда мы перебегаем глазами от лица к лицу и встречаем то тот, то другой взгляд, она шепчет нам: «Это — биографии». Уже? Ее слушаешь, как благовест; глаза загораются надеждою, и полнишься тем романтическим чувством к настоящему, в котором так привольно расти непригнетенному человеконенавистничеством духу.[4]

После всего написанного мне странно предсказать то, в чем я, однако, уверен. После выхода «Четок» Анну Ахматову, «в виду несомненного таланта поэтессы», будут призывать к раширмению «узкого круга ее личных тем». Я не присоединяюсь к этому зову — дверь, по-моему, всегда должна быть меньше храмины, в которую ведет: только в этом смысле круг Ахматовой можно назвать узким. И вообще, ее призвание не в расточении вширь, но в рассечении пластов, ибо ее орудия — не орудия землемера, обмеряющего землю и составляющего опись ее богатым угодьям, но орудие рудокопа, врезающегося в глубь земли к жилам драгоценных руд.

Впрочем, Пушкин навсегда дал поэту закон; его, со всеми намеками на содержание строфы, в которую он входит, я и приведу здесь:

Идешь, куда тебя влекут
Мечтанья тайные.

Такой сильный поэт, как Анна Ахматова, конечно, последует завету Пушкина.

Н. В. Недоброво

1. В конце мая 1915г. вышло второе издание «Четок». Выдержки из «Четок», приводимые здесь, сверены со вторым изданием. *Н. Н.*
2. В *Аполлоне* 1915 г., кн. 3, напечатана превосходная по-

эма Ахматовой : «У самого моря», подтгерждающая высказанные здесь соображения. *Н. Н.*

3. В довольно многочисленных статьях о «Четках» высказывались подобные же мысли и притом столь часто, что мои соображения в настоящее время являются лишь обстоятельной формулировкой общего места. *Н. Н.*

4. Надобно помнить, что это писалось весною 1914 г. С тех пор история снова заполнила всю жизнь человечества такими жертвенными делами и такими роковыми, каких и видано прежде не бывало. И слава Богу, что люди, действительно, оказались беспредельно прекраснее, чем о них думали; это в особенности относится к тому, столь оклеветанному до войны, русскому молодому поколению, к которому принадлежат почти все рядовые и младшие офицеры нашей армии и которое, таким образом, выносит на себе светлое будущее России и мира. К Ахматовой надо отнестись с тем большим вниманием, что она во многом выражает дух этого поколения и ее творчество любимо им. *Н. Н.*

ДОПОЛНЕНИЕ

СТИХИ

218

[А. А. Смирнову]

Когда умрем, темней не станет,
А станет, может быть, светлей.

1911, май, Париж

219

ОТВЕТ

«И при луне новорожденной
Вновь зажигаю шесть свечей».

Я получила письмо,
Не поверила нежным словам,
Читала, смотрела в трюмо,
Удивлялась себе и Вам.

В окна широкий свет
Вплывал, и пахло зимой...
Знаю, что Вы поэт,
Значит, товарищ мой.

Как хорошо, что есть
В мире луна и шесть
Вами зажженных свеч!

Думайте обо мне,
Я живу в западне
И боюсь неожиданных встреч.

1913

220

Отлетела от меня удача,
Поглядела взглядом ястребиным
На лицо, померкшее от плача,
И на рану, ставшую рубином
На груди моей.

1921

221

Тому прошло семь лет . . . . . .
Как листья желтые сметал людские жизни,
И друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

[1924?]

222

ПОЗДНИЙ ОТВЕТ

Белорученька моя, чернокнижница.
М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах.
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом».

Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заметающей след.

Фонтанный Дом — Красная Конница
1940, 16 марта

223

Прокаженный молился . . .
В. Брюсов.

То, что я делаю, способен делать каждый.
Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды.

И с горсткой храбрецов не брал финляндский дот,
И в бурю не спасал какой-то пароход.

Ложиться спать, вставать, съедать обед убогий
И даже посидеть на камне у дороги,

И даже, повстречав падучую звезду
Иль серых облаков знакомую гряду,

Им улыбнуться вдруг поди куда как трудно,
Тем более дивлюсь своей судьбине чудной

И, привыкая, к ней привыкнуть не могу,
Как к неотступному и зоркому врагу . . .
<. . .>

Фонтанный Дом.
1941. Январь.

224

Это и не старо и не ново.
Ничего нет сказочного тут.
Как Отрепьева и Пугачева
Все тринадцать лет меня клянут.

. . . . и жестоко,
И неодолимо, как гранит.
От Либавы до Владивостока
Вечная анафема гремит.

1959

225

Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта, поверьте,
Вижу их что ни ночь во сне.
Отлученною быть от ложа
И стола — пустяки! Но не гоже
Выносить, что досталось мне.

[1960-е гг.]

226

«БОЛЬШАЯ ИСПОВЕДЬ»

Вступление

Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст,
Цвет кожи, веру, даже день рожденья
И вообще все то, что можно скрыть.
А скрыть нельзя — отсутствие таланта
И кое-что еще, остальное ж
Скрывайте на здоровье.

1

24 августа 1963

Но говорят — в разбомбленном когда-то,
А ныне восстановленном строеньи
Нашли обрывки старого письма.
Подумаешь еще — делов палата,
Однако на поверку вышло так.
Знакомым всем тот показался почерк,
И всем мерещилось, что с ним такое
Уже когда-то в жизни приключилось,
И множество подобной чертовни.
(Диктуй, диктуй, я на коленях буду
Тебе внимать — неутолимой жаждой
И я больна — но это скроем мы.)
N захотел тут даже повесть сделать,
Но все заголосили: «Ни за что!»

2

Довольно нам таких произведений,
Подписанных чужими именами,
Все это нашим будет и про нас.
А что такое «наше»? и про что там?
Ну, слушайте, однако.

Из исповеди

И эта нежность не была такой,
Как та, которую один поэт какой-то
В начале века на́звал настоящей
И тихой почему-то. Нет, ничуть —
Она, как первый водопад, звенела,
Хрустела коркой голубого льда,
И лебединым голосом молила,
И на глазах безумела у нас.

3

Все было очень чинно и достойно:
Двадцатый Век, Москва, весны начало,
Друзья и книги, и в окне — закат.
. . . . . .
Нам бы тогда же сделаться врагами,
Почувствовав, что-то здесь неладно,
Но почему-то мы не догадались,
И пропустили время. — Ерунда.
Такое ли еще бывало в мире,

А впрочем, я не знаю. Не из ада ль
Повеял ветер, или дуновенье
Волшебное вдруг ощутили мы.
Все кончено. Корабль идет ко дну,
И маски прочь — и я с тобой в плену.
Еще я слышу свежий клич свободы,
Мне кажется, что вольность мой удел,
И слышатся «сии живые воды»
Там, где когда-то юный Пушкин пел.

4

Мы, помнится, готовы были оба
Терпеть нежданные дары Судьбы,
Как надлежит и с твердостью спокойной,
А может, и насмешливо чуть-чуть.
Но умереть от нежности друг к другу
Боялись мы — и этот страх все рос
И постепенно заполнял пространство,
Которое и так неодолимо
И траурно лежало между нами...
И пересечь которое, пожалуй,
И в голову нам не могло прийти.
А рядом громко говорила Федра
Нам, гордым и уже усталым людям,
Свои невероятные признанья,
И «больше не читавшая» Франческа
О первенстве заботилась своем.
Я понимаю, как все это сложно.
Но все же попытайся уцелеть.

5

Так вот когда с тобой беда случилась.
Беда случилась — ты ее познал.
Теперь ты знаешь, что ни с чем на свете
Ее нельзя сравнить и утолить:
Ту жажду, что приходит раз в столетье,
А может быть, и реже, бедный друг.
Ни ветрами свободных океанов,
Ни запахом тропических лесов,
Ни золотом, ни водкою кабацкой,
Ни шкиперским крепчайшим коньяком,
Ни музыкой, когда она небесной
Становится и нас уносит ввысь,
Ни даже тою памятью блаженной
О первой и несознанной любви,
Ни тем, что люди называют славой,
За что иной согласен умереть.
И только мы с тобой знаем тайну,
Как утолить ее, но мы не скажем
Под злою пыткой и друг другу даже,
Особенно друг другу. — Замолчи!

[1962 — 1963]

227

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.

Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа . . .
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.

Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча . . .
И тогда спюлзает лента черная
С низко обнаженного плеча.

[1910]

ИЗ ПРОЗАИЧЕСКИХ НАБРОСКОВ

I

Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире. Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал.

Биография

1. Павловск — 1-ая фотография.

В 5 лет — французский язык. Два лета в Гунгенбурге. Сев.природа — Царское Село. Царскоселы . . . Ц. С. — не город Муз /даже не было библиотеки/ и они не знали, что там умер Тютчев.

Мне было 10 лет и мы жили /одну зиму/ в доме Дауделя /угол Средней и Леонтьевской в Ц<арском> С<еле>/. Живущий где-то поблизости гусарский офицер выезжал на своем красном и дикого вида автомобиле, проезжая квартал или два — затем машина портилась и извозчик вез ее с позором домой. Тогда никто не верил в возможность автомобильного и тем более воздушного сообщений.

В Царском Селе — она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела сложить по форме руки,сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал ее с собой в оперу /в гимназическом платье/ в Мар<иинский> театр /ложа/. Бывала в Эрмитаже, в Музее

Александра III-го. Весной и осенью в Павловке на музыке — Вокзал... В царскосельских парках тоже античность, но совсем иная /статуи/. Музей и картинные выставки... Зимой часто на катке в парке. Читала много и постоянно. Большое /помоему/ влияние /на нее/ оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун /«Загадки и тайна»/; Пан, Виктория меньше. Другой властитель Ибсен... Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась /дружила с немногими/.

Где-то около 50 л<ет> все начало жизни возвращается к нему. Этим объясняются некоторые мои стихи 1940 г. /Ива,Пятнадцатилетние руки/, кот <орые> как известно вызвали упреки в том, что я тянусь к прошлому.

XX век начался осенью 1914 г., вместе с войной, так же XIX век начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют...

Начинать совершенно все равно с чего: с середины, с конца или с начала. Я вот, например, хочу сейчас начать с того, что эти зеленые домики с застекленными террасами /в одном из них я живу/ непрерывно стояли перед моими /закрытыми/ глазами в 1951 г., в больнице /Москва/, когда я лежала после инфаркта, и, вероятно, находилась под действием пантопона. Дома эти тогда еще не существовали — их построили в 1955 г., но, когда я их увидела, я тотчас припоминала, где видела их раньше. Оттого я и написала в «Эпилоге»:

Живу как в чужом мне приснившемся доме,
Где может быть я умерла

Видеть без головокружения девяностые годы 19 века с высоты середины XX века почти невозможно.

1910-ые годы

10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911 год китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий... «Кипарисовый ларец... Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы — самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева».

Конечно, в это, как и во всякое, время было много безвкусных людей (например, Северянин)... По сравнению с аляповатым первым десятилетием — 10-е годы собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину и выпустила при этом много крови (война 1914 г.).

СЛЕПНЕВО

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев.

В моей комнате (на север)... узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть... Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы» и барон Брамбеус, и Руссо.

Там я встретила войну 1914, там провела последнее лето (1917).

... Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею.

Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну... Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 я приехала в Слепнево прямо из Парижа и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, кот<орая> веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К Слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за обедом и умирал от смущения, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?».

Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им казалось) таинственность называли меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастие.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате (1911)...

Березки и Подобино, Дубровка, Тетя... и Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (рожд. Пиленко). Неведомские. Хилковы (1916 г.).

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в 19 век чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и

мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали Революцию, кот<орая> была назначена на 20 января. (В этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: В день Русской Революции).

МНИМАЯ БИОГРАФИЯ

Царское было зимой, Крым (дача Тура) летом, но убедить в этом никого невозможно, потому что все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых оттого,что я родилась в Одессе (и кончила Фунд<уклеевскую> гимн<азию>...

А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941—1944 во время эвакуации). Одну зиму, когда кончила Фунд <уклеевскую> гимназию и две зимы, когда была на В. Ж. К. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела. И читатель этой книги должен привыкать, что все было не так, не тогда и не там — как ему чудится. Страшно выговорить, но люди видят только то, что хотят видеть, и слышат только то, что хотят слышать. Говорят «в основном» сами с собой и почти всегда отвечают себе самим, не слушая собеседника. На этом свойстве чел<овеческой> природы держится 90% чудо<вищных> слухов, ложных репутаций, свято сбереженных сплетен. (Мы до сих пор храним змеиное шипение Полетики о Пушкине!!!) Несогласных со мной я только попрошу вспомнить то, что им приходилось слышать о самих себе.

II

[О Царском Селе и Пушкине]

Все каменные циркули и лиры, — мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал, и еще потрясающее

в великолепный мрак чужого сада,

самая дерзская строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мной (однако не плохо и «священный сумрак»).

[Описание усадьбы Гумилевых Слепнево]

Над диваном висел небольшой портрет Ник [олая] I не как у снобов в Петербурге, — почти, как экзотика, а просто сериозно по-онегински («Царей портреты на стенах»).

[О своей семье и стихах]

В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова.

[О царскоселах и доме Тютчева]

Царскоселы [...] даже понятия не имели о том, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Неплохо бы хоть теперь (пишу в 1959 г.) назвать эту улицу именем Тютчева.

[О первом импульсе к созданию «Поэма без героя»]

Первый росток, который я десятилетиями скрывала от себя самой, — это, конечно, запись Пушкина: «Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне».

ПРИМЕЧАНИЯ

Этот третий том сочинений Анны Ахматовой задержался с выходом на целых пять лет. Помимо причин чисто технических, не зависящих от редакции, желание приблизить трехтомник к наибольшей полноте побудило нас выждать появление основных архивных публикаций.

В пределах, доступных в зарубежных условиях, мы включили в этот том все стихотворения, иногда и не оконченные, которые либо получены нами непосредственно, либо появились в разных советских изданиях (свыше 200 единиц); всю прозу, как автобиографическую вплоть до отдельных записей и планов книги воспоминаний, так и критическую, в основном, работы о Пушкине, тщательно подготовленные к печати Эммой Герштейн; наконец, все известные нам письма (это первая попытка систематизировать небогатое эпистолярное наследие поэтессы).

Редкие биографические и критические материалы дополняют публикацию текстов.

Таким образом, в настоящее время, трехтомник является первым посильно полным Собранием сочинений Анны Ахматовой.

Приносим нашу глубокую благодарность Ю. Иваску, K. Verheul'y, К. Тарановскому, сообщившим нам ряд материалов, художнику С. Голлербаху — автору обложки, С. Дедюлину, взявшему на себя труд проверить тексты и дополнить примечания.

Принятые сокращения

Ардис-77 – Анна Ахматова. *Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография.* Сост. Э. Проффер. Анн Арбор, «Ардис», 1977

БП – Анна Ахматова. *Стихотворения и поэмы.* Составление,подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского. «Библиотека поэта», Большая серия. «Советский писатель», Ленинградское отделение, 1976 (то же, с поправками — 1977, 1979)

ВЛ — «Вопросы литературы», журнал, Москва

ВП-3 – «Встречи с прошлым». Сборник материалов ЦГАЛИ. Вып. 3. М., «Советская Россия», 1978; Изд. 2-е, исправленное — 1980

ВПу – «Воздушные пути», альманах, Нью-Йорк

ВРСХД – «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения», журнал,Париж – Нью-Йорк

ВРХД — «Вестник Русского Христианского Движения», журнал, Париж — Нью-Йорк — Москва

ГИХЛ – Государственное издательство художественной литературы

ГПБ – Отдел рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград

ДП – «День поэзии», альманах

Еж. РОПД-74 — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л., «Наука», 1976

Зв – «Звезда», журнал, Ленинград

ЗОР – «Записки Отдела рукописей» [Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина], М., «Книга»

И-74 – Анна Ахматова. *Избранное.* Составление и послесловие Н. Банникова. М., «Художественная литература», 1974

ИМЛИ – Отдел рукописей Института мировой литературы, Москва

К – «Континент», журнал, [Париж]

Л. – Ленинград

ЛГ – «Литературная газета», Москва

ЛГр – «Литературная Грузия», журнал,Тбилиси

Ли-76 — Анна Ахматова. *Стихи и проза.* Лениздат, 1976 (то же, с некоторыми изменениями и поправками – 1977)

ЛКЧ-1 – Лидия Чуковская. *Записки об Анне Ахматовой.* Том 1: 1938-1941. Париж, ИМКА-ПРЕСС, 1976

ЛКЧ-2 — То же, том 2: 1952—1962. Париж. ИМКА-ПРЕСС, 1980

М. – Москва

НМ – «Новый мир», журнал, Москва

ОП – Анна Ахматова. *О Пушкине.* Статьи и заметки. Составление, послесловие и примечания Э. Г. Герштейн. Л., «Советский писатель», 1977

ПАА – *Памяти Анны Ахматовой.* Стихи. Письма. Воспоминания. Париж, ИМКА-Пресс, 1974 (то же, с некоторыми поправками – 1975)

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом), Ленинлрад

РЛ — «Русская литература», журнал, Ленинград

СПб — Санкт-Петербург

С-77 — Анна Ахматова. Стихотворения. Составитель Е. Банников. «Поэтическая Россия». Москва. «Советская Россия», 1977.

ЦГАЛИ – Центральный Государственный Архив Литературы и Искусства, Москва

Ю — «Юность», журнал, Москва

CMRS — «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», журнал, Париж

Mouton-73 – Jeanne van der Eng-Liedmeier, Kees Verheul. *Ta l e Without a Hero and Twenty-Two Poems by Anna Axmatova.* Paris, «Mouton. The Hague»,1973

RL – «Russian Literature», журнал, Париж – Гаага (затем – Амстердам)

RLT — «Russian Literature Triquarterly», журнал, Ann Arbor

SH – «Slavica Hierosolymitana», журнал, Иерусалим

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1-2. Печ. нами по тексту, сообщенному Г. Бараном. За то время, пока книга находилась в наборе, эти стихи были опубл.: 1 — Р. Д. Тименчиком в его статье *Ранние поэтические опыты Анны Ахматовой* (в сб. «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1979». Л., 1980, с. 140) — под названием *Лилии*, с некоторыми расхождениями в пунктуации и уточнением даты: 1904 г. Одесса 22 июня и 2 — Э. Г. Герштейн в составе ее публикации *Десять писем Анны Ахматовой* (RLT, № 13, 1975, p. 623—624, затем — Ардис-77, с. 99); см. также наст. изд., с. 19—20. В БП включены не были.

3. Опубл. Л. Мандрыкиной и М. Кралиным («Простор», Алма-Ата, № 2, 1971, с. 101); в БП — №486, с заменой (видимо, ошибочной) в строке 10 «кляня» на «пленя» и даты 1909 на 1907.

4. Опубл. Э. Г. Герштейн (см. прим. к № 2), соответственно p. 624 и с. 100.

5. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 53); в БП — № 487.

6. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв, № 8, 1969, с. 164); в БП — № 488.

7. Печ. нами по списку (см. также наст. изд., № 215); другая редакция опубл. в БП, № 489.

Н. Г. — Николаю Гумилеву. Перевод эпиграфа:

Я не заслужу той высшей чести
Даровать мое имя той бездне,
Что послужит мне могилой.

— окончание стих-я Бодлера *Жалобы Икара* (1862). Помимо известных переводов этого стих-я, сделанных Эллисом, Альвингом, П. Антокольским, А. Пановым, П. Якубовичем, существует также малодоступный перевод О. А. Глебовой-Судейкиной. Приводим его текст из кн.: Eliane Moch-Bickert. Olga Glebova-Soudeikina. Amie et inspiratrice des poètes. Paris-Lille, 1972, p. 496:

ЖАЛОБЫ ОДНОГО ИКАРА

Счастлив любовник проститутки,
И цел и весел – жизнь легка;
Себе же изломал я руки,
Лишь обнимая облака.

Все ради звезд необычайных,
Ярчей, чем неба бирюза,
О солнце помнит, глаз печальных
И солнцем выжженых – слеза.

Была напрасная услада
За грань миров взлететь светло,
Под властью огневого взгляда
Мое вдруг сломано крыло!

Постигла огненная кара
Того, кто бездну обнимал,
И славным именем Икара
Никто той бездны не назвал.

8. Опубл. Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком в составе их публикации *Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову* (ЗОР, вып. 33, 1972, с. 276—277), затем — в более развернутой их публикации (CMRS, № 1—2, 1974, p. 198). В БП включено не было.

9. Опубл. Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком (CMRS, № 1-2, 1974, p. 199); в БП – № 490.

10. Опубл. Н. А. Жирмунской («Поэзия», вып. 12, 1974, с. 111) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 491.

11. Впервые «Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни», № 3, 1911, с. 151. Републиковано Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком (см. прим. к № 8), соответственно с. 277 и p. 199; в БП – № 493.

12. Опубл. Н. А. Жирмунской («Поэзия», вып. 12, 1974, с. 112) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 494.

13. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 495.

14. Опубл. Н. А. Жирмунской (ЛГ, № 38, 15. 09. 1971) по автографу (ГПБ); в БП – № 496.

15. Опубл. там же по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 497.

16. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП – № 498.

17. Опубл. там же (с. 67) и одновременно в статье В. М. Жирмунского *О творчестве Анны Ахматовой* (НМ, № 6, 1969, с. 243) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 525.

18. Опубл. (со ссылкой на предстоявшее наст. изд.) и прокомментировано В. Н. Топоровым (в его кн.: Ахматова и Блок. Серия «Modern Russian Literature a. Culture. Studies a. Texts», Vol. 5. Berkeley, 1981, p. 49—51).

Печ. нами по списку (собр. Г. П. Струве). Перекликается со стих-м Ахматовой «После ветра и мороза было..» (январь 1914). Граф Валентин Платонович Зубов (1885-1969) – искусствовед, основатель Зубовского Ин-та истории искусств (1912-1930, Петроград), репрессирован в 1922, в эмиграции после 1925. Ахматова встречалась с ним в Париже в 1965.

19. Опубл. М. И. Дикман (в прим. к кн. Ф. Сологуба *Стихотворения*, «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1975, с. 624; то же, с исправлением даты, в дополнительном тираже — 1978), затем — Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым в составе их публикации *Материалы А. А. Ахматовой в Рукописном отделе Пушкинского Дома* (Еж РОПД-74, с. 54) по автографу (ПД); в БП – № 500.

20. Опубл. Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком (CMRS, № 1-2, 1974, p. 200); в БП – № 501.

21. Опубл. В. М. Жирмунским (РЛ, № 3, с. 82) по автографу (ГПБ); в БП – № 501.

22. Разыскано Г. Г. Суперфином (ЦГАЛИ) и опубл. Д. Коган (в прим. к ее кн.: *Сергей Юрьевич Судейкин*, М., 1974, с. 186-187); в БП включено не было.

23. Опубл. Р. Д. Тименчиком в его статье *К семиотической интерпретации «Поэмы без героя»* (в сб. «Труды по знаковым системам», VI, Тарту, 1973, с. 439) со ссылкой на подготовленную к печати статью Г. Г. Суперфина *Кузмин и Маяковский* (осталась неопубл.); затем – Д. Коган (см. наст. изд., прим. к № 22, с. 186) – по автографу (ЦГАЛИ).

24. Впервые опубл. в БП, № 511 по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград; другой — ЦГАЛИ).

25. Впервые – в кн. *Тамаре Платоновне Карсавиной – «Бродячая собака», 26 марта 1914*, СПб, с. 12. Републиковано А. С. Крюковым («Подъем», № 3, 1968), затем — в наст. изд., т. 2, вкладка; в БП — № 512.

26. Опубл. А. С. Крюковым (см. прим. к № 25), затем – в наст. изд., т. 2, вкладка. В БП включено не было.

27. Опубл. В. М. Жирмунским (РЛ, № 3, 1970, с. 61); в БП включено не было.

28-29. Впервые – «Ежемесячный журнал», № 12, 1914, с. 3. Републикованы В. Н. Орловым (ДП, Л., 1968, с. 182); в БП – №№ 508, 509.

30. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 53) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 514.

31. Впервые опубл. в БП, № 515 по автографу (ЦГАЛИ, другой – ГПБ).

32. Опубл. Н. А. Жирмунской (ЛГ, № 38, 15. 09. 1971) по автографу (ЦГАЛИ); в БП – № 516.

33. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж РОПД – 74, с. 58); в БП включено не было.

34. Опубл. и прокомментировано М. Мейлахом в его статье *Неизданное стихотворение Анны Ахматовой* (Ардис-77, с. 73-75) по выправленной машинописи (архив М. Л. Лозинского; хранится у С. М. Лозинского, Ленинград); исследовано также Р. Тименчиком в его статье *Храм Премудрости Бога: стихотворение Анны Ахматовой 'Широко распахнуты ворота . . .'* (SH, Vol. V—VI, 1981, p. 297—317). В БП включено не было.

35-36. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографам (ЦГАЛИ); в БП – №№ 517, 518.
37. Впервые опубл. в БП, № 628 по автографу (ЦГАЛИ).
38. Впервые — «Свободный журнал», № 3—4, 1918, с. 15. Републиковано В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66—67); в БП – № 519.

«Здравствуй, князь» — слова из стих-я Александра Блока:

В густой траве пропадешь с головой,
В тихий дом войдешь, не стучась . . .
Обнимет рукой, оплетет косой,
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь!»

39. Впервые – «Свободный журнал», № 3-4, 1918, с. 15. В БП — в отделе вариантов к № 253 (ср. оконч. вариант — наст. изд., т. 1, изд. 2-е, с. 217).
40. Впервые опубл. в БП – № 520 по автографу (ЦГАЛИ).
41. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографу (ЦГАЛИ). В БП – № 522 под названием *Из старых стихов (10-е годы).*
42. Опубл. Н. А. Жирмунской (ЛГ, № 38, 15. 09. 1971); в БП включено не было.
43. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографу (ЦГАЛИ) .В БП — № 521.
44. Впервые опубл. в БП – № 526 по автографу (ЦГАЛИ).
45. Там же, № 523.
46. Там же, № 524.
47. Опубл. С. В. Беловым в его статьях . . . *Милый Самуил Миронович* . . . (газ. «Вперед», г. Пушкин, 23. 08. 1975) и *Песни птицы «Алконост»* («Книжное обозрение», № 12, 25. 03. 1977); затем — М. О. Чудаковой в её кн. *Беседы об архивах,* М., «Молодая гвардия» (серия «Эврика»), 1975, с. 28; то же — 1980, с. 27. В БП включено не было.
48. Опубл. В. М. Жирмунским (РЛ, № 3, 1970, с. 82) по записи В. Н. Орлова со слов автора. В БП – № 527.
49. Опубл. в ПАА (с. 10).

50. Впервые — «Свирель Панаа», № 1, 1923, с. 1. В БП — № 529.

51. Там же. В БП — № 299.

52. Впервые опубл. в БП — № 530 по записи В. Н. Орлова со слов автора.

53. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 49).

54. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв., № 8, 1969, с. 164). В БП — № 531.

55. Опубл. А. С. Крюковым (см. прим. к № 25), затем — в наст. изд., т. 2, вкладка; с исправлением опубл. Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 190, 502). В БП включено не было. Печ. нами по публикации Л. К. Чуковской.

56. Опубл. Л. К. Чуковской (ЛГр, № 5, 1967, с. 64). В БП — № 298.

57. Опубл. в ПАА (с. 14). В БП включено не было.

58. Впервые опубл. в БП — № 532 по автографу (ГПБ).

59. Опубл. А. С. Крюковым (см. прим. к № 25), с. 116, затем — в наст. из., т. 2, вкладка. В БП — № 533 по автографу (ЦГАЛИ).

60. Опубл. Л. К. Чуковской («Звезда Востока», № 6, 1966, с. 41), затем — в ДП (М., 1968, с. 165); Н. Банниковым (И-74, с. 458) с искажением; в ПАА (с. 11); Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 231); и др. В БП — № 314.

61. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 49 — с искажениями; поправки см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 210), затем — в ПАА (с. 10). В БП включено не было.

62. Впервые опубл. Н. Я. Мандельштам в ее кн. *Воспоминания* (Н.-Й., 1970, с. 337, а также в многочисленных переизданиях) с сильными искажениями; затем др. варианты опубл.: — Н. А. Струве (ВРСХД, № 97, 1970, с. 136), в ПАА (с. 11), Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 65) и др. В БП включено не было; в СССР опубл. и прокомментировано лишь фрагментарно (строки 1—2, 9—12) — в статье Т. В. Цивьян *Наблюдения над категорией определенности — неопределенности в поэтическом тексте (поэтика А. Ахмато-*

вой) в сб.: *Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках.* М., «Наука», М., 1979, с. 351. Печ. нами по публикации...

63. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 51 — с датой «1942» и с пропуском слова; поправку и вариант см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 210), в ПАА (с. 24 — с датой «1937»). В БП включено не было. Печ. нами по ПАА.

64. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 101—102, 1971, с. 230), затем — в ПАА (с. 22), М. Б. Мейлахом в его статье *Об именах Ахматовой. 1. Анна* (RL, Vol. 3, № 10—11, [1975], с. 51). В БП включено не было.

65. Опубл. В. Скороденко («Радио и телевидение», № 13, август 1966, с. 15), затем — в наст. изд., т. 2, с. 139; в ПАА (с. 17); Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 511) и др. (публикации за рубежом этого стих-я многочисленны — в двуязычных изданиях Ахматовой, в различных антологиях и т. д.; в СССР было опубл. лишь еще один раз — С. Дедюлиным в его заметке «*От Либавы до Владивостока...*» [газ. «Коммунист», Лиепая, № 172, 08. 09. 1979]). Из БП было изъято.

66. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 95/96, 1970, с. 126), затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 50 с разночтением); Н. Банниковым (И-74, с. 453); в ПАА (с. 15), в БП — № 534, Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 495). Строки 9—12 впервые опубл. Н. Я. Мандельштам в ее *Воспоминаниях* (Н.-Й., 1970, с. 7) — с искажением.

67. Опубл. среди отрывков в ПА с. 12—14, затем — в ПБ — № 632 и в отделе вариантов.

68. Опубл. в ПАА (с. 22), затем — Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 218), С. Дедюлиным в его заметке *Finland i Anna Achmatovas poesi* («Rysk Kulturrevy», Bromma № 4, 1979, S. 9). В БП включено не было.

69. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград). В БП — № 538.

70. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 93, 1969, с. 15), затем —

Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 50 — б. н., с ошибкой; поправку см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 210), в ПАА (с. 19), Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 500 — др. вариант). В БП включено не было.

71. Опубл. В. Скороденко (см. прим. к № 65), затем — в наст. изд., т. 2, с. 139—140. В БП — № 325 по рукописи.

72. Опубл. Л. К. Чуковской («Москва», № 6, 1966, с. 157), затем — в ПАА (с. 20), Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 230—231). В БП — № 324 по рукописи.

73. Опубл. в ДП (Л., 1966, с. 50), затем — в наст. изд., т. 2, с. 141—142; Н. Банниковым (И-74, с. 452) и др. В БП — № 535 по автографу.

74. Опубл. В. Жирмунским в ДП (М., 1971, с. 155), затем — Н. Банниковым (И-74, с. 450 — с искажением), Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 244—245). В БП — № 536 по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград).

75. Опубл. А. С. Крюковым (см. прим. к № 25), с. 110; затем — в наст. изд., т. 2, вкладка, и др. в БП — № 537 по автографу (ЦГАЛИ).

76. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 50 — без эпиграфа и с искажениями; поправки см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 210), затем в ПАА (с. 23), Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 105; там же — объяснения эпиграфа). В БВ включено не было.

77. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград). В БП — № 540.

78. Опубл. В. Жирмунским в ДП (М., 1971, с. 1971, с. 155) по автографу (там же). В БП — № 539.

79. Впервые — «Ленинград», № 16, 1941. Републиковано М. Кралиным (Зв, № 3, 1979, с. 190). В БП включено не было.

80. Опубл. в отделе вариантов в БП, к № 354.

81. Различные варианты опубл. — Л. К. Чуковской (ЛГр, № 5, 1967, с. 64); в наст. изд., т. 2, с. 142—143; Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 52—53); Н. Банниковым (И-74, с. 459); в БП — № 541 — по записи В. Н. Ор-

лова со слов автора; Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 496—497). Печ. нами по публикации в Mouton-73.

82. Впервые опубл. в БП — № 542 по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград).

83. Опубл. Л. К. Чуковской («Звезда Востока», № 6, 1966, с. 41), затем — в наст. изд., т. 2, с. 138; в БП — № 544 по автографу (ЦГАЛИ).

84. Опубл. в отделе вариантов в БП к №№ 382—383 (с. 409—410).

Известен черновой набросок этого стих-я, опубл. и прокомментированный Евг. Рейном в его обзоре «*. . . С радостью вписываю в альбом Иннокентия Мемноновича . . .*» (ВЛ, № 6, 1981, с. 312) по автографу в альбом И. М. Басалаева (хранится у И. М. Наппельбаум, Ленинград); в БП включен не был:

ОТРЫВОК

Черн[овик]

«Ин. Басалаеву на память
о нашем Ташкенте

. . . . . .
Не знала б, как цветет айва,
Не знала б, как звучат слова
На Вашем языке.
Как в город с гор ползет туман
И что проходит караван
Чрез пыльный Бешагач,
Как луч, как ветер, как поток,

* * *

И город древен, как земля,
Из чистой глины сбитый.
Вокруг бескрайние поля
Тюльпанами залиты.

* * *

Теперь я всех благодарю,
Рахмат и хайер говорю
И вам машу платком.
Рахмат Айбек, рахмат Чусти,
Рахмат Тошкент! — прости, прости,
Мой тихий древний дом.
Рахмат и звездам и цветам,
И маленьким баранчукам
У чернокосых матерей
На молодых руках...
Я восемьсот волшебных дней
Под синей чашею твоей
Лапислазурной чашей
Тобой дышала жгучий сад...»

Рахмат — спасибо (узб.). *Хайер* — до свидания. *Айбек* и *Чусти* — узбекские поэты. *Тошкент* — узбекское название этого города.

85. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв, № 8, 1969, с. 164) по автографу (хранится в собр. Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП — № 543.

86. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 54) по автографу (ГПБ); в БП — № 617.

87. Опубл. там же (с. 55) по автографу (ГПБ); в БП — № 545.

88. Опубл. Н. Жирмунской (ДП, М., 1973, с. 259) по автографу (ГПБ); в БП — № 603.

89. Опубл. там же, в БП — № 604.

90. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 66) по автографу (ГПБ) в БП № 547.

91. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 6, 1969, с. 243) по автографу (хранится в собр. Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП — № 546.

92. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, с. 55) по автографу (хранится в собр. Г. П. Макогоненко, Ленинград); в БП — № 553.

93. Опубл. там же по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП — № 549.

94. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67); в БП включено не было.

95. Впервые опубл. Л. К. Чуковской (ЛГр, № 5, 1967, с. 64); перепечатано в наст. изд., т. 2, с. 143. Затем не раз печаталось с искажениями (в т. ч. и в БП, № 548), — комментарий в связи с этим см. ЛКЧ-2, с. 542-543.

Печ. нами по первопубликации, более точная дата — по БП.

96. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, с. 55) по автографу (ГПБ); в БП — № 550.

97. Опубл. В. М. Жирмунским (РЛ, № 3, 1970, с. 71) по автографу (хранится у Г. П. Макогоненко, Ленинград), затем — им же (ДП, М., 1971, с. 155); в БП — № 551.

98. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП — № 552.

99. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 53 — с искажением; поправки см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 211), затем — в отделе вариантов БП к № 392 по автографу (ЦГАЛИ); Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 498—499). Строки 5—11 — впервые опубл. в кн. K. Verheul, *The Theme of Time in the Poetry of Anna Achmatova*, The Hague — Paris, «Mouton», 1971, p. 159 (с тем же искажением, что и Mouton-73).

100. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, с. 56) по автографу (хранится у Н. Л. Дилакторской, Ленинград); в БП — № 554.

101. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 101—102, 1971, с. 230) по списку (с перестановкой 1 и 2 строк); затем — в ПАА (с. 24) и БП — № 393 по автографу (ЦГАЛИ).

102. Опубл. Н. Жирмунской (ДП, М., 1973, с. 260) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 556.

103. Опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 55 — с искажением и б. д.; поправку и датировку см. в статье М. Мейлаха — RL, № 7—8, [1974], с. 211—213).

105. Впервые опубл. Р. Д. Тименчиком в его статье *Ахматова и Пушкин. Заметки к теме* (Пушкинский сборник, вып. 2. Ученые записки Латвийского государственного университета, т. 215, Рига, 1974, с. 37) со ссылкой на сообщение А. Г. Наймана. Затем было включено М. Кралиным в обе его публикации фрагментов *Большой исповеди* (см. наст. изд., № 226).

106. Опубл. Н. Жирмунской (ДП, М., 1973, с. 260) по автографу (ГПБ); в БП — № 557.

107. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, №6, 1969, с. 245) по автографу (ГПБ); в БП — № 601. Обе публикации — с названием *Песенка*.

108. Впервые опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 101—102, 1971, с. 231) по списку, б. н.; затем — в ПАА (с. 21, б. д.) и Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 501—502, № 64, — б. д.). В БП включено не было.

109. Впервые опубл. (б. д.) в ПАА (с. 17); затем, в СССР — С. Дедюлиным в его заметке *«От Либавы до Владивостока...»* (газ. «Коммунист», Лиепая, № 172, 08. 09. 1979); в БП включено не было.

В. Н. Топоров в своей книге *Ахматова и Блок* (см. прим. к № 18) отмечает: «Любопытно, что *Стеклянный звонок* в таинственном стихотворении Ахматовой [...] напоминает *стеклянную гармонику*, издававшую волшебные звуки в «Крошке Цахесе», *хрустальные колокольчики* в «Золотом горшке» и многие другие примеры такого рода у Гофмана, специально собранные исследователями» (с. 199).

110. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 93, 1969, с. 65), затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 54), в ПАА (с. 25). В БП включено не было; в СССР опубл. лишь одна 1-я строка как эпиграф к стих-ю Ахматовой *Ночное посещение* («Не на листопадовом асфальте...», 1963) из цикла *Полночные стихи*, 6 (см. наст. изд., т. 1, изд. 2-е, с. 306).

Эпиграф из стих-я И. Анненского *Петербург*.

111—115. Опубл. в ПАА (с. 15—16). № 115 впервые опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 95—96, 1970, с. 127) по списку, затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, р. 55); в обеих публикациях без указания общего названия цикла. В БП включено не было.

Эпиграф, — видимо, из романа *Улисс*. Ср. свидетельство Л. К. Чуковской (запись от 17. 10. 1940): «...Изумительная книга. Великая книга, — сказала Анна Андреевна. — Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по 5 часов в день и прочла 6 раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало, — знаете, как фотография, которую проявляют. Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его стола» (ЛКЧ-1, с. 183).

116. Опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 101—102, 1971, с. 230) по списку. В БП включено не было.

117. Опубл. там же.

118. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 56) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 558.

119. Впервые опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, №95—96, 1970, с. 127—128) по списку, затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, р. 56); в обеих публикациях — без строк 9—12. Впервые полностью опубл. в ПАА (с. 26).

120. Впервые опубл. там же (с. 127), затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, р. 55; вар. — в рец. М. Мейлаха [см. прим. к № 61]); в обеих публикациях — б. н. Полностью — опубл. в ПАА (с. 24) и Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 500, № 62).

Строки 1—4 — без указания на то, что это отрывок, б. н. и б. д. — впервые опубл. в «Звезде Востока» (Ташкент, № 6, 1966, с. 41), затем — в наст. изд. (т. 2, с. 139) и Н. Банниковым (И-74, с. 464; С-77, с. 399). В БП включено не было ни в каком варианте.

121. Опубл. в БП, прим. к № 634 — по автографу (ГПБ).

122. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 54) по автографу (ГПБ); в БП — № 638.

123. Опубл. Н. Жирмунской (ДП, М., 1973, с. 259) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 639.

124. Впервые — ЛР, № 4, 24. 01. 1964; затем — БВ, с. 445—446; в наст. изд. (т. 1, изд. 2-е, 1967, с. 311—312). Печ. нами с учетом вар. в БП (№ 636, с. 331 и с. 425).

125. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 559.

126. Опубл. Н. Жирмунской («Поэзия», № 12, 1974, с. 112) по автографу (ГПБ); в БП — № 560.

127. Впервые опубл. А. Крюковым («Простор», Алма-Ата, № 8, 1969, с. 91), затем — В. Скороденко и Н. Жирмунской (ДП, М., 1972, с. 246) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 561.

128. Впервые опубл. — б. д. и без подписи под эпиграфом — Н. А. Струве (ВРСХД, № 95—96, 1970, с. 144) и Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 56—57), затем — в ПАА (с. 27) и Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 502—503, № 66). М. Мейлах в своей рец. (см. прим. к № 61) сообщает название стих-я *К Шиповнику* (с. 212), а Л. К. Чуковская — что это стих-е входит в цикл *Шиповник цветет* (ЛКЧ-2, с. 195).

В СССР опубл. Э. Г. Герштейн лишь строки 1—4 (ВЛ, № 1, 1970, с. 176 и ОП, с. 265). В БП включено не было ни в каком варианте.

Печ. нами по ЛКЧ-2 с добавлением даты, основываясь на записях Л. К. Чуковской (с. 195).

129. Опубл. в БП, № 624 по автографу (ЦГАЛИ).

130. Впервые опубл. Н. А. Струве (ВРХД, № 117, 1976, с. 161); затем — М. Кралиным (ЛГр, № 7, 1979, с. 87) — др. редакция. Разночтения: строка 1 — «Все, кого и не звали,

в Италии — », строка 5 — «Под святыми и грешными фресками», дата — «26 сент. 1957 — 7 февраля 1958». В БП включено не было ни в каком варианте.

Строки 1—4 впервые опубл. М. Мейлахом и В. Топоровым в их статье *Ахматова и Данте* («Intern. Journ. of Slavic Ling. and Poetics». The Hague, № XV, 1972, p. 62). Разночтения: ст. 2 — Шлют домашним сердечный привет. Ст. 4 — Где ни света ни воздуха нет.

131. Опубл. в БП, № 563 по автографу (ЦГАЛИ).

132. Опубл. Н. Жирмунской (ЛГ, № 38, 15. 09. 1971, с. 7) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 564. Строки 1—4 впервые опубл. Л. Мандрыкиной и М. Кралиным («Простор», Алма-Ата, № 2, 1971, с. 101) по автографу (ГПБ) с разночтениями (ошибками?) в строках 1 и 4.

133. Опубл. в БП, № 565 по автографу (ЦГАЛИ). В. Виленкин в своих *Воспоминаниях с комментариями* (ВЛ, № 3, 1979, с. 240; см. также отд. изд. М., «Искусство», 1982, с. 458) приводит свою запись стих-я с разночтениями в строках 2—4: «Шел по лестнице винтовой, // Чтоб увидеть холодный, синий, // Строгий час над снежной Невой».

134. Опубл. в БП, № 566 по автографу (ЦГАЛИ).

135. Впервые опубл. в Ю (№ 3, 1968, с. 77) и А. Крюковым («Подъем», Воронеж, № 3, 1968, с. 117) с разночтениями, затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 57 — б. н., без эпиграфа, б. д.); в БП — № 568. Печ. нами по БП.

136. Опубл. В. М. Жирмунским (ДП, М., 1971, с. 156), в БП — № 569. Печ. нами по ДП.

137. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 570.

138. Опубл. там же по автографу (хранится у А. Г. Наймана, Москва); в БП — № 608.

139. Опубл. там же по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 571.

140. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 56) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 572.

141. Опубл. Л. К. Чуковской («Москва», № 6, 1966, с. 157), затем в наст. изд. (т. 2, с. 144); в БП — № 573. Эпиграф — из стих-я «Недвижный страж дремал на царственном по-

роге . . .» (с сохранением старинного написания: «сарскосельских»).

142. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв, № 8, 1969, с. 164); из БП было изъято.

143. Впервые опубл. Э. Г. Герштейн в примечаниях к отделу прозы в лениздатском сб. Ахматовой (Ли-76, с. 579—580) по автографу (ЦГАЛИ); затем ею же — в ОП (с. 227—228); в БП включено не было.

144. Опубл. в БП, № 567 по автографу (ГПБ) со ссылкой на сообщение Э. Г. Герштейн.

145. Опубл. в БП, № 575 по автографу (ЦГАЛИ).

146. Опубл. там же, № 576.

147. Впервые опубл. в «Звезде Востока» (Ташкент, № 6, 1966, с. 41) и В. Скороденко («Радио и Телевидение»», № 13, август 1966, с. 15), затем — в ДП (М., 1968, с. 165); в наст. изд. (т. 2, с. 144) и в дальнейшем — почти во всех сб. Ахматовой; в БП — № 473.

Михаил Алексеевич Кузмин (1875—1936) — поэт, автор предисловия к первой книге Ахматовой *Вечер* (см. наст. изд., с. 471), автор посвященного ей стих-я «Залетною голубкой к нам слетела . . .» (1913). Об их лит. взаимоотношениях см. кн. В. М. Жирмунского *Творчество Анны Ахматовой*, Л., «Наука», 1973, с. 66—70; статью Р. Тименчика *К анализу 'Поэмы без героя'* (в сб. *Материал XXII научной студенческой конференции*, Тарту, [ТГУ], 1967, с. 121—123; частично перепеч. в наст. изд., т. 2, с. 604—605) а также записки Л. К. Чуковской (ЛКЧ-1, с. 149—151) и статью Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян *Ахматова и Кузмин* (RL, 1976, № VI—3, p. 213—305).

148. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 6, 1969, с. 243) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 578.

149. Опубл. Н. Жирмунской (Ю, № 12, 1971, с. 64) по автографу (ГПБ); в БП — № 577.

150. Опубл. В. Скороденко и Н. Жирмунской (ДП, М., 1972, с. 246) по рукописи БВ; Н. Банниковым (И-74, с. 396 и С-77, с. 449) и в Ли—76 (с. 412) печаталось в цикле *Смерть поэта*, в БП — № 476 в одном цикле со стих-м «Умолк вчера

неповторимый голос...» (см. наст. изд., т. 1, изд. 2-е, 1967, с. 322) под общим названием *Памяти поэта.*

151. Опубл. Н. Жирмунской (Ю, № 12, 1971, с. 64); под назв. *Самой поэме;* в БП включено не было.

152. Опубл. в БП, № 579 по автографу (ЦГАЛИ). Строки 3—5 опубл. впервые М. Б. Мейлахом (см. наст. изд., прим. к № 99), с. 41.

Анта — Антонина Розен, приятельница Ахматовой.

153. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (ЦГАЛИ), в БП — № 580.

154. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 57) по автографу (ЦГАЛИ), в БП — № 582. Упоминание о пении Галины Вишневской имеется и в первопубликации, и в прим. в БП (с. 501), но в последовавших тиражах БП имя певицы изъято (оно отсутствует также и в публикации Е. И. Лямкиной (ВП—3, с. 390).

155. Впервые опубл. Г. П. Струве в его статье *Дневник читателя* («Русская мысль», Париж, № 2812, 15. 10. 1970, с. 4), затем — в ПАА (с. 28) и Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 521, № 93). В двух последних публикациях разночтения: ст. 1 — Так не зря мы вместе бедовали; ст. 5 — Не за то, что чистой я осталась. Печ. нами по первопубликации с принятием поздней даты окончания стих-я (по Л. К. Чуковской). Строки 9—12 публиковались неоднократно, начиная с 1963, как эпиграф к поэме Ахматовой *Реквием* (см. наст. изд., т. 1, 2-е изд., 1967, с. 361); в СССР были опубл. А. Синявским в его статье *Раскованный голос (К 75-летию А. Ахматовой)* (НМ, № 6, 1964, с. 174) и С. Семененко в заметке *5 марта...* (газета «Tartu Riiklik Ülikool», № 12, 16. 04. 1966, с. 3 [Русская страница]). В БП включено не было ни в каком виде.

156. Опубл. В. М. Жирмунским (ДП, М., 1971, с. 156) по автографу (ЦГАЛИ), затем — К. Ферхейлем и Ж. ван дер Энг-Лидмейер (Mouton-73, p. 57) под названием *Из черных песен* и с эпиграфом «Слова, чтоб тебя оскорбить. Анненский». В БП — № 583. В Mouton-73, и в прим. в БП указано, что в автографе в цикл *Из черных песен* включено так-

же стих-е «Всем обещаньям вопреки...» (см. наст. изд., т. 1, изд. 2-е, 1967, с. 323—324).

157. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 57) по автографу (ГПБ), в БП — № 581.

158. Опубл. в БП, № 584 по автографу (ЦГАЛИ).

159. Опубл. в БП, № 585 по автографу (ЦГАЛИ).

160. Опубл. Н. Жирмунской (Ю, № 12, 1971, с. 64) по автографу (хранится у Н. Н. Глен, Москва); в БП — № 606.

161. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 586.

162. Впервые опубл. Н. А. Струве (ВРСХД, № 100, 1971, с. 225), затем — Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, с. 59), в ПАА (с. 18); в СССР впервые — Н. Банниковым (И-74, с. 464), затем — Ли-76 (с. 510), в БП, № 391.

163. Впервые опубл. в тексте статьи Ахматовой *Слово о Пушкине* (Зв, № 2, 1962, с. 172; см. наст. изд., т. 2, с. 276); затем не раз перепечатывалось — как в составе той же статьи (Ли-76, с. 552; ОП, с. 7), так и отдельно: Н. А. Струве (ВРСХД, № 100, 1971, с. 225).

164. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв, № 8, 1969, с. 6); из БП было изъято.

165. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 6, 1969, с. 243) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 588(напеч. с искажением во всех тиражах).

166. Опубл. там же (№ 5, с. 57); в БП — № 589.

167. Опубл. Н. Жирмунской (ЛГ, № 38, 15. 9. 1971, с. 7) по автографу (ЦГАЛИ) без посвящения; в БП — № 590.

Дмитрий Васильевич Бобышев (р. 1936) — ленинградский поэт. С 1979 живет в Америке. Автор посвященных Ахматовой стих-я *Портрет с учениками* (1962) и цикла *Траурные октавы (1971)*. Одна из *Траурных октав* была написана в связи с первопубликацией этого стих-я Ахматовой:

Встреча

Она велела мне для Пятой розы
эпиграфом свою строку вписать.
И мне бы — что с Моцартом ей мерцать,

а я — о превращеньях альбатроса
непоправимо внес в ее тетрадь.
И вот — она, она в газетной прозе!
Эпиграф же — и впрямь по-альбатросьи —
куда вдруг улетел — не разыскать.

168. Впервые опубл. в БП, № 592 по автографу (ЦГАЛИ).
169. Опубл. Н. Жирмунской (Ю, № 12. 1972, с. 64) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 591.
170. Опубл. там же; в БП — № 593.
171. Опубл. Н. А. Жирмунской (Ю, № 12, 1971, с. 64) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 594. См. также наст. изд., № 2...
172. Опубл. Н. А. Струве (ВРХД, № 117, 1976, с. 161) по списку; в БП включено не было.
173. Опубл. Н. А. Жирмунской (Ю. № 12, 1971, с. 64) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 626.
174. Опубл. там же по автографу (ПД); в БП — № 627.
175. Опубл. В. М. Жирмунским (Зв. № 8, 1969, с. 164) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 616.
176. Опубл. там же по автографу (хранится у А. Г. Наймана); в БП — № 612.
177. Опубл. Н. А. Жирмунской (Ю, №12, 1971, с. 64) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 596.
178. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 58) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 595.
179. Впервые опубл. в БП, № 597 по автографу (ЦГАЛИ).
180. Впервые опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 58, б. д., с разночтениями; вар. см. в рец. М. Мейлаха [прим. к № 61]); затем — в ПАА (с. 28), б. н. и С. Дедюлиным по списку М. Мейлаха («Rysk Kulturrevy», Бромма, № 4, 1979, с. 8—9) — с названием *Финский сонет* и датой «Июль 1963». В БП включено не было. Печ. нами по тексту ПАА с названием из Mouton-73.
181. Опубл. М. Кралиным (ЛГр. № 7, 1979, с. 88) по автографу (ГПБ). В БП включено не было.
182. Впервые опубл. в БП, № 599 по автографу (ЦГАЛИ).
183. Там же, № 600.

184. Опубл. Н. Жирмунской («Поэзия», № 12, 1974, с. 113) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 602.
185. Опубл. там же по автографу (ГПБ); в БП — № 605.
186. Впервые опубл. в БП, № 607 по автографу (ГПБ).
187. Там же, № 609, по автографу (ЦГАЛИ).
188. Там же, № 611. Другой автограф (ГПБ) — в материалах к драме *Пролог, или Сон во сне.*
189. Там же, № 613 — по автографу (хранится у А. Г. Наймана, Москва).
190. Там же, № 615 — по автографу (ГПБ).
191. Там же, № 618 — по автографу (ЦГАЛИ).
192. Там же, № 619.
193. Там же, № 620.
194. Там же, № 621.
195. Опубл. там же, № 622 по автографу (ПД) и одновременно — Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж РОПД-74, с. 79).
196. Опубл. Л. К. Чуковской (ЛГр, № 5, 1967, с. 65) по автографу; в БП — № 610.
197. Впервые опубл. в БП, № 625 по автографу (ГПБ).
198. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж. РОПД-74, с. 79) по автографу; в БП включено не было.
199. Опубл. там же. По сообщ. Г. Г. Суперфина, видимо, имеется в виду церковь Старого Вознесения в Москве, в которой происходило венчание Пушкина в 1831.
200. Опубл. там же.
201. Опубл. В. М. Жирмунским (Ю, № 6, 1969, с. 67) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 598. Несколько иной вар. опубл. Е. И. Лямкиной (ВП-3, с. 392—393) с уточнением даты — 25 февраля [1965] и под названием *Ильзен.*
202. Опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 6, 1969, с. 243) по автографу (ЦГАЛИ); в БП — № 623.
203. Опубл. В. Виленкиным в его *Воспоминаниях с комментариями* (ВЛ, № 3, 1979, с. 244, см. также от. изд., М., «Искусство», 1982, с. 462), по автографу (ГПБ?).
204. Впервые опубл. Ж. ван дер Энг-Лидмейер и К. Ферхейлем (Mouton-73, p. 58, — б. н., с искажениями и разно-

чтениями; уточнения и поправки в рец. М. Мейлаха — см прим. к № 61); затем в БП, № 587 по автографу (ЦГАЛИ). Печ. нами по БП.

205. Впервые — НМ, № 1, 1963, с. 89; затем — в БВ, с. 436 и в др. изд. (см., напр., наст. изд., т. 1, изд. 2-е, 1967, с. 326); в БП — № 649.

206. Опубл. впервые в БП, № 650 по автографу (ЦГАЛИ).

207. Опубл. В. М. Жирмунским (в его кн. *Творчество Анны Ахматовой*, Л., «Наука», 1973, с. 168) по автографу (ЦГАЛИ), в БП — № 651.

208. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж. РОПД-74, с. 77) и одновременно в БП, № 654 — по автографу (ПД). Ср. № 209.

209. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым там же; в БП включено не было.

210. Опубл. В. М. Жирмунским (в его кн. *Творчество Анны Ахматовой*, Л., «Наука», 1973, с. 167) по автографу (ЦГАЛИ), в БП — № 655.

211. Опубл. Л. К. Чуковской в ее заметке *Полумертвая и немая* («Континент», № 7, 1976, с. 434) по автографу (хранится у автора заметки); в БП включено не было.

212. Впервые опубл. Л. К. Чуковской в ее записках (ПАА, с. 128); одновременно, в СССР, — Р. Д. Тименчиком в его статье *Ахматова и Пушкин. Заметки к теме* (см. наст. изд., прим. к № 105) со ссылкой на сообщение А. Г. Наймана; затем — Л. К. Чуковской в полном варианте ее книги ЛКЧ-2, с. 75).

213. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж. РОПД-74, с. 59) по автографу; в БП включено не было. Представляет собой строки из коллективного шуточного стих-я участников «Цеха поэтов», 1911—1914?

214. Впервые опубл. В. М. Жирмунским (НМ, № 5, 1969, с. 53); затем, почти одновременно — А. Крюковым («Простор», № 8, 1969, с. 91); в БП включено не было.

215. Опубл. Е. И. Лямкиной (ВП-3, с. 384) по автографу (ЦГАЛИ); этот вар. в БП включен не был. Ср. № 7.

216. Опубл. там же (с. 385); в БП включено не было.

217. Опубл. там же (с. 384); в БП включено не было.

ПРОЗА

МОЯ БИОГРАФИЯ. Опубл. в ПАА, с. 33—35. Видимо, предназначалась для публикации в сб. Ахматовой *Нечет*, намеченного к изданию в «Лениздате» в 1946 (см.: М. Белкина *«Главная книга». История одной библиотеки.* — НМ, № 11, 1966, с. 197—198).

НАД ЧЕМ Я РАБОТАЮ. Впервые — в газете «Литературный Ленинград», № 45, 29. 09. 1936, с. 3 под рубрикой *Наши интервью;* републиковано С. Дедюлиным — *Малоизвестное интервью Анны Ахматовой* (ВЛ, № 7, 1978, с. 313—314).

НЕИЗДАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О МАНДЕЛЬШТАМЕ». Печ. нами впервые по списку. Ранее — иной, сокращенный вар., датированный 28. 06. 1957, — опубл. Н. А. Струве («Вестник РСХД», № 93, 1969, с. 66—67) с невошедшей в более полный вар. фразой: «О Марине: я антицветаевец».

ИЗ НЕНАПИСАННОЙ КНИГИ (ОТРЫВКИ ВОСПОМИНАНИЙ). Опубл. Л. А. Мандрыкиной — *Ненаписанная книга. «Листки из дневника» А. А. Ахматовой* (в сб.: *Книги. Архивы. Автографы. Обзоры, сообщения, публикации.* М., «Книга», 1973, с. 60—75).

ПЛАНЫ КНИГИ. Опубл. Е. И. Лямкиной — ВП-3, с. 408—410.

ПЛАН. Опубл. Л. А. Мандрыкиной (см. выше; с. 58—60).

ОТРЫВКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. Составлено нами из черновых набросков, опубликованных Л. А. Мандрыкиной (см. выше) и Е. И. Лямкиной (ВП-3, с. 411—419).

ЗАМЕТКИ К «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ». Составлено нами по спискам, а также по публикациям отрывочных набросков Л. А. Мандрыкиной, Е. И. Лямкиной, В. М. Жирмунским.

(АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ. ПЕРЕД СНЕГОМ). Опубл. Н. Глен под названием [Рецензия на сборник А. Тарковского] (ДП, М., 1976, с. 188—189). Авторство Ахматовой некоторыми исследователями подвергается сомнению.

(ИЗ ПОДСЛУШАННЫХ БЕСЕД). Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж. РОПД-74, с. 74) по автографу в альбоме В. А. Сутугиной-Кюнер.

РАБОТЫ О ПУШКИНЕ

«Сказка о золотом петушке» и «Царь увидел пред собой...». Комментарий. Впервые — *Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Комментарий. Тетрадь № 2374 Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Под ред. С. Бонди.* М., ГИХЛ, 1939, с. 23—26; затем — ОП, с. 39—49. Печ. нами по ОП.

«Каменный гость» Пушкина. Дополнения 1958—1959 годов и заметки для новой редакции. Опубл. в ОП, с. 161—171 по авторизованной машинописи (ГПБ). Впервые частично опубл. Э. Герштейн в ВЛ, № 1, 1970, с. 160—166. Печ. нами по ОП. Ниже воспроизводятся прим. Э. Г. Герштейн из этого источника.

[1] Приводим черновой вариант вставки 1: «В «Каменном госте» то же построение, что почти во всех романах Достоевского (кроме «Преступления и наказания»). Все начинается — когда все кончилось, хочется сказать, быть может, несколько косноязычно, но совершенно точно. Вообще и Пушкин и Достоевский были мастерами «предыстории». Инеза и Командор, любовь Гуана и Лауры, супружеская жизнь Доны Анны, быт Гуана в Мадриде, в ссылки — все это еле тронуто, но так тронуто, что больше ничего не надо. (Таков же «Моцарт и Сальери».) Так же построены романы Достоевского. В этом их трагическая насыщенность. И даже не in medias res (в разгар событий), а почти к шапочному разбору попадает читатель, но почему-то совершенно не замечает этого».

[2] «The City of the Plague» («Город Чумы») — трагедия Джона Вильсона, одна из сцен которой послужила основой для пушкинского «Пира во время чумы». Далее Ахматова цитирует издание: Джон Вильсон, Город Чумы, перевод Ю. Верховского и П. Сухотина, М., 1938, с. 44—45.

[3] Дэвотка (польск. dewotka) — святоша. О Каролине Собаньской — см. «Болдинская осень (8-я глава «Онегина»)».

[4] Н. Берковский, Народно-лирическая трагедия Пушкина («Русалка»). — «Русская литература», 1958, № 1, с. 83—111. То же — в кн.: Н. Я. Берковский, Статьи о литературе, М.—Л., Гослитиздат, 1962, с. 357—403.

[5] Очевидно, имеются в виду слова П. А. Вяземского в письме к жене (март 1830 г.): «Ты меня мистифицируешь заодно с Пушкиным, рассказывая о порывах законной любви его. Неужели он в самом деле замышляет жениться, но в таком случае, как же может он дурачиться? Можно поддразнивать женщину, за которую волочишься, прикидываясь в любви к другой, и на досаде ее основывать надежды победы, но как же думать, что невеста пойдет, что мать отдаст дочь свою замуж ветренику или фату, который утешается в горе» («Звенья», т. 3—4, М.—Л., «Academia», 1934, с. 160).

[6] Ахматова настойчиво возвращается к вставке 6 — о «Повестях Белкина»: первый вариант датирован «26 апреля 1957 г. Москва», промежуточный — «26 мая 1957. Будка», т. е. Комарово, и, наконец, публикуемый нами со сноской «1957. Ноябрь. Москва».

[7] Автополемика с первоначальными соображениями, зафиксированными в упомянутом выше первом варианте: «Проза тогда (1830) была новым способом выражения для Пушкина, и ему в ней было почему-то (говорю так пока, и отчасти по собственному опыту) удобнее произвести свое замечательное, беспримерное заклинание судьбы (даже трудно это как-то иначе назвать)».

[8] Ольга Михайловна Калашникова (в замужестве Ключарева) — крепостная А. С. Пушкина.

[9] В первоначальном варианте имеются представляющие интерес строки, не вошедшие в окончательный текст:

«Что же касается «Маленьких трагедий», то в них Пушкин не делает ни малейшей попытки спасать кого-нибудь».

«NB. «Пиковая Дама» совсем не то — там эта проблема не стоит, там — не убий».

«Пушкин как бы прячет их всех от грозной судьбы, он дает ей урок на их примере.

Ср. с «Пиковой Дамой», где все — ужас, рассказанный необычайно светским тоном.

Вообще «Пиковая Дама» — чудо. Мы привыкли, что светская повесть неизбежно сатирична. Без этого она за редкими исключениями (Л. Толстой) отчего-то припахивает лакейской. В «Пиковой Даме» нет и тени сатиры. А более придворно-светской вещи не написал никто и никогда».

На обороте последней страницы окончательного текста запись Ахматовой карандашом:

«О счастии
Все счастьем беден я
Ужель, ужель его не обрету я
В пустыне бытия
(Где? Когда?)»

Это — неточная цитата из стихотворения Баратынского 1823 г.:

О счастии с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я,
Или вовек его не обрету я
В пустыне бытия?

[10] «El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra» — «Севильский озорник и Каменный гость» (1620) — пьеса испанского драматурга Тирсо де Молина, прототип всех позднейших пьес о Дон Жуане.

Болдинская осень (8-я глава «Онегина»). Опубл. в ОП, с.174—191 по черновым автографам (ГПБ). Впервые частично опубл. Э. Герштейн в ЛВ, № 1, 1970, с. 167—176. Печ. нами по ОП. Ниже воспроизводятся прим. Э. Г. Герштейн из этого источника.

[1] 8-я глава начата в декабре 1829 г., закончена и переписана 25 сентября 1830 г. в Болдино. Но входящее в нее «Письмо Онегина» написано позднее — 5 октября 1831 г. в Царском Селе.

[2] «Август смотрит сентябрем...» — намек на Александра I, заимствованный из стихотворения Н. М. Языкова «Мы любим шумные пиры»:

Наш Август смотрит сентябрем —
Нам до него какое дело!..

(См. письмо Пушкина к брату, октябрь 1822 г.).

[3] «Стоит олень, склонив рога» — черновая строфа «Путешествия Онегина» (VI, 499).

[4] «Уж Волга, рек, озер краса» — X строфа «Путешествия Онегина», ср. у Дмитриева: «О Волга! рек, озер краса» («К Волге»).

[5] «Законодатель Ярослав С четою грозных Иоаннов» — VI строфа «Путешествия Онегина».

[6] Имеется в виду зачин строф у Байрона.

[7] Упоминание о «белокуром мизантропе» встречается не в 8-й главе «Онегина», а в черновике «Езерского». В примечании к «Адольфу» (см. с. 232—233) Ахматова доказывает, что это портрет самого Бенжамена Констана, так же как и «печальный сумасброд» 8-й главы. Отсюда — невольная подмена одной характеристики другой в ее записях для себя.

[8] В статье «Три письма Пушкина к неизвестной» («Звенья», т. 2, М.—Л., «Academia», 1933, с. 200—221) Т. Г. Зенгер (Цявловская) доказала, что эти письма не являлись литературными заготовками, а имели реального адресата. В книге «Рукою Пушкина» (М.—Л., «Academia», 1935, с. 179—208) ею же установлено, что два письма из трех представляют собою черновики писем Пушкина к Собаньской от 2 февраля 1830 г.

[9] М. П. Алексеев («Известия по русскому языку и словесности АН СССР», 1928, т. I, кн. 1, с. 321—322), рассматривая гипотезу об А. Н. Раевском как адресате письма Пушкина от 15—22 октября 1833 г. из Одессы, раскрыл имя упоминаемой в этом письме «М» — «мадам Собаньская».

[10] О встрече Пушкина с Мицкевичем у Собаньской в 1828 г. в Петербурге писал в своих воспоминаниях Ю. Пшецлавский (Ципринус, Калейдоскоп воспоминаний. — «Русский архив», 1872, № 10, стлб. 1907). Однако новейшие исследователи подвергают достоверность этих мемуаров сомнению (см.: С. С. Ланда, А. С. Пушкин в печати Польской Народной Республики в 1949—1954 годах. — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. I, М.—Л., и.д-во АН СССР, 1956, с. 429).

[11] Стихотворение «Что в имени тебе моем?», напечатанное в 1830 г., было записано Пушкиным в альбом Собаньской в Петербурге 5 января 1830 г. Сообщение о находке

этого автографа в Киеве сделал В. Базилевич («Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, с. 876—879).

[12] Там же (с. 571) впервые напечатана записка «неизвестной светской дамы» к Пушкину (из собрания П. Е. Щеголева), автором которой, как было установлено, была та же К. Собаньская (с. 616).

[13] Пушкин вписал в альбом пианистки Марии Шимановской (1 марта 1828 г.) строки, совпадающие со стихами из сцены у Лауры в «Каменном госте»:

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает,
Но и любовь мелодия...

[14] Сафической «перевернутой» строфой в «Письме Онегина» Ахматова называет строфу: «Нет, поминутно видеть вас...» В принадлежащем Ахматовой экземпляре однотомника сочинений Пушкина 1935 г. эта строфа отчеркнута карандашом, а на полях написано ее рукой: «Сафо». «Heureux qui près de toi» («Счастлив, кто подле тебя») начало французского перевода оды Сафо «Любовь».

[15] И. М. Семенко, О роли образа «автора» в «Евгении Онегине». — «Труды Ленинградского библиотечного института», т. II, Л., 1957, с. 127—146.

[16] См. примечание 7.

[17] Это суждение о самом себе Пушкин приписывает Собаньской в письме к ней 2 февраля 1830 г.

[18] «Демоном моим» — цитата из XII строфы 8-й главы «Евгения Онегина». Мельмот — главный герой одновременного романа Матюрена «Мельмот-скиталец», упоминается Пушкиным в черновике той же XII строфы 8-й главы в ряде демонических образов.

[19] Керубино — имя влюбленного пажа из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». В. Ф. Вяземская писала мужу из Одессы (4 июля 1824 г.) о Пушкине: «Я хочу его усыновить, но он крайне непослушен; если бы не его безобразие, я нарекла бы его Керубино» («Остафьевский архив...», т. V, вып. 2, СПб., 1913, с. 115; во французском подлиннике заключен непереводимый каламбур: «mais il est désobeissant comme un *page*». Ср. запись П. А. Вяземского 20 июля 1830 г. о знакомой барышне: «В самом деле в ней что-то пажеское, херувимское, но не херувима библей-

ского, а бомаршевского» (П. А. Вяземский, Записные книжки (1813—1848). М., изд-во АН СССР, 1963, с. 184—185). См. также эпиграф к стихотворению Пушкина «Паж»: «C'est l'âge de Cherubin» («Это возраст Керубино...»).

[20] В своем экземпляре пушкинского однотомника Ахматова подчеркнула слово «варшавскую» (в черновике последней строфы):

Хотите знать мою богиню,
Мою *варшавскую* графиню?..
Нет, ни за что не назову! —

а на полях написала: «Ура!» (Литературный музей ИРЛИ АН СССР).

Сохранился набросок плана статьи Ахматовой о связи стихотворения «Паж» с воспоминаниями Пушкина о встрече с Собаньской в начале 20-х годов, с образом Татьяны из 8-й главы и двумя стихотворениями Альфреда де Мюссе:

«Паж или пятнадцатый год»

«Женитьба Фигаро» в Елагинском театре (Вяз.) Пушкин — паж. Фигаро (Переписка. Письмо В. Ф. Вяземской из Одессы 1824 г. к мужу).

Аналогии с Онегиным

Chansons Musset (Песни Мюссе)

Параллели

Заключение».

[21] Имеется в виду строка «C'est ma maîtresse, ma lionne» («Это моя владычица, моя львица») из стихотворения Альфреда де Мюссе «Андалузка» («Avez-vous vu dans Barcelonne»). Об этой строке пишет Бальзак в «Альбере Саварюс»: «Англия подарила нам два новых словечка. Вместо «щеголь», «франт», «модник», сменивших «птиметр» (...) стали говорить «денди», затем — «лев». Однако «львица» произошла не от «льва». Слово «львица» обязано своим появлением известной песенке Альфреда де Мюссе: «Вы не видали в Барселоне (...) мою владычицу и львицу?» Два разных понятия слились или, если хотите, смешались» (Оноре Бальзак, Собр. соч. в 24-х томах, т. 4, М., «Правда», 1960, с. 61).

[22] «И цвет ланит ее так темен» — строка стихотворения Пушкина «Паж». «Elle est jaune, comme une orange» — «она желта, как апельсин» — строка из песенки Альфреда де Мюссе «Мадрид», героиней которой является андалузка.

[23] См. примечание 17.

[24] См. письмо Пушкина к А. Н. Раевскому 15—22 октября 1823 г.

[25] См. в «Гавриилиаде»:

Досель я был еретиком в любви,
Младых богинь безумный обожатель,
Друг *демона*, повеса и предатель...

[26] «Литературное наследство», т. 16—18, с. 804.

[27] Письма Каролины Собаньской А. Х. Бенкендорфу, свидетельствующие о ее секретной работе в III Отделении, напечатаны впервые Т. Г. Цявловской в книге «Рукою Пушкина» (с. 190 и 193).

[28] «Упрек жестокий и кровавый» — вариант строки «Укор веселый и кровавый» из окончания стихотворения «Воспоминание» 1828 г. (В основном тексте это окончание не печатается).

[29] Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. VII, М., 1892, с. 184—186.

[30] См. примечание 27.

[31] «Я знаю: век уж мой измерен» — из «Письма Онегина к Татьяне». «Печальная тайна» — см. реплику Дон Гуана в III сцене «Каменного гостя»:

Случай, Дона Анна, случай
Увлек меня — не то б вы никогда
Моей печальной тайны не узнали.

Ср. с «Письмом Онегина»:

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.

«Ср. «Адольф», — пишет Ахматова на полях рукописи, — (кажется) «triste mystère» (печальная тайна)».

«Если б я прежде вас узнал» — реплика Дон Гуана в IV сцене.

[32] На листе с первоначальными набросками Ахматовой

к 8-й главе «Онегина» сохранилась ее полустертая запись карандашом: «Кому Пушкин писал — судьба мечет нам чистейший баламут?» Найдя это письмо Пушкина, Ахматова сопоставила его с 8-й главой. В ее экземпляре однотомника против подчеркнутых ею строк:

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон —

помечено ее рукой: «Ср. «мечут нам чистый баламут» (письмо к Вяземскому 5 ноября 1830 г.)».

Пушкин писал Вяземскому из Болдина не о судьбе, а о политике Николая I («разве не видишь ты, что *мечут нам чистый баламут*, а мы еще понтируем! Ни одной карты налево, а мы все-таки лезем»). Первоначальная ошибка памяти Ахматовой откликнулась, однако, в одном из ее стихотворений:

Ты напрасно мне *под ноги мечешь*
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть . . .

Две новые повести Пушкина. Опубл. в ОП, с. 192—206 по черновым автографам (ГПБ). Впервые частично опубл. Э. Герштейн в ВЛ, № 1, 1970, с. 176—183. Печ. нами по ОП. Ниже воспроизводятся прим. Э. Г. Герштейн из этого источника.

[1] «Отрывком» 1830 г. «Несмотря на великие преимущества . . .» Пушкин воспользовался при описании писателя Чарского в I главе «Египетских ночей» (см.: С. Бонди, Новые страницы Пушкина, М., «Мир», 1931, с. 204). «Х» «Отрывка», упоминаемый далее, — безымянный герой этого наброска.

[2] «Я царь, я раб, я червь, я бог» — эпиграф ко II главе «Египетских ночей» (из оды Державина «Бог»).

[3] См.: Ксенофонт Полевой, Записки о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого. — В кн.: «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Редакция, вступительная статья и комментарий Вл. Орлова. Изд. писателей в Ленинграде, 1934, с. 206: «Наружность его была истинно прекрасна. Черные, выразительные глаза;

роскошные черные волосы; лицо с ярким румянцем; довольно длинный нос, признак остроумия; добрая улыбка, часто являвшаяся на его лице, постоянно выражавшем задумчивость, — таков был Мицкевич в обыкновенном, спокойном расположении духа; но когда он одушевлялся разговором, глаза его воспламенялись, физиономия принимала новое выражение, и он бывал в эти минуты увлекателен, очаровывая при том своею речью, умною, отчетливою, блистательною . . .»

Ср. с «Египетскими ночами»: «Он был высокого росту — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца».

[4] Этот эпизод описан в письме А. Э. Одынца к Ю. Корсаку 9/21 мая 1829 г.: «Во время одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликал: «Quel génie! quel feu sacré! que suis-je auprès de lui?» («Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?») — и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата» (А. Мицкевич, Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5, М., ГИХЛ, 1954, с. 631). Ср. с описанием Вяземского: «Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное . . . Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге» (П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 7, СПб., 1882, с. 328—329).

[5] С. Бонди, напротив, указывает, что тема об импровизаторах была в 30-х годах модной: «В журналах и газетах тогда печатались сообщения о публичных выступлениях приезжих импровизаторов в Петербурге и Москве, статьи об искусстве импровизации; В. Ф. Одоевский в 1835 году напечатал повесть «Импровизатор» . . .» С. Бонди находит также известное сходство между описанием выступления Паганини Г. Гейне в «Флорентийских ночах» и изображением импровизации в «Египетских ночах (А. С. Пушкин, Полн собр. соч., т. 6, М.—Л., ГИХЛ, 1934, с. 136—137).

Е. Казанович («Звенья», т. 3—4, с. 201) приводит дополнительные литературные источники «Египетских ночей» — «Коринна» де Сталь, Ж.-П. Рихтер и др., но приходит к решительному выводу, что Пушкин описал импровизации Лангешварца на его вечере, данном в Петербурге 24 мая 1832 г. Доказательств присутствия Пушкина на этом вечере Казанович не привела.

Указывалось также на тесктуальное заимствование Пушкина из статьи А. Глаголева «Итальянцы» в «Московском вестнике», 1827, № 12, где на с. 327 сказано об итальянском импровизаторе: «Чело старца прояснилось, и казалось, он чувствовал приближение Аполлона». Ср. у Пушкина: «Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога...» («Пушкин. Итоги и проблемы изучения», М., «Наука», 1966, с. 216). Однако все указанные источники рисуют импровизаторов как фокусников, в то время как пушкинское описание дает образ художника и мыслителя, что и подчеркивает Ахматова. Ср. с отзывом Вяземского в письме к жене из Петербурга 2 мая 1828 г.: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем... Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас... силою, богатством и поэзиею своих мыслей... Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами» («Литературное наследство», т. 58. М., 1958, с. 76—77). Связь повести Пушкина со статьей Глаголева можно усмотреть в словах автора из «Московского вестника» о распространенности искусства импровизации преимущественно среди итальянцев.

[6] Ср.: «Чарскому... неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра» и «Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя как заезжий фигляр и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, написанных на языке, не известном никому из присутствующих» (статья Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»).

[7] Подтекст «Египетских ночей», по мнению Ахматовой, заключался в «ключевой фразе» — третьей теме, заданной импровизатору на вечере: «La primavera veduta da una prigione» («Весна из окна темницы»). На это Ахматова неодно-

кратно указывала в заметках и устных беседах, причем ране считала, что эту тему предложил сам импровизатор. По весьма убедительной догадке С. С. Ланды, эта «тема» перекликается с темой сонета Мицкевича «Поэзия, скажи, где кисть твоя святая?», где с «решеткой тюрьмы» сравнивается чужой язык (А. Мицкевич, Собр. соч., т. 1, М., ГИХЛ, 1948, с. 219).

Реальным комментарием к этому сонету служат описания импровизации поэта-изгнанника 30 апреля 1827 г. в гостях у Пушкина в Петербурге и в мае 1829 г. в Москве, на вечере данном в честь Пушкина (см. примечания 4 и 5). Присутствовавший на петербургском вечере Франтишек Малевский приводит в своем дневнике слова, сказанные Мицкевичем: «Мысль на чужом языке, как младенец, умирающий во чреве матери» («Литературное наследство», т. 58, с. 267). Ср.: П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., т. 7, СПб., 1882, с. 329.

[8] См. заметки «Болдинская осень (8-я глава «Онегина»)».

[9] Слова из монолога Клеопатры перед ее самоубийством (Шекспир, «Антоний и Клеопатра», акт V, сцена 2).

[10] В черновых записках Ахматовой имеется сопоставление строки «Есть в мире сердце, где живу я», из посвященного Собаньской стихотворения Пушкина «Что в имени тебе моем?», со строками из посвященного ей же стихотворения Мицкевича «Если бы ты хоть день была в моем сердце»: «Эти строки несомненно перекликаются, то есть один (Мицкевич) хочет, чтобы Собаньская хоть день была в его сердце, другой (Пушкин) говорит, что она всегда живет в его сердце».

[11] См.: Н. Измайлов, Мицкевич в стихах Пушкина (К интерпретации стихотворения «В прохладе сладостной фонтанов») .— «Ученые записки Чкаловского государственного педагогического института», 1952, серия историко-филологических наук, вып. 6, с. 171—214.

[12] Подразумеваются строки из «Путешествия Онегина» о Тавриде: «Там пел Мицкевич вдохновенный и посреди прибрежных скал свою Литву воспоминал». Пушкин говорит здесь о «Крымских сонетах» Мицкевича, написанных после поездки морем из Одессы в Крым в обществе К. Собаньской и ее близких.

[13] «Милый Демон!» — реплика Дон Карлоса, обращенная к Лауре (II сцена «Каменного гостя»).

[14] См. письмо Пушкина к Д. Ф. Финкельмон от 25 апреля 1830 г.

[15] См. вариант XXVI строфы 8-й главы «Онегина»:

Тут был К. М., француз, женатый
На кукле чахлой и горбатой
И семи тысячах душах...

[16] Один из персонажей повести — Вершнев — в черновой рукописи Пушкина назван настоящим именем своего прототипа — В. П. Титова, любомудра, «архивного юноши», автора повести «Уединенный домик на Васильевском», написанной по устному рассказу Пушкина.

[17] Х — Б. Томашевский, который писал: «В 1835 г. Пушкин задумал прозаическую повесть, в которую он вводил стихотворный рассказ о Клеопатре. Первоначально такой рамкой для стихов была неоконченная повесть «Мы проводили вечер на даче». Впоследствии Пушкин хотел внести эти стихи в другую повесть, также оставшуюся неоконченной, — «Египетские ночи» (Б. Томашевский, Пушкин. Кн. 2. Материалы к монографии 1824—1837), М.—Л., изд-во АН СССР, 1961, с. 59).

[18] См. «Мы проводили вечер на даче»: «Разве жизнь уж такое сокровище, что ее ценою жаль и счастия купить? Посудите сами: первый шалун, которого я презираю, скажет обо мне слово, которое не может мне повредить никаким образом, и я подставляю лоб под его пулю. Я не имею права отказать в этом удовольствии первому забияке, которому вздумается испытать мое хладнокровие. И я стану трусить, когда дело идет о моем блаженстве? Что жизнь, если она отравлена унынием, пустыми желаниями! И что в ней, когда наслаждения ее истощены?».

[19] Имеется в виду стихотворение Пушкина 1835 г. «Странник», написанное по мотивам книги английского писателя XVII в. Джона Беньяна «Путь паломника» (см.: Д. Благой, Джон Беньян, Пушкин и Лев Толстой. — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. IV, М.—Л., изд. АН СССР, 1962).

[20] В наброске к статье «Пушкин в 1828 году» (17 апреля 1963 г.) Ахматова возвращается к этой теме: «Мы проводили вечер...» нисколько не отрывок повести или романа... Если представить себе «Мы проводили...» в стихотворной

или драматической форме (в которой, кстати сказать, она почти и написана), становится ясно, что последняя фраза — это отличный крепкий пушкинский конец (Цитата) («Алексей Иваныч встал и тотчас исчез»).

Дальше ничего не могло быть».

[21] Это тоже скрытая полемика с Б. Томашевским, который придавал значение интересу Пушкина к «археологическим деталям», анализируя стихотворение «Клеопатра» и всю окружающую его прозу (Б. Томашевский, Пушкин, Кн. 2. Материалы к монографии (1824—1837), с. 59, 63).

[22] «Я помню ее еще в тридцатых годах в Киеве, в доме отца моего, — помню, как теперь, пунцовую бархатную току с страусовыми перьями, необыкновенно красиво шедшую к ее высокому росту, пышным плечам и огненным глазам» (Б. М. Маркевич, Полн. собр. соч., т. 11, М., 1912, с. 425—426).

[23] В ГПБ имеется еще один набросок 1959 г., относящийся к данной теме: «О публикации двух маленьких трагедий в прозе»:

«Помещение же великолепной маленькой трагедии в пропыленный отдел какой-то смеси я считаю длительным недоразумением. Habent sua fata libelli (Книги имеют свою судьбу). Пушкин не решился или не успел представить их как вещи нового жанра (вторая — «Цезарь путешествовал»). Обе вещи связаны тематикой — самоубийство, причем и то и другое было достаточно остро. Здесь какая-то темная и трудная страсть и роковая женщина, данная весьма тонко, там тема монарха и поэта — нечто всегда для Пушкина животрепещущее. Среди рассказов в «Петронии» опять та же Клеопатра (...)».

О XV строфе второй главы «Евгения Онегина», о мании преследования (хандре), посвящении в шпионы (о «мнимой дружбе») и первом слое стихотворения «Вновь я посетил» («Милые южные дамы»). Опубл. Э. Герштейн в ВЛ, № 1, 1970, с. 187—193. В ОП включено не было. Печ. нами по ВЛ. Ниже воспроизводятся прим. из этого источника.

[1] 16 марта 1959 года Ахматова составила «Оглавление своей книги о Пушкине (ГПБ, ф. 1073, оп. 11, ед. хр. 25. Опубликовано в уже упоминавшейся статье В. Н. Голицыной с неполными датами и другими неточностями):

«I. Две новые повести Пушкина. 1959.

II. О пушкинской хандре 1959 и «Не посвящал друзей в шпионы . . .».

III. Marginalia и мелкие заметки 1930-е — 1950-е гг.

IV. «Каменный Гость» дополненный 1947—58 гг.

V. Глава из «болдинской осени» — 1958 (связь «Кам. Гостя» с «Онегиным» через «Адольфа», о «Моцарте и Сальери» и т. д.). Или «Пушкин и Достоевский» 1946, 1947 . . . («Дядюшкин сон» и «Игрок». Речь о Пушкине).

VI. Адольф 1936.

VII. Главы из книги «Гибель Пушкина» 1946—1959».

В соответствии с этим «Оглавлением» Ахматовой были подобраны материалы и заведены обложки для большинства глав, надписанные ее рукой. Мы воспроизводим полное заглавие обложки второй главы (ед. хр. 5). Но рукописи со связным текстом этой главы в бумагах Ахматовой, поступивших в ГПБ и ЦГАЛИ, обнаружить не удалось. Из различных набросков (ед. хр. 5 и 7), подчас навлеченных нами из незачеркнутых оборотных страниц другой рукописи, отчетливо вырисовывается замысел и структура этой главы. В 1963 году, приступая к работе над статьей «Пушкин в 1828 году», Ахматова вновь записала основные тезисы главы о «пушкинской хандре» (записные книжки, ЦГАЛИ, микрофильм, — наши заметки № 5, 7, 8 и 9).

[2] Т. Г. Цявловская, Дневник А. А. Олениной, «Пушкин. Исследования и материалы», т. II, Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 286.

[3] Здесь в рукописи оставлено место для перечисления стихов, обсуждаемых в данной главе.

[4] По принятому мнению, А. Н. Раевский, находясь в связи с Е. К. Воронцовой, навлекал ревнивые подозрения ее мужа на Пушкина. Поэт был выслан в Михайловское по представлению М. С. Воронцова. Подробнее об отношениях Пушкина с А. Раевским и Е. Воронцовой см. в статье М. А. Цявловского «Из записей П. И. Бартенева (О Пушкине и гр. Е. К. Воронцовой)» — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 3, М. 1969.

[5] Эта мысль развита в наброске, условно названном Ахматовой: «Совсем другое» (ГПБ, ед. хр. 3):

«До наших дней в пушкинизме циркулируют ламентации по поводу разговоров о «малодушии» Пушкина, ненадежности его характера» и т. д. (см. «Исследования и материа-

лы», т. II ‹1958, Б. С.› Мейлах, ‹«Пушкин и декабристы в период после поражения восстания 1825 года»›, стр. 211). Причем высказываться, кажется, имеют право все, кроме одного человека, а именно самого Пушкина. Теперь наступило время предоставить слово пострадавшему. Конечно, очень приятно еще раз узнать, что В‹ерховная› Дума не могла запретить будущим декабристам общаться с Пушкиным потому и потому. Кроме того, что мы — люди середины XX века — знаем в 100 раз больше о немалодушии Пушкина, чем знали его современники, и во всем, что знаем, можем только им гордиться, сейчас настал момент распутать эту тягостную путаницу.

I

Пушкин об обвинениях его («Не посвящал друзей в шпионы»).

II

То же самое происходит с разговорами о том, что Пушкин якобы «худо» умер (Разгадка поведения Жук‹овского› и письмо к отцу поэта).

III

Можно утверждать, что в XX-ом веке время работало на Пушкина, а его родной XIX век был к великому поэту очень несправделив и жесток. Во второй половине века он был полузабыт, дурно издан, почему-то похож на Майкова. Появление семейной переписки Карамзиных властно требует пересмотра отношения к Пушкину так называемых его друзей. Сюда же примыкает тоже новый вопрос о салоне Бобринской, о значении воспоминаний Трубецкого и о всем, что я коротко назвала «Александриной».

Клеветнические слухи о том, что Пушкин был «шпионом» правительства, преследовали поэта и тогда, когда он вернулся из Одессы. См. черновик его письма к П. А. Вяземскому от 1 сентября 1828 года: «Алексей Полторацкий сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то 2500 в месяц (которые очень бы мне пригодились благодаря крепсу) и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и за милостями царскими». Ср. статью Т. Цявловской в «Временнике Пушкинской комиссии. 1963», «Наука», М.—Л. 1966,

стр. 16, где она сопоставляет эту зачеркнутую Пушкиным приписку с черновыми строками «Путешествия Онегина»:

Замечен он. О нем толкует
Разноречивая молва,
Им занимается Москва,
Его шпионом именует,
Слагает в честь его стихи
И производит в женихи.

[6] «Чердак» — шуточное наименование литературно-артистического салона драматурга и режиссера кн. А. А. Шаховского, занимавшего квартиру на верхнем этаже старинного петербургского особняка.

[7] Имеется в виду Ф. И. Толстой («Американец»).

[8] «Евгений Онегин», гл. IV, строфа XIX. Ниже черновая строка незаконченного стихотворения Пушкина 1830 года «Когда порой воспоминанье» (см.: Анна Ахматова, Пушкин и Невское взморье, «Литературная газета», 4 июня 1969 года).

Пушкин в 1828 году. Опубл. в ОП, с. 207— 222 по черновым рукописям (ГПБ) и записным книжкам (ЦГАЛИ). Впервые частично опубл. Э. Герштейн в ВЛ, № 1, 1970, с. 195—206. Печ. нами по ОП. Ниже воспроизводятся прим. Э. Г. Герштейн из этого источника.

[1] См. письмо В. П. Титова к А. В. Головнину от 29 августа 1879 г. (в кн.: А. И. Дельвиг, Мои воспоминания, М., 1912, с. 158). Заглавие повести, возможно, принадлежит не Пушкину, а Титову или издателю «Северных цветов» А. А. Дельвигу. См. с. 256. примеч. 1.

[2] Ср.: А. П. Керн, Воспоминания о Пушкине. — В кн.: «Пушкин в воспоминаниях современников», т. 1, М., «Художественная литература», 1974, с. 386.

[3] «Он опять вспомнил о давно покинутой им Вере, как грешник среди бездны разврата вспоминает о пути спасения» («Уединенный домик на Васильевском»).

[4] См. прозу Пушкина «Мы проводили вечер на даче».

[5] См. посвященные А. А. Олениной строки в стихотворении 1828 г. «Ее глаза»:

Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;

Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество, —

и в стихотворении «Предчувствие»:

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти...

[6] «Глаза наполнились кровью и слезами» — фраза из «Уединенного домика на Васильевском». «К теме Пушкин-тигр» — см. в письмах С. Н. Карамзиной к брату Андрею: «Пушкин... становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему» (29 декабря 1836 г.) — речь идет о помолвке Дантеса с Катериной Гончаровой; «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра» (26—27 января 1837 г.) (Карамзины, с. 148 и 165).

[7] Имеется в виду доклад В. В. Виноградова «Пушкинское и титовское в стиле повести «Уединенный домик на Васильевском», прочитанный в Государственном музее А. С. Пушкина (Москва) 18 декабря 1962 г.

[8] См. «Пушкин и Невское взморье».

[9] См. письмо Пушкина к Вяземскому, написанное около 25 января 1829 г.

[10] Строка из окончания «Воспоминания» 1828 г., оставшегося при жизни Пушкина в рукописи (III, 651).

[11] Стихотворения 1828 г. «Ее глаза», «Предчувствие», «Город пышный...», «Ты и вы» и др.

[12] Е. М. Оленина грубо отказала Пушкину, когда он сватался к ее дочери в 1828 г., а А. Н. Оленин (президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки, член Государственного совета) резко изменил свое благожелательное отношение к Пушкину после учреждения над поэтом тайного надзора (см.: Ф. Я. Прийма, Пушкин и кружок Оленина. — В кн.: «Пушкин, Исследования и материалы», т. II, М.—Л., изд-во АН СССР, 1958; Т. Г. Цявловская, Дневник А. А. Олениной. — Там же). См. примечание 20.

[13] См. описание Вяземским поездки в Петропавловскую крепость 18 апреля 1828 г.: «Мы садились с Пушкиным в лодочку, две дамы сходят, и одна по-французски просит у

нас позволения ехать с нами, от страха ехать одним... Мы, разумеется, позволяем. Что же выходит? Это была сводня с девкою. Сводня узнала Пушкина по портрету его, выставленному в Академии... У пристани крепости расстались мы с нашей презренной прозой (эта фраза по-французски), у которой, однако ж, Пушкин просил позволения быть в гостях, а я, вот те Христос, не просил... Мы с Пушкиным, встреча с девкою в розовом капоте, недавно приехавшей из Франкфурта, и прочее, и прочее, все это послужить может для любопытной главы в записках наших» («Литературно-художественный сборник «Красной Панорамы», 1929, ноябрь, с. 47—48).

Говоря о «любопытной главе» записок, Вяземский намекает и на недавние исторические события. Ахматова имела в виду содержание всего письма целиком, когда комментировала его в одной из своих черновых заметок: «18 апреля, дождавшись, чтоб прошла Нева, Пушкин повез на лодке коренного москвича кн. Петра Андреевича Вяземского (приехавшего в Петербург 27 февраля), как на богомолье, в страшную Петропавловскую крепость, чтобы тот своими глазами увидел место казни пяти декабристов. Эту поездку необычайно живописно изобразил Вяземский в письме к жене (написанном в тот же день, т. е. 18 апреля). Из крепости, как священные реликвии, Вяземский привез пять щепочек (от самой виселицы или от помоста). Он положил их в черный ящик, запечатал своей печатью и надписал: «С Пушкиным за Невой. 1828 г. Праздник Преполовения, 18 апреля». На Голодае друзья в этот день не были, а то бы Вяземский непременно написал об этом жене». См. с. 258, примечание 14.

[14] См.: Ю. Лотман, Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель. — «Ученые записки Тартуского государственного университета», 1959, вып. 78, с. 19—92.

[15] К этой теме относится также заметка в тетради Ахматовой (ЦГАЛИ) о другой прозе Пушкина:

«И все-таки «Дубровский» — неудача Пушкина. И слава Богу, что он его не закончил. Это было желание заработать много, много денег, чтобы о них больше не думать. Это, в противуположность «Пиковой Дамы», *вещь без Тайны*. А он не мог без Тайны. Она, одна она влекла его неудержимо.

«Дубровский» оконченный по тому времени был бы великолепное «чтиво». Там есть все: . . .

Я, как видите, оставляю целые три строки для перечисления того, что там есть «соблазнительного для читателя».* Да, там есть все — но нет тайнописи «Пиковой Дамы».

[16] Цитата из стихотворения 1828 г. «Каков я прежде был, таков и ныне я».

[17] Мысли, близкие к ахматовским, высказывала В. Писная в своей работе «Фабула «Уединенного домика на Васильевском»: «Здесь, как и в маленьких трагедиях, основная тема — развитие страсти . . .» («Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, СПб., 1915, с. 24).

[18] Имеется в виду план повести Пушкина 1821—1823 гг. «Влюбленный бес», сближаемый рядом исследователей с «Уединенным домиком на Васильевском» Тита Космократова.

[19] Ср. строку из стихотворения «Ее глаза»: «И сколько томных выражений» — с портретом Веры в «Уединенном домике»: «Небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти . . .»

[20] См. черновые строфы 8-й главы «Онегина»:

Тут Лиза Лосина была
Уж так жеманна, так мала ! . .
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость

или:

тут была,
Уж так жеманна, так мала ! . .
Так бестолкова, так писклива,
Что вся была в отца и мать . . .

а также сатирическое обыгрывание монограммы А. Оленина «ОА»:

Тут был отец ее пролаз
Нулек на ножках

---

* См. Пушкин о своем «Пугачеве»: «Его не читают, а что еще хуже — не покупают» (XII, 337; цитата приведена не точно).

и:

О двух ногах нулек горбатый

(см.: Б. Томашевский, Из черновиков «Онегина». Новые материалы. — «Вечерняя Москва», 1937, 23 января).

[21] См.: С. Бонди, Подлинный текст и политическое содержание «Воображаемого разговора с Александром I». — «Литературное наследство», т. 58. — Ахматова полагает, что в черновике 2-й главы «Евгения Онегина» в строфе, предшествующей строфе XV, дан «теневой портрет» А. Н. Раевского («делал кто-то»). Подробнее см.: «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 187—193.

[22] Описка Ахматовой: «Клеопатра» была написана в 1824 г. не в Одессе, а в Михайловском.

[23] Перед этим в рукописи Ахматовой следовали краткие выписки из вышеупомянутых статей Ф. Приймы и Т. Цявловской об Олениных.

[24] См.: Т. Цявловская, Дневник А. А. Олениной. — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. II, с. 285.

[25] См. примечание 20.

[26] «Удушливая пустота и немота русской жизни, странным образом соединенная с живостью и даже бурностью характера, особенно развивает в нас всякие юродства.

В петушьем крике Суворова, в диких выходках Измайлова, в полудобровольном безумии Мамонова и буйных преступлениях Толстого-Американца слышу родственную ноту, знакомую нам всем, но которая у нас ослаблена образованием или направлена на что-нибудь другое» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 8, М., изд-во АН СССР, 1956, с. 242—243).

Пушкин и невское взморье. Опубл. Э. Г. Герштейн по авторизованной машинописи (ГПБ): впервые — в ЛГ, № 23, 04. 06. 1969, с. 7, затем — в альманахе «Прометей», № 10, М., 1974, с. 218—225 и в ОП, с. 148—158. Печ. нами по ОП. Ниже воспроизводятся прим. из этого источника.

[1] «Уединенный домик на Васильевском» перепечатан в разделе «Приложения» в 9-м томе третьего издания десятитомного Полного собрания сочинений А. С. Пушкина (М., «Наука», 1965). Это запись устного рассказа Пушкина, сделанная его знакомым В. П. Титовым. Впервые была напеча-

тана с подписью «Тит Космократов» в альманахе «Северные цветы на 1829 г.» Ахматова дала этой повести новое толкование (см. «Пушкин в 1828 году»).

[2] В статье «Петербург в творчестве Пушкина» («Пушкинский Петербург», Л., 1949, с. 27) Б. В. Томашевский сближает пейзаж из «Уединенного домика на Васильевском» с топографией того домика, в котором жила Параша из «Медного всадника», а не с топографией места, где был похоронен Евгений.

[3] В наброске к этой статье, имея в виду черновую строку «отрывка»: «Приют пустынный птиц морских», Ахматова писала: «Кроме Голодая на взморье много мелких островков. На них действительно сидят морские птицы — чайки; сушатся рыбачьи сети, иногда догнивает дырявая лодка, чернеют следы костров. Так, во всяком случае, было в начале XX в., когда я часто там бывала».

[4] См. примечание 8 первой главы «Евгения Онегина».

[5] Уже после смерти Ахматовой Н. И. Харджиев обратил мое внимание на не учтенный в специальной литературе печатный источник о погребении казненных декабристов на острове Голодай: Л. Жемчужников, Мои воспоминания из прошлого. Вып. 1, М., 1926, с. 133.

[6] Речь идет о двух стихотворениях Пушкина: «Во глубине сибирских руд» и «19 октября 1827», откуда и приведена последняя строка.

[7] Последовательность появления записей и рисунков Пушкина приведена Ахматовой не совсем точно: известие о казни декабристов дошло до Пушкина 24 июля 1826 г.; 6-ю главу «Онегина» поэт дописывал еще в августе 1827 г.; первые два рисунка виселицы были сделаны в ноябре 1826 г., а затем повторены в 1828 г. в черновиках «Полтавы».

[8] См.: Т. Г. Цявловская, Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтера Скотта. — «Временник Пушкинской комиссии. 1963». М.—Л., «Наука», 1966, с. 7.

[9] «Русский архив», 1866, стлб. 1464.

[10] Н. В. Измайлов, Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов — В кн.: «Пушкин. Исследования и материалы», т. II, М.—Л., изд-во АН СССР, 1958, с. 38.

[11] В третьем (неполном) машинописном экземпляре статьи «Пушкин и Невское взморье» после этих слов авто-

ром поставлен знак сноски, а на обороте предыдущего листа (6-го) сделана собственно-ручная запись карандашом, возможно относящаяся к этому месту: «В том же 1828 году написана баллада «Утопленник». Надо думать, что так страшно наказанный отказ мужика дать могилу и крест погибшему в волнах человеку тоже не случайность в творчестве Пушкина.

Гибель Пушкина. Опубл. Э. Г. Герштейн впервые в ВЛ, № 3, 1973, с. 191—236 и затем — в ОП, с. 110—133. Печ. нами по ВЛ. Ниже частично воспроизводится текст предисловия и прим. к публикации из этого источника.

Изучением истории гибели Пушкина А. А. Ахматова занималась с давних пор, но к печати подготовить свою работу не успела.

Сначала в ее намерения входило написать книгу, в которой был бы рассмотрен весь комплекс явлений, повлекших за собою несчастье. В сущности, это была бы последняя глава биографии Пушкина. Ахматова начинала ее с «Моей родословной». Постепенно, отвлеченная другими литературными занятиями, она сужала этот план. Но следы первоначального замысла остались в нескольких черновых набросках и планах. Так же, как ряд позднейших заметок, которые Ахматова не успела ввести в основную рукопись, они дают более полное представление о круге ее наблюдений, и мы воспользуемся ими в настоящей вступительной статье, а также в примечаниях к публикации (выделяя эти тексты курсивом). ...

...О Наталье Николаевне Ахматова пишет остро и резко. Она судила о характере жены Пушкина и по его письмам. В том же письме от 20—22 апреля 1834 года, где Пушкин обижается за Машеньку Вяземскую (впоследствии Валуеву), он пишет жене строки, обратившие на себя внимание Ахматовой: «Ты, мне кажется, слишком устала. Приедешь в Москву, обрадуешься сестрам; нервы твои будут напряжены, ты подумаешь, что ты здорова совершенно, целую ночь простоишь у всеночной, и теперь л е ж и ш ь в р а с т я ж к у в и с т е р и к е и л и х о р а д к е». Видимо, комментировала Ахматова, Пушкин часто видел подобную картину у себя дома. Эти строки служили для нее ключом к пониманию поведения Натальи Николаевны в последние недели жизни Пушкина. В нескольких планах своей работы Ахматова намечала подробнее остановиться на портрете Пушкиной. В майском плане 1957 года первым пунктом

намечалось дать *«Новую характеристику Н. Н. (письма к Ланскому)»*, и сбоку пояснено: *«Истерики и обмороки»*. В «Содержании», составленном в 1961 году, находим целую главу, посвященную жене Пушкина: *«Наталья Николаевна. Ее характер, ее влюбленность. Ее новый портрет, и пр.»*.

... Ахматова производит отбор материалов, останавливая внимание на деталях, пропущенных многими исследователями. Так, она привлекает документ, напечатанный уже в 1936 году, но не нашедший себе истолкования в литературе о Пушкине. Это письмо «неизвестного к неизвестному Николаю», посланное из Москвы 6 мая 1837 года и напечатанное Л. Модзалевским в сборнике «Звенья», вып. VI, стр. 160—161:

«Третьего дни я был у Баратынского, он мне показывал маску Пушкина, снятую с него в день его смерти, она страшно похожа... Баратынский говорил целый час о смерти Пушкина и о нем самом. Его стоило записывать. Он рассказывал все подробности этой истории, которая была ему сообщена Жуковским, Вяземским и, наконец, доктором Далем, людьми достоверными. Баратынский говорит, что он умер как христианин, и во всем оправдывает Пушкина, а обвиняет его жену. Я верю всему, потому что было заметно, что он и жены его не хотел обвинять из уважения к нему».

В неизданных письмах П. А. Вяземского к Н. Н. Пушкиной Ахматова выделяет одно, написанное уже пять лет спустя, где мы находим доказательство того же неумения вести себя, которое отмечали у Натальи Николаевны свидетели драмы в 1837 году («Она бледнела и трепетала под его [Дантеса] взглядами» — Д. Фикельмон; «Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя» — С. Карамзина, и пр.). 6 апреля 1842 года Вяземский в шуточной форме наставляет Наталью Николаевну, как вести себя в присутствии заинтересовавшего ее человека (Вяземский иносказательно называет его «пирожник»): «Войдя в комнату, не краснеть и не бледнеть, присесть хозяйке и гостям учтиво и выбрать себе местечко общее, а не отдельное...», «20 минут, полчаса особенного разговора довольно. Потом встать с места и подойти к другим... завести общий разговор», «С пирожником сидеть, но не засиживаться... за пирог не садиться, если будут усаживать и сводить», — и, наконец, Вяземский взывает по французски: «...Поменьше тщеславия и побольше самолюбия... одним словом: достоинство! достоинство! и

еще раз достоинство!» По-видимому, в письме заключен также намек на недавние трагические события. Вяземский пишет: «От этих особенных разговоров проку мало, а толков много. Из пустого в порожнее довольно уже было перелито».[1]

В этой связи вспоминается штрих, отмеченный в известных конспективных заметках Жуковского о преддуэльных событиях: «Записка Н. Н. ко мне и мой совет. Это было на рауте Фикельмона». Или — упоминание в дневнике А. Тургенева 18 января 1837 года: «... к Лютцероде, где долго говорил с Нат. Пушкиной, и она от всего сердца». Между тем, как выясняется из неопубликованного письма Вяземского к Э. Мусиной-Пушкиной, 18 января у Лютцеродов «были танцы в честь новобрачных Геккернов». И опять на «будничном», «немноголюдном» вечере, под гул поздравлений, Наталья Николаевна ведет «особенный» и задушевный разговор с Тургеневым, ничуть не заботясь о впечатлении, какое это может произвести на любопытных гостей. Ахматова убеждена, что если в феврале (во время объяснения с Дантесом) Наталья Николаевна ответила *«как [пушкинская] Татьяна», то в дальнейшем она вела себя скорее как его же Зинаида (из отрывка «Гости съезжались на дачу ...»);* что презрительный смех жены в ответ на известие о сватовстве Дантеса (о котором пишет Пушкин в ноябрьском письме к Геккерну) в действительности был *«истерическим хохотом взбешенной женщины»,* узнавшей, что человек, которого она *«любила так, как никогда никого не любила и любить не будет»,* изменил ей. Даже в письме Е. Мещерской-Карамзиной, написанном в защиту жены Пушкина, Ахматова видит подтверждение того, что Наталья Николаевна не умела «властвовать собой» ...

... Отпадает легенда о «двухлетнем постоянстве», о котором пишет Пушкин в своем ноябрьском (неотправленном) письме к Геккерну. «Жорж» пишет посланнику, что влюбился т о л ь к о с е й ч а с. Но почему же Наталья Николаевна так уверенно ответила Вере Федоровне Вяземской, обеспокоенной ухаживанием Дантеса за женой Пушкина: «Будет то же, что было два года»? *«Дантес уверял Натали, что полюбил ее с первого взгляда,* — замечает Ахматова. — *А что другое он мог ей говорить? И конечно, влюбленная женщина верила».*

Не был отмечен странный тон обращения молодого человека к Геккерну. *«Как выясняется из писем Дантеса,* —

---

[1] ИРЛИ, ПД 25.559/CIXXXIV 5.

пишет Анна Андреевна, — *он говорил своему приемному отцу — ты. Это звучит по крайней мере неожиданно. В то время родителям (в особенности по-французски) говорили — вы. См., например, письмо Пушкина к Сергею Львовичу (дек. 1836). Это так недавно вынырнувшее ты окончательно решает вопрос о характере отношений между Геккерном и Дантесом*» («До свиданья, дорогой мой, будь снисходителен к моей новой страсти, потому что тебя я также люблю от всего сердца», — пишет Дантес Геккерну, который в это время хлопочет об официальном усыновлении своего любимца).

Замечает Ахматова разительный контраст между поведением Дантеса в начале и в конце 1836 года. Будучи еще свободным, Дантес тщательно скрывает имя Пушкиной («я тебе ее не назову, потому что письмо может затеряться», «ради Бога ни слова никому, никаких попыток разузнавать, за кем я ухаживаю», «я был осторожен до такой степени, что до сих пор тайна принадлежала только ей и мне», — читаем в этих письмах), а женившись на Катерине Гончаровой, назойливо афиширует свою страсть к Наталье Николаевне. Поведение его в последние недели пребывания в Петербурге общеизвестно. «Эти два человека (Дантес и Геккерн. — Э. Г.), — писал Александр Карамзин после гибели поэта, — не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении» [1]. Отправная точка наблюдения Ахматовой совпадает с поздним утверждением молодого Карамзина. Весь роман длился один год. События росли, как снежный ком. Ахматова рассматривает их в движении, а не статично. В этом коренное отличие ее точки зрения от вывода М. Цявловского.

Солидарна Ахматова и с другим утверждением Карамзина о Дантесе: «... Он меня обманул красивыми словами и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига» [2]. Ахматова могла бы опереться на статьи Б. Казанского, писавшего еще в 1937 году о притворстве Дантеса. Исследователь считал, что Дантес умышленно компрометировал Наталью Николаевну, чтобы создать себе репутацию в великосветском кругу. Но

---

[1] См. «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов», Изд. Ак. Наук СССР, М.-Л., 1960, стр. 190.

[2] Там же, стр. 192.

Казанский впадал в другую крайность. Сосредоточив все свое внимание на ухаживании Николая I за женой Пушкина, он вовсе исключил Дантеса из игры. «Случайностью в конце концов была и женитьба Дантеса, и роман его с женой поэта, и самое его существование, — писал Казанский. — Все это не имеет исторического значения. Действительно сознательным актом, направленным против Пушкина и в конце концов обусловившим его гибель, был пасквиль» [1]. А был ли, действительно, в «дипломе рогоносцев» заключен намек на царя? — сомневается Ахматова. *«Николай I во всяком случае себя там не узнал,* — пишет она. — *Вяземский тоже: он не посмел бы послать т а к о е письмо Михаилу Павловичу»*....

Как видим, концепция Ахматовой занимает среднее место между эмоциональным восприятием М. Цявловского и слишком абстрактным построением Б. Казанского. В ее первоначальный замысел входило еще остановиться на последующей длинной жизни Дантеса. В майском плане 1957 года читаем: *«Котильонный король. — Ничто в дальнейшей биографии Дантеса не подтверждает этой характеристики. Он и не 'Дон-Жуан' и не душа общества»*. Из публикуемой здесь редакции статьи Ахматовой этот тезис выпал. Между тем он подкрепляется письмом А. Тургенева, напечатанным в 1952 году, но тоже почему-то оставленным без внимания пушкинистами. 4 (16) августа 1837 года Тургенев пишет Вяземскому из Киссингена о своих беседах о Пушкине с вел. кн. Марией Павловной. Тут же он касается Дантеса: «Я узнал и об его происхождении, об отце и семействе его: все ложь, что он о себе рассказывал и что мы о нем слыхали: его отец — богатый помещик в Эльзасе — жив и кроме его имеет шестерых детей; каждому достанется после него по 200 тысяч франков. С Беррийской дюшессой он никогда не воевал и на себя налгал» [2]....

... Новое толкование получает в работе Ахматовой и посмертное обвинение Пушкина в организации «революционной партии» в Петербурге. Автором этой клеветы, подвергающей опасности друзей Пушкина, считается Бенкендорф. Ахматова уверена, что эту версию сочинил Геккерн. Он не повторил обвинения III Отделения в письме к голландскому министру иностранных дел, как считает большинство исследователей, а сам подсказал его шефу жандармов. *«Письмо Жуковского (донос Геккерна)»*, — читаем в плане книги Ахматовой 1965 года. Обращаемся к оправдательно-

---

[1] «Литературный Современник», 1937, № 33, стр. 236.

[2] «Литературное Наследство», т. 58, стр. 148.

му письму Жуковского к Бенкендорфу и находим во второй черновой редакции следующие строки:

«... Полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и пр.), что Геккерну угрожают... вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки и что его испуганное воображение их преувеличивало и что он сообщил свои опасения и требовал защиты»[1]. Таким образом. Жуковский полагал, что все обвинение исходит от Геккерна. Эта уверенность проскользнула и в обмолвке несколькими строками ниже: «Вдруг полиция [узнает что] догадывается, что должен существовать (т. е. существовал) заговор, что Министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности...»[2]. И прямо и косвенно Жуковский указывает на Геккерна, испуг которого породил эту версию. Развернутую мотивировку политических обвинений, адресованных покойному Пушкину и его друзьям, мы находим не в резолюции Бенкендорфа, а в письме Геккерна своему министру иностранных дел Верстолку. 2 февраля Бенкендорф надписал на анонимном письме, полученном Орловым: «Это письмо очень важно, оно доказывает существование и работу общества»[3]. В тот же день Геккерн пишет в Голландию: «Смерть г. Пушкина открыла, по крайней мере, власти существование целой партии, главой которой он был, может быть, исключительно благодаря своему таланту, в высшей степени народному. Эту партию можно назвать реформаторской: этим названием пользуются сами ее члены. Если вспомнить, что Пушкин был замешан в событиях, предшествовавших 1825 году, то можно заключить, что такое предположение не лишено оснований»[4]. Контакт между начальником III отделения и нидерландским посланником, во всяком случае, несомненен, и, очевидно, Жуковский знал, что́ писал, когда обвинял Геккерна в политическом доносе.

Таким же клеветническим доносом Геккерна Ахматова считает версию о романе Пушкина с Александрой Гончаровой[5].

Главным ударом в непрерывной агрессии Геккерна была

---

[1] П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы, изд. 3-е, ГИЗ, М.-Л., 1928, стр. 254.

[2] Там же, стр. 257.

[3] Там же, стр. 226.

[4] Там же, стр. 327.

[5] Эта тема была в 1961 г. выделена Ахматовой из статьи «Гибель Пушкина» и обработана как самостоятельная статья «Александрина».

версия о женитьбе Дантеса для спасения чести Натальи Николаевны. *«Я обращаю внимание моих слушателей на то,* — записывает Ахматова, готовясь к докладу, — *что Геккерны с самого начала (письмо голландского дипломата к Загряжской) до самого конца или, вернее, после конца (письмо Андрея Карамзина) упрямо твердили одно и то же: 'Помните, что вы делаете это, чтобы спасти своих' (Геккерн)*[1]*; 'Я все сделал, чтобы их спасти (Дантес — Карамзину)*[2]*, когда для всех было ясно, что спасение заключалось в могиле великого поэта и весьма двусмысленной высылке только что овдовевшей женщины с четырьмя маленькими детьми».*

Ахматова показывает, что частью этой драмы в «спасение чести» жены Пушкина было ужасное письмо Дантеса, в котором он заявлял Наталье Николаевне, что «отказывается от каких бы то ни было видов на нее». Письмо было сочинено Дантесом по требованию Геккерна. . . .

. . . Размышления Ахматовой наводят на дальнейшие сопоставления. Может быть, разговоры о неистовой ревности Пушкина тоже носили механический характер и не соответствуют облику поэта? Такие замечания, как «он ревнует свою жену из принципа», «он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает», или откровения того же Трубецкого: «Пушкин . . . вовсе не ревновал» Наталью Николаевну к Дантесу, — говорят о чем-то более сложном, хотя и искаженном в представлении враждебно настроенных людей. А разговор Пушкина с Е. Мещерской, слышанный Софьей Николаевной? Он рассказывал Екатерине Николаевне все подробности этой «таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имевшую к нему никакого отношения»[3]. Разве это свидетельствует о «бешенстве обезумевшей ревности»? Скорее это говорит о проницательности и самообладании Пушкина.

Среди черновиков исследования находится список «добавлений». В нем устанавливается *«связь всех этих событий (семейной трагедии) с творчеством Пушкина».* Ахматова находит ее даже в «Капитанской дочке». В неоднократ-

---

[1] «Вы знаете тоже, что с Пушкиным я не уполномачивал вас говорить, что это вы делаете сами по своей воле, чтобы спасти своих» (Геккерн Загряжской, 13 ноября 1836 г. — Щеголев, стр. 92).

[2] «Мое полное оправдание может прийти только от г-жи Пушкиной; через несколько лет, когда она успокоится, она скажет, быть может, что я сделал все возможное, чтобы их спасти» («Пушкин в письмах Карамзиных . . .», стр. 404).

[3] Там же, стр. 148.

но комментированной заключительной сцене повести Ахматова подмечает новые черты. Она прочла здесь отвращение Пушкина к Петербургу и его мечту о *«заветном месте»* в Царском Селе, то есть о ландшафте его юности. Она замечает, что в «Капитанской дочке» и стихотворении «Царское Село» описано одно и то же место. И это дает Ахматовой ключ к истолкованию автобиографических мотивов в историческом повествовании. Сравним:

«Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга...»

. . . . . .

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий склон холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов,
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злачных берегов знакомую картину,
И в тихом озере, средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

«Желтый роброн повивальной бабки (отвращенье к нарядам)» — пишет далее Ахматова. Мы идем вслед за ней и находим в последней главе повести ироническую характеристику «племянницы придворного истопника»:

«Ахти, господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору... Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» — Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут». Заново прочитанный Ахматовой отрывок заиграл для нас тончайшими смысловыми оттенками.

Еще одна запись: *«Последний родственник» о французах — жалкий народ»*. Ахматова имеет в виду «пастиш» (подделку) Пушкина «Последний из свойственников Иоанны д'Арк», где потомок национальной героини вызывает на дуэль Вольтера за его сатирическую поэму «Орлеанская девственница». «Все с восторгом приняли книгу, в которой презрение ко всему, что почитается священным для человека и гражданина, доведено до последней степени цинизма,

— пишет Пушкин в этой литературной мистификации. — Никто не вздумал заступиться за честь своего отечества... Жалкий век! Жалкий народ!» Тут нельзя пройти мимо Лермонтова, воспринявшего слова Пушкина как глубокую критику французского духа. Приведенная выше цитата «переложена» Лермонтовым в стихи. Цитирую строки из «Последнего новоселья»:

. . . . . .

Мне хочется сказать великому народу:
Ты жалкий и пустой народ!
Ты жалок потому, что вера, слава, гений,
Всё, всё великое, священное земли,
С насмешкой глупою ребяческих сомнений
Тобой растоптано в пыли

«Последнего из свойственников...» Ахматова связывает также со статьей Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе 'Потерянного рая'», написанной почти одновременно: *«Доказываю, что это такой же пастиш, как и 'Последний свойственник'. (Тема — независимость поэта)»* [1]. Как видим, это не случайные наблюдения Ахматовой, а органическая черта ее метода чтения. Сюда же относится толкование Ахматовой письма к К. Толю, написанного Пушкиным накануне дуэли. Темой переписки была «История Пугачева», но в свое письмо Пушкин вставил афоризм из другого ряда ассоциаций: «Истина сильнее царя». Ахматова связывает это восклицание с последним «проступком» оскорбленного поэта: решающее письмо к Геккерну было уже послано.

Пушкин указал, что процитировал это изречение из Священного писания, но в Библии такой реплики не найдено [2]. Следовательно, и в частном письме он, по-видимому, прибегнул к литературной мистификации. Все это дает ключ к другим, еще не расшифрованным, высказываниям Пушкина.

Таким образом, изыскания Ахматовой в области биографии поэта тесно переплетаются с анализом его произведений.

**
*

Печатается по авторизованной рукописи 1958 года (Отдел рукописей ГПБ им. Салтыкова-Щедрина). Сохранилось

---

[1] См. „Marginalia" в этом томе.

[2] См. «Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837», «Наука», Л., 1969, стр. 358.

два идентичных экземпляра, но с разными рукописными поправками и добавлениями 1961—1962 годов. Позднее Ахматова начала переработку обширных вставок к «Гибели Пушкина» в отдельные заметки: *«Пушкин и bande joyeuse»*, *«Bande и старшие»* и пр., но работа не доведена до конца. Мы печатаем первоначальный текст 1958 года (с некоторыми позднейшими стилистическими поправками), а дополнения, с привлечением отдельных черновых набросков Ахматовой, вынесены, как уже говорилось, частью во вступительную статью, частью в примечания.

Многие цитаты, на которые опирается Ахматова в своем анализе, не включены ею в текст статьи, а лишь указаны в нем; свод этих цитат дается в примечаниях.

В публикуемом тексте неоднократно встречается обращение к слушателям, а не к читателям. Ахматова читала свою работу в собраниях виднейших пушкинистов, сотрудникам Музея-квартиры А. С. Пушкина и др. Во втором машинописном экземпляре к вводным словам, датированным 26 августа 1958 года, имеется позднейшая приписка чернилами, однако зачеркнутая:

«Работа эта сделана уже очень давно, в основном еще до войны. В дальнейшем мне приходилось только вставлять в нее новые сведения (из дневника Фикельмон, о Дантесе в гостях у Александры Николаевны, семейную переписку Карамзиных и т. д.), которые ни разу не противоречили первоначальной концепции. Я часто сначала рассказывала, а потом читала свою работу. Поэтому кое-что в ней может показаться уже слышанным. Истина — едина. Очень трудно, услышав ее, продолжать настаивать на прежнем заблуждении, и совершенно естественно признать ее своим открытием. Это происходит часто подсознательно, и я уверена, что каждый сталкивался с этим явлением».

1. «... Уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла, но теперь это не то же самое: я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана», — из письма Дантеса к Геккерну 14 февраля 1836 года, подлинник по-французски, «Звенья», IX, стр. 176. В рабочих записях Ахматовой читаем: *«Объединить миф об уважении Дантеса к Наталье Николаевне из его письма (февр. 36 г.) с теми же его «конфиданс»ами» Александру Карамзину до самого конца»*. См. письмо А. Карамзина брату Андрею 13 (25) марта 1837 года: «Нашему семейству он больше, чем когда-либо, заявлял о своей дружбе, передо мной прикидывался откровенным, делал мне ложные признания, разыгрывал честью, благород-

ством души и так постарался, что я поверил его преданности госпоже П[ушкиной], его любви к Екатерине Г[ончаровой], всему тому, одним словом, что было наиболее нелепым, а не тому, что было в действительности», — К а р а м з и н ы, стр. 191.

2. «Я заметил, что Дантес ждет меня, и в самом деле он скоро опять пристал ко мне и, схватив меня за руку, потащил в пустые аллеи. Не прошло двух минут, что он уже рассказывал мне со всеми подробностями свою несчастную историю и с жаром оправдывался...» — из письма Андрея Карамзина к родным из Бадена 26 июня (8 июля) 1837 года, К а р а м з и н ы, стр. 404.

3. «Его [Пушкина] доверие к ней было безгранично, тем более, что она давала ему во всем отчет и пересказывала слова Дантеса, — большая, ужасная неосторожность», — дневник Д. Фикельмон, запись 29 января 1837 года (подлинник по-французски), — Е. М. Х м е л е в с к а я, Из дневника графини Д. Ф. Фикельмон (Новый документ о дуэли и смерти Пушкина), «Пушкин. Исследования и материалы», т. I, Изд. АН СССР, М.—Л. 1956, стр. 349. В дальнейшем этот источник именуется: «Фикельмон».

4. «Граф [Строганов] меня вчера навестил... он в отчаянии от всего случившегося с тобой и возмущен до бешенства глупым поведением моей тетушки и не сделал ни шага к сближению с ней; я ему сказала, что думаю даже, что это было бы бесполезно. Вчера тетка мне написала пару слов, чтобы узнать о моем здоровье и сказать мне, что мысленно она была со мною; она будет теперь в большом затруднении: так как мне запретили подниматься на ее ужасную лестницу, я у нее быть не могу, а она, разумеется, сюда не приедет; но раз она знает, что мне нездоровится и что я в горе по случаю твоего отъезда, у нее не хватит духу признаться в обществе, что не видится со мною; мне чрезвычайно любопытно посмотреть, как она поступит: я думаю, что ограничится ежедневными письмами, чтобы справляться о моем здоровье», — из письма Е. Геккерн (Гончаровой) к Дантесу-Геккерну, Щ е г о л е в, стр. 337.

Одновременно Дантесу писал Геккерн-старший: „M-lle Z, тетка, сварливая и упрямая личность; но я употребил в дело свой авторитет и запретил твоей жене проводить целые дни за письмами к ней, лишь бы удовлетворить ее любопытство, потому что ее заботы и расположение — только одно притворство», — там же, стр. 344—345.

5. Ссылаясь на иезуита Пирлинга, С. Панчулидзев утверждал, что Е. Н. Геккерн умерла (1843), не успев принять католичество («Сборник биографий кавалергардов»,

СПб. 1908, т. IV, стр. 90, статья о Дантесе). Но в 1930 году в «Последних Новостях» (Париж), № 3340, было опубликовано письмо Дантеса к И. С. Гагарину от 17 сентября 1847 года, где он писал: «С первых же лет нашего брака Екатерина была озабочена мыслью, что все, с кем ее связывают наиболее нежные узы, исповедуют не ее религию... Моя жена решила изучить и принять католичество. Она не дала огласки своему отречению от православия из весьма похвального желания избавить от большого огорчения свою мать — единственное лицо, с которым она поддерживала постоянные сношения. Несмотря на это Екатерина умерла, окруженная всеми утешениями нашей церкви», — ср. В. Вересаев, Пушкин в жизни, ч. 2, изд. 6-е, «Советский писатель», М. 1936, стр. 472.

6. «Во вторник... Пушкин отправился на бал к графине Разумовской. Постучавшись напрасно в дверь всего семейства Г[еккернов], он решил им дать пощечину, будь то у них (на дому) или на балу. Они были предупреждены и не поехали туда», —из письма В. Ф. Вяземской (к Е. Н. Орловой?), — см. Н. Бельчиков, Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти А. А. Пушкина, «Новый Мир», 1931, № 12, стр. 189.

7. «Господин полковник!

Я только что узнал от моей жены, что при мадам Валуевой в салоне ее матери он говорил следующее: «Берегитесь, вы знаете, что я зол и что я кончаю всегда тем, что приношу несчастие, когда хочу». Она также только что мне рассказала о двух подробностях, которых я не знал. Вот почему я вам пишу это письмо в надежде, что оно, может быть, даст еще некоторые объяснения насчет этого грязного дела.

Со дня моей женитьбы, каждый раз когда он видел мою жену в обществе мадам Пушкиной, он садился рядом с ней и на замечания относительно этого, которые она ему однажды сделала, ответил: «Это для того, чтобы видеть, каковы вы вместе и каковы у вас лица, когда вы разговариваете». Это случилось у французского посланника на балу за ужином в тот самый вечер. Он воспользовался моментом, когда я отошел, чтобы подойти к моей жене и предложить ей выпить за его здоровье! После отказа он повторил то же самое предложение, ответ был тот же. Тогда он разъяренный удалился, говоря ей: «Берегитесь, я вам принесу несчастие» Моя жена, зная мое мнение об этом человеке, не посмела мне тогда повторить разговор, боясь истории между нами обоими.

В конце концов он совершенно добился того, что его ста-

ли бояться все дамы; 16 января, на следующий день после бала, который был у княгини Вяземской, где он себя вел вызывающе по отношению к обеим этим дамам, мадам Пушкина на замечание г. Валуева, как она позволяет обращаться с нею таким образом подобному человеку, ответила: «Я знаю, что я виновата, я должна была бы его оттолкнуть, потому что каждый раз, когда он обращается ко мне, меня охватывает дрожь», — из письма Дантеса 26 февраля председателю Военно-судной комиссии (пер. с франц.), — см. А. С. П о л я к о в, О смерти Пушкина (По новым данным), Госиздат, Пб. 1922, стр. 54—55.

8. Щ е г о л е в, стр. 279.

9. См. стихотворение Ф. Тютчева «29 января 1836»:

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В «ц а р е у б и й ц ы» заклеймен . . .

10. См. выше, в примечаниях.

11. Щ е г о л е в, стр. 292.

12. Письмо Геккерна к К. Нессельроде 1 (13) марта 1837 года — Щ е г о л е в, стр. 322. Недатированная французская записка нидерландского посланника своему приемному сыну, написанная, по-видимому, во время суда над Дантесом, опубликована с неверным переводом А. Поляковым в вышеназванной книге. П. Щеголев, назвав записку «воровским документом, написанным с специальными задачами и понятным только адресату», перепечатал ее по-русски (стр. 329—330) с теми же искажающими смысл ошибками. Исправлены Б. Казанским в статье «Гибель Пушкина» («Звезда», 1928, № 1, стр. 117). В своих рабочих записях Ахматова постоянно подчеркивала ошибки перевода Щеголева. Приводим полный текст записки в новом переводе Н. В. Бонди:

«Если ты хочешь говорить об анонимном письме, я скажу тебе, что оно было запечатано красным сургучом. Сургуча мало, запечатано плохо. Печать довольно своеобразная, насколько я помню: «а» посреди этой формы «А» и множество эмблем вокруг «А». Точно разглядеть эти эмблемы я не мог, так как, повторяю, запечатано было плохо. Помнится, что вокруг были знамена, пушки и т. п., но я

не уверен. Помнится также, что они были с разных сторон, но в этом я тоже не уверен.

Ради Бога, будь осторожен, и за этими подробностями отсылай смело ко мне, потому что [сам] граф Нессельрод показал мне это письмо, которое написано на бумаге такого же формата, как и эта моя записка.

Мадам де Н. и графиня Софья Б. шлют тебе свои лучшие пожелания. Обе они горячо интересуются нами.

Да выяснится истина — это самое пламенное желание моего сердца. Твой душой и сердцем

Б[арон] д[е] Г[еккерн].

Почему ты спрашиваешь обо всех этих подробностях? Доброй ночи, спи спокойно».

Полное имя «графини Софьи Б.» — Софья Александровна Бобринская (урожд. Самойлова), предположительно называвшееся уже А. Поляковым и П. Щеголевым, установлено в статье Э. Герштейн «Вокруг гибели Пушкина» («Новый Мир», 1962, № 2), где впервые напечатаны письма императрицы Александры Федоровны к Бобринской с упоминаниями о «Жорже». Из этих писем выясняется, что С. Бобринская покровительствовала Дантесу во время суда над ним и ходатайствовала перед императрицей о смягчении его участи. Не подлежит сомнению, что в указанном выше письме Геккерна к Нессельроде 1 (13) марта 1837 года речь идет именно об этих «двух дамах»: «я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, весьма высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог». В рабочих записях Ахматовой имеется большая заметка по поводу находки писем жены Николая I:

«*Новое лицо — гр. Бобринская-Самойлова. Вставная новелла: канун 61 г. Т. Г. Цявловская привозит мне Вяземского (т. VII). На стр. 223* [в статье о Бобринских]: «*Императрица часто с ней видалась и долго вела постоянную переписку. Сколько в этих письмах должно таиться драгоценных царских жемчужин и чисто человеческих сокровищ! Как не пожалеть, что подобные драгоценности остаются под спудом!..» Вечером ко мне пришла Э. Г. Г*[ерштейн] *и принесла выписки из писем Александры Федоровны к Бобринской. Эти письма важные тем, что в свою очередь приближают дантесовскую историю ко двору и дают объяснение многим до сих пор непонятным фактам (напр., мягкий приговор Дантесу), отношению двора к Пушкину; talent satanique**, — пишет царица в часы агонии поэта. Это то, чего мы (в частности, Щеголев) до сих пор не знали —

* Сатанинский талант.

царская ли это жемчужина или чисто человеческое сокровище?

Эти письма в свою очередь доказывают, что Наталья Николаевна не была царской фавориткой. Нельзя себе представить, что в письмах Александры Федоровны это не выяснилось бы. NB. Примеры, цитаты . . .»

13. «Под конец одна графиня Н[ессельроде] осталась при нем [Геккерне], но все-таки не могла вынести его, хотя и плечиста, и грудиста, и брюшиста», — Собр. соч. князя П. П. Вяземского, СПб. 1893, стр. 562.

14. „Lettres et papiers du Chancelier Comte de Nesselrode . . .", t. VIII, Lahure, Paris, 1911, p. 104.

15. Щеголев, стр. 240.

16. «Если бы с его стороны была страсть или хотя бы честное ухаживание, то, оплакивая Пушкина, я не обвинял бы его противника. В этом отношении я не ригорист. Всякому греху милосердие, но не всякой низости!» — из письма П. Вяземского к Э. Мусиной-Пушкиной 16 февраля 1837 года, подлинник по-французски, «Русский Архив», 1900, кн. 3, стр. 392.

17. В письме 26 января 1837 года Пушкин писал Геккерну-старшему: «Итак, я вынужден просить вас, барон, положить конец всем этим происка м . . .» (mettre fin à tout ce manège) — Пушкин, т. XVI, стр. 222, 428.

18. Видимо, Ахматова имеет в виду не второе письмо Дантеса, а второе упоминание в дневнике Д. Фикельмон: «она по наивности или, скорее, по своей удивительной простоте»; по толкованию Ахматовой, здесь simplicité не «простота», а «глупость», — Фикельмон, стр. 347, 349.

19. «Дантес часто посещал Пушкиных. Он ухаживал за Наталией, как и за всеми красавицами (а она была красавица), но вовсе не особенно «приударял», как мы тогда выражались, за нею . . . Пушкин хорошо знал, что Дантес не приударяет за его женой, он вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, ему Дантес был противен своею манерою, несколько нахальною, своим языком, менее воздержанным, чем следовало бы с дамами, как полагал Пушкин», — «Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу», Щеголев, стр. 421.

20. «Разговор наш [Сологуба с Дантесом] продолжался долго. Он говорил, что чувствует, что убьет Пушкина, а что с ним могут делать, что хотят: на Кавказ, в крепость — куда угодно. Я заговорил о жене его [Пушкина]. — „Mon cher, c'est une mijaurée" («Дорогой мой, это кривляка»)», — Б. Л. Модзалевский, Пушкин, «Прибой», Л. 1929, стр. 378—379.

21. «Мне возразят, что я должен бы был повлиять на сына? Г-жа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, которое я потребовал от сына, — письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки», — из письма Геккерна к Нессельроде 1 (13) марта 1837 года, Щеголев, стр. 321.

22. «Я хорошо знал, что красивая внешность, несчастная страсть и двухлетнее постоянство всегда в конце концов производят некоторое впечатление на сердце молодой женщины...» — из письма Пушкина к Геккерну 17—21 ноября 1836 года, Пушкин, т. XVI, стр. 397.

23. «Пушкин тогда совершал большую ошибку, разрешая своей молодой и слишком красивой жене выезжать в свет без него», — из дневника Д. Фикельмон, запись 29 января 1837 года (здесь говорится о ситуации осени и зимы 1836 года), Фикельмон, стр. 349.

24. Фраза из письма Пушкина к Геккерну 17—21 ноября 1836 года — «вы бормотали ей; верните мне моего сына» (перевод), — Пушкин, т. XVI, стр. 190, 397.

25. «Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам (dans tous les coins), чтобы говорить ей о вашем сыне», — фраза из того же письма, там же.

26. В дневнике современницы от 22 января 1837 года описана сцена на одном из петербургских балов: «Дантес... оживленно беседовал с пожилою дамою, которая, как можно было заключить из долетавших до меня слов, ставила ему в упрек экзальтированность его поведения... Он отвечал громко с оттенком уязвленного самолюбия:

— Я понимаю то, что вы хотите дать мне понять, но я совсем не уверен, что сделал глупость!

— Докажите свету, что вы сумеете быть хорошим мужем... и что ходящие слухи неосновательны.

— Спасибо, но пусть меня судит свет» — Щеголев, стр. 117.

27. «Тем, кто обращался к нему [Пушкину] с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он отвечал во всеуслышание: „Tu l'as voulu, George Dandin", — из письма П. А. Вяземского вел. кн. Михаилу Павловичу, Щеголев, стр. 261. «Ты этого хотел, Жорж Данден» — в устах Пушкина это звучало и как каламбурное обыгрывание имени его противника: Жорж Дантес — Жорж Данден.

28. «Пушкин не хотел ни присутствовать на свадьбе своей свояченицы, ни видеть их после нее, но общие друзья, весьма неблагоразумные, надеялись привести их

к примирению или хотя бы к сближению и почти ежедневно сводили их вместе», — Ф и к е л ь м о н, стр. 349.

29. В феврале 1836 года Пушкин вызвал на дуэль двадцатидвухлетнего В. Сологуба («Вы позволили себе обратиться к моей жене с неприличными замечаниями и хвалились, что наговорили ей дерзостей», — писал ему Пушкин). Дуэль не состоялась («Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», Гослитиздат, Л. 1936, стр. 526—530).

30. «Теперь узнаем, что Пушкин накануне открылся одной даме, дочери той Осиповой, у коей я был в Тригорском, что он будет драться. Она не умела или не могла помешать и теперь упрек жены, которая узнала об этом, на них падает», — из письма А. Тургенева к брату Николаю Ивановичу (февраль 1837 года), «Пушкин и его современники», вып. VI, СПб, 1908, стр. 92.

Приводим вариант из черновой рукописи Ахматовой, развивающей ту же мысль:

«... Итак, эти две версии начали 'иметь хождение' в петербургском свете и прилегающих к нему областях. Сейчас наша задача заключается в том, чтобы формулировать их с наибольшей точностью, какими они были выпущены в свет своими авторами (Пушкиным и Геккерном).

*I. В е р с и я П у ш к и н а: Наглый мальчишка Дантес осмеливается писать влюбленные записки Наталье Николаевне и симулировать „grande passion“ *, а тем временем не то сошелся, не то не сошелся с ее сестрой. Тогда Пушкин, как глава дома, вызвал его на дуэль (ноябрь), и тот, будучи трусом, под дулом пистолета сделал предложение Катерине. Tu l'as voulu, George Dandin! Ему очевидно не место в первом гвардейском полку. Его карьера кончена.*

*II. В е р с и я Г е к к е р н а: Романтически настроенный и рыцарски возвышенный юноша хранит в душе какое-то не совсем ясное простым смертным чувство — vénération** к дурно себя ведущей и соблазняющей его красавице и, спасая ее честь, женится на ее некрасивой сестре, которая ему все же чем-то нравится. К этому полагалось в виде наглядного пособия — поведение Дантеса на балах и, как мы теперь знаем, у Карамзиных. Оно было абсолютно выверено, продумано опытным светским дипломатом. В vénération верил даже Александр Карамзин. Все, что мы знаем противоречащего этому, появилось потом, когда возникла потребность объяснить катастрофу. Но дело в том, что сама вер-*

---

* великую страсть.

** Это vénération [почитание] Дантес придумал еще в феврале 1836 г. (см. 2-е письмо к Геккерну).

сия Геккерна содержала в себе нечто, бросающее тень на жену поэта.

Затем (с нашей точки зрения) началось самое ужасное и о чем не имел представления Щеголев. Геккерн для распространения своей версии имел весь кавалергардский полк и по крайней мере два лучшие салона. Пушкин сам начинает à qui veut l'entendre ** рассказывать как законченную новеллу свою версию ***. Геккерн в ответ продолжал демонстрировать издали благоговеющего Дантеса и попутно 'гнездышко' молодых, поражавшее всех роскошью и превосходным вкусом. Карамзины как красну девицу замуж выдают Дантеса почти из своего дома (братья—шаферы и т. д.), там же осуждают Пушкина за жену (см. дневник Тургенева), Вяземский острит, что Пушкин сердит на Дантеса за прекращение ухаживаний за Натальей Николаевной и в письме к Мусиной-Пушкиной беспечно описывает молодоженов на балу у французского посла Баранта.*

Жуковский вообще умывает руки. Кавалергарды и салоны становятся на сторону Дантеса. Поэт — один, и после разговора с Вревской и реприманда Николая I — понимает, что для него все кончено».

31. В 1947 году М. и Т. Цявловские занесли в свою тетрадь «Вокруг Пушкина» (тетр. 2, стр. 108) полученные ими сведения об архиве бар. Фризенгоф: «Запись в дневнике Александры Николаевны Фризенгоф (ур. Гончаровой) в 50-х годах. Она уже замужем, живет в Бродянах (в Австрии). К ней приехала погостить Наталья Николаевна Ланская. Приехал к Нат. Ник. — Дантес. Они (Н. Н. и Дантес) весь день гуляли по парку и совершенно помирились...» Т. Цявловская поделилась этим известием с Ахматовой. Сейчас она полагает, что оно было ложным, так как по прошествии более чем двадцати лет никаких подтверждений в печати о существовании дневника Александрины не появилось (любезно сообщено нам Т. Цявловской). Между тем в статье Н. Раевского «В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой» («Пушкин. Исследования и материалы», т. IV) есть критическое упоминание о двух статьях проф А. Исаченко — «Родственники Пушкина в Словакии» в братиславсвом журнале «Свободное Радиовещание», 1946, № 49, и «Пушкиниана в Словакии» — «Словацкое Обозрение», 1947, № 1: «Интересно сообщение Исаченко о том, что в Бродянах якобы состоялась встреча Натальи Николаевны с Дантесом: 'Наталья Пушкина-Ланская несколько раз гостит у

---

* См. письмо П. А. Вяземского к в. к. Михаилу Павловичу.

** тем, кто хочет это слушать.

*** См. Карамзины, стр. 148.

Фризенгофов в Бродянах. При одном из этих посещений она даже встречается с убийцей своего мужа Дантесом ван Геккерном, и кажется, что эта встреча уменьшила напряжение между ними». К сожалению, автор не указывает, на чем основано его довольно сенсационное сообщение, и не приводит никаких подробностей, в том числе и даты встречи» (стр. 390). Далее Н. Раевский цитирует строки из второй статьи Исаченко: «... В Вене голландским посланником состоял барон ван Геккерн, приемный отец убийцы Пушкина, Дантеса. А сам Дантес несколько раз приезжал в Вену. Это было как раз тогда, когда Наталья Николаевна была гостьей Фризенгофов. Встреча в русском венском обществе была неизбежной. Мы не знаем, как прошла встреча Жоржа Дантеса с бывшей женой того, кого убила его пуля. Но горечь (в отношениях) между семьями была преодолена, и в бродянском замке я даже обнаружил портрет Дантеса ван Геккерна».

О том, что встреча произошла в Бродянах, как было указано в первой статье, автор на этот раз не упоминает. По-прежнему нет указания на источник, из которого А. В. Исаченко почерпнул сведения о встрече жены поэта с убийцей своего мужа» (стр. 392).

О портрете Дантеса, висевшем в Бродянах, имении Фризенгофов, Раевский пишет в своей книге «Если заговорят портреты», «Жазушы», Алма-Ата, 1965.

32. А. Арапова (ур. Ланская), дочь вдовы Пушкина от второго брака, написала весьма недостоверные и враждебные воспоминания о Пушкине, якобы со слов матери и тетки Александры. Напечатаны в приложениях к ряду номеров «Нового Времени» за 1907 и 1908 годы.

33. «Отдал письма Аршияку и завтракал с ним. Он прочел мне письмо А. Пушкина о дуэли от 17 ноября 836», — запись в дневнике А. Тургенева 21 января 1836 года, Щеголев, стр. 288.

34. «Молодой Геккерн продолжал в присутствии своей жены подчеркивать свою страсть к г-же Пушкиной. Городские сплетни возобновились, и оскорбительное внимание общества обратилось с удвоенной силой на действующих лиц драмы, происходящей на его глазах», — из письма П. А. Вяземского к вел. кн. Михаилу Павловичу, Щеголев, стр. 261.

35. «Из памятных заметок Н. М. Смирнова» — «Русский Архив», 1882, № 1, стр. 236.

36. «Пушкин в изображении М. А. Корфа» — «Русская Старина», 1899, август, стр. 311.

37. См. запись 6 марта 1834 года: «В городе много гово-

рят о связи молодой княгини Суворовой с графом Витгенштейном... неосторожное поведение Суворовой привлекает общее внимание. Царица ее призывала к себе и побранила ее, царь еще пуще».

38. «Вскоре Дантес... нарушая все светские приличия, обнаружил на глазах всего общества проявления восхищения, совершенно недопустимые по отношению к замужней женщине, — она бледнела и трепетала под его взглядами, было очевидно, что она совершенно потеряла возможность обуздать этого человека», — Фикельмон, стр. 349. Неизданные письма П. А. Вяземского к Н. Н. Пушкиной хранятся в Пушкинском доме.

39. С. Панчулидзев в «Сборнике биографий кавалергардов», напротив, указывал, что в 1836 году Дантес часто подвергался взысканиям.

40. О позднейшей стилизации портретов участников исторических событий Ахматова писала: *«Я заметила, что всякий раз, как современники говорят об «адских махинациях» старшего Геккерна, Щеголев думает, что под этим скрывается намек на Николая I. Дело в том, что современники неизбежно страдают своего рода близорукостью, которая мешает им охватить события во всей полноте, и после того, как разразилась катастрофа, начинают вручную доделывать детали, переосмыслять то немногое, что видели и слышали, на ходу меняют характеристики, а потом, когда* это, естественно, не сходится, находят тайну. Так было и с *январской трагедией 1837. Так поступали деды, это же они завещали внукам. Невнимание людей друг к другу не имеет предела».*

41. «Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих» (из письма П. Вяземского к А. Булгакову 5 февраля 1837 года). «Эта история, окутанная столькими тайнами, даже для тех, которые наблюдали за ней вблизи» (из неопубликованного письма П. Вяземского к Э. Мусиной-Пушкиной 26 февраля 1837 года — см. прим. 69).

42. «Аудиенция Пушкину была дана Николаем I 23 ноября 1836 года», — П. Е. Щеголев, Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли А. С. Пушкина, «Огонек», 1928, № 24, стр. 4—5; его же, Из жизни и творчества Пушкина, изд 3-е. Госиздат, М.—Л. 1931, стр. 140—149. В свете новых данных, сообщенных Н. Эйдельманом в статье «Найдено в бумагах Пушкина» («Литературная Газета», 12 апреля 1972 года), содержание этой беседы Пушкина с Николаем I предстает поиному, чем в те годы, когда Ахматова работала над своим исследованием, и вопрос этот нуждается в дополнительном изучении.

43. «По поводу этих анонимных писем существует два мнения. Наиболее пользующиеся доверием публики указывают на О... (т. е. — О — Ouvaroff — Уварова). Другое мнение, мнение власти, основывающееся на тождественности расстановки знаков препинания, на особенностях почерка и на сходстве бумаги, обвиняет Н... —(Н — Heeckeren — Геккерна)», — Щеголев, стр. 395.

44. «... Только одно не подлежит сомнению, это то, что Геккерн был их сочинитель. Последствия доказали, что Государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримые доказательства», — «Из памятных заметок Н. М. Смирнова», «Русский Архив», 1882, № 1, стр. 235.

45. А. Аммосов записал рассказы секунданта Пушкина К. Данзаса о дуэли поэта и издал их отдельной брошюрой в 1863 году. Данзас сообщал: «Автором этих записок, по сходству почерка, Пушкин подозревал барона Геккерна, отца, и даже писал об этом графу Бенкендорфу», — А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина..., СПб. 1863. стр. 9.

46. «Сказочка» Жуковского изложена в его пятом ноябрьском письме к Пушкину, посвященном посредничеству между Пушкиным и Геккернами, — Пушкин, т. XVI, стр. 187.

47. «Вот что приблизительно ты сказал княгине [Вяземской] третьего дня, уже имея в руках мое письмо: я знаю автора анонимных писем и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести единственной в своем роде; она будет полная, совершенная; она бросит того человека в грязь; громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать», — из письма Жуковского к Пушкину 14—15 ноября 1836 года (Пушкин, т. XVI, стр. 186, 395). «Подвиги Раевского» были хорошо известны В. Вяземской, которая была в Одессе, когда наместник Воронцов из ревности выслал оттуда А. Н. Раевского, а тот, встретив на оживленной и многолюдной улице жену наместника, демонстративно кричал ей вслед: «Позаботьтесь о нашей дочери!» (Ср. Щеголев, стр. 454.)

48. А. Ахматова имеет в виду известный эпизод 21 ноября 1836 года, описанный В. Соллогубом: «Он [Пушкин] запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского про-

исхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день князя Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет», — В. Соллогуб, Воспоминания, „Academia", М.—Л. 1931, стр. 370. В дальнейшем это издание обозначается: «Соллогуб».

49. В прочитанном Б. Казанским черновом письме Пушкина к Бенкендорфу (ноябрьском), составленном исследователем из клочков разорванного экземпляра, читаем: «я узнал за /верное, что письмо ано/нимное было от гг. Г[еккернов]» (в подлиннике — „mm. les H.", Б. Казанский, Письмо Пушкина к Геккерну, «Звенья», VI, стр. 63; Пушкин, т. XVI, стр. 266, 425.

50. В черновиках Ахматовой по этому поводу есть дополнительная запись: *«Если Пушкин мог убедить Бенкендорфа и Николая I, что диплом исходил из нидерландского посольства (что он несомненно сделал), отчего он в ноябре не доказал того же своей жене? Это самое непонятное и, вероятно, самое страшное, потому что страшное, конечно, было, но мы о нем до самого последнего времени совершенно не догадывались».*

51. «Он [д'Аршиак] рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкой подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину», — Соллогуб, стр. 371.

Видимо, Соллогуб, а вслед за ним Ахматова не совсем точны. Речь может идти только о типе пасквиля, а не о полном тождестве его с венской редакцией. Дело не в именах, которые легко подставить, а в добавочном мотиве — глумлении над занятиями Пушкина историей: «...единогласно выбрали Александра Пушкина коадъютором великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена».

52. «Некто Тибо, друг Россета, служащий в Главном Штабе, не он ли написал гадости о Пушкине», — из «Записки для памяти» А. Х. Бенкендорфа (А. С. Поляков, О смерти Пушкина (По новым данным), стр. 26). «Вернее всего, это был m-r Тибо, упоминаемый и в записках А. О. Смирновой, и в письмах А. Н. Карамзина, воспитатель или гувернер в семье Карамзиных; конечно, это он был в приятельских отношениях с К. О. Россетом, братом А. О. Смирновой... — замечает Щеголев. — III отделение в своих поисках шло по ложному следу, и производя ро-

зыски, точно отбывало какую-то тяжелую и неприятную повинность» (стр. 486).

53. Январское письмо Пушкина к старшему Геккерну, послужившее поводом к вызову Дантеса, являлось переделкой неотправленного ноябрьского.

54. В одной из рабочих записей Ахматовой значится: *«Долгоруков несомненно был знаком с самим Пушкиным. Почему он умалчивает об этом в своем оправдании?»*

55. Щеголев, стр. 507.

56. В черновике письма Пушкина к Геккерну начато вместо „mon drôle" — „mes . . .", очевидно: „mes drôles" (мои молодцы), см. «Звенья», VI, стр. 55; Пушкин, т. XVI, стр. 265, 425 («моих пройдох»).

57. Ср. письмо П. А. Вяземского к В. Ф. и Н. П. Вяземским 16 ноября 1839 года — см. в книге Э. Герштейн «Судьба Лермонтова»», «Советский Писатель», М. 1964, стр. 267.

58. Щеголев, стр. 477.

59. «Из рассказов П. А. и В. Ф. Вяземских о Пушкине (По записи П. И. Бартенева)» — «Пушкин в воспоминаниях современников», стр. 395.

60. Воспоминания кн. М. Б. Лобанова-Ростовского, — ГИМ, ф. 174, ед. хр. 5. Ср. в публикации Э. Герштейн «Записки лермонтовского современника», «Огонек», 1951, № 31.

61. О скандальном процессе кн. Воронцова с кн. Долгоруковым см. Щеголев, стр. 496—501.

62. «Всего ужаснее в моем положении то, что она тоже любит меня и мы не можем видеться до сих пор, так как муж возмутительно ревнив», — из письма Дантеса к Геккерну 20 января 1836 года, «Звенья», IX, стр. 173—174. Перевод слова «révoltante» изменен (Ахматовой?) в «Звеньях» — бешено ревнив.

63. См. письмо П. А. Осиповой к Пушкину от 6 января 1837 года, — Пушкин, т. XVI, стр. 214. Honni soit qui mal y pense — французская поговорка: «Позор тому, кто дурно об этом подумает».

64. «. . . Есть какая-то тайна в поводах, побудивших его усыновить молодого человека, передать ему свое имя и свое состояние», — из отчета австрийского посланника в Петербурге графа Фикельмона князю Меттерниху 2(14) февраля 1837 года, Щеголев, стр. 375.

«7 февраля Пушкин написал посланнику барону Геккерну письмо, в котором назвал только что заключенный брак, с одной стороны, делом змеиной, способной на происки, хитрости двух негодяев, связанных пороком, с другой стороны,

их трусливой безнравственностью», — из донесения саксонского посланника при Российском дворе барона Лютцероде 30 января (11 февраля) 1937 года, Щеголев, стр. 397.

Донесение проникнуто полным пониманием значения Пушкина для России; передавая обстоятельства катастрофы, Лютцероде не скрывает своего отрицательного отношения к Геккернам.

На то, что двор с неудовольствием принял усыновление Дантеса Геккерном, указывают письма императрицы к С. Бобринской, где Александра Федоровна дважды иронически отзывается о перемене фамилии блестящего кавалергарда: 1) «Он [А. В. Трубецкой] и Геккерн на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого «новорожденного» (перевод), — август 1836 года. 2) «Я хочу еще раз попросить вас предупредить Бархата [Трубецкого] остерегаться влияния его безымянного друга, бесцеремонные манеры которого он начинает перенимать» (перевод), — сентябрь 1836 года, см. Эмма Герштейн, Судьба Лермонтова, стр. 59.

Совершенно определенно пишет о патологическом характере «родства» Геккернов А. Тургенев, сообщая 4(16) августа 1837 года П. А. Вяземскому из Киссингена о своих беседах с вел. кн. Марией Павловной (Веймарской):

«Об отношениях его (Дантеса) к Геккерну и она слыхала; но NB не могла объяснить мне их; и я о главном должен умолчать», — «Литератрное Наследство», т. 58, стр. 148. Ср. отзыв принца Вильгельма Оранского (см.: Н. Эйдельман, О гибели Пушкина, «Новый Мир», 1972, № 3, стр. 209).

65. Барон Г. Строганов был двоюродным братом матери Натальи Николаевны Пушкиной — Н. И. Гончаровой.

66. В черновом варианте январского письма Пушкин дважды упомянул Екатерину Николаевну Геккерн-Гончарову как соучастницу интриги: «вы сыграли все трое такую роль» и «наконец, г-жа Геккерн». Комментируя это, Б. Казанский писал: «В первоначальной редакции... Пушкин включал в обвинение (в жалкой или гнусной роли) не только Геккерна и Дантеса, но и Е. Н. Гончарову. Разумеет ли здесь Пушкин более или менее сознательное участие ее в заговоре или только готовность идти навстречу желаниям Геккерна и выйти за Дантеса, несмотря на все, что произошло?» — «Звенья», VI, стр. 58 и 71.

67. Ср. письмо Жуковского к Пушкину 11-12 ноября, — Пушкин, т. XVI, стр. 185.

68. Щеголев, стр. 315.

69. ЦГАДА, ф. 1270, оп. 1, ч. 3, ед. хр. 3319, л. 5 об. — 6, Подлинник по-французски.

70. Щеголев, стр. 115.

71. «Публика удивляется, но, так как история с письмами [анонимным пасквилем] мало кому известна, объясняет этот брак очень просто. Один только Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе добьется того, что возбудит подозрения и догадки. Вяземский говорит, «что он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает», — из письма С. Карамзиной брату 21 ноября 1836 года, Карамзины, стр. 139; «... Это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен; вот почему Жуковский так смеялся своему старанию разгадать его, попивая свой кофе в Бадене», — из ее же письма к брату, там же, стр. 148.

72. «Оттуда к к. Мещер[ской] Кар[амзиной], приехали со свадьбы шаферы», — дневник А. И. Тургенева, запись 10 января, Щеголев, стр. 285—286. «Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой. Я был шафером Гончаровой», — писал Александр Карамзин брату Андрею, Карамзины, стр. 154.

73. Ахматова имеет в виду письмо Андрея Карамзина от 26 июня (8 июля) 1837 года, в котором он описывает свою встречу с Дантесом в Баден-Бадене и передает его слова: «Ваше семейство, которое я сердечно уважал, ваш брат в особенности, которого я любил, которому доверял, покинул меня, стал моим врагом, не желая меня выслушать и дать мне возможность оправдаться, — это было жестоко, это было дурно с его стороны» — и в этом, Саша, я с ним согласен, ты нехорошо поступил», — там же, стр. 404.

74. В. Вяземская писала в Москву после катастрофы: «В среду 27-го числа, в половине 7-го часа пополудни, мы получили от г-жи Геккерн ответ на записку, написанную моей дочерью. Обе эти дамы виделись сегодня утром. Ее муж сказал, что он будет арестован. Мари попросила разрешения у его жены навестить ее, если это случится. На вопросы моей дочери в этом отношении г-жа Г. ей написала: «Наши предчувствия оправдались. Мой муж только что дрался с Пушкиным; слава Богу, рана совсем не опасна, но Пушкин ранен в поясницу. Поезжай утешить Натали».

«Что же касается фатального героя этой фатальной истории, — пишет Вяземская в том же письме, — предоставим его также самому себе. Мне было бы тяжело говорить вам о нем подробно. Он убил Пушкина, чтобы не быть самому убитым. Это правда. Но черепица, падающая на дорогое нам существо, не стоит того, чтобы я тщательно ее

сохранила; я ее удалила бы из поля своего зрения. Мы делаем так же. Для меня было бы невозможно посетить убийцу друга, тем более что ничто не вызывает интереса к нему. Он ранен легко: он женат на женщине, которую никто ему не предлагал (она его выбор); она выбрана им или, по крайней мере, его приемным отцом; они богаты и не подвержены строгости законов, так что они спокойны за себя», — «Новый Мир», 1931, № 12, стр. 189 и 193.

75. «Тот, кто был его моральным убийцей, кончил тем, что стал им в действительности» (перевод), — из письма П. Вяземского к Э. Мусиной-Пушкиной 16 февраля 1837 года, «Русский Архив», 1900, т. 38, кн. 2, стр. 391.

76. «Встретившись за несколько дней с баронессой Вревской в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече, Пушкин был непреклонен. Наконец, она напомнила ему о детях его.

— Ничего, — раздраженно отвечал он, — император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство...» — М. Семевский, К биографии Пушкина, «Русский Вестник», 1869, т. 84, стр. 91.

77. Обмолвка Ахматовой: это письмо Николая I от 3 февраля адресовано брату Михаилу Павловичу, а не сестре: «Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерна справедливо и заслужено; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствии Пушкина, уговаривая жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным, Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена Пушкина открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна», — Щеголев, стр. 469.

78. «Ровно в час дня [27 января] Пушкин вышел из дома и пошел пешком до извозчика. В условленное время... в условленном месте, он встретился с К. К. Данзасом, посадил его в свои сани и повез во французское посольство к д'Аршиаку. Прибыв к д'Аршиаку, Пушкин... обращаясь к Данзасу... начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккерном. В следственной комиссии Данзас следующим образом изложил содержание разговора у д'Аршиака: «Александр Сергеевич Пушкин начал объяснение свое у д'Аршиака следующим: «Получив письма от неизвестных, в коих он виновником почитал нидерландского посланника...» — Щеголев, стр. 147—148.

79. 1 февраля Тургенев писал А. Нефедьевой: «Вчера, входя в комнату, где стоял гроб, первые слова, кои поразили меня при слушании псалтыря, который читали над усопшим, были следующие: «Правду твою не скрыв в сердце твоем». — Эти слова заключают в себе всю загадку и причину его смерти: то есть то, что он почитал правдою, что для него, для сердца его казалось обидою, он не скрыл в себе, не укротив в себе, — а высказал в ужасных и грозных выражениях своему противнику — и погиб!» — «Пушкин и его современники», вып. VI, стр. 67.

80. Это «Приложение» печатается по черновому автографу, вложенному в первый экземпляр машинописи, с надписью на полях рукой Ахматовой: *«Краткое резюме»*.

**
*

Александрина. Опубл. Э. Г. Герштейн впервые в журнале «Звезда», № 2, 1973, с. 207—215, затем — в ОП, с. 134—147, 172—173. Печ. нами по тексту в «Звезде». Ниже частично воспроизводятся текст предисловия и прим. к публикации из этого источника.

Публикуемая статья шире своего названия. Имя сестры Н. Н. Пушкиной — на французский лад «Александрина», или „Alexandrine" — служит для А. А. Ахматовой только знаком некоего общего явления. Намечая в 60-х годах план добавлений к своему исследованию о гибели Пушкина Анна Андреевна записала: *«... о значении воспоминаний Трубецкого и о всем, что я коротко назвала 'Александриной'»*.

Ахматова опровергает ходячую версию о взаимоотношениях Пушкина и его свояченицы, вскрывая самый механизм рождения клеветы и лжи. Их живучесть она объясняет законами обывательской психологии. В черновых рукописях Ахматовой есть набросок эпиграфа для «Александрины»: *«Из подслушанных разговоров. Первый. — Как клевета похожа на правду. Второй. — Да, на правду не похожа только сама правда. — Подслушала Ахматова»*. Сюда же примыкает заметка: *«Нет дыма без огня — я не знаю лучшей формулировки человеческой подлости и низости. Этой фразой можно покрыть какое угодно вранье, какую угодно клевету, и все сразу становится на свое место»*. В другой заметке Ахматова пишет по поводу недостоверного рассказа о свидании Натальи Николаевны с Дантесом на квартире у Идалии Полетики: *«Все это так легко придумать — все это*

так близко лежит, во всем этом нет и следа страшной неожиданности — верной спутницы истины». Ахматова перекликается здесь с Достоевским, писавшим в «Дневнике писателя»: «Кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует об его достоверности; когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили» («Влас», 1873 год).

Анна Андреевна считала, что версия о романе Пушкина с Александриной Гончаровой распространялась нидерландским посланником для компрометации поэта. Эту точку зрения подтверждает обращение к военно-судному делу. В материалах суда отчетливо видна разница в квалификации «выражений» Дантеса, которые «могли возбудить щекотливость Пушкина, как мужа», и действий Геккерна, задевавших честь «как Пушкина, так и жены его». В «Записке о мере прикосновенности к дуэли... иностранцев» говорится об участии в преддуэльной истории нидерландского посланника: «Сверх сего из показания подсудимого (...) Данзаса, основанного на словах Пушкина, видно, что *барон Геккерн поселял в публике дурное о Пушкине и жене его мнение на счет их поведения»* («Дуэль Пушкина с Дантесом-Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 года», СПб., 1900 год, стр. 146).

Итак, Пушкин говорил своему секунданту Данзасу, что Геккерн распускает в обществе слухи, порочащие не только его жену, но и его самого. Близость этих слов к письму С. Н. Карамзиной несомненна: в день дуэли она с резким осуждением пишет брату о «кокетстве» Александрины с Пушкиным.

В показаниях Данзаса *«слышен голос самого Пушкина»,* справедливо отмечает Ахматова. Неудивительно, что они «затерялись», а вернее, были кем-то изъяты из дела, о чем с эпическим спокойствием повествует издатель военно-судного дела П. фон Кауфман: «Эти листы утрачены». Вероятно, в этих показаниях было подробно рассказано об утонченных оскорблениях, которым подвергал поэта Геккерн-старший, «верный», по словам Данзаса, «принятому им намерению постоянно раздражать Пушкина».

Соответствие показаний Данзаса информации Пушкина несомненно. Но вот документальных доказательств воздействия Дантеса на С. Н. Карамзину и А. В. Трубецкого мы не найдем нигде. Эту взаимосвязь Ахматова устанавливает при помощи стилистических наблюдений. Создавая концепцию о гипнотическом влиянии Дантеса на карамзинскую молодежь, она опирается на свое чутье к интонационному

строю фразы и к оттенкам слов. Поэтому ей нетрудно было услышать внушенные версии в письмах и мемуарах современников Пушкина: инсинуации Дантеса в воспоминаниях Трубецкого, отражение коварных сентенций Геккерна-дипломата в письме С. Н. Карамзиной, благородный голос Пушкина в сообщениях его секунданта.

Мастер художественной детали в своей поэтической работе, Анна Ахматова и в исследованиях по биографии Пушкина проявляет особую чуткость к подробностям жизненных ситуаций. Так, нарисованный чьей-то грубой фантазией образ Александрины Гончаровой совершенно не соответствует деталям, зафиксированным в подлинных материалах. Нам говорят, что Александрина не выезжала в свет, занимаясь хозяйством и воспитанием племянников, — Ахматова указывает на письмо Пушкина к графу Бобринскому. Поэт вынужден просить о приглашении на бал обеих его свояченицы, так как упоминание в полученном приглашении только одной сестры Н. Н. Пушкиной вызвало домашнюю бурю. Утверждают, что Александра была почитательницей творчества Пушкина, но в ее новонайденных письмах к родным говорится только о деньгах и видах на замужество. Уверяют, что она была другом Пушкину, а после свадьбы Екатерины Александра Николаевна ходит в гости в голландское посольство, хотя Пушкин ненавидел баронов до судорог и Наталье Николаевне запретил бывать у замужней сестры. И, наконец, когда 15 лет спустя Александрина вышла замуж за барона Фризенгофа, она украсила столовую своего замка портретом зятя... но не Пушкина, а его убийцы. Кто же, кроме предубежденных людей, поверит после этого в любовь Александры Гончаровой к Пушкину?

Ясно, что в биографию Пушкина искусственно введен фальшивый образ любящей свояченицы. И убедиться в этом помогает статья Анны Ахматовой «Александрина». К сожалению, она не завершена. В приложении мы даем авторский конспект заключения.

Анна Андреевна неоднократно знакомила со своей версией разных слушателей. Поэтому многие ее доводы вошли в научный обиход до опубликования статьи. В силу этих обстоятельств Ахматова отказалась от завершения своей работы, а намеревалась рассмотреть отдельные нити геккерновской интриги в небольших по объему очерках: „Bande joyeuse" — «Веселая шайка», имея в виду карамзинско-вяземскую молодежь, «Bande и старшие» — о влиянии этой молодежи на Вяземских, Жуковского и Е. А. Карамзину, о роли Строгановых в преддуэльной истории. Планы эти не были реализированы полностью.

Статья «Александрина» печатается по авторизованной машинописи, хранящейся в Рукописном отделе Государственной Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Письма А. С. Пушкина даются по десятитомному академическому изданию Полного собрания сочинений, том X («Наука», М., 1965).

Часто встречающиеся названия книг (Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, и П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, ГИЗ, М.—Л., 1928) даются и в сносках и в комментариях сокращенно: «Карамзины, стр. ...»,, «Щеголев, стр. ...».

**
*

[1] См. письмо А. С. Пушкина нидерландскому посланнику 26 января 1837 г. — Пушкин, т. X, стр. 886.

[2] Карамзины, стр. 165.

[3] «Из памятных записок Н. М. Смирнова». — Русский Архив», 1882, I, стр. 233.

[4] «Пушкин и его современники», вып. XVII—XVIII, стр. 168. — Однако 12 февраля 1836 г. А. Н. Вульф уже писала П. А. Осиповой: «Ольга утверждает, что он очень ухаживает за своей свояченицей». — «Пушкин и его современники», вып. XXI—XXII, стр. 331.

[5] «Рассказ князя А. В. Трубецкого об отношениях Пушкина к Дантесу». Запись, сделанная с его слов В. А. Бильбасовым в Павловске (1887 год), была издана отдельной брошюрой в 10 экземплярах. Перепечатана у Щеголева, стр. 420—425. Трубецкой дважды упомянул, что версия о связи Пушкина с Александриной известна ему от Идалии Полетики. Рассказчик уверял, что Александра, «очень некрасивая, но весьма умная девушка», еще до знакомства с Пушкиным «знала наизусть все стихотворения будущего бо-фрэра и была влюблена в него заочно».

[6] В рассказе Трубецкого приведен эпизод с поцелуем Дантеса и Натальи Николаевны, о котором А. И. Кирпичников писал: «История с обличительным поцелуем есть 'бродячая повесть', очень почтенная по своей древности, встречающаяся в огромном количестве приурочений у разных народов, а сюда попавшая из какого-нибудь французского сборника conte poétique». — «Русская Старина», т. CVI, 1901, апр., стр. 79.

Подобный же эпизод встречается в «Декамероне» Боккаччо.

[7] Щеголев, стр. 337—338.

[8] П. И. Бартенев. Из записной книжки «Русского Архива». 12 апреля 1889 года. — «Русский Архив», 1911, т. 1, кн. 1, стр. 175—176.

[9] «Звенья», т. IX, 1951, стр. 180.

[10] Ошибка А. А. Ахматовой: об январских анонимных письмах говорится в военно-судном деле. Например: «Напоследок 26 января с. г. Пушкин по получении безымянных писем послал к отцу подсудимого...» («Дуэль Пушкина с Дантесом-

Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 г.» СПб., 1900, стр. 141).

[11] См. Мих. Яшин. Хроника преддуэльных дней, «Звезда», 1963, № 9, стр. 174.

[12] С. Н. Карамзина писала брату Андрею 2 февраля 1837 года: «Я рада, что Дантес совсем не пострадал и что, раз уже Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной». — Карамзины, стр. 171. 10 февраля она возвращается к этому вопросу: «Дантеса будут судить в конной гвардии; мне бы хотелось, чтобы ему не было причинено ничего дурного и чтобы Пушкин остался единственной жертвой». — Карамзины, стр. 176.

[13] См. письмо бар. Е. Вревской к мужу 2 сентября 1837 года — «Пушкин и его современники», вып. XIX—XX, стр. 110.

[14] Е. А. Баратынский сообщал в письме П. А. Вяземскому 5 февраля, что он «навестил отца (Пушкина) в ту самую минуту, как его уведомили о страшном происшествии. Он, как безумный, долго не хотел верить. Наконец, на общие, весьма неубедительные увещания сказал: '...Мне остается одно: молить Бога не отнять у меня памяти, чтоб я его не забыл'. Это было произнесено с раздирающей душу ласковостью». — Карамзины, стр. 402.

[15] А. Н. Гончарова была назначена фрейлиной императрицы указом 1 января 1839 года, то есть сразу по возвращении ее в Петербург вместе с Натальей Николаевной.

[16] См. П. И. Бартенев. Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземской (записано в разное время, с позволения обоих). — «Русский Архив», 1888, № 7, стр. 305—312. Ср. Щеголев, стр. 429—430.

[17] Известие о находке в Австрии дневника Александры Николаевны было получено М. А. и Т. Г. Цявловскими в 1947 году, но с тех пор, как мне сообщила Т. Г. Цявловская, никакого подтверждения этой сенсационной новости не поступало.

[18] П. Е. Щеголев приписал двуличие, отмеченное Жуковским, Пушкину. Правильно истолковала запись Жуковского Е. С. Булгакова, сделавшая об этом доклад на квартире у В. В. Вересаева в 1936 г.: «два лица» после свадьбы было у Дантеса.

[19] В письме к А. С. Пушкину 14—15, XI. 1836 г. — А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти тт., т. XVI, стр. 187.

[20] С. Н. Карамзина писала брату 18/30 октября 1836 г.: «...мы вернулись к нашему городскому образу жизни, возобновились наши вечера, на которых с первого же дня заняли свои привычные места Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром [Карамзиным]. Александрина — с Аркадием [Россет]». Карамзины, стр. 120.

[21] Письмо от 6 января 1835 г., т. 10, стр. 861.

[22] Щеголев, стр. 344—345.

[23] См. примечание 17.

[24] Речь идет о бекеше, в которой стрелялся Пушкин.

[25] См. «Звезда», 1964, № 8.

[26] См. Н. А. Раевский. В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой. В кн. «Пушкин. Исследования и материалы». IV. М.—Л., 1962; ср. Н. А. Раевский. Когда оживают портреты. Алма-Ата, 1965.

[27] Екатерина Николаевна Геккерн (ур. Гончарова) умерла от послеродовой горячки в 1843 году.

[*Пушкин в семейной переписке Карамзиных*]

Эти отрывки опубликованы в статье Э. Герштейн «Неизданная статья Анны Ахматовой о гибели Пушкина» («Вопросы Литературы», 1973, № 3, стр. 193, 194).

[*О Наталии Николаевне Пушкиной и о дуэли Пушкина*]

Опубликованы [в отрывках] в ст. Э. Герштейн «Неизданная статья Анны Ахматовой о гибели Пушкина» («Вопросы Литературы», 1973, № 3, стр. 195, 197, 198, 199, 203—204).

[*Заметка о стихотворении «Моя родословная»*]

В мае 1957 года в план книги о гибели Пушкина был включен пункт о «Моей родословной», с пояснением: «*Отношение общества к Пушкину*». Мысль эта раскрывается в заметке, написанной 17 апреля 1949 года.

Опубликована в статье Э. Герштейн «Неизданная статья Анны Ахматовой о гибели Пушкина» («Вопросы Литературы», 1973, № 3, стр. 191—192).

Пушкин и дети. Впервые опубл. Э. Герштейн по автографу (ЦГАЛИ) в ЛГ, № 18, 01. 05. 1974, с. 6 и затем Л. А. Мандрыкиной по машинописи (ГПБ) в журнале «Детская литература», № 6, 1974, с. 33—34 (с разночтениями). В ОП включено небыло. Печ. нами по тексту в «Детской литературе».

Marginalia и Мелочи. Опубл. в статье Э. Г. Герштейн и В. Э. Вацуро *Заметки А. А. Ахматовой о Пушкине* («Временник Пушкинской комиссии. 1970». Л., «Наука», 1972, с. 30—44). В ОП включено не было. Ниже с сокращениями воспроизводится текст предисловия и комментариев из первопубликации.

... Заметки на полях сочинений Пушкина представляют собой небольшую часть пушкиноведческого наследия А. А. Ахматовой...

Пушкин сопутствовал Ахматовой на протяжении всего ее творческого пути. Образ «смуглого отрока», бродящего по аллеям царскосельского парка, в ее стихотворении 1911 г. родился из того же личного переживания биографии и поэзии Пушкина, которое сквозит в поздних статьях Ахматовой о «Каменном госте» и о последних годах жизни поэта. Но к историко-литературному осмыслению Пушкина Ахматова пришла уже в зрелом возрасте. «Примерно с середины двадцатых годов, — пишет она, — я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина». В более поздней черновой заметке она несколько сдвигает хронологическую грань: *«В конце 20-х и начале 30-х годов я занималась изучением творчества Пушкина. Три мои статьи («Золо[той] пет[ушок]», «Адольф», «Кам[енный] Гость») увидели свет, две — «Пушкин и Миц[кевич]», «Пушкин и Дост[оевский]» пропали в блокаду»* (ЦГАЛИ). Эти три названные Ахматовой статьи, хорошо известные не только специалистам, но и широким кругам почитателей Пушкина, принадлежат к первоклассным образцам советской пушкинианы; их характерная особенность, — характерная вообще для исследовательского почерка Ахматовой, — пристальное внимание к творческой личности Пушкина в ее разнообразных связях с современной ему литературой и общественной мыслью, стремление проследить трудно уловимый ход поэтической ассоциации или преломления

биографической реалии в художественный образ.[1] В ее работах всегда присутствовала определенная концепция человеческой и творческой индивидуальности Пушкина, — и в ряде случаев она определяла собою оригинальность и даже спорность ее суждений. Но именно эта общая концепция позволила ей с подлинным блеском интерпретировать значение литературного или реального источника как художественного импульса (а не заимствования или «подражания») и устанавливать внутренние связи между внешне совершенно различными произведениями. Опыт Ахматовой-поэтессы входил органической частью в ее исследовательскую манеру; а совершенное владение собственным поэтическим словом обусловило ее повышенный интерес к стилистическим оттенкам чужой поэтической речи.

Все эти проблемы не переставали занимать Ахматову на протяжении десятилетней ее работы над Пушкиным. С 1920-х годов она систематически обращается к античной классике и литературе нового времени (преимущественно французской и английской), отмечая соприкосновения Пушкина с предшествующей и современной ему западноевропейской литературной традицией, фиксируя движение поэтических фразеологизмов, прямые источники и реминисценции, перерывы традиции — новаторство. Эти маргиналии в ряде случаев могли быть развернуты в самостоятельные исследовательские этюды или даже большие статьи — как было с «Золотым петушком» или «Адольфом»; однако уже после войны у Ахматовой явилась мысль собрать их в книгу особого жанра. О работе ее над такой книгой сообщала в 1945 г. «Литературная Газета». «*В настоящее время*, — говорила Ахматова, — *я собираю и привожу в порядок мои заметки о Пушкине (1926—1936), их всего двадцать пять, и они очень пестры по содержанию. Среди них и заметки о пушкинском самоповторении, и наблюдения над эпистолярным стилем Пушкина, и о красочном эпитете у Пушкина. В целом эти заметки составят книгу о Пушкине*».[2]

Книга эта не увидела света, и в собрании пушкино-

---

[1] См. об Ахматовой как пушкинисте некролог ее, написанный акад. М. П. Алексеевым, — Временник Пушкинской комиссии, 1964 («Наука», Л., 1967, стр. 68—71); см. также: В. Н. Г о л и ц ы н а. Анна Ахматова как исследователь Пушкина. Пушкинский сборник, Псков, 1968, стр. 193—204 (к сожалению, тексты Ахматовой здесь в ряде случаев приведены неточно); Р. Д. Т и м е н ч и к. Ахматова и Пушкин. Пушкинский сборник. Рига, 1968, стр. 124—131.

[2] «Литературная Газета», 1945, 24 ноября.

ведческих рукописей Ахматовой в ГПБ (Ленинград) рукопись ее отсутствует, но в 1959 г., когда Анна Андреевна составила план нового сборника своих статей о Пушкине, «Маргиналии» вошли туда в качестве одного из разделов. Тогда же было составлено «Оглавление» этих заметок, числом около 50. В дальнейшем раздел «Маргиналии» или «Мелочи» неизменно включался ею в разные варианты плана книги. Общее же число их и корпус менялись по мере работы над книгой; часть их вошла в большую статью о гибели Пушкина, которой А. А. была занята в последние годы, и в переработанные редакции ранних статей.

Смерть прервала работу Ахматовой над книгой о Пушкине. Раздел «Маргиналий» остался в самом первоначальном, черновом виде. Нам неизвестно, как мыслила себе А. А. жанр «заметки» в окончательной редакции — в виде ли миниатюрного этюда или своеобразного конспекта такого этюда. В нынешнем своем виде маргиналии разнотипны не только в тематическом, но и в жанровом отношении и являются скорее подготовительным материалом для «заметок». Бóльшая часть их посвящена источникам и поэтической фразеологии Пушкина; некоторые из них являются, по-видимому, набросками к неосуществленным или утраченным статьям. Многие цитаты, факты и параллели приведены по памяти и требуют уточнений и исправлений в комментарии, поскольку публикаторы не считали возможным вносить поправки в текст. Однако и в этом виде публикация помет представляется целесообразной в научном отношении: они содержат богатейший материал для комментирования и интерпретации произведений Пушкина и отражают те же самые методические приемы исследования, которые составляют неоспоримую ценность опубликованных статей Ахматовой. Заметим, что они представляют интерес и для исследования поэзии самой А. А. Ахматовой, давая в иных случаях возможность проследить на конкретных примерах преломление в ней пушкинской традиции. . . .

. . . Ныне в научный оборот вводятся заметки, еще неизвестные читателю. Они извлечены из трех списков („Marginalia и мелочи, Ленинград, 1959» и два — без названия) и черновых записей Ахматовой, хранящихся ныне в ГПБ (Ленинград). Из числа их исключены заметки, опубликованные ранее, а также те, которые в расширенном виде вошли в готовящиеся к изданию статьи; опущены также черновые рабочие записи, которые не могут быть потенциально развернуты в самостоятельный и оригинальный этюд. Принадлежность заметки к тому или иному списку не отмеча-

ется; заметки разных списков, относящиеся к одному и тому же вопросу, печатаются рядом.

***

[1.] См. в «Материалах к 'Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям'» (1827) заметку «Есть различная смелость»: «Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму преисподней» (Акад., XI, стр. 61). Местонахождение вольтеровского фразеологизма установить не удалось. Цитаты Пушкина из стихотворения «В начале жизни школу помню я» (III, 254):

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада

и стихотворения «Воспоминания в Царском Селе» (III, 189):

Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.

[2.] См. упоминание сна героя в трагедии Байрона «Сарданапал» в «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях»: «Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он [Байрон] Петра Великого» (XI, 55). Считается, что Пушкин имел в виду гравюру, изданную в Лондоне 7 января 1795 г., где изображен Суворов, подносящий Екатерине II головы женщин и детей — трофеи после «капитуляции Варшавы» (см.: Сочинения Пушкина, т. IX (2). Изд. АН СССР, Л., 1929, стр. 94—95). Возможно, эта неточность Пушкина и должна была послужить предметом анализа.

[3.] Эпиграмма Лебрена „Le nouveau Parnasse" (кн. 1, LXXXIV):

Parnasse est vieux; ses neuf vieilles pucelles
Font radoter la lyre d'Apollon;
Des lauriers secs nourris dans leur vallon,
Leur vieux Pégase est décrépit comme elles.
Leur vieux Permesse est la source d'ennui:
Un autre Pinde il nous faut aujourd'hui.

Renouvelons le poétique Empire;
Du vieux Phébus rajeunissons la cour:
Je ne veux plus d'Apollon que l'Amour.
Je ne veux de Muse que Thémire.

Парнас стар; девять старых дев заставляют лиру Аполлона бренчать одно и то же; вскормленный сухими лаврами в их долине, их старый Пегас одряхлел, как и они сами. Их старый Пермес — источник скуки; ныне нам приличествует новый Пинд. Обновим поэтическую империю; омолодим двор старого Феба. Я не хочу иного Аполлона, кроме Амура, и иной музы, кроме Темиры.

Ср. в «Домике в Коломне» (V, 85):

... Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.

[4.] Цитата из «Дон Жуана» Байрона (песнь II, а не V), строфа CLXXXII (исправляем неточность в передаче текста, приведенного Ахматовой по памяти). Характеристика Зои (служанки Гайдэ) у Байрона имеет точки соприкосновения с описанием Параши в «Графе Нулине». Ср.:

She waited on her lady with the sun,
Though daily service was her only mission,
Bringing warm water, wreathing her long tresses
And asking now and then for cast-off dresses.

Она ждала свою госпожу с рассветом,
Хотя дневная служба была единственной ее
обязанностью,
Принося теплую воду, заплетая ее длинные
косы,
И прося то и дело изношенного платья.

У Пушкина (V, 8):

Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит.

[5.] Ср.: „No more her sorrows I bewail, Yet this will be a mournful tale" («Гяур» Байрона; см.: The Complete Works of Lord Byron, in one volume. Paris, 1835, p. 219 и «Медный всадник» — V, 137).

[6.] Ср. в черновой рукописи Предисловия к гл. 1 «Онегина»: «Смело предлагаем им произведение, где найдут они под легким покрывалом сатирической веселости наблюдения верные...» (VI, 528). Ср. тот же оборот в послании «К Каверину» (Ум высокий можно скрыть Безумной шалости под легким покрывалом) (II (1), 27 и I, 238). Какая цитата из Буало имеется в виду — неясно.

[7.] По-видимому, имеются в виду бытовые параллели к ряду прозаических произведений Пушкина. Ср. в отрывке «Гости съезжались на дачу»: «Г**[осударь], встретив ее (Вольскую. — *Ред.*) на Английской набережной, целый час с нею разговаривал» (VIII, 39). В статье М. А. Цявловского «Записи в дневнике Пушкина об истории Безобразовых» приведена мемуарная запись о встрече Николая I в 1829 г. на Английской набережной с княжной Л. А. Хилковой, впоследствии ставшей его любовницей (М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 247, 249). В Записках А. О. Смирновой есть описание ожидания у станционного смотрителя, который характеризуется формулой «диктатор станции», употребленной Вяземским и затем Пушкиным (А. О. Смирнова. Записки. «Федерация», М., 1929, стр. 241—242).

[8.] В ахматовском экземпляре однотомника сочинений Пушкина 1935 г. подчеркнуты примеры говора графини («Пиковая дама»), а также Н. К. Загряжской („Table-talk" — «Застольные разговоры»), которую А. А. Ахматова считала прототипом героини повести Пушкина. Приводим эти примеры.

Графиня:

Был ты *вчерась* у ***?
И, мой милый! Что в ней хорошего?
... я чай, она уж очень постарела...
... только, пожалуйста, не из *нынешних*.
Пришли, батюшка, пожалуйста...
— Что ты, *мать моя!* Глуха, что ли?
— Успеешь, *матушка*.
... *с голосу спала*, что ли?

... что за вздор!
Это, *матушка*, несносно.
... вас *не докличешься?* ...
... *кого прельщать*
нечего было наряжаться.

Н. К. Загряжская:

Как ты хочешь, Потемкин, а *мамзель* мою
И какой стати?
Откуда, батюшка?
Мне с ними *только что* хлопоты ...
... *в Дрездене*, в загородном саду.
Он сел подле меня *на лавочке*.

[9.] Речь, по-видимому, идет о письме Вяземского из Варшавы 3 декабря 1820 г. (Остафьевский архив, т. II, СПб., 1899, стр. 112), где абсолютная власть Александра I в Европе сравнивается с владычеством Наполеона.

[10.] Письма Понса Дени Экушара Лебрена к французскому комедиографу, противнику энциклопедистов, Ш. Палиссо касаются французской литературной жизни XVIII в. — Вольтера, Энциклопедии, читающей публики и т. д.; см.: Oeuvres de Ponce Denis (Ecouchard) Le Brun, t. IV. Paris, 1811.

[11.] См. «Дон-Жуан», песнь VII, строфы 1—2. Описание северного сиянья у Байрона есть также в «Видении суда» (строфы XXVII—XXVIII). Строки Пушкина из «Зимнего утра» (III, 183) и черновые варианты (III, 767) цитируются не вполне точно; следует: Авророй севера явись.

[12.] «Жужжанью пчел над розой алой» («С Гомером долго ты беседовал один» — III, 286); «И музу призывал На пир воображенья» («К моей чернильнице» — III, 182); также «Разговор книгопродавца с поэтом» (III, 325).

[13.] Строка Пушкина — из черновых вариантов «Разговора книгопродавца с поэтом» (II, 841).

[14.] «Руслан и Людмила» (IV, 86):

Так, мира житель равнодушный,
На лоне праздной тишины
Я славил лирою послушной
Преданья темной старины.

«Кавказский пленник» (IV, 113):

Так Муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала

«Цыганы» (IV, 203):

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

[15.] Примеры из Пушкина см.: «Герой» (1831; III, 251); «Друзьям» (1828, III, 89); [Баратынскому] (1827; III, 85). Ссылки на Лебрена по четырехтомному изданию „Oeuvres de Le Brun" (t. I, Paris, 1811): Oui, je les romps, Beauté funeste . . . — Да я разорвал их, губительная красота» (кн. I, ода XX); Oui, chastes Nymphes de Mémoire! — Да, чистые нимфы воспоминания! (кн. II, ода XVI); Non, ce n'est point des Rois l'orgueilleux apanage. — Нет, не горделивое наследие королей (кн.I, ода XXIV); Non: le Tokai, la Malvoisie — Нет, ни токай, ни мальвазия (кн. II, ода XII); O toi qui viens avec Zéphire. — О ты, что приходишь вместе с зефиром (кн. I, ода XVIII); O toi que Pathos adore. — О ты, кого обожествляет Пафос (кн I, ода XXIII).

[16] См. оду Шенье „A Charlotte Corday" и Лебрена „Ode nationale contre l'Angleterre" (кн. VI, ода XVIII). Пушкинские цитаты из «Андрея Шенье» (Акад., II, стр. 397) и [В. Л. Давыдову] (там же, стр. 178).

[17.] Цитаты Пушкина из стихотворения «Поэт» («Пока не требует поэта . . .» — III, (2), 599). Здесь ошибка памяти: метонимического словоупотребления «Бога полн» в черновиках этого стихотворения нет.

Существует еще одна заметка А. А. Ахматовой (на обороте одной из черновых вставок к статье «Каменный гость») — *«Бога полн»* у Шенье „plein du Dieu", имеющая в виду строчку из «неизданых стихов» Андрея Шенье, записанных Пушкиным в имевшемся у него издании Шенье 1819 г. (см.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание. В кн.: Пушкин и его современники, вып. IX—X, СПб., 1910, стр. 192, № 736). Стихи эти были переведены Пушкиным («Близ мест, где царствует Венеция златая», 1827; III, 66); указанное выражение передано: «и тихой музы полн».

[20.] На отдельном листке сохранилась более пространная запись Ахматовой: «*Дряхлый пук дерев — только плакучая ива на берегу озера, которую помню еще в 90-х годах. Какие дряхлые пуки дерев могли быть в Алекс[андровское] время в Царскосельском парке?!*»

У Пушкина: «И дряхлый пук дерев, и светлую долину» («Царское Село», 1823; II, 285).

Ср. стихотворения Ахматовой «Ива» (1940; с эпиграфом «И дряхлый пук дерев»), «Все души милых на высоких звездах» (1944; строка «У берега серебряная ива Касается сентябрьских ярких вод») и стихотворение из цикла «Городу Пушкина» — «Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли».

Слова «живые воды» — из стихотворения «Была пора: наш праздник молодой» (1836; III, 432). «Розовое поле» упоминается в автобиографических отступлениях в Гавриилиаде» (IV, 368) и черновиках 1-й строфы VIII главы «Евгения Онегина» (VI, 508). Ср. строку в стихотворении Ахматовой «Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли...»: «Одичалые розы пурпурным шиповником стали».

[21.] Цитаты из послания Вольтера к Ришелье ((A M. le duc de Richelieu sur la conquête de Mahon. Mai 1756) — Oeuvres complètes de Voltaire, t. IX. Paris, 1910, p. 283 — и стихотворения «К Чаадаеву» (1818; II, стр. 72).

[22.] Ср. в «Деревне» (II, 90):

> Опора милая стареющих отцов,
> Младые сыновья, товарищи трудов,
> Из хижины родной идут собой умножить
> Дворовые толпы измученных рабов.

По указанию Ахматовой, эти стихи — реминисценция из стихотворения Вольтера „A M. de Saint-Lambert" (1769). Вольтера Ахматова цитирует неточно и, видимо, по памяти; следует: „Le fils de mon manoeuvre en ma ferme élevé... Des laquais de Paris, s'en va grossir l'armée" (Oeuvres complètes de Voltaire, t. IX. Paris 1910, p. 310); возможно, цитата из Вольтера контаминировалась здесь с формулой Буало из сатиры IX: „... des laquais et des pages".

[23.] Ср.: «Евгений Онегин», гл. I, строфа XVIII (VI, 12) Источник этих строк у Буало нами не разыскан. В послании Буало к Расину есть строки: „Toi donc qui,

t'élevant sur la scène tragique, Suis les pas de Sophocle, et, seul de tant d'esprits, De Corneille vieilli sais consoler Paris" (ты, кто, возвысясь на трагической сцене, следуешь по стопам Софокла и, единственный среди стольких умов, умеешь утешить Париж в том, что Корнель устарел), но сходство здесь слишком отдаленно; кроме того, речь идет, видимо, о самом фразеологизме, который был использован Пушкиным несколько раз: в неосуществленном послании к «Зеленой лампе» 1821 г. («Младой Катенин воскресит Эсхила призрак величавый») и в послании к Гнедичу 1821 г. («О ты, который воскресил Ахилла призрак величавый»). См.: С. Б о н д и. Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. «Просвещение», М., 1971, стр. 106, 108.

[24.] «Свинский Петербург» — выражение из письма Пушкина жене от 11 июня 1834 г. (XV, 158). Трактовка поэтического образа Петербурга в «Медном всаднике» как «мрачного и беспощадного», а вступления к поэме — как «одического великолепья и маскировки», противопоставленной Петербургу центральной ее части, — у Ахматовой близка к концепции Андрея Белого (см. его «Ритм как диалектика», Пгр., 1929). О связи вступления к «Медному всаднику» с одической традицией см.: Л. В. П у м п я н с к и й. «Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII в. В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. 4—5. Изд. АН СССР, М.—Л., 1939, стр. 91. Вся заметка несомненно связана с работами А. А. Ахматовой, посвященными последним годам жизни Пушкина («Пушкин и Невское взморье», «Гибель Пушкина»). В одном из черновых набросков Ахматова сближает описание «ночного пустого мрачного Петербурга» в «Уединенном домике на Васильевском» Пушкина—Титова и в «Медном всаднике», однако, не присоединяясь к мистической трактовке петербургской темы у В. Ф. Ходасевича (см. его «Статьи о русской поэзии», Пб., 1922; статья «Петербургские повести Пушкина»). Адрес Пушкина, указанный Ахматовой, — квартира в доме Жадимировского на углу Морской и Гороховой улиц (ныне дом 26/14 по ул. Герцена), нанятая сроком с 1 декабря 1832 по 1 декабря 1833 г.; в мае 1833 г. Пушкин переехал на дачу и на квартиру больше не вернулся (Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Изд. «Наука», Л., 1969, стр. 209—210). Указание на маршрут Пушкина («с 7 февраля ходит в архив») — ошибочно; Пушкин

не посещал архив, а получал дела на дом (см.: Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами. («История Пугачева»). «Наука», Л., 1969, стр. 51 и сл.). «Ветер окликающий часовых» — неточная цитата из «Медного всадника» (V, 146), возможно, контаминированная со строкой из «Демона» Лермонтова: «Там мятель дозором ходит... То песню долгую заводит, То окликает часовых»).

[25.] Маргиналия устанавливает фразеологический аналог у Пушкина и в неоконченной философской поэме Шенье «Гермес» („Hermès"), задуманной как история человеческой цивилизации; впрочем, фрагмент, о котором идет речь (см.: Poésies de André Chénier..., Paris, 1841, p. 200—201), был опубликован Сент-Бевом лишь в 1839 г.:

Ainsi, dans les sentiers d'une forêt naissante,
A grands cris élancée, une meute pressante,
Aux vestiges connus dans les zéphyrs errants,
D'un agile chevreuil suit les pas odorants

Так, на тропах подрастающего леса,
Побуждаемая громкими криками назойливая свора
По знакомым запахам, блуждающим в воздухе,
Преследует по пахучему следу проворную косулю.

Ср. набросок Пушкина 1836 г. (III, 419):

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам,
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

[26.] Ср. это сочетание у Горация (кн. I, ода V).

[27.] Статья Пушкина „Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme" (XI, 195), где цитируется стихотворение Делорма (Сент-Бева) „Ma muse", напечатана 5 июня 1831 г.; познакомился же со сборником Пушкин ранее, возможно, вскоре после его выхода в 1829 г. (см.: Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960, стр. 362). Стихотворение «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» датируется 1831 или 1832 г. Помимо непосредственной темы заметки в ней намечена и другая тема — сопоставление стихотворения Сент-Бева с некоторыми мотивами «Каменного гостя»; цитата из „Ma muse" прямо связывается с обращениями

Дон-Гуана к донне Анне в сцене III («склонившись тихо, Вы черные власы на мрамор бледный Рассыплете» и «Сюда, на этот гордый гроб Пойдете кудри наклонять и плакать» — VII, 154, 156); из «Каменного гостя» и имена любовниц Дон-Гуана — Инезы и Лауры; последняя в сцене II поет, аккомпанируя себе на гитаре и вызывая восклицания гостей: „O brava! brava! чудно! бесподобно!» (VII, стр. 145). Ср. у Сент-Бева: „Elle eût pu... de sa harpe d'or éveillant cent rivaux, Ne voir rien qu'un sourire entre tant de bravos" (Она могла бы... своей золотой арфой возбуждая сотни соперников, Видеть одну лишь улыбку среди бесчисленных рукоплесканий).

[28.] Элегия Пушкина К*** («Зачем безвременную скуку...», 1820; II, 144). В экземпляре сочинений Пушкина, принадлежавшем Ахматовой, отчеркнуты строки:

Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Элегия Грессе — „La Chartreuse" («Обитель»); в XX послании, представляющем собою фрагмент «Обители», есть строки: „Je voudrois de toute ma vie Acheter un de vos instants!" (Я хотел бы всей своей жизнью Купить одно ваше мгновенье!). Реминисценции из этой элегии ощущаются и в других строках пушкинского стихотворения. Ср.: «Один в тиши пустых полей Ты будешь звать воспоминанья Потерянных тобою дней» и „J'allois racheter en silence La perte de mes premiers jours" (Я хотел бы выкупить в тишине Потерю моих ранних дней») и т. д. (Oeuvres de Gresset ,t I. Paris, 1826, p. 250 et 50).

[29.] В экземпляре однотомника Пушкина, принадлежавшего Ахматовой, подчеркнуты две заключительные строки первой строфы «Заклинания». Реминисценции из заключительного монолога Гяура, призывающего мертвую возлюбленную, обнаруживаются в нескольких строфах пушкинского стихотворения. Ср.:

О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы...

If true, and from thine ocean-cave
Thou comest to claim a calmer grave

Если правда, что из твоей океанской пещеры Ты приходишь просить
более спокойной могилы

Приди как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно...

Ah! were thy beauties e'er so cold
I care not...

Ах, если даже твои красы столь же холодны,
Мне все равно...

But shape or shade! whate'er thou art,
In mercy ne'er again depart!

Но — образ или тень! чем бы ты ни была,
Из сострадания — не уходи больше!

[30.] См. XII, 137 («О Мильтоне и Шатобриановом переводе 'Потерянного Рая'») и XII, 153 («Последний из свойственников Иоанны д'Арк»). Последняя статья есть пастиш (литературная имитация и мистификация). См.: Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л., 1929, стр. 190—198; комментарии Н. К. Козмина в кн.: Сочинения Пушкина, т. IX (2) Л., 1929,с тр. 981—982.

[31.] Это чрезвычайно интересное указание вводит в круг источников «легенды» «Жил на свете рыцарь бедный» (1829) один существенно важный, не отмеченный исследователями (см. подробный анализ истории этого сюжета в статье Д. П. Якубовича «Пушкинская 'легенда' о рыцаре бедном». — Западный сборник. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1937, стр. 227—256). Речь идет о «Видении Рафаэля» в книге В. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного» (1814), переведенной в 1826 г. С. Шевыревым, В. Титовым и Н. Мельгуновым и сыгравшей важную роль в истории русского романтизма; по-видимому, проблематика ее отразилась в «Моцарте и Сальери» (см. комм. П. А. Алексеева к трагедии в издании: Пушкин. Т. VII. Драматические произведения. Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 538 и сл.). Согласно Ваккенродеру, в душе Рафаэля «от самой нежной юности всегда пламенело.. особенное святое чувство к Матери Божьей»; «даже иногда громко произнося Ее имя, он ощущал грусть душевную»; однажды ночью он был привлечен «свет-

лым видением» Богоматери; «видение навеки врезалось в его душу и чувства», и он осуществил свою мечту — перенести этот образ на полотно («Об искусстве и художниках . . .»; цит. по переизданию: М., 1914, стр. 6—8). В тексте Пушкина — прямые реминисценции: «Он имел одно виденье, Непостижное уму, И глубоко впечатленье В сердце врезалось ему» (III, 161). Добавим к этому, что «безумцем», аскетически посвятившим жизнь одной идее (в данном случае — идее служения искусству) является в книге Ваккенродера и Иосиф Берглингер («Музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера»); в этой части книги приведена целиком любимая героем оратория „Stabat Mater dolorosa", посвященная Деве Марии (в вариантах пушкинской «легенды» девизом «рыцаря бедного» служат слова „mater dolorosa", восходящие к этому гимну).

[32.] Ср. у Парни: „Avec quels soins au terme du bonheur Je conduisis ton ignorance aimable" („Retour à Éléonore"); „Ne perdez point votre aimable ignorance" („Plan d'études") (С какими заботами я вел к пределу счастья твое милое неведение; Не теряй своего милого неведения). Ср.: Oeuvres diverses d'Évariste Parny ,t. 1, Paris, 1812, pp. 56, 33.

[33.] Ахматова ссылается на начало 1-й главы «Египетских ночей» (VIII (1), 263) и замечание Пушкина в «Барышне-крестьянке» о «приторности» подробностей, рисующих зарождение и развитие любовного чувства (там же, стр. 117). Указанные ею аналогии из романа Бульвера-Литтона «Пелам, или Приключения джентльмена» (1828) — в главах XLVI и XVIII (см.: Pelham; or the Adventures of a Gentleman. Paris, 1832, pp. 68, 197. Русский перевод см,: Бульвер-Литтон, Пелам, или Приключения джентльмена. Гослитиздат, М., 1962, стр. 118, 265).

[34.] Цитаты из Пушкина см.: Акад., XI, стр. 23 и XIII, стр. 95. «Записки» графа М. Д. Бутурлина, дальнего родственника Пушкина, об Одессе 1824 г. и своем гувернере Слоане см.: «Русский Архив», 1897, № 3, стр. 394—444 и № 5, стр. 5—74. Письмо В. Ф. Вяземской мужу от 25 июля 1824 г. с характеристикой Слоана («тридцати лет, малый очень красивый и довольно умный, насколько может казаться умным англичанин, говорящий по-французски») см.: Остафьевский архив, т. V, вып. 2, СПб., 1913, стр. 134.

ПИСЬМА

С. В. ФОН ШТЕЙНУ. Опубл. в RLT, № 13, 1975, а затем в Ардис-77. Приводим здесь вступительную заметку Э. Герштейн.

Письма Ахматовой-гимназистки (тогда еще Анны Горенко) публикуются впервые. Известна только одна выдержка из письма от 13 марта 1907 г., касающаяся издания в Париже русского журнала «Сириус» и опубликованная в начале 20-х годов Э. Ф. Голлербахом. Но эта часто перепечатывающаяся цитата окружена интригующими недомолвками: не указывается ни местонахождение письма, ни характер всей переписки, скрыто даже имя адресата. Теперь мы можем его назвать. Это муж старшей сестры Анны Андреевны, Инны, литератор, переводчик славянской поэзии на русский язык, приват-доцент Сергей Владимирович фон Штейн (1882—1951). В период переписки со свояченицей он уже был вдовцом. Инна Андреевна скончалась в 25-летнем возрасте от туберкулеза. Фон Штейн женился вторично, вероятно, в 1908 г.

В начале 20-х годов он навсегда покинул Советскую Россию, а его бывшая жена вышла замуж за Э. Голлербаха. Оказавшись таким образом владельцем архива фон Штейна, Голлербах передал 8 апреля 1935 года в Государственный литературный музей «десять писем Анны Андреевны Горенко-Ахматовой при условии, что они не будут опубликованы при жизни Ахматовой (ни целиком, ни в выдержках)». Сейчас эти письма хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (фонд С. В. Штейна, № 1298). Они печатаются полностью, в заново установленной хронологической последовательности (предположительные датировки Э. Голлербаха оказались неверными). Датировки публикатора заключены в квадратные скобки.

Публикуемые письма относятся к периоду, описанному через 60 лет самой Ахматовой в заметке «Коротко о себе»:

«В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году. Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. [...] В 1910-м (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж» [1]. Эта сжатая ретроспективная автохарактеристика наполняется живыми подробностями в письмах Анны Горенко. Картину гнетущей жизни в Крыму мы можем дополнить еще одним штрихом, который Анна Андреевна привела в конце жизни, беседуя с пишущей эти строки. Вспоминая мать, она показала, как Инна Эразмовна часами просиживала в глубокой задумчивости, не замечая, что беспрерывно стучит пальцами по столу. Этот монотонный звук навел даже соседей на мысль о нелегальном типографском станке, на котором студент Андрей Горенко якобы печатал революционные прокламации. Врезающийся в память образ удрученной женщины объясняет жалость к матери и неприязнь к отцу, отразившиеся в письмах Анны Андреевны с юга.

Для биографии Ахматовой важно упоминание о болезни, помешавшей ей сразу по окончании гимназии поступить на Высшие курсы. Активный процесс в легких (впоследствии зарубцевавшийся) открылся у Анны Ахматовой позже, но эта болезнь была почти у всех детей Горенко. Еще до рождения Анны умерла в раннем детстве первая дочь, Ирина; в 1905 г. (?) скончалась, как уже говорилось, Инна Андреевна фон Штейн, а в 1922 г. от туберкулеза умерла младшая сестра Ахматовой, Ия Андреевна Горенко. Таким образом, боязнь чахотки, высказанная в осеннем письме 1907 г., возникла не из-за юношеской мнительности, а вследствие реальной угрозы, сопутствовавшей всей молодости Ахматовой. Этим объясняются мотивы обреченности и предчувствия близкой смерти, часто звучащие в ее раннем творчестве.

---

[1] В кн. Советские писатели. Автобиография, т. III, М., «Художественная литература», 1966, с. 30, 31.

Видимо, болезнь сыграла свою роль и в откладывании свадьбы Анны Андреевны, которая произошла только через три года после обручения.

Письма представляют значительный историко-литературный интерес. Мы встречаем здесь два из «великого множества» неизвестных в печати крымских стихотворений Ахматовой. Одно («Я умею любить») полностью, другое («Весенний воздух властно смел») в выдержке. Они дают материал для изучения процесса созревания мастерства молодого поэта. В оценках современной поэзии Анна Горенко уже в ту раннюю пору обнаруживает тонкий литературный вкус. Он сквозит в деликатном замечании о предпочтении прозы фон Штейна его бледным стихам, в скрытой иронии, с какой она излагает преувеличенно восторженные отзывы киевлян о произведениях талантливого прозаика Д. Айзмана. Делает честь юной читательнице новой поэзии наблюдение о зависимости второй книги стихов А. Блока от творчества В. Брюсова. Очевидно, Анна Андреевна находилась под сильным впечатлением от недавно вышедшего сборника В. Брюсова «Венок». В самые значительные минуты своей жизни она привлекает два стихотворения из этой книги для описания своего душевного состояния (см. письмо 5). В Фундуклеевской гимназии, на уроке психологии, который вел известный философ Г. Г. Шпет, она цитирует стихотворение «Фонарики» из той же книги. Об этом рассказывает в своих неопубликованных воспоминаниях бывшая одноклассница Анны Горенко В. Беер. «Сегодня урок посвящен ассоциативным представлениям, — пишет она. — Густав Густавович предлагает нам самостоятельно привести ряд примеров из жизни или из литературы [...] Дружным смехом сопровождается напоминание о том, как мистрисс Никкльби, из романа Диккенса «Никкльби», пользовавшегося у нас тогда большим успехом, погожее майское утро связывает с поросенком, жаренным с луком. И вдруг раздается спокойный не то ленивый, не то монотонный голос:

Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме,
На прочной нити времени, протянутой в уме!

Торжественный размер, своеобразная манера чтения, необычные для нас образы заставляют насторожиться. Мы

все смотрим на Аню Горенко, которая даже не встала, а говорит, как во сне.

Легкая улыбка, игравшая на лице Густава Густавовича, исчезла. «Чьи это стихи?» — проверяет он ее. Раздается слегка презрительный ответ: «Валерия Брюсова». О Брюсове слышали тогда очень немногие из нас, а знать его стихи так, как Аня Горенко, никто, конечно, не мог. «Пример госпожи Горенко очень интересен», — говорит Густав Густавович. И он продолжает чтение и комментирование стихотворения, начатого Горенко» [2].

Впоследствии Ахматова изменила свое отношение к Брюсову.

Но уже в ту пору определились некоторые темы, характерные для лирики Ахматовой на протяжении всего ее творческого пути: высокое представление о дружбе и одухотворенное чувство неразделенной любви. Мы ощущаем поэта и в непреодолимой тяге к самовыражению, вылившейся в этих доверчивых письмах с подкупающим изяществом.

1. *Валя:* — Валерия Сергеевна Срезневская (урожденная Тюльпанова), подруга Анны Андреевны по царскосельской гимназии. Ей посвящено стихотворение ее памяти: «Почти не может быть, ведь ты была всегда», вошедшее в книгу «Бег времени» (М.—Л., 1965).

Андрей — старший брат Ахматовой Андрей Андреевич Горенко (1886—1920).

В. Г. -К. — Владимир Викторович Голенищев-Кутузов. Вероятно к нему относится стихотворный цикл «Смятение» (1913) — лирическая новелла в трех главах;

— *Тоника советую* . . . — смысл этой недописанной фразы остается неясным.

2. *Тетя Вакар* — старшая сестра матери Ахматовой, Анна Эразмовна (урожденная Стогова).

---

[2] Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом), PI, оп. 2, № 282.

4. Это письмо условно датировано Э. Ф. Голлербахом 10 января 1907 г. по штемпелю на конверте. Дата эта не противоречит смыслу письма, но мы отказались от датировок по конвертам, так как некоторые письма вложены кем-то явно неправильно.

5. *Люблю ли его, я не знаю...* и далее — измененная строка из стихотворения Алексея Толстого «Средь шумного бала, случайно».

«Сораспятая на муку...» и далее — заключительная строфа стихотворения В. Брюсова «В застенке» (из цикла «Из ада изведенные»). У Брюсова вторая строка читается: «Давний враг мой и сестра!» См. *Брюсов Валерий. Ебофавос.* Венок. Стихи 1903—1905 гг. М., Изд-во «Скорпион», 1906, с. 67,68. Ср. *Брюсов В. Я.* Избранные стихотворения. Л., «Советский писатель». 1961. «Библиотека поэта», большая серия, стр. 254, где то же стихотворение напечатано под заглавием «Пытка».

«...всем судило Неизбежное» и далее из стихотворения В. Брюсова («Тезей Ариадне») (из цикла «Правда вечная кумиров»), «Венок», с. 45, 46; «Библиотека поэта» — с. 248. *Иоланта* — главная героиня одноименной оперы П. И. Чайковского.

Нет ли у вас... — приписка вверху страницы в обратном направлении к тексту письма.

7. *Нанн* — двоюродная сестра Анны Андреевны, Марья Александровна Змунчилла, впоследствии на ней женился Андрей Андреевич Горенко. Ей посвящен стихотворный цикл «Обман», напечатанный в сборнике «Вечер». При перепечатке в «Четках» в посвящении указана новая фамилия кузины Ахматовой.

Дата под стихотворением «Я умею любить» написана карандашом неизвестной рукой.

8. «Жизнь человека» — драма Леонида Андреева.

У вас в кружке — подразумевается «Кружок поэтов им. К. К. Случевского».

Давид Айзман (1869—1922) — прозаик, примыкавший к группе писателей, печатавшихся в сборниках «Знание».

«Сириус» — журнал, издававшийся Н. С. Гумилевым в Париже на русском языке. Известны три номера, в 3-м стихотворение А. Горенко отсутствует (см. *Крюков А. С.* О первых публикациях А. А. Ахматовой. «Уч. зап. Тартуск.

гос. ун-та», вып. 209. Труды по русской и славянской филологии XI. Литературоведение. Тарту, 1968, с. 295, 296).

9. *Гимназию окончила очень хорошо* — аттестат об окончании Анной Горенко Фундуклеевской гимназии датирован 28 мая 1907 г. (сообщено А. С. Крюковым).

... курсы — смерть. Ну, и не иду ... — позднее Ахматова (Горенко) поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве, а переехав в 1910 г. в Петербург, училась на Высших историко-литературных курсах Раева (см. «Коротко о себе» в вышеуказанной книге, с. 31).

Письмо вложено в конверт с почтовым штемпелем 9 декабря 1908 г., но, по-видимому, эта дата другого, утраченного письма. По содержанию это письмо можно отнести только к концу 1907 г. (после 5 сентября).

В. Я. БРЮСОВУ. Опубл. Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком в ЗОР, с. 279 и затем — в CMRS, № 1/2, XV (1974), p. 197—200.

П. Е. ЩЕГОЛЕВУ. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж РОПД-74, с. 58). П. Е. Щеголев (1877—1931) — литературовед, писатель, редактор историко-революционного журнала «Былое». В 1911—1917 сотрудничал в газете «День». Другие четыре письма Ахматовой Щеголеву (неопубл.) хранятся в ИМЛИ.

А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКОЙ. Опубл. там же (с. 55—56). А. Н. Чеботаревская (1876—1921) — писательница, жена Ф. Сологуба Стих-е *Молитва* (также как и *Утешение*) Ахматовой было напечатано в подготовленном Чеботаревской и Сологубом альманахе «*Война в русской поэзии*» ПГ, 1915, с. 99—100.

ФЕДОРУ СОЛОГУБУ. Опубл. там же (с. 55—57). Ф. Сологуб [Ф. К. Тетерников] (1863—1927) — поэт и прозаик.

Н. С. ГУМИЛЕВУ. Отрывок из письма опубл. Г. Г. Суперфином и Р. Д. Тименчиком в ЗОР, с. 272—273 и затем — в CMRS, № 1/2, XV (1974), p. 186. Имеется в виду статья В. Я. Брюсова *Год русской поэзии. Продолжатели* («Русская мысль», № 7, 1914, разд. III).

И.М. БРЮСОВОЙ. Опубл. там же с купюрой (с. 272) и затем полностью — в CMRS, № 1/2, XV (1974), p. 185. И. М. Брюсова [урожд. Рунт] (1876—1965) — жена В. Я. Брюсова.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМУ. Опубл. в ВРХД, № 116, II—III—IV — 1975, с. 186, по автографу из архива О. Э. и Н. Я. Мандельштам (сейчас хранится в Принстонском универси-

тете). Написано в Ленинграде, датируется по упоминанию о возвращении Б. Л. Пастернака из Парижа, где летом 1935 он участвовал в антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры. 11-го июля Пастернак «приехал в Ленинград в состоянии острейшей истерии» (Б. Л. Пастернак, *Из писем к жене.* — ВРСХД, № 106, IV—1972, с. 216).

Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ. Полностью печ. нами впервые (№№ 1, 2 опубл. в ВРХД, № 117, I—1976, с. 162). Н. Я. Мандельштам (1899—1980) — жена О. Э.Мандельштама, филолог, мемуаристка, близкий друг Ахматовой.

Н. И. ХАРДЖИЕВУ. Опубл. Генрихом Бараном по автографам (находятся в личном архиве Н. И. Харджиева [р. 1903] — литературоведа, искусствоведа, близкого друга Ахматовой и О. Э. Мандельштама) в журнале «Russian Literature», № 7/8, [1974], p. 5—18. Ниже воспроизводятся комментарии публикатора.

1. [1] Датируется по содержанию.
   [2] Дочь А. Е. Аренс-Пуниной и Н. Н. Пунина, чья семья проживала в одной квартире с Ахматовой. Н. Н. Пунин (1888—1953) — искусствовед, третий муж Ахматовой.
2. [1] Датируется по содержанию.
   [2] Знакомая Ахматовой и Н. И. Харджиева, библиограф Третьяковской галереи.
   [3] Л. Н. Гумилев, сын Ахматовой и Н. С. Гумилева, находился в то время в археологической экспедиции (как и в 1933 г. — см. Письмо III).
   [4] Н. Н. Пунин.
   [5] О. Э. и Н. Я. Мандельштам.
   [6] Н. И. Харджиев и В. В. Тренин подготовляли в 1932 г. статью о Пастернаке. Статья не была опубликована.
3. [1] Датируется на основе письма Ц. С. Вольпе к Н. И. Харджиеву от 27-го февраля 1933 г., в котором дается описание отзывов пушкинистов (Б. В. Томашевского, Ю. Г. Оксмана и др.) на выступление Ахматовой в Институте Русской Литературы. (Письмо находится в архиве Н. И. Харджиева.)
   [2] Доклад Ахматовоой был напечатан под заглавием *Последняя сказка Пушкина* в журнале *«Звезда»* (1933 № 1, стр. 161—176).
4. [1] Датируется по содержанию.
   [2] М. М. Никитин, литературовед, специалист по лубоч-

ной литературе, один из авторов книги *Словесность и коммерция* (Москва, 1929).

[3] Н. Н. Пунин.

[4] Книга В. Б. Шкловского, *Чулков и Левшин* (Ленинград, 1933). Н. И. Харджиев был сотрудником В. Б. Шкловского в подборе и обработке материалов для книги, и является соавтором некоторых ее глав.

[5] С. А. Толстая-Есенина (1900—1957), жена С. А. Есенина.

[6] В. Б. Шкловский.

5. [1] В. Ф. Румянцева (см. Письмо II).

[2] В. Д. Бонч-Бруевич (1873—1955), директор Государственного Литературного Музея. Вопрос о продаже Ахматовой своего архива ГЛМ освещался в следующих двух письмах В. Д. Бонч-Бруевича (РО ГБЛ ф. 369, картон 126, ед. хр. 57):

I

А. А. Ахматовой.
Ленинград, 14, Фонтанка 34,
кв. Н. Н. Пунина.

8 мая 1933 г.

Многоуважаемая Анна Андреевна,

Я только что сейчас получил Ваш адрес от Якубовича и немедленно пишу Вам, чтобы просить Вас не отказать нам принять участие в наших сборниках «Звенья» Вашими прекрасными исследованиями по Пушкину. Если еще что надумаете, — пожалуйста, высылайте. Если у Вас есть что-либо готовое по Пушкину, то как раз я кончаю редактирование 5-й книги «Звеньев», 3-я печатается в Ленинграде, 4-я — в Москве. В 5-й том мы могли бы еще поместить Вашу статью, если она не очень запоздала бы. Кстати, позвольте познакомить Вас с нашим Центральным Литературным Музеем, которому теперь придано название: «Центральный Музей художественной литературы, критики и публицистики». Из общего установочного письма, которое мы при сем Вам посылаем, Вы увидите наши цели и задачи. Я был бы очень рад и благодарен Вам, если бы Вы сообщили мне, нет ли у Вас чего-либо из эпистолярной лите-

ратуры, что бы Вы захотели к нам поместить? Тогда нужно было бы прислать опись всех этих материалов, наша Фондовая Комиссия их осмотрела бы и оценила и мы у Вас все это приобрели бы. Был бы очень благодарен Вам, если бы о задачах нашего Музея сообщили Вашим друзьям и знакомым.

Всего наилучшего.
Влад. Бонч-Бруевич.

II

11 января 1934 г.
Анне Андреевне Ахматовой.

Многоуважаемая Анна Андреевна,

когда Вы уезжали, Вы сказали мне, что в конце 1933 г. или начале 34 г. Вы пришлете нам новую партию материалов, которые Вы хотели предложить нашему Музею.

Считаю своим долгом сообщить Вам, что наш корабль вновь оснащен солидными парусами и мы можем приобретать все новые и новые архивы и пускаемся в плавание в нынешнем году значительно более крепкими, чем в прошлом году. Мы намерены широким неводом вылавливать из нашей огромной страны все, что только касается вопросов художественной литературы, критики и публицистики, искусства, истории, быта. Я очень прошу Вас помочь нам в этом деле и прежде всего я жду не дождусь, когда Вы пришлете нам новую посылку из Вашего собственного архива.

Буду рад, если Вы о Ваших намерениях сообщите мне по адресу: Москва, 31, Рождественка 5, 1-й этаж, Центральный Музей художественной литературы, критики и публицистики.

Всего Вам наилучшего.
ДИРЕКТОР ЦМЛ:
Влад. Бонч-Бруевич.

6. [1] Датируется по содержанию.
[2] Альбом был подарен Ахматовой Н. И. Харджиевым. На первом листе надпись: „1808, Prince Dolgoruki". Первые пять страниц заполнены французскими стихотворения-

ми. Ахматова вписывала в этот альбом окончательные редакции своих стихов до своей смерти.

[3] 14 мая 1934 г. был арестован О. Э. Мандельштам.

7. [1] Датируется предположительно по содержанию.

[2] Литературовед, жена Б. М. Энгельгардта, погибшая во время блокады Ленинграда.

[3] Л. Я. Гинзбург.

8. [1] Н. И. Харджиев приехал в Алма-Ату в ноябре 1941 г.

[2] *Поэма без героя.*

[3] В. Б. Шкловский и М. М. Зощенко находились в то время в Алма-Ате; Л. Ю. Брик находилась в Молотове.

9. [1] Датируется по содержанию.

[2] Письмо Н. Н. Пунина от 14 апреля 1942 г. опубликовано А. Хэйт. См. A. Haight, *A Letter from N. N. Punin to A. A. Akhmatova, Russian Literature Triquarterly* 2 (1972), 453—58.

[3] В. Г. Гаршин, врач, четвертый муж Ахматовой, находился в Ленинграде во время блокады.

10. [1] Н. Н. Пунин.

12. [1] Ахматова была больна тифом. См. воспоминания Н. Татариновой *Анна Ахматова в Ташкенте*, «Простор» (1971, № 2, стр. 98—99).

[2] Н. И. Харджиев вернулся в Москву в декабре 1942 г.

13. [1] В. С. Познанская, знакомая Ахматовой.

[2] В варианте 1943 г. *Эпилог* был посвящен В. Г. Гаршину.

[3] В марте 1943 г. кончился срок заключения в лагере Л. Н. Гумилева.

[4] Квартира Н. И. Харджиева в Москве до войны находилась в Марьиной Роще.

14. [1] Н. Я. Мандельштам.

15. [1] А. Е. Крученых был автором вариации на стихотворение Ахматовой *Муза* («Когда я ночью жду ее прихода . . .»).

[2] Анна Ахматова, *Избранное*, составил К. Л. Зелинский ([Ташкент], 1943).

16. [1] Знакомая Ахматовой, актриса.

[2] А. П. Сухомлинова — знакомая Ахматовой.

[3] Вероятно, известия о быстро развивающихся политических событиях в Италии, которые кончились падением Муссолини 24 июля 1943 г.

17. [1] Датируется по московскому почтовому штемпелю: 19/7/43.

18. [1] А. Е. Аренс-Пунина (см. Письмо I).

[2] В. Я. Хазина.

20. [1] Датируется по содержанию.
[2] Н. М. Суетин (1897—1954) — художник-супрематист, ученик Казимира Малевича.
[3] В октябре 1950 г. Ахматова напечатала в журнале «Огонек» (42, стр. 20) три стихотворения из цикла *Слава миру:* «Где ароматом веяли муссоны». «Поджигателям», «В пионерлагере».
21. [1] Очерк Ахматовой *Амедео Модильяни,* опубликованный после ее смерти в сборнике *День Поэзии 1967* (Москва, 1967, стр. 248—252).
[2] Заметка Н. И. Харджиева *О рисунке А. Модильяни,* в которую Ахматова первоначально предполагала включить свой очерк. В *Дне Поэзии,* где помещена окончательная редакция воспоминаний Ахматовой, эта заметка напечатана как приложение.
[3] Портрет Ахматовой, нарисованный Модильяни.
22. [1] Датируется по содержанию.
[2] Джакомо Леопарди, *Лирика.* Переводы А. Ахматовой и А. Наймана. Предисловие и примечания Н. Томашевского (Москва, 1967).
[3] Ахматова так называла свою дачу в Комарове.

С. Г. ВЕЙНБЕРГУ. Печ. нами впервые. Вейнберг Семен Германович (р. 1905) — врач по образованию, переводчик-любитель: особенно много переводит с русского на немецкий. Уроженец Виндавы (теперь Вентспилс, Латвия), он в 1935 переехал в Палестину.

Ж. НИВА. Печ. нами в оригинале (по-русски) впервые; ранее опубл. адресатом в его переводе на французский в составе предисловия к статье Г. Г. Суперфина и Р. Д. Тименчика *Письма А. А. Ахматовой к В. Я. Брюсову* (CMRS, № 1/2, XV [1974], p. 183).

В 1962 в переводе Жоржа Нива, французского слависта, был напечатан очерк С. К. Маковского о Николае Гумилеве (CMRS, № 2, III, p. 176—224). К сожалению, Ж. Нива так и не получил «подробного и убедительного» второго письма, которое намеревалась написать ему Ахматова. Но известно, что она неоднократно в беседах со многими друзьями резко отрицательно отзывалась о воспоминаниях Сергея Маковского.

В. А. ГОРЕНКО. Опубл. Карлом и Эллендеей Проффер: впервые в RLT, № 9, 1974, p. 512—518 и затем — в Ардис-77, с. 130—135. Горенко Виктор Андреевич (1896—1979) —

младший брат Ахматовой, с 1918 он жил на Сахалине, в 1929 эмигрировал в Китай, а с 1947 жил в США. Печ. по оригиналам, которые В. Горенко предоставил К. и Э. Проффферам.

В его опросном листке, опубликованном вместе с письмами Ахматовой к нему (стр. 510) приведены данные о семье Горенко:
Мать — Инна Эразмовна — 1856—1930
Отец — Андрей Антонович — 1848—1915
Дед Стогов — Эразм Иванович — прожил до 90 лет
Бабушка Стогова — урожденная Мотовилова
Дед Горенко — Антон Андреевич
Бабушка Горенко — урожденная Тракос (гречанка)
(Д е т и:)
Андрей Андреевич — 1886—1920 — умер в Афинах, Греция
Инна Андреевна — 1883—1905
Ия Андреевна — 1894—1922
Виктор Андреевич — 1896 — еще жив!

Л. К. ЧУКОВСКОЙ. Опубл. без указания имени адресата и с неверно набранной датировкой в ПАА, с. 36—41. Печ. нами с учетом исправлений адресата. Чуковская Лидия Корнеевна (р. 1907) — писательница, литературовед, редактор, мемуаристка. Близкий друг Ахматовой на протяжении тридцати лет, хранила в своей памяти многие стихи, доверенные ей поэтом в эпоху террора. После смерти Ахматовой, Чуковская осуществила многие важнейшие публикации неизвестных ранее текстов в западных издательствах (ИМКА-Пресс), т. к. после 1968 была лишена от возможности печататься в СССР. Ее записки о встречах с Ахматовой были опубликованы в двух томах (ЛКЧ-1 и ЛКЧ-2), а также переведены на французский язык (1980; в том же году за эту книгу Чуковская удостоена первой Премии Свободы, учрежденной французской секцией ПЕН-клуба) и на голландский (1982).

Публикуемые здесь два письма Ахматовой носят принципиальный характер и выходят за рамки частной переписки. В первом из них автор имеет вероятно в виду подготовленный для серии «Библиотека советской поэзии» том своих стихов, который вышел год спустя в Гослитиздате. Второе — посвящено разбору ошибок в 1-м издании (1965)

тома 1 Сочинений Ахматовой (завершением этого собрания является настоящий 3 том).

[1] Струве Глеб Петрович (р. 1898) — историк литературы, один из редакторов настоящего издания.

А. И. ГУМИЛЕВОЙ. Опубл. Р. Д. Тименчиком и А. В. Лавровым (Еж РОПД-74, с. 60). Гумилева [урожд. Львова] Анна Ивановна — свекровь Ахматовой, мать Н. С. Гумилева. Лева — Гумилев Лев Николаевич (р. 1912), сын Ахматовой.

Г. И. ЧУЛКОВУ. Опубл. там же (с. 66—67). Г. И. Чулков (1879—1939) — писатель. Он и его жена Н. Г. Чулкова — близкие знакомые Ахматовой с 1911. Хлопоты Чулкова были связаны, видимо, с восстановлением академического обеспечения Ахматовой.

В. Г. ГАРШИНУ. Опубл. там же (с. 71). Гаршин Владимир Георгиевич (1887— 1956) — врач, друг Ахматовой. Открытка направлена из эвакуации в осажденный Ленинград.

В. А. СУТУГИНОЙ. Опубл. там же (с. 73, 75). В. А. Сутугина-Кюнер (1892—1969) — после 1917 секретарь издательства «Всемирная литература», была знакома с Ахматовой с 1919. Впоследствии была выслана из Ленинграда и вернулась лишь незадолго до смерти. Академик И. Ю. Крачковский, писатель Ал. Н. Тихонов — общие знакомые Ахматовой и Сутугиной по «Всемирной литературе».

МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ А. А. АХМАТОВОЙ

I. Глеб Струве. *Ахматова и Н. В. Недборово.* Печ. в настоящем издании впервые.

II. Глеб Струве. *Ахматова и Борис Анреп.* — Борис Анреп. *О черном кольце. Публикация, примечания и дополнительный комментарий Г. П. Струве.* Печ. в настоящем издании. впервые.

III. *Письмо Н. Н. Пунина А. А. Ахматовой.* Впервые опубл. Амандой Хэйт в RLT, № 2, 1972, p. 453—458. Перепечатано затем в Ардис-77, с. 78—79.

IV. [*Предисловие М. А. Кузмина к первой книге стихов А. А. Ахматовой («ВЕЧЕР», СПБ. 912)*]. Перепечатывается впервые в настоящем издании.

V. Н. В. Недоброво. *Анна Ахматова.* Впервые — в журнале «Русская мысль», № 7, 1915, разд. II, с. 50—68. Перепечатывается по-русски впервые в настоящем издании.

ДОПОЛНЕНИЕ

218. Опубл. Р. Д. Тименчиком в его статье *Анна Ахматова и Пушкинский Дом* (в сб.: *Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография.* Л., «Наука», 1982, с. 110) со ссылкой на С. Дедюлина, сообщившего текст автографа на книге *Четки*, 2-е изд. (хранится в частном собр., Ленинград).
Александр Александрович Смирнов (1883—1962) — литературовед-медиевист, переводчик.

219. Опубл. и прокомментировано Р. Д. Тименчиком («Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 40, № 4, 1981, с. 387) по автографу на ее кн. *Четки* (СПб, 1914). Над текстом стих-я — инскрипт: «Борису Александровичу Садовскому дружески Анна Ахматова. Петербург. Март 1914 г.». Эпиграф — из стих-я Б. Садовского *Анне Ахматовой* («К воспоминаньям пригвожденный . . .», 1913).

220. Опубл. Л. Чертковым (К, № 31, 1982, с. 336) по авто-

графу в альбоме Н. А.Залшупиной-Даниловой (Отдел манускриптов Парижской Национальной Библиотеки).

221 Опубл. Р. Тименчиком как «отрывок стих-я 1920-х годов» в его статье *Храм Премудрости Бога* ‹...›, с. 301 (см. наст. изд., прим. к № 34). Публикатор комментирует: «По правдоподобному предположению М. М. Кралина, в первом стихе отточием обозначено слово 'октябрь' с предшествующим эпитетом или числительным».

222. Впервые опубл. с искажением и неполно (б. н., б. эпиграфа, с неточной датой) — в ВПу, Ш, 1963, с. 10; затем так же — в наст. изд. т. 1, 1965, с. 287—288; т. 1, 2-е изд., 1967, с. 342. В БП включено не было. Более полный вар., но с др. искажениями и с купюрой опубл. М. Кралиным (ЛГр, № 7, 1979, с. 86); текст без искажений опубл. Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 499). Печ. нами по последней публикации с добавлением эпиграфа и более точной даты из публикации М. Кралина.

Эпиграф из стих-я М. Цветаевой *Ахматовой* («Кем полосынька твоя...», 1921). Маринкина башня — см. комментарий Л. К. Чуковской: «'Маринкиной' именуется одна из башен Коломенского Кремля; по преданию, там была заточена и скончалась Марина Мнишек. Образ Марины Мнишек — один из образов, нередко встречающихся в поэзии Цветаевой; а припомнить Коломенский Кремль, говоря о Цветаевой, тоже естественно: Марина Ивановна провела детство и юность в Тарусе (тогдашней Калужской губернии), неподалеку от Коломны. Для Ахматовой же «Маринкина башня» — совершенная реальность: в июле 1936 она посетила Коломенский Кремль и повидала «'Маринкину башню'» ЛКЧ-2, с. 549). Красная Конница (улица в Ленинграде, бывш. Кавалергардская) в подписи под стих-м, — видимо, указывает на то, что оно было окончено в годы, когда Ахматова жила там (1952—1961).

223. Опубл. со значительной купюрой (последние 8 строк) М. Кралиным (ЛГр, № 7, 1979, с. 85—86) по автографу (ГПБ); др. автограф хранится в частном собрании в Москве. Не располагая полным текстом, мы вынуждены огра-

ничиться в наст. изд. воспроизведением стихов из печатного источника.

224. Опубл. Л. К. Чуковской (ЛКЧ-2, с. 556) по записи В. Н. Корнилова со слов автора; ранее, в СССР, лишь одна 7-я строка — опубл. С. Дедюлиным (газ. «Коммунист», Лиепая, № 172, 08. 09. 1979).

Тринадцать лет — исполнилось в 1959 постановлению ЦК ВКП(б) *О журналах 'Звезда' и 'Ленинград'. Либава* — русское название Лиепаи (город в Латвии).

225. Опубл. там же как «черновой набросок к *Решке*». Там же указан иной вар. концовки этой строфы:

Отлучить от стола и ложа
Это вздор еще — но не гоже
То терпеть, что досталось мне.

226. Разрозненные фрагменты были дважды скомпонованы и опубл. М. Кралиным (ЛГр, № 7, 1979, с. 91—93 и — более полно и тщательно — ДП, М., 1979, с. 201—202) по автографам (ГПБ). Печ. нами по ДП (см. также № 105 в наст. изд.), дата — по ЛГр. Во вступит. заметке публикатор сообщил: «Незадолго до смерти часть рукописей была собрана автором в конверте с надписью: «А. А. Ахматова. Пролог (Сон во сне), 1965». ‹ . . › Сорок восемь пронумерованных автором листов включают наброски отдельных сцен из пьесы «Пролог», планы пьесы, прозаическое обрамление к ней под названием «Нечто удивительное», и, наконец, черновые автографы стихотворного произведения «Большая Исповедь». Возможно, «Исповедь» задумывалась автором как стихотворное вступление к пьесе, на это указывает необычная для Ахматовой нарочитая «театральность» стихов, рассчитанных на произнесение со сцены» (ДП, с. 201).

227. Впервые в «ТГУ» (орган Тартуского Государственного Университета, № 12, 5 ноября 1982). Публикация Р. Д. Тименчика на основе защищенной им в октябре 1982 в ТГУ диссертации *Художественные принципы предреволюционной поэзии Анны Ахматовой.*

Из прозаических набросков

1. Опубл. Л. А. Мандрыкиной («Нева», 6, 1979, с. 196—200) по автографам (ГПБ).

2. Опубл. Р. Д. Тименчиком в его статье *Анна Ахматова и Пушкинский Дом* (в кн.: *Пушкинский Дом. Статьи. Документы. Библиография.* Л., «Наука», 1982, с. 106—112) по автографу (ГПБ).
Цитата из стих-я Пушкина «В начале жизни школу помню я . . .».
Комментатор сообщает: «В своих *Записках* Э. И. Стогов-Можайский (1797—1880) упоминал также об отдаленном родстве с Денисом Давыдовым («Русская старина», 1903, № 2, с. 273)».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

стихотворений А. А. Ахматовой
в третьем томе Собрания сочинений

А ведь мы с тобой (Песенки: II. Любовная) . . . 71
А в зеркале двойник бурбонский профиль прячет . 63
А за правой стенкой, откуда (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: IV. К «Поэме без героя») . 114
А как музыка зазвучала 112
Ах, тебе еще мало по-русски 75
А я иду, где ничего не надо 103
Бедствие это не знает предела (Скорость) . . . 85
Блаженный мир — зеленый мир (Из Ташкентской тетради) 61
Брат! Дождалась я светлого дня 118
Веет ветер лебединый 37
Вечерний звон у стен монастыря 32
В каждом древе распятый Господь 68
Волк любит жить на воле 88
Вот беда в чем, о дорогая (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: VII) 115
Вот и доспорился, яростный спорщик (Черепки: II) . 73
Вот это я тебе, взамен могильных роз (Памяти М. Булгакова) 54
В промежутке между грозами 35
Все в Москве пропитано стихами 101
Все, кого и не ждали в Италии 83
Все ушли и никто не вернулся 72
Всю ночь не давали заснуть (Из первой тетради) . . 21
В том доме было очень страшно жить (Из северных элегий: II) 78
В углу старик, похожий на барана 26
В черноватом Париж тумане (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: I) 112
Вы меня, как убитого зверя (Черепки: V) 74

Где-то ночка молодая (В тифу) 60
Глаза безумные твои 109
Глаза не свожу с горизонта 62
. . . говорит оно (Творчество) 87
Даль рухнула, и пошатнулось время (Из набросков) . 90
De profundis . . . Мое поколение 66
Десять лет и год твоя подруга (Кавказское) . . . 45
Дорогою ценой и нежданной 68
Другие уводят любимых 75
Дьявол не выдал. Мне все удалось 42
Если б все, кто помощи душевной 91
Если бы брызги стекла, что когда-то звеня разлетелись (Вступление к «Полночным стихам») . . . 99
Если в небе луна не бродит 118
Если ты смерть — отчего же ты плачешь сама . . 62
Еще говорящую трубку 63
Еще к этому добавим 117
Еще я слышу свежий клич свободы (Из драмы «пролог») 70
Женский голос как ветер несется (Слушая пение) . . 94
Жить — так на воле 57
Жрицам божественной бессмыслицы 119
Забудут! — Вот чем удивили 81
Загорелись иглы венчика 29
За заставой воет шарманка (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: III. Петербург в 1913 году) . . 114
Заключенье не бывшего цикла (Последний день в Риме) 104
. . . За ландышевый май 111
За меня не будете в ответе 99
Запад клеветал и сам же верил (Север) 105
За такую скоморошину 48
За то, что я грех прославляла 34
За узором дымным стекол 39
Зачем вы отравили воду 47
Звалась Soleil ты или Чайной (Пятая роза) . . . 100
Здесь девушки прекраснейшие спорят 43
И анютиных глазок стая 93
И было этим летом так отрадно (Отрывок) . . . 100
И в Киевском храме Премудрости Бога 35
И в недрах музыки я не нашла ответа 82
И вовсе я не пророчица 48

И вот, наперекор тому 56
И все, кого сердце мое не забудет 51
И в черном саду между древних лип (Из прапоэмы) . 36
И жесткие звуки влажнели, дробясь 111
Из белых роз мне свей венок (Весенний воздух властно смел) 20
Из-под каких развалин говорю (Надпись на книге) . 85
И комната, в которой я болею (Смерть) 66
И кружку пенили отцы 58
И луковки твоей не тронул золотой 111
И неоплаканною тенью 46
И никакого розового детства (Из северных элегий: I. О десятых годах) 77
Институтка, кузина, Джульетта!.. (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: VIII) 116
И отнять у них невозможно 89
И очертанья Фауста вдали 68
И осталось из всего земного 57
И странный спутник был мне послан адом . . . 108
И требовала, чтоб кусты (Еще об этом лете, отрывок) 98
. . . и третье, что нами владает всегда (Почти в альбом) 96
И ты ко мне вернулась знаменитой 65
И ты мне всё простишь 44
И уже, заглушал друг друга (Отрывок, не вошедший в Поэму без героя»: VI) 115
Их будет семь — я так решила (Из северных элегий) 77
I. И никакого розового детства (О десятых годах) . 77
II. В том доме было очень страшно жить . . . 78
III. Меня, как реку 79
И через всё и каждый миг 40
И черной музыки безумное лицо 110
И это могла, и то бы могла 91
И яростным вином блудодеянья 110
Казалось мне, что песня спета (Наследница) . . . 88
Какая есть. Желаю вам другую 59
Как вышедший из западных ворот 40
Как долог праздник новогодний 28
Как песню, слагаешь ты легкий танец (Тамаре Платоновне Карсавиной) 30
Как! Только десять лет, ты шутишь, Боже мой! . . 110
Когда я называю по привычке 63
Когда умрем, темней не станет 499

Кого когда-то называли люди 67
Кому и когда говорила (Черепки: IV) 74
Кому-то желтый гроб несут 33
Копай, моя лопата 58
Кто его сюда прислал 110
Ленинградские голубые 106
Ленинградскую беду (Причитание) 64
Любо вам под половицей 60
Любовь всех раньше станет смертным прахом . . 109
Меня, как реку (Из северных элегий: III) 79
Мир не ведал такой нищеты 109
Мне, лишенной огня и воды (Черепки) 73
Моей наследницею полноправной будь (Завещание) . 31
Моею музой оказалась мука 111
Может быть, потом ненавидел 103
Молитесь на ночь, чтобы вам 103
Мы до того отравлены друг другом 107
Мы запретное вкусили знанье (Два голоса. Фрагмент из драмы «Пролог») 69
Мы не встречаться больше научились 103
Мы по ошибке встретили год (Из итальянского дневника — Мэчелли) 105
На Казанском или на Волковом 33
На стеклах нарастает лед 107
На столике чай, печения сдобные 23
Невидимка, двойник, пересмешник (Поздний ответ) . 500
Не давай мне ничего на память 103
Недуг томит три месяца в постели 89
Не лирою влюбленного (Пролог) 76
Не повторяй — душа твоя богата (Из цикла «Тайны ремесла») 80
Непогребенных всех — я хоронила их 85
Не смущаюсь речью обидною 40
Не столицею европейской (Немного географии) . . 47
Не странно ли, что знали мы его 41
Но сущий вздор, что я живу грустя (Подвал памяти) . 53
Нет, не зря мы вместе бедовали 94
Нет, ни в шахматы, ни в теннис 108
Не убил, не проклял, не предал 34
Ночь моя — бред о тебе 20
О Боже, за себя я всё могу простить (Отрывок) . . 36

О, знала ль я, когда в одежде белой 44
О, знал ли он, любимец двух столетий (Отрывок, из царскосельской поэмы «Русский Трианон») . . 50
Опять проходит полонез Шопена 84
О святое мое одиночество — ты! (Одиночество) . . 117
Особенных претензий не имею 75
Оставь, и я была как все 108
От меня, как от той графини 84
Отпусти меня хоть на минуту 97
Отрывки, не вошедшие в «Поэму без героя» . . . 112
I. В черноватом Париж тумане 112
II. Я гашу те заветные свечи (Через 23 года) . . 113
III. За заставой воет шарманка (Петербург в 1913 году) 114
IV. А за правой стенкой, откуда (К «Поэме без героя») 114
V. Что бормочешь ты, полночь наша? . . . 115
VI. И уже, заглушая друг друга . . 115
VII. Вот беда в чем, о дорогая 115
VIII. Институтка, кузина, Джульетта! 116
IX. (Строфы в «Решке», нумерованные X и XI) . 116
[X] Ты спроси у моих современниц . 116
[XI] Посинелые стиснув губы 116
X. Что над юностью встал мятежной 117
От странной лирики, где каждый шаг — секрет . . 67
Отлетела от меня удача 500
От тебя приходила ко мне тревога 31
Пива светлого наварено 41
Под узорной скатертью (Песенки: III. Застольная) . 71
Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст («Большая Исповедь») 503
Позвони мне хотя бы сегодня 83
Посинелые стиснув губы 116
. . . Последнюю и высшую награду 65
Прав, что не взял меня с собой 95
Привольем пахнет дикий мед 46
Приснился мне почти что ты (Подражание Корейскому) 99
Пришли и сказали: «Умер твой брат» 22
Пустые белые святки 30

Пусть даже вылета мне нет 86
Пусть мой корабль пошел на дно (Из цикла «Сожженная тетрадь») 81
Пусть это даже из другого цикла... (Памяти Анты) . 93
Разве не я тогда у креста 64
Светает — это Страшный суд (Из «Дневника путешествия») 104
С вокзала к парку легкие кареты (Два отрывка из царскосельской поэмы «Русский Трианон») . . 50
Сегодня я туда вернусь (Четыре времени года) . . 86
Семь тысяч и три километра... (Черепки) . . . 74
Сжала тебя золотистым овалом (Старый портрет) . 24
Скучно мне оберегать 43
Словно дочка слепого Эдипа (Памяти Бориса Пастернака) 92
Словно тяжким огромным молотом 27
Снова со мной ты. О мальчик — игрушка! . . . 25
С Новым Годом! С новым горем 51
Соседка из жалости — два квартала 56
Сочтенных дней осталось мало 38
Со шпаной в канавке 69
С первым звуком, слетевшим с рояля 37
Спокоен ход простых суровых дней 30
Стеклянный звонок 72
Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь (Стансы) . . 52
Так вот где ты скитаться должна (Отрывок) . . . 106
Так отлетают темные души... 52
Так просто можно жизнь покинуть эту 44
Так уж глаза опускали 112
Там оперный еще томится Зибель 109
Твоя свирель над тихим миром пела 28
Тебе, Афродита, слагаю танец 23
То ли я с тобой осталась 21
Тому прошло семь лет 500
Торжествами гражданской смерти 502
Тот день всегда необычаен (Выход книги. Из цикла «Тайны ремесла») 96
То, что я делаю, способен делать каждый 501
Ты — верно, чей-то муж и ты любовник чей-то . . 102
Ты напрасно мне под ноги мечешь 82
Ты первый, ставший у источника 29
Ты прости мне, что я плохо правлю 45

Ты растешь, ты цветешь, ты — в звуке 92
Ты спроси у моих современниц (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: IX) 116
Угощу под заветнейшим кленом 95
Уложила сыночка кудрявого 55
Улыбнулся, вставши на пороге 27
Уходи опять в ночные чащи 62
Хвалы эти мне не по чину 90
Хорошо поют синицы 41
Цветы, холодные от рос 32
Целый день провела у окошка 26
Чей-то голос звучит у крыльца 91
Что бормочешь ты, полночь наша? (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: V) 115
Что войны, что чума? — конец им виден скорый . . 98
Что над юностью встал мятежной (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: X) 117
... что с кровью рифмуется 111
Шелестит о прошлом старый дуб 25
Это и не старо, и не ново 502
... это тот, кто сам мне подал цитру 29
Я всем прощение дарую 75
Я гашу те заветные свечи (Отрывок, не вошедший в «Поэму без героя»: II. Через 23 года) 113
Я — голос ваш, жар вашего дыханья (Многим) . . 42
Я горькая и старая. Морщины 33
Я давно не верю в телефоны 87
Я званье то приобрела (Из «Большой исповеди») . . 102
Я знаю, с места не сдвинуться 49
Я играю в ту самую игру 101
Я лилий нарвала прекрасных и душистых . . . 19
Я над этой колыбелью (Песенки: I. Колыбельная) . 70
Я не люблю цветы — они напоминают 39
Я подымаю трубку — я называю имя 62
Я получила письмо (Ответ) 493
Я приснюсь тебе черной овцою (Подражание армянскому) 48
Я смертельна для тех, кто нежен и юн 24
Я умею любить 19

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Бюст работы Елены Ванько (1898—1942). Собрание Рыбаковых (Ленинград)
Анна Ахматова, 1910-е годы. Собрание Михаила Балцвиника (1931—1980)
Н. В. Недоброво
Анна Ахматова, 1920-е годы (собрание Михаила Балцвиника)
Ленинград, 1920-е годы (собрание Михаила Балцвиника)
Силуэт работы Елизаветы Кругликовой (1865—1941)
Портрет Анны Ахматовой. Белая ночь, Ленинград 1939—1940 (вариант). Худ. Александр Осмеркин /1892—1953/ (собрание Михаила Балцвиника)
Во дворе Фонтанного Дома, 1920-е годы (собрание Михаила Балцвиника)
У Шервинских, Старки (под Коломной), 1930-е годы (собрание Михаила Балцвиника)
Анна Ахматова, 1950-е годы
Анна Ахматова, Надежда Мандельштам, Эмма Герштейн, 1950-е годы
Похороны Анны Ахматовой на кладбище в Комарове, 10 марта 1966

СОДЕРЖАНИЕ

	стр. текста	стр. прим.
Борис Филиппов. Заметки об Анне Ахматовой	5	
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ	17	520
ПРОЗА	121	541
Моя биография	123	541
Над чем я работаю	126	541
Неизданные страницы из «Воспоминаний о Мандельштаме»	128	541
Из ненаписанной книги (отрывки воспоминаний)	133	541
Планы книги	138	541
План	142	541
Отрывки из воспоминаний	145	541
Заметки к «Поэме без героя»	154	541
[Арсений Тарковский — Перед снегом]	166	541
[Из подслушанных бесед]	168	541
РАБОТЫ О ПУШКИНЕ	169	542
«Сказка о золотом Петушке» и «Царь увидел пред собой...» — комментарий	171	542
«Каменный гость» Пушкина (дополнения 1958—1959 годов и заметки для новой редакции)	182	542
Болдинская осень (8-я глава «Онегина»)	192	544
Две новые повести Пушкина	210	549
О XV строфе второй главы «Евгения Онегина», о мании преследования (хандре), посвящении в шпионы (о «мнимой дружбе») и первом слое стихотворения «вновь я посетил» («милые южные дамы»)	224	554
Пушкин в 1828 году (уединенный домик на Васильевском)	235	557

Пушкин и невское взморье 251 561
Гибель Пушкина 262 563
Александрина 286 589
[Пушкин в семейной переписке Карамзиных] 303 594
[О Наталии Николаевне Пушкиной и дуэли Пушкина] 306 594
[Заметка о стихотворении «Моя родословная»] 309 594
Пушкин и дети 311 595
Marginalia и мелочи 312 595
ПИСЬМА 319 609
С. В. фон Штейну 321 609
В. Я. Брюсову 335 614
П. А. Щеголеву 336 614
А. Н. Чеботаревской 336 614
Ф. К. Сологубу 337 614
Из письма к Н. С. Гумилеву 338 614
И. М. Брюсовой 338 614
О. Э. Мандельштаму 338 614
Н. Я. Мандельштам 339 615
Н. И. Харджиеву 342 615
С. Г. Вейнбергу 353 619
Жоржу Нива 354 619
В. А. Горенко 355 619
Л. К. Чуковской 358 620
А. И. Гумилевой 365 621
Г. И. Чулкову 365 621
В. Г. Гаршину 365 621
В. А. Сутугиной 366 621
ПРИЛОЖЕНИЕ — МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ А. А. АХМАТОВОЙ 369 622
I. *Г. П. Струве.* Анна Ахматова и Николай Недоброво 371 622
Послесловие 418 622
Добавление к послесловию о Недоброво . 420 622
Послесловие 1979 г. 425 622
II. *Г. П. Струве.* Анна Ахматова и Борис Анреп 428 622
Борис Анреп. О черном кольце . . . 439 622

Примечания 454 622
Дополнительный комментарий . . . 456 622
III. Письмо Н. Н. Пунина А. А. Ахматовой 466 622
Комментарий 468 622
IV. [Предисловие М. А. Кузмина к первой книге стихов Анны Ахматовой] . 471 622
V. Статья Н. В. Недоброво 473 622
ДОПОЛНЕНИЕ 497 622
Стихи 499 622
Из прозаических набросков 508 625
ПРИМЕЧАНИЯ 515
Алфавитный указатель стихотворений . . 626
Список иллюстраций 633